НЁМАН

5/2014
МАЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

«СЯБРЫНА»: БЕЛАРУСЬ – РОССИЯ
Совместный номер издан при поддержке
Постоянного Комитета Союзного государства

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 13.05.2014 г. Формат 70 ×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,20. Уч.-изд. л. 25,48. Тираж 2962. Заказ 1283.
Цена номера в розницу 21 400 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/106.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

«Сябрына»: Беларусь — Россия



Уважаемые читатели, дорогие друзья!

Перед вами — номер, в который вошли произведения белорусских и российских писателей. Его выход в свет при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства стал доброй традицией. Работа над словом и со словом, литературный труд даже в эпоху интернета — непростое, но очень нужное занятие. Литература и язык способствуют формированию человека, а потом и личности. Читатели журналов — особая категория людей, для которых современные технологии не заменяют духовного самосовершенствования, они чувствуют особый вкус слова, листая именно бумажные страницы.

В декабре Союзному государству исполнится 15 лет. Союз Беларуси и России насчитывает несколько столетий. Среди наших общих достижений — большая литература. Желаю нам всем, чтобы не иссякли писательские таланты на земле наших двух стран.

Государственный секретарь Союзного государства
Григорий РАПОТА.



МИХАИЛ ПОЗДНЯКОВ

Беларусь и Россия

Имена бесконечно святые,
Обогретые солнцем любви,
Две сестры — Беларусь и Россия, —
Две души, две кровинки мои.

Вы похожи — как небо над полем,
Вы повязаны руслами рек,
Вы едины и в песне, и в доле —
Породнились — сестры две — навек.

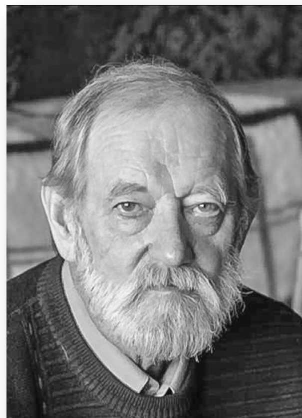
Процветание — ваша стихия,
Мир, согласие, счастье и труд.
Две сестры — Беларусь и Россия,
Но судьбою одною живут.

Не забудем, как в годы лихие
В бой за счастье народов Земли
Две сестры — Беларусь и Россия —
Вместе смело, решительно шли.

Не гудите, метели слепые,
Не греми, грозовая беда,
Две сестры — Беларусь и Россия
Неразлучными будут всегда.

Перевод с белорусского Валерия ГРИШКОВЦА.





ИВАН ЕВСЕЕНКО

Нетленный солдат

Рассказ

Ранней осенью сорок третьего года в этих местах шли тяжелые, не смолкающие ни днем, ни ночью бои. Наши войска хотели во что бы то ни стало до наступления зимних холодов переправиться на правый берег реки Десны и захватить там хотя бы небольшой плацдарм. А немцы всеми силами старались удержаться за рекой, где у них были хорошо оборудованные и укрепленные позиции.

В кровопролитных тех боях солдат и с немецкой, и с нашей стороны погибло несметное число. Хоронить их было некому. Наши войска, в конце концов, противника одолели и погнали его все дальше и дальше на запад. Погибших красноармейцев предавали земле похоронные команды и уцелевшие местные жители, прятавшиеся во время боев в окрестных лесах. Немцам же тем более было не до похорон. Под напором Красной Армии они бежали без оглядки несколько суток, пока опять не зацепились и не построили новую оборону на правом берегу реки Ипути, уже почти на самой границе с Белоруссией. Хоронить погибших, брошенных в спешке на месте гибели немецких солдат и офицеров, тоже пришлось нашим похоронным командам да старикам, женщинам и детям-подросткам. Сколько-нибудь приметной разницы в захоронениях бывших врагов-противников не было. На конных, а то и на ручных волокушах, запрягаясь в них по три-четыре человека, убитых свозили в траншеи, блиндажи и окопы и засыпали землей. Различие, пожалуй, было лишь в том, что над могилами наших солдат деревенские жители и бойцы похоронных команд ставили кресты или четырехугольные, вошедшие в воинский обычай пирамидки с жестяными звездочками наверху, а немецкие оставляли без всякого обозначения, сравнивая с землей, жестокосердно, но справедливо по их преступлениям и злодеяниям, поминая фашистских захватчиков-оккупантов недобрым словом: вы хотели нашей земли, так вот вам она, сырая и холодная, на веки вечные...

Почти семьдесят лет пролежали погибшие солдаты обеих армий в бывших траншеях, блиндажах и окопах. Одни в непреходящей скорби и памяти, оплакиваемые матерями, женами и детьми-сиротами, а другие — в полном, заслуженном ими забвении.

Но вот то ли по велению какого-то высокого, верховного начальства, то ли по собственной воле, никем не понуждаемые, объявились и на левом, и на правом берегу реки небольшие поисковые отряды, которые разрывали густо заросшие теперь лесами, кустарниками и травой бывшие траншеи и окопы, чтоб отыскать там хотя бы кости погибших советских солдат (а если повезет, так и узнать их имена) и захоронить уже по-человечески, с отданием всех необходимых воинских почестей. Останки же гитлеровских солдат передавали теперь германской стороне, и их хоронили отдельно, на возникающих по обоюдной

договоренности России и Германии то там, то здесь немецких кладбищах, несмотря на глухое молчание жителей близлежащих деревень.

Объявился такой отряд и в правобережном селе Березанке, в окрестностях которого когда-то был захвачен нашими войсками крохотный плацдармик, откуда началось победное наступление всех сосредоточившихся и подтянувшихся к Десне армий.

Руководил отрядом мужчина лет пятидесяти, Николай Петрович, говорят, участник афганской и чеченской войн, недавно только вышедший в отставку в звании подполковника. Ему помогали три крепких молодых парня, Алеша, Витя и Славик, тоже, по слухам, недавние, правда, уже мирного времени солдаты. По всем армейским пехотным правилам они разбили в тени, под защитой речной уремы, палаточный лагерь и принялись за дело.

Березанцы нет-нет да и заглядывали на эти раскопки, интересовались, что удалось бойцам добровольного отряда отыскать на месте давних боев. Чаще других повадился ходить к поисковикам, прикипел, считай, к ним всей душой непоседливый, разговорчивый старичок, по деревенскому прозвищу Прошка. Звали его на самом деле не Прохором и не Прокофием, как поначалу думали поисковики, а Егором Дмитриевичем. Но об этом мало уже кто в Березанке помнил. Весь деревенский род его прозывался Прошками, должно быть, в память какого-нибудь древнего зачинателя этого рода, действительно Прохора или Прокофия. Прошка на прозвище свое не сетовал, охотно откликался на него, похоже, и сам позабыл полученное при крещении имя. Необидное ласковое прозвище даже больше подходило Прошке, чем строгое крестильное имя Егор, Георгий. Росточка он был невысокого, щупленький, худенький, но жилистый и не в меру говорливый, хотя, казалось бы, при его ремесле столяра и плотника, которыми Прошка владел с великим умением, ему полагалось бы быть молчаливым и задумчивым.

Но Прошка был иным. По возрасту своему (ему шел уже семьдесят шестой год) он был своими домочадцами — женой, которая была гораздо моложе его годами, сыном, невесткой и двумя взрослыми внуками — почти полностью освобожден от всех домашних обязанностей и забот и поэтому целые дни безотлучно проводил с поисковиками. Веселил их несмолкаемыми разговорами, давал дельные, а иногда и не очень, советы, где, в каких местах и в каком направлении надо вскрывать землю, вспоминал военные годы, когда он совсем еще мальчишкой вместе с матерью занимался похоронными работами: водил под уздцы запряженную в волокушу лошадь. Но особенно любил Прошка посидеть с поисковиками поздно вечером возле костерка, выпить с ними по рюмочке, обсудить прошедший трудовой день, повнимательней рассмотреть найденные трофеи: насквозь проржавевшие наши и немецкие автоматы и винтовки, каски, позеленевшие латунные бляхи от ремней, и наших, и немецких солдат. Наших — с пятиконечной лучезарной звездой, а немецких — с кощунственной надписью: Gott mit uns — «С нами Бог». О найденных солдатских останках, костях и черепах, говорили редко. Разложенные по дощатым ящичкам (наши — отдельно, немецкие — отдельно, хотя, может быть, и ошибочно: человек, он только при жизни отличается от другого человека внешним своим обликом, дарованным ему от рождения, языком-речью да одежками, а по смерти прахом своим, костями и черепом все одинаковы), — они разговора и обсуждения не требовали.

* * *

За два месяца работы поисковики на месте боевых действий противоборствующих армий, немецкой — захватнической и Красной — освободительной, солдатских останков нашли немало. Имена погибших, правда, удалось установить лишь в двух случаях: ножами или какими-нибудь иными остро заточенными инструментами они были глубоко и аккуратно нацарапаны на немецких, похожих на шлемы тевтонских псов-рыцарей, касках. Наши же беспечные солдатики все так и остались безымянными.

В конце августа поисковики собрались уезжать из Березанки. Они заметно уже притомились тяжкими своими трудами, да и, по их прикидкам, все, что можно было вырыть и найти на заливных пойменных лугах, на приготовленных уже к осенней пахоте полях и огородах, в березовых рощах и сосновых борах, они нашли и вырыли. К тому же и отпуска, в счет которых поисковики занимались изысканиями, у них заканчивались.

Прошке расставаться с поисковиками было огорчительно и жалко: где он еще найдет таких внимательных и усидчивых слушателей? От скорой разлуки с новыми друзьями и товарищами Прошка горестно вздыхал, печалился, стал даже приходить на раскопки с березовым посошком, чего раньше за ним не водилось: он без всякого посошка и подмоги был еще проворен и легок на ходу.

И вот в один из последних перед расставанием вечеров, сидя с поисковиками возле костерка, Прошка прервал обычные свои затяжные разговоры-повествования и вдруг попросил их:

— Ребята, вы бы копнули еще вон там, возле старого глинища.

Шатким сучковатым посошком он указал далеко в сторону от бывших траншей и окопов, где, примыкая к смешанному березово-хвойному лесочку, действительно виднелось давно заброшенное и заросшее негустой полынью глинище.

— А что там может быть? — не слишком заинтересованно переспросил Николай Петрович, кажется, легко разгадав незамысловатую хитрость деда Прошки.

— Все может быть! — воодушевился тот и начал, в который уже раз, рассказывать о том, как в сорок третьем году, когда наши войска захватывали плацдарм, он с матерью и другими березанцами прятался именно в этом лесочке, за глинищем. Но к прежним своим рассказам Прошка добавил теперь одну подробность, которая раньше ему не вспоминалась. С уверенностью бывалого, опытного солдата он принялся рассказывать вполне достоверно и подробно о том, как наши бойцы цепью, правым ее краем (в пятидесятых годах Прошка служил в пехоте и считал себя большим знатоком пехотных цепей и построений), бежали вдоль глинища, а немцы, подпустив их поближе, открыли встречный, заградительный огонь. Красноармейцев и командиров полегло там немало. Женщины, старики и дети на волокушах привезли оттуда к братской могиле человек, наверное, пятнадцать, но многие могли остаться и под землей, засыпанные глиной.

— Надо бы копнуть, — заключил он свой основательный рассказ.

— Ладно, — чтобы не обижать Прошку, сказал Николай Петрович. — Завтра с утра поглядим...

* * *

Обещание свое Николай Петрович выполнил. Едва Прошка появился возле палаточного лагеря, он позвал Алешу, Витю и Славика и пошел вслед за настырным проводником к глинищу с необходимым для раскопок снаряжением: металлоискателем, разных размеров лопатами (штыковыми, совковыми и особой закалки и остроты — стальными, саперными), длинными железными штырями и даже с небольшой, удобно складывающейся лесенкой на тот случай, если придется спускаться глубоко в разрытые ямы.

По указке Прошки Николай Петрович, вооружившись металлоискателем, стал переходить с одного места на другое, внимательно прислушиваясь, не раздастся ли в наушниках обнадеживающий прерывистый сигнал, да поглядывая на заброшенные шурфы-колодцы глиняных выработок, в которые ничего не стоило провалиться. Но металлоискатель предательски помалкивал, ничего металлического не обнаруживая под землей. Ничего не находили там и помощники Николая Петровича, хотя и они по подсказке Прошки со всем прилежанием и тщательностью обследовали длинными штырями заросшие луговой овсяницей и осокой подступы к глинищу.

Поисковики под предводительством Прошки все утро трудились, не разгибаясь, но часам к одиннадцати, когда солнце поднялось уже над речной уремой и разгорелось по-августовски жарко, они решили к великому его огорчению и расстройству работы сворачивать: больше искать было вроде и негде, да и понапрасну.

Николай Петрович и притомившиеся ребята собрались под высокой, начавшей уже в преддверии осени кое-где желтеть листом березой, чтоб немного передохнуть и возвращаться в лагерь — готовиться к отъезду из Березанки. Прошка больше поисковиков не останавливал и не уговаривал. Он тоже подошел к березе, понуро присел на песчано-глинистом бугорке и, прерывисто вздыхая, принялся перебирать в памяти детские свои видения, задним числом сомневаясь, бежали здесь, вдоль глинища, захватывая плацдарм, красноармейцы или не бежали. Но чем больше Прошка думал и вспоминал, тем все сильней укреплялся в вере, что — нет, все же бежали, и он поисковиков в заблуждение не вводит.

Белоствольной раскидистой березы, под которой поисковики сейчас собрались, тогда на опушке глинища не было. Она объявилась и проросла самосевом много позже, после войны, а в сорок третьем году от глинища, уже и тогда наполовину заброшенного, и до самой окраины села простиралась открытая луговина. Малый, но зоркий и ко всему внимательный Егорка-Прошка никак ошибиться не мог: низко пригибаясь к земле и выбрасывая далеко вперед длинноствольные винтовки и автоматы с круглыми патронными дисками, красноармейцы все бежали и бежали вглубь луговины, а немцы, стараясь остановить их, все плотнее и плотнее стреляли из орудий и минометов. Земля от разрывов вздымалась на дыбы, гудела и дрожала, казалось, сама готовая взорваться. В этих земляных смерчах и пороховом дыму красноармейцы на минуту исчезали, падали, но когда земля оседала, а дым рассеивался, они опять, пусть и меньшим уже числом, поднимались и неудержимо бежали вперед.

Николай Петрович, впервые увидев Прошку столь задумчивым и молчаливым, подошел к нему поближе и присел рядышком, намереваясь утешить старика каким-нибудь ободряющим словом. Длинный,

будто сенные грабли, металлоискатель с насадкой на конце он положил чуть в стороне, в тени березы, так, чтоб тот не раскалялся на солнце. Подыскивая утешительные слова для Прошки, Николай Петрович начал было закуривать сигарету и вдруг бросил ее незажженной на землю и встревожено вскинул голову. Из наушников, лежащих на травянистой кочке, доносился едва слышимый, но настойчивый сигнал, словно кто-то невидимый давал из-под земли о себе знать азбукой Морзе.

Николай Петрович подхватился на ноги, надел наушники и, приказав всем собравшимся возле березы соблюдать полную тишину, стал сантиметр за сантиметром обследовать возвышающуюся бугорком у ее подножья луговую задернившуюся кочку. Прошка, несмотря на запрет, тоже подхватился и, пристроившись рядом, шепотом спросил:

— Есть что-нибудь?

— Похоже, есть! — на мгновение отвлекся от прослушивания Николай Петрович.

— Я же говорил, — воодушевился, продвигаясь за ним шаг в шаг, Прошка, — надо копнуть...

— Копнем, — заверил Прошку Николай Петрович и, чтоб окончательно рассеять и свои, и его сомнения, протянул Прошке наушники.

Тот проворно перенял их и, спрятав за пазуху подаренную внуками бейсболку с длинным, укрывающим глаза от солнца козырьком и какими-то непонятными иноземными надписями, приладил пружинчатую дужку поверх седеньких истончившихся волос. Наушники минуту-другую помолчали, как будто собираясь с силами, а потом зашлись в непрерывном тревожном писке, который все усиливался и усиливался по мере того, как Николай Петрович, обойдя бугорок по кругу, остановил насадку металлоискателя в самом его центре. Теперь уже Прошка, погрозив пальцем и Николаю Петровичу, и Алеше с товарищами, чтоб они стояли, не шевелясь, потуже прижал ладонями к вискам наушники, и ему вдруг показалось, что оттуда, из-под земли, сигналы эти подаются специально для него, старого Прошки, как бы в награду за то, что он с самого начала был тверд и неколебим в своей вере в то, что они найдут непременно какие-нибудь останки на глинище.

Когда же Прошка вдоволь наслушался стонущих подземных сигналов и сказал про себя тому, кто подавал их: «Потерпи маленько, потерпи, сейчас добудем!», — Николай Петрович распорядился:

— Копайте вот так — по кругу.

Алеша, Витя и Славик, вооружившись лопатами, тут же принялись за дело. Сначала они сняли травянистый дерн и уложили его рядком под березой. Прошка еще в первые дни раскопок заметил, что и Николай Петрович, и его подчиненные (особенно самый старший из них — Алеша) относятся к земле бережно и ответственно. Выкопав яму и отыскав в ней все, что можно было отыскать, они зарывали ее снова и обязательно укладывали поверх сырого потревоженного грунта цельный травяной дерн. Прошка такое отношение поисковиков к земле всемерно одобрял и поддерживал. Она, бедная, здесь еще со времен войны вон как изуродована! Раненая, а местами так и вовсе убитая, мертвая земля... Столько лет прошло с той погибельной поры, а она никак не может залечить свои раны и воскреснуть к новой, плодородной жизни.

Вслед за дерном на два-три штыка шла сухая, серо-сыпучая супесь, а потом вдруг показалась красная, с белыми прожилками и отливами глина. По краям намеченной ячейки она была каменно твердой, словно

веками слежавшейся в пласты и глыбы, а в самой середке, по центру — сыпучей и рыхлой и довольно легко поддавалась штыковым и совковым лопатам.

Работали ребята споро, опыта им было не занимать. Вначале рыли все втроем, а когда ячейка углубилась до колена — поодиночке, часто сменяя друг друга, чтобы не уставать и чтоб было сподручней и вольней разворачиваться и выбрасывать на поверхность глину. Разгорячившись, ребята поснимали рубахи и майки и теперь блестели на жарком солнце загорелыми за лето до жгуче-коричневой темноты мускулистыми, натренированными телами.

— Молодцом, ребята, молодцом! — поощрял землекопов Прошка, поочередно заговаривая то с одним, то с другим, то с третьим.

В молодые свои годы он тоже был мускулистым и крепеньким, упорным и тягловым в работе. Летом, когда доводилось артельно рубить дома или заниматься на свежем воздухе каким-либо иным плотницким или столярным делом, Прошка непременно снимал рубаху и майку, и напарники, что были старше него, точно так же завидовали его силе, здоровью и загорелому, не знающему усталости телу. Теперь же дряхлый и ослабевший Прошка (чего уж тут попусту хорохориться!) открыто тосковал по настоящей мужской работе и несколько раз порывался спуститься в ячейку, чтоб, завладев лопатою, в полную силу потрудиться, тем более при такой, считай, похоронной работе, которую, может быть, надлежало бы свершать именно ему — старому, пожилому человеку.

Но Николай Петрович каждый раз останавливал его, словно берег для каких-то иных, более ответственных дел.

В перерыв, когда ребята сменялись в яме, Николай Петрович опускал в красную, горячую ее глубину металлоискатель, напряженно прислушивался к его то отрывистым, кратким или наоборот — протяжным и длинным сигналам и подбадривал неутомимых работников:

— Близко уже.

Но было вовсе еще и не близко. Ребята, углубляя и расширяя ячейку, проходили штык за штыком, но ничего в ней пока не отыскивалось: ни латунно-медной пряжки от солдатского ремня, ни разрозненных деталей винтовок и автоматов, ни даже стреляных гильз, которые в других местах встречались чаще всего. Прошка не на шутку обеспокоился таким обстоятельством и, подступая поближе к Николаю Петровичу, принимался подсказывать ему:

— Левее надо было взять! Левее!

— Возьмем и левее, — успокаивал Прошку Николай Петрович и опять опускал в ячейку металлоискатель, не дожидаясь уже пересменки ребят.

И вот во время одного из таких погружений металлоискатель зашелся, словно в неостановимом, пронзительном плаче.

— Осторожнее! — крикнул Николай Петрович работающему в ячейке Алеше.

Но тот уже сам, без напоминания Николая Петровича понял, что надо работать как можно бережней. Он отбросил в сторону лопату, опустился на колени и начал где ладонями, а где и одними только чуткими, ловкими пальцами разгребать сухую и на полутораметровой глубине глину.

Все остальные работники во главе с Николаем Петровичем сгрудились наверху, у самого обрыва ячейки, понапрасну стараясь определить, что там проявляется под ладонями и пальцами Алеши. Но пока ничего

«Сябрына»: Беларусь — Россия

не было видно: вздрагивающей своей от напряженной работы и учащенного дыхания спиной он закрывал все днище раскопок.

Прошка, нарушая приказ Николая Петровича, самовольно вздумал было спуститься по лесенке Алеше на подмогу, но тот, наконец, разогнулся, прислонился спиной к холодной глиняной стенке и, с трудом сдерживая волнение, проговорил сдавленным тревожным полушепотом:

— Глядите...

Все смотрели и в первое мгновение не могли вымолвить ни единого слова. Даже словоохотливый, непоседливый Славик — и тот затих, не в силах произнести ни звука. Горячий, яркий луч солнца, пробившись сквозь зелено-багряную завесь березовых ветвей и листьев, высветил на дне ямы молодое, не тронутое тлением лицо погибшего в бою солдата. Было оно худым и изможденным, но не землисто-серым, какими обычно бывают лица умерших людей, а светло-коричневым, загорелым, совсем таким же, как у Алеши, Вити и Славика.

Раньше других опомнился и пришел в себя Николай Петрович.

— Ничего не трогай и вылезай наверх! — приказал он Алеше. Тот беспрекословно подчинился, выбрался на поверхность и, переводя дух, тяжело присел на глиняной насыпи. Долговязый Витька протянул Алеше фляжку с водой, а Прошка вытащил из-за пазухи бейсболку, аккуратно расправил ее и передал Алеше, чтоб тот мог прикрыть от солнца и ветра свою разгоряченную работой голову. Алеша ни от фляжки, ни от внимания Прошки не отказался. Он долго взахлеб пил воду, пока фляжка не опустела, потом натянул бейсболку и теперь уже с высоты глиняного бугорка посмотрел на лицо солдата в ячейке раскопа.

— Надо же! — все так же, полушепотом, словно робея собственного голоса, произнес он. — Сроду такого не бывало...

— По Божией Воле и Промыслу, — легонько и успокоительно прикоснулся к плечу Алеши заскорузлой стариковской ладонью Прошка, — может быть, еще и не такое увидишь.

Николай Петрович вмешиваться в их разговоры не стал. Добыв из рабочей походной сумки обыкновенный мастерок-кельму, которым пользуются печники и каменщики, и целый набор разных кисточек, он спустился по лесенке в ячейку. Точно так же, как и Алеша, Николай Петрович встал вплотную к стенке на колени и принялся кельмой и кисточками высвобождать из глиняного плена останки солдата. Алеша — со своего бугорка, а Прошка с Витькой и Славиком — пристроившись на противоположном обрыве ячейки, неотрывно следили за каждым его движением. Из-под рук Николая Петровича вначале показалась по-юношески тоненькая шея, потом белая-белая гимнастерка с погонами рядового бойца Красной Армии. Судя по этой гимнастерке, воевал он давно, по крайней мере, все лето, и она выгорела на палящем солнце до первозданной холщовой белизны. На ремне, туго защелкнутом на талии пряжкой с потемневшей, но хорошо различимой звездой, были приторочены с правой стороны — подсумок и точно такая же, как у поисковиков, алюминиевая фляжка, а с левой выглядывала из-за бедра саперная стальная лопатка. Брюки-галифе у солдата тоже были выгоревшими до белизны, и чувствовалось, что были они уже ношеные, в нескольких местах наспех зашитые через край широкими стежками. Обут красноармеец был в грубые солдатские ботинки с идущими почти до самых колен обмотками, удивительным образом сохранившими свой зеленый защитный цвет.

«Сябрына»: Беларусь — Россия

Широко, вразлет разметанные руки солдата Николай Петрович высвободил из-под глины в самом конце раскопок, и тут обнаружилось, что в правой руке он держит крепко зажатую ладонью за цевье трехлинейную винтовку, а левую в последнее мгновение жизни обронил вольно, словно давая ей отдохнуть от тяжелых солдатских трудов.

Но больше всего поразили и Николая Петровича, и заглядывающих в ячейку ребят, и Прошку березовые розоватые корни, которые, словно охраняя, оплели солдатское тело по груди и поясу. Казалось, они навечно связали его с землей и ни за что не хотят отпускать.

— Подайте секатор! — разгибаясь в полный рост, попросил Николай Петрович.

Алеша, уже воспрянувший духом после минутного забытья, протянул ему обыкновенный садовый секатор на длинных ручках, который на такой вот случай, когда приходилось в глубине раскопанной ячейки обрезать корни деревьев и кустарников, был в запасе у поисковиков.

Николай Петрович перехватил секатор и, опять припав на колени, осторожно и умело обрезал корни. Витя и Славик забрали их у него и отнесли за глиняную насыпь в заросли полыни, чтоб они не мешали дальнейшей работе. Корни были еще живые, наполненные соком, но отрезанные от березы, как-то сразу померкли, потеряли упругость и жертвенно легли в полынные белесые заросли.

Пока ребята относили обрезки корней, Николай Петрович мягкой невесомой кисточкой обмел с груди солдата густо покрывавшие ее комочки глины и песчинки. Когда же он отнял кисточку, то все увидели, что на левой стороне груди солдата, захватывая и накладной, застегнутый на пуговку карман, темнеет широкое, с рваными краями пятно. Глядя на это пятно и разметавшиеся в смертном покое руки, нетрудно было догадаться, как погиб солдат. Вражеская свинцовая пуля попала ему в самое сердце. Солдат запнулся на стремительном своем бегу, взмахнул руками и упал навзничь в глубокий глиняный шурф, через который всего за мгновение перед тем перепрыгнул. От близкого разрыва снаряда глина рядом с шурфом вздыбилась и навсегда засыпала, похоронила его в отдельной, только ему доставшейся могиле. Потом год за годом поверх глиняной насыпи влажными, речными и суховейными, полевыми ветрами нанесло тоненький слой плодородного грунта; он пророс луговой овсяницей, осокой, полевыми цветами, по большей части желтыми лютиками, и все они скрыли его могилу, не обозначенную ни православным крестом, ни пирамидой-звездочкой, ни сколько-нибудь приметным бугорком-холмиком.

Освободив грудь солдата от березовых корней и глиняных комьев, Николай Петрович уже хотел было подниматься по лесенке наверх, чтоб обсудить с Прошкой и ребятами, как поступать с обретенным солдатом дальше, но вдруг в прорези расстегнутой его гимнастерки он заметил ярко блеснувший и будто загоревшийся под лучами проникшего в глубину ячейки солнца огонек-искорку. Николай Петрович помедлил, снова низко склонился над солдатом и бережно извлек из прорези гимнастерки вначале серебряный крестик, покоившийся на серебряной, тонкого плетения цепочке, а потом изготовленную из серебра в виде махонькой дощечки иконку-ладанку. Солнечный луч, обходя плечо Николая Петровича, высветил на крестике не помутневшее ни единой черточкой за долгие годы лежания в земле распятие, а на ладанке — такой же чистоты и ясности икону Тихвинской Божией Матери, извечной заступ-

ницы и охранительницы российского воинства. Удерживая обе находки на ладони, Николай Петрович перевернул ладанку тыльной стороной и обнаружил там надпись.

— Самохин Иван Тихонович, — вслух прочитал он, — тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения, село Знаменка, Ярцевского района, Смоленской области.

Прошка и ребята-поисковики, затаив дыхание, внимали голосу Николая Петровича да издалека смотрели на серебряный нательный крестик солдата и словно обновившуюся в лучах августовского солнца икону Божией Матери.

Наконец, Прошка, глубоко, но как-то по-стариковски робко вздохнув, прервал молчание:

— Комсомолец, должно быть, а верил...

— На войне все верят, — тоже тихо из темноты ячейки отозвался Николай Петрович, сам побывавший на двух войнах, раненный там и контуженный.

Он вернул крестик и иконку-ладанку на прежнее место и попробовал извлечь из левого нагрудного кармана убитого солдатскую книжку и комсомольский билет, чтоб прочитать и там фамилию, имя и отчество солдата и удостовериться, что они точно такие же, как и на тыльной стороне ладанки. Но у него ничего не вышло: солдатская книжка и комсомольский билет были разорваны пробившей их пулей и густо залиты кровью, так что прочитать ничего было нельзя, даже если бы удалось их извлечь из пробитого кармана. Он снова застегнул на кармане пуговку, разгладил образовавшуюся складочку, но прежде чем шагнуть к лесенке, еще раз, теперь уже про себя, повторил, чтобы твердо запомнить отчетливо видимые на ладанке слова. Похоже, бумажным, легко уничтожаемым документам погибший солдат не особенно доверял, а вот надписи на ладанке верил незыблемо и крепко.

Призван он был на фронт (или ушел добровольно, как уходили тогда многие нетерпеливые его ровесники, едва-едва успевшие окончить школу-десятилетку), скорее всего, еще до оборонительных тяжелых боев под Смоленском, когда его заняли немцы.

Серебряный нательный крестик и иконку Тихвинской Божией Матери-Заступницы, несмотря на комсомольские клятвы, надела своему, может быть, единственному сыну Ивану, Ване, мать. А он неудержимо рвался на фронт, чтобы защитить ее и свое родное село от наступающего врага. В минуту разлуки, перед отправкой в Ярцево пешим порядком или на какой-нибудь шаткой колхозной телеге, мать крепко обняла его, поцеловала и осенила крестным знамением.

И вот это крестное знамение, нательный серебряный крестик, иконка-ладанка, материнское объятие, поцелуи и слезы почти два долгих года хранили Ивана от гибели. Не каждому солдату, тем более солдату-пехотинцу, выпадала на войне такая участь и такое счастье. Смертельная вражеская пуля настигла его лишь осенью сорок третьего на правом берегу Десны, у старого заброшенного глинища, совсем уже неподалеку от его родной Смоленщины.

— Что будем делать? — выбравшись из ячейки, обратился почему-то к одному только Прошке Николай Петрович.

— Да как что, — еще раз острым, пронзительным взглядом окинул Прошка недвижимо лежащего на дне глиняного склепа солдата. — Надо позвать отца Михаила.

— Пожалуй, что и верно, — согласился Николай Петрович и послал быстрого на ногу Славика в храм за батюшкой.

Славик накинул майку и нацелился было мчаться к церкви, что виднелась голубой маковкой поверх деревенских крыш и деревьев на высоком холмике, рядом со школой. Но совсем неожиданно объявились в подмогу Славику еще более проворные гонцы. Мимо глинища, от реки в деревню, шли с удочками мальчишки, большие охотники до утренней рыбалки и купания. Заметив под березой деда Прошку и поисковиков, с которыми они за лето, часто бывая на раскопках, успели подружиться, знали всех поименно и пофамильно, свернули с проторенной луговой тропинки. Прошка вздумал было поначалу не пускать их к разрытой ячейке, боясь, что мальчишки заробеют при виде вновь обретенного солдата, но те, ловко ускользнув от деда, без всякого позволения просочились к глиняной насыпи и глянули вниз. Заробели, приметно даже побелели личиками только самые маленькие ребята, а те, что постарше, глядели безбоязненно и внимательно. Они лишь непривычно примолкли и, соприкасаясь высоко над головами ореховыми гибкими удилищами, теснее сошлись у насыпи. Прошка, видя стойкую храбрость мальчишек, простил им непослушание и вместо Славика, который мог в любую минуту понадобиться возле ячейки, подозвал к себе самого старшего и надежного рыбака и купальщика.

Прошка, признав, чей мальчишка, какого деревенского рода, наказал ему:

— Василек, беги-ка в церковь и скажи отцу Михаилу, чтоб немедленно сюда шел — найден, мол, нетленный солдат.

Василек, заметно гордясь поручением, бросил свою удочку и лозовую низку рыбы с плотвичками, красноперками и окуньками в траву и прямо по лугу, чтоб спрямить дорогу, побежал в деревню.

Остальные мальчишки, отпрянув от ячейки, окружили плотным кольцом Алешу, Витю и Славика и начали вполголоса, с оглядкой на Николая Петровича и Прошку, которых все же немного побаивались, расспрашивать, как отыскался в земле солдат и почему он лежит, будто живой.

Николай Петрович тем временем принялся звонить по диковинному для Прошки, умещающемуся целиком в ладошке мобильному телефону.

— Ты куда это?! — поинтересовался Прошка.

— В военкомат.

— А зачем?

— Ну, как — зачем?! — перестал колдовать над мобильником Николай Петрович. — Солдата все-таки нашли, без военкомата никак нельзя.

— Это ты зря! — рассудил Прошка. — Сейчас налетят вороньем, все испортят.

— Что испортят?! — не совсем понял Николай Петрович.

— А все! — еще более туманно и уже обиженно ответил Прошка. Николай Петрович вступать в дальнейшие пререкания с ним поостерегся, зная, что Прошка бывает и неуступчивым, и твердым. Опять прижав телефон к уху, он отошел за глиняную насыпь, в заросли полыни, где ему никто не мог помешать, и стал по-военному четко докладывать военкому о неожиданной находке в селе Березанке, на краю заброшенного глинища.

— Сейчас подъедет, — закончив разговор, известил он Прошку, надеясь, что тот смягчится и поймет Николая Петровича, который

по-иному поступить никак не мог. Раскопки повсеместно велись под присмотром военкоматов, и, хотя военные и не вмешивались в дела поисковиков, доложиться туда полагалось и по военному уставу, и по гражданскому закону.

— Пускай едут, — действительно немного оттаял Прошка.

Прикрываясь ладонью от слепящего солнца, он принялся дальнозорко высматривать, не появится ли на тропинке отец Михаил. С полчаса никого видно не было: тропинка и луг выглядели совершенно пустынными и заброшенными, будто по ним никто и никогда не хаживал. Но вот из-за лозовых низкорослых кустов, окаймлявших деревенские огороды, показался вначале Васька-гонец, а потом, почти ни на шаг не отставая от него, и отец Михаил. Был он в посеребренной широко развевающейся на ветру ризе и голубой камилавке, которые, должно быть, услышав рассказ Васьки о нетленном солдате, забыл или не успел снять. Риза ярко горела и искрилась на солнце, а камилавка сливалась с голубой маковкой церкви и заголубевшим на горизонте небом.

Подбежав к разрытой ячейке, отец Михаил вначале было растерялся (ему никогда прежде не доводилось совершать молебен при обретении нетленного тела), но потом он успокоил шаг и дыхание и, осенив себя крестным знамением, взглянул на солдата.

— На нем и крест есть, и иконка-ладанка! — упреждая Николая Петровича, объяснил Прошка.

Отец Михаил снова перекрестился, взял в руки наперсный крест и начал проникновенно читать молитву — Трисвятое, которую произносил много раз в течение дня: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас»...

Предельно кратких ее покаянных слов никто, кроме Прошки, достоверно не знал, но все: и притихшие мальчишки, и молодые ребята-поисковики, и серьезный и суровый Николай Петрович — почувствовали, что без молитвенного слова батюшки сейчас никак нельзя.

Молитву отец Михаил прочитал, как и полагается, троекратно, и после каждого все больше объединялись вокруг разрытой ячейки дети, подростки, мужчины-поисковики и дед Прошка.

Они действительно почувствовали свое единство — верующие и не очень, — они забыли обо всех житейских делах и не заметили, как едва различимая прежде на горизонте тучка стремительно побежала по небу, играя многоцветной, все ярче и ярче проступающей на потемневшем небосводе радугой. Но вот она зависла над глинищем, и с нее вдруг сорвались крупные, тяжелые капли слепого солнечного дождя.

Отец Михаил в последний раз осенил себя крестным знамением и с беспокойством посмотрел на тучу, опасно потемневшую и скрывающую радугу — полоска за полоской. При виде надвигающейся тучи встревожились и поисковики. Всякий раз, собираясь на раскопки, они захватывали с собой на случай дождя вместе с инструментами и солдатскую непромокаемую плащ-палатку. А сегодня оставили ее в лагере: день обещал быть ведреным, жарким и сухим, да и отыскать сегодня ничего они не надеялись, несмотря на заверения Прошки...

А туча над глинищем все темнела, сгущалась, грозясь разразиться настоящим ливнем: всего несколько минут тому назад крупные, но вовсе не опасные капли теперь слились в хорошо различимые дождевые струи. Обретенного солдата, навзничь лежащего на дне глиняной ячейки, надо было чем-то срочно укрыть, чтобы защитить от дождя. Поис-

ковики заметались, поспешно собирая разбросанные во время работы рубахи и майки, но их опередил отец Михаил. Он снял епитрахиль и серебряно-белую свою ризу и протянул их Николаю Петровичу:

— Укройте!

Николай Петрович ловко подхватил облачение отца Михаила, спустился по лесенке в ячейку и тщательно укрыл солдата, оставив на виду лишь светло-коричневое, будто загоревшее его лицо, которому теперь никакой дождь повредить, наверное, уже не мог.

Дождь и вправду минут пять-десять шел обильным непроглядным потоком, заставив всех спрятаться под березой, но потом вдруг словно кто-то невидимый обрезал его точно по краю глиняной насыпи. Косые дождевые струи тяжело и шумно падали на бесплодное глинище, на луг, на реку, застили шиферные серые крыши деревенских домов и голубую церковную маковку, а над убежищем солдата уже ярко сияло августовское жаркое солнце.

— Ты погляди! — изумился Прошка, плотнее прижимаясь к стволу березы.

И Николай Петрович, и поисковики тоже немало дивились такому явлению, а самые маленькие мальчишки даже заробели и прижались к деду Прошке, будто надеясь на его защиту. И лишь один отец Михаил ничему не удивился и не испытал боязливого изумления. Словно продолжая молиться, он произнес:

— Все в руках Божиих!

Когда же туча, сгоняемая ветром, уплыла за реку, унося туда с собой скоротечный слепой дождь, он твердым шагом вышел из-под березового лиственного шатра, будто из царских врат родного храма, и направился к разрытой ячейке.

В ее глубине ничего не изменилось, не порушилось: стенки ячейки были почти сухими, не оплыли и не взялись влажными разводами. Только на епитрахили и ризе отца Михаила кое-где виднелись небольшие озерца дождевой прозрачной воды, да лицо солдата теперь было омытым, по-утреннему чистым и свежим.

— Как живой! — созерцая обновленного солдата, воскликнул Прошка и стал созывать к обрыву ячейки малых детей и подростков, чтоб те тоже посмотрели на омытого дождем, будто живого солдата.

Николай Петрович и отец Михаил не стали мешать беседе Прошки с детьми, а, отойдя в сторону, принялись советоваться, как быть с останками солдата дальше.

Но не успели они перемолвиться и двумя-тремя словами, как из деревенской улицы, бороздя тропинку, вылетела на луг бежевая «Волга». В мгновение ока она круто развернулась возле ячейки, и из нее выбрался крупный, тучный мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, повязанной тяжелым, клонящим его голову к земле, галстуком.

— Военком, — вздохнул Николай Петрович и пошел навстречу.

Прошка остался совершенно безучастным. Несмотря на свою тучность и важность, военком не произвел на него никакого впечатления. Прошка еще с давней своей юности, когда он только собирался идти служить в армию, привык к тому, что военком — это всегда человек военный (не зря же он и зовется военным комиссаром!), как правило, в значительном звании — подполковник или, в крайнем случае, майор. Этот же, хотя и был надменным и важным, и при разлапистом галстуке, но все же гражданским — нестроевым. На нем, как и на недавно ушед-

шем в отставку министре обороны, тоже человеке сугубо гражданском, трудно было представить туго затянутый ремень, портупею через плечо и погоны. Никакой власти такого военного комиссара Прошка над собой признавать не желал. С места он не тронулся, а, опершись на посошок, стоял возле глиняной насыпи в окружении мальчишек и без всякого волнения дожидался, пока Николай Петрович подведет его поближе.

Военком, в свою очередь, тоже не обратил особого внимания ни на Прошку, ни на отца Михаила, который без облачения совсем не был похож на священника — обыкновенный деревенский мужик, ни на Алешу с Витей и Славиком, ни тем более на малых беспокойных мальчишек, как будто здесь, у глиняной насыпи, никого из них вовсе не было. Тяжело, по-медвежьи переваливаясь с ноги на ногу, он подошел к краю раскопок и, еще не заглядывая в их глубину, с некоторой досадой и недовольством спросил Николая Петровича:

— Ну, что тут у вас?!

— Да вот, — указал ему на нетленного солдата Николай Петрович.

— Та-ак, — протянул военком, долго и придирчиво всматриваясь в ячейку.

Все тревожно примолкли, ожидая от него самого справедливого решения. И военком, уверенной рукой поправив на шее ослабевший под собственной тяжестью галстук, со всей своей важностью и значительностью вынес, как ему казалось, единственно правильное и справедливое решение:

— Ну что ж, похороним с отданием воинских почестей! Что здесь неясно?!

Он собрался уже возвращаться назад к машине, но тут Прошка неожиданно для всех и, в первую очередь, для гражданского военкома выказал свой характер. Он вышагнул из рядов мальчишек и из тени берез и застыл в шаге от грозного военкома — невысокий росточком, седой, но крепкий еще и телом, и духом.

— Больно ты скор, — с вызовом обратился он к военкому, — похороним...

— А что же еще-то?! — только сейчас, кажется, и увидел Прошку военком. — Под открытым небом оставим?

— А это все в Божией власти, не в нашей, — почти в точности повторил слова отца Михаила Прошка,

— Ну-ну! — только и нашелся ответить военком.

Он неожиданно ловко для своего тяжелого и неуклюжего тела развернулся и пошел назад к машине. Но прежде чем сесть в нее, подозвал к себе Николая Петровича и предупредил:

— Куда надо, мы сообщим!

— Хорошо, — Николай Петрович пожал ему руку, и на том переговоры с военкомом завершились.

Шофер сразу, как только военком захлопнул дверцу, завел машину, и она стремительно помчалась обратно в село, поднимая позади себя неизвестно откуда взявшуюся на мокром после дождя лугу пыль...

* * *

Слух о том, что поисковики нашли на старом глинище нетленного солдата, быстро облетел все село. Принесли его туда мальчишки-рыбаки, которые, боясь, что им достанется от матерей за долгую отлучку,

разбежались по домам, едва только военкомовская машина отъехала от глинища. Ну, а коль узнали о нетленном солдате женщины, то слух о нем уже как бы сам собой понесся от дома к дому, от подворья к подворью, тревожа и поднимая на ноги всю Березанку.

Поисковики ни о чем еще не договорились и ничего определенного не решили, лишь вернули отцу Михаилу епитрахиль и ризу, открыв опять солдата полуденному свету и солнцу, а от села к глинищу стал стекаться народ: не занятые на полевых работах старики и старухи, шустрые мальчишки, которые остро завидовали сверстникам, прознавшим о нетленном солдате раньше них. Теперь они старались наверстать упущенное и, обгоняя друг друга, бежали кто по разрушенной военкомовской машиной тропинке, а кто лугом, примыкавшими к глинищу дальними огородами и илистым речным берегом. Прервав жатву, появились на окраине села и занятые в поле мужчины и женщины.

Но впереди всех, сопровождаемый внуком, шел, ощупывая дорогу длинной тоненькой палочкой, последний оставшийся в живых березанский солдат-фронтовик Сергей Махоткин. Во время войны на подступах к городу Будапешту он был тяжело ранен в голову, еще тяжелее контужен и почти полностью потерял зрение. Увечью своему Сергей, правда, не поддался, не впал в отчаяние, а, обходясь остатками зрения, работал в колхозе наравне со здоровыми мужиками. Он удачно женился на деревенской девчонке, подросшей к его возвращению с войны, родил троих сыновей. Но постепенно он и вовсе ослеп, и лет десять, а то и все пятнадцать пребывал уже в непроглядной кромешной тьме. Жена, сыновья и внуки возили его по разным больницам, клиникам и глазным институтам, вплоть до знаменитых московских, но врачи лишь разводили руками. Беда Сергея заключалась в том, что в результате фронтового ранения и особенно контузии у него были повреждены глазные нервы, а против такого увечья современная наука и врачебное искусство пока бессильны.

Сергея с внуком на тропинке никто, даже нетерпеливые мальчишки, обгонять не решались, чувствуя и понимая, что он, фронтовик и участник войны, должен прежде них приблизиться к обретенному солдату. Пусть Сергей его не увидит, но ощутит его присутствие и укрепится силами.

К приходу Сергея Махоткина отец Михаил снова облачился в ризу и епитрахиль, словно перед самой торжественной Литургией. Прошка тоже подобрался, отряхнул с рубахи и брюк налипшие глиняные крошки и всякие иные соринки и встал рядом с батюшкой, готовый встречать односельчан приветливым и обходительным словом, объяснять, что тут, на глинище, случилось.

Сергей Махоткин по разговору и негромкому покашливанию Прошки догадался, что тот здесь, на боевом посту, и что без него столь необыкновенное происшествие никак обойтись не могло. Он легонько постучал палочкой возле обутых в летние, переплетенные наперекрест всего двумя кожаными полосками, сандалии ног Прошки и попросил, обращаясь к нему по родовому имени:

— Егор, подведи меня к нему!

— Так он ведь пока на глубине, в ячейке! — растерялся Прошка.

— Ничего, — не отступал Сергей. — Лесенка-то небось есть?

— Лесенка есть, — с готовностью отозвался Прошка.

— Я по ней и спущусь, — постучал впереди себя палочкой по травяному насту Сергей. — Ты только укажи — куда ступить.

Прошка подхватил Сергея под руку и подвел к обрыву ячейки, к алюминиевой рабочей лесенке поисковиков. Ему принялись помогать внук Сергея, ребята-поисковики, Николай Петрович и даже отец Михаил, обнимая и придерживая незрячего фронтовика за плечи. Но Сергей, нащупав руками лесенку, сказал, что справится сам. За долгие годы слепоты Сергей привык к ней и приловчился все делать самостоятельно, никого не обременяя излишней заботой: одевался-обувался, аккуратно брился опасной бритвой-складеньком, помогал жене по дому и на дворе, мог даже, когда был помоложе, принести из колодца воды.

Пошатав лесенку из стороны в сторону и убедившись, что она стоит прочно, Сергей развернулся и начал ощупывать ногой первую перекладинку, чтобы спуститься в ячейку. Но тут его упредил неугомонный Прошка:

— Погоди немного, — остановил он Сергея, — я спущусь вперед, чтоб принять тебя на глубине.

— Спускайся, — согласился Сергей и, пропуская Прошку, отступил на шаг от обрыва.

Прошка на редкость проворно для своего возраста спустился в ячейку и позвал Сергея:

— Давай!

Сергей, оставив на поверхности свою ореховую палочку-поводыря, опять нащупал ногой ступеньку и стал спускаться в ячейку. Прошка принял его внизу, прислонил к глиняной стене, подождал немного, пока Сергей устоится, обретет равновесие, и подсказал:

— Теперь склоняйся на колени.

Сергей, скользя и придерживаясь плечом о стенку, опустился на узенькую глиняную площадочку по правую сторону от солдата. Прошка сделал то же — по левую.

— Где он? — повел впереди себя рукой Сергей.

— Пониже опусти ладонь, пониже, — подсказывал Прошка.

Сергей опустил ладонь как можно ниже, к самой земле и нащупал плечо солдата и погон. Осторожно, но крепко, он сдавил худое это, угловатое плечо, будто поздоровался с солдатом, будто когда-то он его хорошо знал, но внезапно и надолго, как это часто бывало на войне, разлучился с ним на фронтовых дорогах.

Секунду помедлив, Сергей так же бережно начал перебирать чуткими пальцами, продвигаясь к лицу солдата. Вначале он прикоснулся к его щеке, потом к виску и коротко остриженным, не потерявшим своей жесткости волосам.

— Молодой? — по учащенному дыханию Сергей определил, где находится Прошка, и повернулся в его сторону.

— Молодой, — тихо, но внятно проговорил Прошка. — Двадцать третьего года рождения. Иваном зовут, родом из-под Смоленска.

— Погодок, — Сергей погладил солдата по стриженой голове, словно малого ребенка, который годился ему теперь то ли в сыновья, то ли во внуки, то ли в правнуки.

— На нем и крест есть, и иконка-ладанка с ликом Пресвятой Богородицы, — заговорил снова Прошка. — Там все и написано: кто он и откуда.

Но Сергей оставил его слова без внимания, словно откладывая размышления о них на будущее, когда они поднимутся из ямы на поверхность и немного успокоятся. А сейчас он спросил Прошку о другом:

— Куда его убило?

— В самое сердце, — после краткого молчания ответил Прошка.

— Легкая смерть, — словно завидуя солдату, вздохнул Сергей. — Мгновенная.

Он передвинул руку с головы солдата на грудь, обнаружил там крест и иконку, но не тронул их, а закрыл широкой, отяжелевшей за долгую жизнь от постоянной крестьянской работы ладонью рану солдата под левым карманом гимнастерки, как будто хотел предохранить его от смертельной пули.

Сергей долго стоял неподвижно над поверженным солдатом, к чему-то напряженно прислушивался внутри самого себя, что-то обретал и никак не мог поверить этому обретению.

— Я вижу его, — вдруг взволнованно и тревожно произнес он.

— Кого? — не сразу понял Сергея Прошка.

— Солдата, — чуть громче, крепнущим голосом проговорил тот. — Лицо его вижу, грудь, винтовку в руке, крест и ладанку на груди... И тебя, Прошка, вижу. Седой ты весь и щуплый.

Прошка замер, бессильно прислонившись спиной к глиняной стенке. Замерли и стоявшие наверху Николай Петрович, отец Михаил и ребята-поисковики.

А Сергей, все так же не отрывая ладони от груди солдата, высоко запрокинул голову и, просветлев лицом, повел вокруг еще недавно затянутыми пеленой глазами и сказал уже совсем уверенно и отчетливо:

— Березу вижу и солнце.

Он опять сам, без помощи Прошки, поднялся с колен, отыскал взглядом лесенку и поднялся наверх. Там его окружили односельчане и поисковики и стали наперебой расспрашивать, до конца не веря в то, что сказал Сергей:

— Правда, видишь?!

— Вижу, — рассмеялся Сергей и указал на внука. — Вот это внук мой, Сергей, очень похож на меня в молодости.

Это было и вправду так. Старики и старухи, которые помнили Сергея Махоткина в молодые его довоенные и послевоенные годы, говорили ему всегда, что, мол, Сережа больше похож на деда, чем на отца с матерью. Теперь Сергей и сам убедился в этом. Он обнял, прижал внука к себе уверенной рукой, будто в то же мгновение и она прозрела, и сказал, не скрывая радости:

— Наших кровей, махоткинских.

Стал Сергей узнавать и других березанцев, называть их по именам и фамилиям, несказанно радовался этому узнаванию сам и радовал все тесней и тесней окружавших его односельчан, которые намеренно старались попасться ему на глаза, чтобы окончательно убедиться в том, что не обманывает их Сергей — видит он теперь все вокруг!

Пока длилось узнавание, Прошка тоже выбрался из ячейки и принялся восторженно рассказывать березанцам, как там, на глубине, все случилось: как Сергей, положив руку на простреленную грудь солдата, вдруг прозрел, увидел вначале убиенного, а потом и его, Прошку, и нисколечко не ошибся, что это именно он, Егор Дмитриевич, весь седой, в клетчатой летней рубахе на коленях стоит перед ним.

Прошку все внимательно слушали, добиваясь мельчайших подробностей происшедшего, а когда он умолк, несколько человек, которых давно уж одолевали старческие болезни и увечья, робко спросили его, нельзя ли и им спуститься к солдату.

— Это как отец Михаил решит, — не посмел дать позволение Прошка.

Болящие стали пробиваться сквозь толпу к отцу Михаилу, но в шаге от него остановились и притихли. Отец Михаил вдруг негромким, особенно проникновенным голосом нараспев стал читать молитву, хотя без разрешения высшей духовной власти, может, и не имел на то права: «Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы...», — которую обычно читают Великим постом при совершении Литургии Преждеосвященных Даров. Кто как умел и мог, поддержали его, и торжественно-скорбное это песнопение широко растеклось по суховейному глинищу и по лугу.

Не пел лишь один Сергей Махоткин. Он все глядел и никак не мог наглядеться на это пожухлое к осени глинище, на высокоствольную березу, на луг и речку, но больше всего — на прозрачное голубое небо, заново обретая его, как будто заново рождаясь на свет Божий.

Когда соборная молитва была завершена, отец Михаил троекратно благословил березанцев крестным знамением и повелел им расходиться по домам до нужного часа. Но уходить никто не торопился. Березанцы еще теснее сгрудились вокруг разрытой ячейки, стараясь хоть краешком глаза взглянуть на нетленного солдата, а болящие, наконец, пробившись к отцу Михаилу, принялись слезно просить позволения спуститься к солдату в раскоп.

— Не надо его пока тревожить, — удерживал их отец Михаил, — моей власти здесь мало...

Березанцы вроде бы и согласились с отцом Михаилом, что только высшие духовные лица могут определить участь нетленного солдата, признать его останки святыми мощами или не признать, но вместе с тем и тревожились, как скоро это случится, и где пребывать до той поры обретенному.

И тут возник рядом с отцом Михаилом совсем было затерявшийся в толпе Прошка.

— В раку его надо заключить, — подсказал он самое верное, на его взгляд, решение. — Заключить в раку и в церкви под Престолом поставить. А там видно будет...

Отец Михаил окинул притихшую свою паству, не всегда прилежную в отправлении церковных обрядов, отеческим взглядом, словно советуясь с ними и сомневаясь, дозволено так ему поступить или не дозволено, потом перевел взгляд на нетленного солдата и, наконец, спросил выжидающе взиравшего на него, застывшего Прошку:

— А ты раку смастерить сумеешь?

— Отчего ж не суметь, — загорелся Прошка, радуясь согласию отца Михаила. — Сладим с Божией помощью.

— Благослови тебя Бог! — отец Михаил осенил Прошку наперсным крестом. — А мы все будем молиться за тебя...

* * *

Молва о нетленном солдатике, обретенном в Березанке, быстро облетела все окрестные деревни и села, и к нему потянулись пешие, конные и автомобильные паломники. Но на подступах к глинищу их неприступным кордоном встречали поисковики, которые переместили туда свою палатку и теперь несли посменно караульную службу. Всегда был при них и кто-нибудь из добровольных церковных помощников

отца Михаила, а часто и он сам. Встречая паломников, караульщики сочувственно, но непреклонно отвечали на все просьбы:

— Пока рано. Вот заключим в раку, получим благословение архиерея, тогда и приезжайте.

Паломники на караульных не обижались, понимая, что так оно, наверное, и должно быть: без позволения епископа приложиться к нетленному солдату нельзя, ибо не положено... Они лишь просились хотя бы издалека посмотреть на глиняную ячейку, где покоится солдат. И это им удавалось. Паломники, не отрывая глаз, глядели на прикрытую брезентом ячейку (вдруг опять нагрянет дождь, да еще с грозою!), вздыхали и соглашались ждать, сколько понадобится...

А Прошка все эти дни старательно мастерил раку.

У него давно лежала в повети дубовая, в два обхвата толщиной колода. Приобрел ее Прошка в лесничестве на осенней расчистке и намеревался, распустив на плахи, сладить в доме новые подоконники-подушки взамен старых, заметно уже подгнивших. Но дело это у него все откладывалось и откладывалось. Самостоятельно распустить колоду на плахи ручной пилой Прошка по слабости своих сил уже не мог. Надо было везти ее на пилораму в район за двадцать километров, поскольку своя, колхозная, разрушилась и бесследно исчезла вместе с колхозом. Но доставить туда колоду у Прошки не имелось никакой возможности: ни грузовых машин, ни тракторов с прицепами в Березанке не осталось. Несколько раз Прошка заикался насчет колоды и подоконников сыну, но тот не торопился исполнять его просьбу: то было ему недосуг, то надумал он поставить в доме диковинные пластмассовые окна, какие теперь повсеместно ставят в городских квартирах, и начал уже для осуществления этого замысла копить деньги.

Так и долежала колода до своего сокровенного часа. Выкатив ее на середину повети-мастерской, Прошка, помолясь, приступил к ней со всеми своими инструментами. Несмотря на суетный нрав, плотником и столяром он был отменным, редкого мастерства и искусства. Рубил ли Прошка дом или сарай, вязал ли косяки-лутки, рамы и двери, так он все это делал ладно, и не только ради прочности и повседневной необходимости, а еще и ради красоты, чтоб и дом, и сарай, и окна-двери не просто служили по принадлежности своей, но и радовали, веселили глаз. На крыше Прошка непременно водружал голосистого сторожевого петушка, оконные наличники-обиконцы делал резными, с затейливыми кружевными и ажурными кокошниками. Такими же кружевными, воздушно-легкими выходили из-под рук Прошки и подстрешные «фартуки», на изготовление которых иные нынешние столяры не желали тратить ни сил, ни времени.

Не раз и не два за свою долгую жизнь приходилось Прошке мастерить скорбные, но, куда ж деваться, необходимые в завершении человеческого земного срока домовины. Только и они у Прошки получались не устрашающими, тяжелыми или гнетущими, а всего лишь печальными, грустными, пахли сосновой смолой-живицей и, казалось, облегчали и участь усопшего, и горе остающихся на белом свете его сородичей.

Раку Прошка мастерил впервые. Прежде он лишь несколько раз видел ее во время солдатской своей службы в Киеве, когда бывал в пещерах Киево-Печерской лавры, да в знаменитых древних монастырях, куда заглядывал не столько на богомолье, сколько — по молодости лет — из любопытства. А теперь вот довелось мастерить раку самому.

Перво-наперво Прошка принялся вырубать столярным малым топориком ложе раки, долотами и стамесками разных размеров, рубанком-горбатиком подчищать его. Потом взялся он за наружные ее стороны. В изголовье вырубил православный восьмиконечный крест, а в ногах вырезал веночек полевых цветов и трав. На продольных боковинах Прошка пустил стремительно бегущие веточки-вьюнки с продолговатыми листочками, одинаково похожими и на лавровые, и на более привычные вербные.

В ожидании, пока Прошка справится с изготовлением раки, село притихло и будто замерло. Не было слышно ни громких перекличек, ни праздного веселья, ни даже ребячьих голосов. Лишь изредка, встречаясь где-нибудь на улице или возле колодца, березанцы, настороженно прислушиваясь к звукам, которые неслись с Прошкиного двора, к шорханью рубанка-горбатика, полушепотом говорили друг другу:

— Рубит...

— Строгает...

— Ишь, шуршит.

И опять замирали в безмолвии и поспешно расходились по домам...

* * *

Завершил свою работу Прошка на третий день к вечеру и пригласил в поветь отца Михаила с Николаем Петровичем поглядеть, ладно ли получилось, достойно ли и не требуется ли дополнительная доводка.

— Все ладно, — в один голос сказали отец Михаил и Николай Петрович, дивясь искусству старого Прошки.

Рака и вправду вышла у него на славу, редкой красоты и искусства, прочная и легкая. При свете заходящего августовского солнца, которое проникало сквозь широкое, обрамленное резными наличниками окошко на поветь, она первозданно сияла, словно была выточена не из обыкновенного дуба, а из золота или серебра. Со своими полевыми цветами и травами, туго сплетенными в веночек, лавровыми и вербными бегунками по долгим боковинам, а более всего — православным восьмиконечным крестом в изголовье рака, казалось, зримо поднималась над усыпанным стружками полом повети и парила в вечернем воздухе.

Отец Михаил отслужил молебен, окропил раку святой водой и, при полном согласии Николая Петровича и Прошки, назначил на завтра перенесение в нее нетленного солдата, а потом Крестный ход с нею до самой церкви.

* * *

Извещенное о решении отца Михаила, село с раннего вечера начало готовиться к завтрашнему Крестному ходу. Женщины достали из шифоньеров праздничные наряды, мужчины отложили все задуманные на завтра дела и поездки, мылись в банях, чисто брились, а дети без долгих уговоров и напоминаний пораньше легли спать, чтоб пробудиться утром ни свет ни заря вместе с отцами-матерями и не пропустить, как будут поднимать из глиняной ячейки и опускать в раку нетленного солдата.

Когда же августовская, наполненная ожиданиями ночь иссякла, березанцы, наскоро управившись с домашними заботами — подоить и выгнать коров в стадо, накормить кур и уток, обиходить прочую

мелкую живность, протопить печи, — семьями и поодиночке потекли к глинищу.

Часам к девяти начали подходить и подъезжать пешие, конные и автомобильные паломники из соседних, дальних и ближних деревень, куда долетел слух о сооруженной Прошкой раке и о поднятии солдата с глинища. Долетел он и по проводным, и по модным нынче беспроводным карманным телефонам, а всего надежнее — сам собою, не зря же в народе говорят: «Слухом земля полнится».

Отец Михаил в церковном облачении, горящем на солнце золотыми и серебряными нитями, подтянутый и значительный Прошка в белой фланелевой рубашке и Николай Петрович с помощниками — все в камуфляжной зеленой форме (жаль, без погон!) — встречали всех приходящих и расставляли вокруг ячейки по бугоркам и холмикам так, чтобы всем было одинаково хорошо видно, что там происходит.

Из церкви были принесены хоругви, иконы, выносной крест с окаймленным Божественным сиянием ликом Иисуса Христа, фонарь на длинной точеной ручке с загодя установленной в нем толстой восковой свечой. По указанию отца Михаила хоругви, крест и фонарь были розданы самым крепким и надежным мужчинам, а иконы — женщинам и детям.

Но главное, что влекло и приводило в тревожное и печальное состояние духа, в некий трепетный восторг паломников, была установленная у края ячейки рака, которую Прошка вместе с Николаем Петровичем, Алешей, Витькой и Славиком привезли сюда еще затемно на легковушке, оборудованной багажником на крыше.

В изголовье раки на табурете сидел Сергей Махоткин, тоже по-праздничному принаряженный домашними в новую рубаху, пиджак и легонькие летние туфли. Говорят, внук хотел прикрепить ему на грудь все фронтовые и послевоенные ордена и медали, то тот решительно воспротивился: «Ни к чему это нынче!» И внук не посмел ослушаться деда, хотя и не понял: а почему, собственно, «ни к чему»?

Паломники с удивлением глядели на дубовую раку, отшлифованную мастером до мраморного блеска, на ее резной крест, цветы и листья, но еще с большим удивлением глядели на Сергея Махоткина. Впервые за долгие годы руки его не были заняты длинной ореховой палочкой-поводырем, и он не знал, куда их девать: то тяжело складывал на коленях, то опускал почти к самой земле вдоль табурета, то прикасался к раке, словно согревал их исходящим от нее теплом и светом.

Все было уже готово к подъему солдата и Крестному ходу, но Николай Петрович то и дело прикладывал к уху махонький телефон-мобильник и просил отца Михаила подождать еще немного: обещался подъехать военком с какими-то высокими чинами, а без них идти Крестным ходом было как-то нехорошо.

Но вот, наконец, Николай Петрович после очередного телефонного разговора сообщил собравшемуся на лугу народу:

— Вроде бы едут...

Березанцы и паломники сразу заволновались, потеснее сгрудились в стайки на бугорках и холмиках: как-никак, едет начальство, к тому же военное, всегда более суровое и требовательное, чем привычное для сельских жителей гражданское, и еще неизвестно, как оно себя поведет. Вдруг опять вознамерится похоронить нетленного солдата на деревенском кладбище, рядом с братской могилой? И как тогда противиться

несговорчивому начальству, как оборонять солдата от этого, пусть, может, и законного, а все ж таки не Божеского намерения?

Ждать пришлось недолго. Не успели березанцы и паломники даже накоротке переговорить между собой о предстоящей обороне, как из окраинной деревенской улицы вынырнула «Волга» военкома. Подъехав к глинищу, она, чуть потеснив мужчин с хоругвями на торфяник, остановилась в двух шагах от раки.

Но вместо военкома из «Волги» совсем неожиданно для березанцев и паломников выбралась маленького росточка, почти неприметная старушка в белом, повязанном под подбородок платочке и мужчина лет шестидесяти, заботливо поддерживающий ее под локоток.

Старушка в пояс поклонилась народу, осенила себя твердым крестным знамением и встала под занесенную уже для благословения руку отца Михаила.

— Сестра убитого с сыном, — тут же побежала по бугоркам и холмикам, неведомо как и возникнув, молва о вновь прибывших.

— А где же военком?! — озабоченно спросил шофера Николай Петрович.

— Подъедет попозже, — ответил тот и поспешно стал разворачивать машину, чтоб отправиться назад в город.

Николай Петрович опять было приложил мобильник к уху, но потом спрятал его в карман и подошел к старушке.

Отец Михаил троекратно благословил ее, приобнял за плечо и, зорко следя, чтоб она случайно не оступилась на травянистом, уже затоптанном сотнями ног дерне, повел ее к обрыву ячейки.

Старушка поправила на голове платочек, прикрыла перед горестным испытанием глаза, потом долгим, неотрывным взглядом посмотрела на лежащего в глубине глиняного склепа солдата.

— Он, — едва слышно выдохнула она. — Ванечка! — и, закрыв заплаканное лицо худенькими ладонями, припала к груди подоспевшего на помощь сына.

Отец Михаил отдал старушку на его попечение, сердцем понимая, что в эту тяжелую минуту ей лучше побыть с родным человеком.

Вскоре она успокоилась, вытерла глаза кончиком платка и уже просветленным, ясным взглядом смотрела на лежащего в глиняной могиле брата с широко разметанными по сторонам руками.

Ни отец Михаил, ни сын ее, ни Николай Петрович с ребятами-поисковиками не смели нарушить этого созерцания. Они молча стояли поодаль, за спиной старушки, не зная, что и как можно сказать в такую минуту.

И вдруг растерянное их молчание прервал Сергей Махоткин. Он поднялся с табурета, почти уже привычно, без посторонней помощи подошел к старушке, прижал ее к себе, тихо поцеловал во влажные, вновь наполнившиеся слезами глаза и совсем тихо произнес, указывая взглядом на ее брата:

— Я только прикоснулся к нему — и вот, вижу теперь. А до этого двадцать лет был слепым.

Старушка в ответ обняла Сергея, погладила по щеке старенькой своею теплой ладонью и сказала:

— Он всегда таким был, будто Ангел небесный.

Отец Михаил, Николай Петрович и сын старушки почувствовали себя при таком откровенном разговоре Сергея с сестрой солдата лишними и бесшумно отошли от ячейки к мужчинам-хоругвеносцам.

Старушка не стала их окликать и удерживать, как будто и прежде рядом с ней и Сергеем никого не было. Она достала из бокового кармана кофточки тщательно завернутый в носовой платочек узелок, осторожно развязала его и протянула Сергею старую пожелтевшую фотографию довоенных времен. Сергей принялся внимательно и пристально ее рассматривать. На фотографии был изображен молодой парень, может, лет четырнадцати, в рубашке-косоворотке и коротковатых брюках, а рядом — совсем малая, русоволосая девчонка в легоньком летнем платьице с надплечными крылышками.

— Это мы с Ваней в тридцать шестом году, — пояснила она Сергею.

— Какой молоденький, — словно припоминая самого себя в давние те довоенные годы, отозвался Сергей.

— Молоденький, — еще раз взглянув на фотографию, вздохнула старушка и вдруг начала рассказывать Сергею о брате все, что помнила из его юношеской жизни. — Бывало, заболею, так Ваня сядет рядышком, положит руку — вот так — на лоб и будто заберет болезнь на себя, она сразу уходит, отпускает, — и к вечеру я уже совсем здорова и весела.

Сергей не перебивал старушку, а лишь украдкой поглядывал на нее просветленными глазами и все больше и больше узнавал в ее лице черты старшего брата: такой же высокий чистый лоб, такие же гибкие, в широкий разлет брови, такой же тонкий заостренный подбородок. И только взгляда глаз сестры и брата он сравнить не мог. У старушки взгляд был живой и теплый, ясные глаза с подвижными, чуть покрасневшими от слез веками смотрели прямо и доверчиво. У брата веки были крепко-накрепко сжаты.

О чем еще говорила, что еще рассказывала Сергею старушка, того никто не слышал. Никто не уловил и того, что Сергей сказал ей в ответ. Отец Михаил и Николай Петрович в который уж раз принялись советоваться между собой, как извлекать солдата из ячейки и водружать в раку, чтобы нести Крестным ходом в церковь. Они оглядывались по сторонам, ища среди березанцев и паломников Прошку, чтоб спросить и его мнения. Уж кто-кто, а Прошка подсказал бы им, что и как надо делать: в войну ему вон сколько довелось поднимать из земли, переносить и перевозить убитых.

Но Прошка нигде не отыскивался. Как только раку установили возле ячейки, он незаметно затерялся в толпе, в самых дальних ее рядах. За ним давно водилась странная такая привычка: срубив дом, сарай или баньку с воинственно вознесенным на кровлю сторожевым петушком, приладив на окнах резные наличники, а в подстрешье — «фартуки», он всегда отходил в сторону, давая возможность хозяевам, их соседям и всем прочим жителям без стеснения оценить его плотницкое умение и искусство. Но еще с большим пристрастием оценивал Прошка в такие минуты это умение сам, и почти всегда находил какие-нибудь досадные недоделки и недочеты. Он и нынче, выбрав себе местечко на маленьком бугорке торфяной кочки, взыскательным взглядом окидывал раку из-за спин березанцев и паломников. И ему явственно виделось, что в переплет с бегущими по обеим ее сторонам вьюнками из лавровых и вербных листьев все-таки надо было пустить полевые и луговые цветы: звонкие колокольчики, васильки-волошки, вереск и чабрец, и тогда бы рака смотрелась, может, даже ничуть не хуже, чем в Киево-Печерской лавре.

В изножье раки, рядом с веночком, Прошка обнаружил один недобранный стамескою или рубанком бугорок и так раздосадовался этим недочетом, что готов был уйти домой и затвориться где-нибудь в повети.

Отец Михаил, не найдя в толпе Прошку, своей волей принял решение:

— Давайте начинать. Пора!

— Давайте, — поддержал его Николай Петрович и спустился по лесенке в ячейку.

Вслед за Николаем Петровичем спустился туда и какой-то задумчивый сегодня Алеша. Вдвоем они подвели под солдата заранее заготовленный дощатый помост; правую его руку с зажатой в ней винтовкой прислонили к бедру, и получилось так, будто он взял ее на караул, чтоб заступить на доверенный ему самый ответственный пост, а левую положили на грудь чуть повыше солдатского ремня с пятиконечной звездой.

Удостоверившись, что солдат лежит на помосте ровно и прочно, Николай Петрович с Алешей оторвали его от земли и подняли наверх. Там помост из рук в руки приняли Витя со Славиком, отец Михаил, мужчины-добровольцы из березанцев и паломников и Прошка, который, наконец, преодолев свои сомнения, объявился возле ячейки. Он немедленно откликнулся на просьбу Николая Петровича и отца Михаила и принялся распоряжаться работами, зорко следя за тем, чтобы при возложении солдата в раку никто не потревожил его лишним резким движением — не отвлек от постовой караульной службы, отныне определенной ему навек.

Все у них получилось как нельзя лучше. Солдат лег в раку покойно и аккуратно, не выронив из правой руки винтовки, а левую не отняв от груди.

Ничто в нем не изменилось и не нарушилось: ни откинутая чуть назад голова, ни по-юношески худенькие шея и плечи, ни в струнку вытянутые ноги в солдатских ботинках и обмотках. И лишь лицо солдата при ярком полуденном сиянии солнца вдруг посветлело, нестойкий коричневатый загар словно сошел с него; оно посвежело и даже как будто зарумянилось.

Старушка, до этого мгновения молчаливо стоявшая в сторонке, теперь подошла к раке, обняла брата, припала щекой к его согретой солнцем щеке и сказала так, как, наверное, не раз говорила в далеком своем довоенном детстве:

— Братик мой милый...

Никто ей не мешал, не тревожил и не торопил ее. Все понимали, что сестре надо хоть немного побыть с братом наедине, высказать ему все, что долгие годы разлуки таила и берегла в душе своей только для него одного, единственного. Ведь сейчас брата отнимут, отторгнут от нее, и он уже будет принадлежать не только ей, а и всем иным людям, перед которыми неожиданно явился, нетронутый землей и тлением. Старушка еще теснее припала к брату и не смогла сдержать невольного горестного упрека:

— Мать так надеялась, так ждала, что ты вернешься...

Солдат, казалось, внимательно слушал ее сестринские излияния, слушал и внимал им. И вдруг как будто произнес с успокоительной, чуть тронувшей его губы улыбкой:

— Вот я и вернулся...

Старушка заплакала навзрыд, прощально обняла брата и уступила место возле раки своему сыну.

Тот склонился над ней, тоже заплакал, изнемог от слез и в этом изнеможении нашел в себе силы лишь прикоснуться широкой ладонью к груди солдата, которого видел прежде только на фотографии да знал о нем по рассказам матери.

— Оставь его, Ваня! — легонько тронула сына за рукав старушка. Слова ее прозвучали негромко, но отчетливо и по-матерински властно. Их услышали и на самых отдаленных бугорках и холмиках. Там все пришло в волнение и беспокойство. Отец Михаил больше медлить не стал и отдал распоряжение обустраивать Крестный ход.

Возглавляя его, далеко вперед, на луговую тропинку вышел с иконой Пресвятой Богородицы в руках высокий, уверенный в шаге старик Матвей Еремин, который во время любого Крестного хода: на Рождество, на Пасху, на Троицу, на Преображение Господне — всегда носил ее, задавая Крестному ходу особенно торжественную и мерную поступь. Вслед за Матвеем встал с престольным Животворящим крестом бывший учитель труда восьмилетней березанской школы, а теперь один из самых усердных помощников отца Михаила в церкви Александр Наумович. Потом, по-военному подравнявшись в шеренгу, выступили мужчины с фонарем и хоругвями и несколько женщин и детей со своими, снятыми с домашних киотов иконами. Они все повернулись вполоборота к ячейке и ждали, когда отец Михаил, прочитав молитву, велит отрывать раку от земли и вставать с нею в центре Крестного хода.

Минута была скорбная и напряженная, наполненная молитвенными голосами отца Михаила, дьякона и певчих. Но вот иссякла и она, и к раке с двух сторон подступили Николай Петрович с Алешей и Витя со Славиком.

По команде Николая Петровича они подняли раку на плечи, и она сразу взметнулась, вознеслась над людскими головами, почти вровень с хоругвями. Золототкаными своими полотнищами с ликами Иисуса Христа и Божией Матери они широко развевались на ветру, образуя вокруг нее охранный шатер.

Отец Михаил, дьякон и певчие, выждав несколько мгновений, пока рака твердо укрепится под этим шатром, образованным хоругвями, расположились в двух шагах позади нее. Их примеру последовали старушка с сыном и Сергей Махоткин. Поддерживая друг друга, они отдельной, соединенной теперь почти родственными узами шеренгой встали за спиной отца Михаила и приготовились к дальней и нелегкой для них дороге. А за ними, сколько видно было глазу, вдоль глинища и луга, до самой речной уремы выстраивались березанцы, пришлые и приезжие паломники.

Прошка поначалу хотел было тоже подставить плечо под раку, чтоб нести ее к церкви, но потом отступился от этого намерения, вовремя сообразив, что он, по сравнению с молодыми мужчинами, маловат ростом, да и силы уж не те, так что будет лишь помехой для них, сбивая с шага.

И опять он затерялся в толпе и теперь уже совсем издалека, поверх людских голов, смотрел на раку и с особенным пристрастием укорял себя, что не пустил вдоль лавровых и вербных бегунков полевые и лесные цветы...

Но долго удерживать на этом внимание у Прошки не получилось. Отец Михаил осенил себя напутственным крестным знамением и подал условный знак Матвею Еремину, мол, пора, выступаем с Богом.

Матвей долго ждать себя не заставил. Он поднял икону Пресвятой Богородицы высоко над головой и сделал по торфяной тропинке первый шаг. И в то же мгновение далеко в селе на церковной звоннице ударил колокол. Звонарем в Березанке был молодой выпускник районной музыкальной школы по классу духовых инструментов, игравший на валторне, Паша Красавкин. Еще в первые годы музыкальной своей науки он пристрастился подниматься на звонницу, которой тогда безраздельно владел его дед, Борис Серафимович, или Борис-звонарь, как все, от мала до велика, звали его в Березанке. Паша вначале на слух, а после уже и согласно нотной грамоте перенял от деда старинное умение и тайну колокольного перезвона. Поименно различал он все, какие только бывают в храмах колокола: большие и малые, праздничные, воскресные, полиелейные и еще особые — зазвонные колокольцы. Когда же дед Борис умер, Паша с согласия и благословения отца Михаила стал давать и все будничные, и праздничные звоны, и заупокойные уже в одиночку, ничуть не уступая, а может, и превосходя деда.

Нынче отец Михаил велел Паше подняться на церковную колоколенку с утра пораньше и зорко следить за всем, что будет происходить на лугу. И как только Крестный ход с поднятой над головами ракой обустроится, чтоб идти к церкви, так, нисколько не медля, сразу же ударить в колокола.

И Паша не упустил нужного мгновения. С первым шагом Матвея Еремина он тронул главный, самый тяжелый колокол вначале чуть слышимым, далеким звуком, а потом, подстроив к нему колокола и колокольцы поменьше, огласил всю округу таким звоном, какого никто и никогда еще здесь не слыхивал. Он не был заупокойно-поминальным, но и не был радостно-праздничным, а каким-то особым, торжественным, возвышающим душу.

Отец Михаил, дьякон и певчие, едва лишь этот звон коснулся их слуха, на едином дыхании возгласили Трисвятое: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас...», за ними подхватила старушка, вслед за ней — сын и Сергей Махоткин, который впервые за долгие годы своей слепоты шел в столь дальнюю дорогу без палочки и сопровождения, смело и безоглядно.

От них молитва как бы сама собой перекинулась на остальных паломников, волна за волною захватывая все новые и новые ряды, и вскоре пел уже весь необозримый Крестный ход.

Николай Петрович в просвет между хоругвями иногда беспокойно поглядывал на село, надеясь увидеть на выезде машину военкома. Но она что-то все никак не появлялась...

Крестный ход тем временем, стройно вытягиваясь в длинную нескончаемую ленту на лугу, вскоре подошел к первым деревенским домам и начал заполнять широкую песчаную улицу.

И вдруг, откуда ни возьмись, над ракой, крестом, иконами и хоругвями взвилась стайка птиц.

— Горлицы это! Горлинки! — радостно воскликнул первым узнавший их Прошка.

Вслед за ним все березанцы и паломники признали в птичьей стайке диких лесных голубей-горлинок. Признали и удивились: как это они их

не сразу различили, когда те только появились над ракой, над иконами и хоругвями. Хотя, может, потому и не различили, что горлинки — птицы скрытные, к людям они, как правило, не залетают, а живут в полном уединении в дальних лесах и чащах.

Но вот сегодня, нарушив свои привычки, залетели...

Когда показалась церковь с широко распахнутой дверью притвора, горлинки взмыли к голубой, увенчанной крестом маковке и уселись под ней на карнизе.

Так, под колокольный звон, молитвенное пение отца Михаила и певчих и голубиное воркование раку внесли в церковь и поставили подле Престола, под иконы Божией Матери.

Крестный ход у церковного порога вытянулся в цепочку, и каждый паломник стал с крестным знамением подходить к раке, кланяясь, прикасаться к ней и склонять перед нетленным солдатом голову.

Людской поток паломников и березанцев шел к нетленному солдату до самого позднего вечера, и горлинки ни разу не стронулись с карниза. Но когда возле солдата остались одна лишь старушка-сестра с сыном да отец Михаил с Николаем Петровичем и Прошкой, они вдруг единым взмахом крыл влетели в церковь и вихрем закружились над ракой, как будто возвращая солдату из высокого, только им одним доступного поднебесья его молодую бессмертную душу...





ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ

Дети священной Победы

* * *

— Почто сховал печаль свою
В пустой рукав, солдат?
— Моя рука давно в раю,
А сам иду я в ад.

Когда огня железный вой
Рванулся через край,
Рука рванулась за братвой,
А угодила в рай.

Теперь сам Бог ей — политрук.
А мне-то что с того?
Как видно, не хватает рук
У воинства Его.

Слова «Век воли не видать»
Я выколол на ней.
А рядом «Не забуду мать...»,
Чтоб поняли верней.

Архангелы на свой манер
Мой бред переведут...
Держись, собака Люцифер!
То русские идут!

* * *

В парадных военных расчетах
Великая слава течет.
В расчет не берут желторотых.
Их скромная слава не в счет.

Оркестров мажорное форте —
Бесстрашным солдатам страны.
И дети победного фронта
Стоят у обочин войны.

И с ними стоит моя мама
И машет героям рукой.
Салютов небесная манна
Над Родиной плещет рекой!

За спинами граждан нарядных,
Ничуть не смущая их вид,
На ящике из-под снарядов
В слезах моя мама стоит.

Вот так всю войну простояла,
Поскольку росточком мала.
Снаряды она снаряжала
И верой в Победу жила.

Не то моей маме обидно,
Что горьким был доблестный труд,
А что из-за роста не видно,
Как строем гвардейцы идут.

Несметные выпали беды
На долю геройской страны.
А дети священной Победы
Стоят у обочин войны.

В толпе ротозеев парадных,
Ничуть не смущая их вид,
На ящике из-под снарядов
Военное детство стоит.

Литерный эшелон

Майским салютом расцвел небосклон,
Славя весну и Победу...
Литерный в небе идет эшелон —
Павшие воины едут.

Через разливы бурлящей весны,
Через вселенские кущи
Павшие воины едут с войны
К нашим потомкам грядущим.

Мимо крылечка родного села,
Мимо заводов и пашен
Всех их в один эшелон собрала
Память священная наша.

Сполохи мирной рассветной зари
К горным возносятся высям.
В небе весеннем парят сизари,
Как треугольники писем.

Гулом объята небесная даль
Отчей родимой округи.
Солнце надраено, словно медаль
«За боевые заслуги».

Головы воинов снежно белы,
Лица светлы и бесстрашны...
Вот они — русской Победы орлы,
Соколы Родины нашей!

Им колокольный звучит перезвон,
Славя весну и Победу.
Литерный в небе идет эшелон —
Павшие воины едут.

К однополчанам своим боевым
Через сраженья и беды
Павшие воины в гости к живым
Едут на Праздник Победы!

* * *

Как из дикого смертного боя
Уцелевший усталый боец,
Выходил из крутого запоя
Почерневший Сережкин отец.

И, терпя непосильную муку,
Паренек, не окрепший еще,
Под шальную отцовскую руку
Подставлял неумело плечо.

Шли глухим коридором барака
На ступеньки родного крыльца...
И упрямо Сережа не плакал,
Чтоб в беде не обидеть отца.

И Отечества светлые дали
Открывались мальцу впереди.
И — рыдали, рыдали медали
На широкой отцовской груди.





АНДРЕЙ АНТИПИН

Горькая трава

Повесть

I

Очкастый рудой мужик, стрелявшийся на днях из самодельного пистолета, был родом из бурятских степей. Звался Саня. Любил папиросы «Беломорканал» — питерские. Об этой Саниной страсти с гордостью говаривала его жена Наина, когда они в праздник задерживались на клубных посиделках:

— Саня у меня деликатес: он другие фабрики не курит!

В Харетах он состоял в шоферах при молочной ферме, возил полный кузовок баб и бидонов, бил тех и других на кочках-буераках, и бабы стучали черпаками в кабину, а бидоны гремели крышками и плевали молоком... Это было до армии; после Саня крутил гайки слесарем-автомехаником, зевал монтером на почтовом крылечке, без году неделю конюшил... Это его и заело. Он от скуки напялил на себя дерюгу из черного барашка и подался в сторожа, спал на лавке, а то учил нас, ребятишек, воровать со склада гвозди и сурик.

— Было у меня, мужики, в хозяйстве две жены, — и обе, конечно, проходимки! Одну я схватил за шкварник и сжег в печке; другую порубал на куски, скормил поросятам... — все, случалось, рассказывает Саня, или надорвет зубами свежую пачку «Беломора», обстучит папиросу о колено, задушит бумажное горло двумя быстрыми пальцами и смолит в темную ночь, щурясь от сизого дыма из далекого сумрачного Петрограда...

Нигде ничто Саню не держало, все-то он подбирал службу по себе, но какой он есть — это звездное поле Саня к сорока годам и сам, кажется, не освоил.

...Он с детства уважал черно-белые размашистые фильмы, под пулеметный стрекот бобин выпускаемые на клубный экран из узкой амбразуры кинобудки. Цветные ленты презирал:

— Слепят, как новые пятаки! Глядеть больно...

Ночами школьник Саня трепал книжки о войне, ради пущей сласти и мальчишечьей славы потаскивая их из библиотеки, из окошка которой он в темноте вынимал отверткой стеклину. Книжки, как и полагалось, хранились нелегально в диване, и эта подпольная революционность, это стихийное партизанство будили в Сане кровь и пенили воображение. Он чего-то царапал карандашом на титульном листе, организовывал в стаю косые циферки, раскатывая сухими волнами кожу на лбу и выпятив обветренные губы, боевые карты неизменно и нудно перемерял штангенциркулем, а если находил неточности, многословно отписывал о своих соображениях по тому адресу, что прилагался в конце книги, и с волнением ждал ответа — может быть, даже через сельсовет... Так-то Саня скоро посадил свои глаза, — дядя Леня-американец (он жил в районном центре) привез ему из аптеки стеклянные.

Знал Саня много чего изустно, больше истории о давних днях, когда «сахар был слаще, жись лучче, «сучок» стоил рубель писят», и, повествуя,

подражал старикам, курившим в тени изб. При этом он с удовольствием шоркал рукавом комсомольский значок — уходящую цацку эпохи — и верил в банника, в конец света, в то, что есть живые мертвецы, и дождь в сенокос обязательно хлынет, если развалить литовкой лягушку.

В дембельской драке с городскими пижонами, затрещавшей по швам на читинском вокзале, его настигла в шею стальная приблуда. Назавтра Саня объяснил милиционеру, что это и должно было случиться.

— Ну, почему?! — спросил милиционер.

Оказалось, за прощальным армейским ужином нож повернулся острием в Санину сторону...

У матери Саня был вторым ребенком — не по счету, а по наличке. Он подгадал в нее — русскую, ржаную, — и был ближе к сердцу — поскребыш горький. Двух его старших братьев мать спустила мертвыми; сестра Людочка, срединная между Саней и Родей, в пять лет свалилась под мост...

Отец — совхозный зоотехник — наколол руку тифозной иглой, когда Саня сушил на ветру сопли. Буряты разожгли у ворот дымную ветошь, и малой Саня, вернувшись со всеми с кладбища, раз и другой со смехом прыгал через костер... Больше отец ничем не остался в нем. Саня знал со слов матери, что первенец Родион уродился в Кима Африкановича: раскосые вдумчивые глаза, жилистое заостренное лицо, тонкий дерганый рот... И, глядя из-под ладошки на брата, маленький Саня любил в нем забытого родителя, как любят радугу и солнце. Родя в ответ возил Саню на рамке велосипеда, забирал его по вечерам из садика и хлестался за его синяки и обиды с другими мальчишками...

Мать с рассвета возилась в пекарне, рано получила надсаду и часто умирала:

— Вот оставлю вас однех... — слезно глядела она в красный угол на святых, тайно восстановленных в правах. — Родьку, как старшего, определят на конюшню, а тебя, Санька, спихнут в ынтырна-а-ат!

И сердце сжималось у Сани в груди, как мокрый снежок в руке, он прятался в сарае и плакал о матери, о ее будущей черной смерти, о своем горьком одиночестве. Но, благо, мать наутро раскачивалась, ходила белая и растерянная, все роняя из рук, не замечала никого и ничего...

Саня рос под Родиным крылом, как под небом Родины.

В сонные часы и дни материной болезни, когда ни половицы не скрипнут, ни святые не заговорят, Саня спал с братом, от которого пахло рыбалкой, порохом, степью, свободой...

О Роде болтали разное.

Он сторонился людей, жил своим высоким сердцем и своей умной головой, тоже зарылся в книгах, но читал их не так, как Саня, — с жадным голодным храпом, — а с твердым нутряным пониманием ненужности и даже вредности прочитанного. Все больше о чем-то думал, словно Господь припас ему задачу, он же давно ее осилил и теперь не ведал, куда податься со своим горьким знанием.

— Ты почему такой-то, Родька?! — матерински воздыхал Саня.

— Какой?

— Ну, нет же у тебя ни друзей, ни девки! Другие, в твои-то годы, слушают этих... «Стоунов» и лижутся на танцах, а ты и в клуб не ходишь...

Родион с тоской отводил глаза, а то, не глядя, доставал из-за спины курево, с хрустом заломив руки, — подмышки, как у мужика, курчавились терпко и черно на фоне бледно-голубой майки, — с нервным

треском зажигал спичку и, держа папиросу меж узких смуглых пальцев, наколотых крючками и шурупами, торопливо и жадно глотал дым.

— Не то это все...

Саня следил за ним с восхищением, бегал по комнате в задравшихся трусах и свернутой газетой гнал в распахнутую форточку, в звенящую сверчковую улицу сладкое душное облако:

— Ну, Ро-одька! И мамки не боится... А дашь пошабить?!..

На столе у Родиона, как Библия, лежал захватанный журнал — «Моделье-конструктор». Они прошерстили «морской» выпуск и даже склеили фрегат из деревянных линеек, поставили парус из пионерского галстука и понесли судно на речку, вложили в него записку с желаниями и пустили в вечное плавание.

Санины мечты были телячьи и к его восемнадцати сбылись, а у молчуна Родиона судьба пошла винтом.

Брат выучился на механизатора и, приехав из города с красным дипломом и гордой красивой женщиной, отделился. Жена его через год или два спуталась с учителешкой, унесла курносую дочку, как птица-аист, — Родион, длинный и сломанный, с работы брел домой огородами, жирными да вязкими от пролившихся дождей.

— Не торопись, Санек, с поженитьбой! Приглядись для начала: что за человек?.. — наставлял Родион, пьяными руками, словно прутьями железной клетки, загребая Саню в объятья, когда отслуживший соловушка по старой привычке прилетал к брату за советом, а то просто торчал на немытом крыльце.

Но Саня не послушался и, едва в деревню запорхнула интересная накрашенная бабочка, спросился на волю.

— Ух ты, мой глупый перец! — Родион отдал ему ключ от своей избы и вернулся к матери, а шаферить на Саниной свадьбе отказался...

II

В доме у Сани всюду было железо. Под столом — гаечные ключи, зубатые шестерни, в углу — топоры без топорищ, на подоконнике — горсть свечей зажигания. Под матрасом — разводной ключ. К спинке семейной кровати Саня прикрутил лодочный мотор «Нептун-23» и, проверяя работу цилиндров, иногда заводил его по ночам. Даже в чугунной лытке, в которой тушили мясо и картошку, валялись болтики, шайбочки, крючки. А лакированный теремок с кукушкой замолчал на другой месяц после свадьбы, пробитый шалой пулей: Саня застал с молодой женой барабашку...

Еще удивительно, что Наина вообще пошла за него.

Суеверная блажь с годами не выветривалась из Сани, сидела в нем, как дурная болезнь в худом теле. Сколько Наина ни шефствовала над ним, сколько Родион ни вправлял ему мозги, и мать, задыхаясь, вползамаха ни хлестала полотенцем через весь Санин хребет, на который он регулярно скреб, — ничего они и гуртом поделать не могли. Уже и виски ему надышала серебряная птица, смахнула крылом клок ржавых волос, округлив стеснительное пятно плешины, и со всей страстью долбанула в нее клювом... Нет! — Саня как верил, что вечером не занимают соль и деньги, на пороге не стоят — к покойнику, а спички на открытое место кладут — к пожару, так и продолжал цепко верить, своим неистовством доводя соседей до смеховых колик, а жену — до белого каления.

Они плохо жили — жгучая и сарафанная баянистка из клуба и егозливый Саня, у которого семь пятниц на неделе, и все — выходные. Это Бог отвел их от большой беды, не послал детей: Саня в шоферах застудился от земли, чиня по зиме машину, и семя его с той поры было пустым. Уж он и сам мотался по курортам, и жену на всякий случай затуркал лечением, но все без толку.

— Иди, старуха, поскреби по сусекам! Скатаем с тобой колобка, модер-ни-зи-и-ируем: четыре спички — руки-ноги! — и пусть вертится по хозяйству!.. — от злости и стыда за себя, за свою мужскую немощь, пьяненький дразнил Саня жену и с тупой животной ревностью разглядывал ее толстые мясистые губы, заманчиво накрашенные помадой. И чем бы ни томила себя Наина: гремела ли она у плиты, разжигала ли в печи огонь или мячкала в тазу Санино тряпье, — губы ее раскисали, мягкое большое тело, от обиды оползшее на табуретку, словно бы норовило уплыть из врезавшихся в кожу одежек, а черные круглые глаза, которые Саня за их невыразительность считал глупыми, с болью и ненавистью простреливали Саню от потной маковки до пят...

В застольях Саня горланил за всех, угощал других, а пуще сам угощался, но внезапно замолкал, обнаружив рядом с женой чужого мужика.

И уже горячечно воображал, что кто-то на субботних танцах водит Наину за кинобудку, валит на притоптанную траву, в душную пыль проулка...

Тогда глаза его набрякали кровью, руки отправлялись гулять сами по себе, роняя рюмки на столе.

— Ничего-ничего! Я им устрою кордебалет... — успокаивал сам себя Саня и бежал в огород; запалив костер из лучины, жег концертные реквизитные платья Наины и цветные плисовые платки, которыми в женихах сам же ее и одаривал; сидел до ночи на корточках и победно и мучительно плевал в синее угасающее пламя. А сам Саня не допускал до себя подозрений, был обидчив, как ребенок, и если случалась короткая перебранка, уходил с матрасом в баню и запирал кочергой дверь.

Приходила мать, обмотав поясницу лохматой шалью; стояла против низкого окошка и гнулась от слабого ветерка.

— Санька, ты почто такой-то?! — кашляла с натугой. — Кто так делат — бежит от родной жены... Дураки только что!

За матерью Родион отваливал хромую, припадавшую на один бок калитку. Смахнув щепки с чурбана, на котором кололи дрова, подбирал сзади мятый пиджак и садился.

— Слышь-ка, Соловушка, чо хочу спросить... Я тебе «Роман-газету», пятнадцатый номер за этот год, не давал?

Гнедые облака, полыхая, ржали над огородом, над Родей, над Родиной... И ничему не было теперь связки. Брат смотрел на облака, тосковал глубоко да косился на невестку, подававшую с крыльца советы.

— «Соленое озеро»? — едва жена, махнув обеими руками, убиралась с глаз, в щелку предбанника подавал голос Саня.

— Но.

— Дочитываю!

— И как мыслишь?

— А врет. Наверное, врет.

— Это конечно...

Вообще, Саня все понимал буквально.

По слухам, он с детства был такой. Сказал ему раз дед Лукьян Ефимыч, высокий иконный старик девяноста двух лет от роду, до гроба верховодивший в избе Золотаревых:

— Са-анька, дров наколи!

— Где колоть-то, дед? — спросил Саня.

— Ну, поди, Глызину наколи!

Старик съязвил, а Саня поверил, наколотил Глызину дров. Дед, прознав об этом, изодрал ему волосы на висках: Глызин в тридцать четвертом возглавлял комитет бедноты, в шайке с другой колхозной голытьбой отцапал у Лукьяна Ефимыча отцовский пятистенок, самого с женой и ребятишками едва не загнал на Соловки.

— Ведь он, лабазина, послушал и пошел к Глызину! — со смехом качал головой Лукьян Ефимыч.

Как-то, еще учась в школе, Саня посмотрел фильм «про мушкетеров» и с той поры свое героическое будущее приближал буквально. Он выстрогал ольховую шпагу, а на щит подобрал во дворе жестяную крышку от бочки, ходил в верхний край и задирал тамошних парней. Парни тоже задирали Саню, лупили по башке чем ни попадя.

Это уже потом, стремясь закосить под Жеглова, он расточил добытый у стройотрядовцев стартовый пистолет и, выбив стеклину в бане, прямо как из окошка «Фердинанда», шмальнул тозовским патроном в желтую весеннюю ночь, напухшую за деревней. Кого-то даже ранил...

Было это в призывную весну, золотыми фиксами улыбался Сане срок.

Вступился военкомат, отослал жигана с глаз долой; Родион схоронил пистолет на чердаке, в дощатом ящике, обитом крест-накрест полосками из красной жести...

В конце концов, Наина поблекла от Саниных «кордебалетов», которые он ставил ей по ночам, и в сердцах бросила баян, разломившийся на полу мычаще и жалобно:

— Ухожу от тебя, стручок!

Саня представил буквально, на радостях загулял, в капроновой сетке потаскал из огорода помидоры и огурцы, частью растеряв их по дороге, потом вымыл ноги и лег спать.

Наина оскорбилась его мужицкой невежественностью и вправду скидала манатки, с августовской грязью укатила к своим в Биробиджан.

III

Последнее лето до своего бегства из деревни Саня ходил под чистым небом в пастухах, волоча в пыли острый исстрелянный кнут на резной березовой ручке. Но как только Наина сошла с его фатеры, он затребовал в конторе трудовую, и уж с той поры волокся по свету, как сбитая полынь по ветру, пил да безобразил, телепался по осенним лужам босой.

Он два раза женился, три — развелся, кочевал по городам и селам, а домой дорожку забыл. Ему казалось, что там, в родовой деревне, где остались лишь недужная мать с братом да песчаная тоска могил, не будет ему простора, а душе вдохновения. Старуха науськивала на него всероссийский розыск, сам Родя не раз наступал ему на пятки, но едва Саню настигали и двумя руками делали выволочку, он срывался, как шатун, и уходил восвояси. И все-то он искал какой-то чудесный выход для своей непонятной боли, которую будто бы нажил в деревне, а теперь глушил на ветру родины, все-то мечтал забыться, затвориться, провалиться в тар-

тарары и там, в дремучей глуби России, в беспамятном молчании духа, услышать самого себя, голос родных мест в одичавшем себе, и однажды аукнуться на него, явиться к отчему порогу блудным сыном, но не от горькой нужды, а по высшему требованию сердца и совести.

Словно на волшебной палочке он облетел всю обезглавленную державу. На уральском калийном комбинате бил соль в забое с поэтом Решетовым. Отстоял вахту на траулере в Охотском море. На одной из шумных воровских строек в Петрограде месил в мятом полубочье цемент и разочаровывался. Подался на нефтяные промыслы, куда-то по железнодорожной ветке Москва—Тында. После удачного сезона скакнул в сочинский поезд, много и сказочно пил в вагоне-ресторане, хвастливо швыряя деньги и безнадежно задаривая чаевыми развратную официантку Катьку, а ночью сам ли сошел на одной из станций или ссадили жестокие собутыльники, но проснулся горе-путешественник без денег и шанег на знаменитой Бодайбинке. Ну, отсиделся под сирым кустом, осмотрелся, а вскоре прибился к матерой, с железными зубами, стае и мало-мало намывал в заколдованных лесах золотишко, сбывая его через границу в Китай. Однажды со всеми рвал когти, все лето скучал под Якутском и тихонько ловил с браконьерами чира. Затем еще год или два грузил ящики в порту Осетрово, спал, где кишки заломит спиртом...

Минувшей весной, стреляный и рваный, смолотый жерновами дорог до мучной седины и уже не верящий ни во что, кроме своей близкой смерти, в одном вельветовом пиджачке и с узкими, как у волка, ребрами, напершими в бока, в которых частыми короткими тычками отзывалось загнанное сердце, точно эхо его прошлой жизни, Саня приблудился к северному поселку на Лене. Прозябал в двухкомнатной квартирке на берегу, которую ему дали от сельсовета и где он затянул пустое окно целлофаном; служил оператором в котельной, еще дюжевшей на четырех электрокотлах. Один котел с осени перевели на уголь, нацелили в небо харкающую трубу, а к топке наскребли мужиков из местной бражки.

Весной ранее мужики пожелтели от паленой водки и частью погибли, как перелетные птицы, частью выпорхнули из казенных постелей. Отхожие месяцы бродили по поселку тени, воротясь от людей потухшими желтушными лицами, а затем повадились на старое. Только твердый пай хлеба и держал их у печи, а иным достатком не укрепиться на земле, для русских людей поставленной на Руси с наклоном. Зимой раскрестьяненные мужики кидали уголь, возвращались со смены мазутные, как черти, и усталостью вязали глотки и руки. Летом чистили котлы, меняли в колодцах заглушки, то есть не были задействованы ни в чем, что бы требовало от них полной мобилизации душевных и физических сил. Посему они работали спустя рукава, галдели на ржавых трубах или шатались по заугольям — хреном груши околачивали, прилетали домой на кочерге.

Моя любимая жена
Не пьет ни пива, ни вина,
А пьет одну наливочку
Четвертую бутылочку! —

каждый вечер у «чепка», как звали здесь магазин частного предпринимателя, сокращенно ЧП и Ко, а по-русски — «чепок», — орал закопченный обормот по прозвищу Елочка, названный так за привычку раскидывать руки, дабы маневрировать шатким телом, которое, однако, неукосни-

тельно соблюдало маршрут от магазина к дому, как бы темно ни было вокруг и в глазах.

На лохматой босяцкой голове Елочки распялась грязная замшевая кепка с коричневой пуговищей вместо помпона. В ощетиненных усах, закрывавших верхнюю губу, доживала последние дни до бани маркая угольная пыль. Прожженные брючки-спецухи, подвязанные скоробленным кожаным ремешком, оползли на голенища кирзух, разлетавшихся нашарканными носками врозь. Впереди Елочки, ширясь и застревая в калитке, маршево шагало плотное терпкое облако табачного дыма и водочного перегара, оповещая двух костлявых собак и домочадцев о скором явлении кормильца. Но раньше всех об этом узнавала его жена Зоя, нервная почтовская техничка с натужной телесно-лиловой шеей и невнятным выкричанным ртом. В свои трудные тридцать восемь Зоя одного за другим выметала четырех детей, привычно ходила пятым, на пороге и крыльце придерживая квашенку-живот, и против неверных слухов об ее любви к наливке была трезвой даже в понедельник. Заслышав под окнами песни трудовой молодежи, она уже спускалась с крыльца со шнуром от сгоревшего кипятильника, в резиновых мужниных чеботах на босу ногу, и через весь двор шла любимому супругу наперехват.

— Горе горькое по свету шаталося и однажды в наш край забрело... — раздувающим ноздри шепотом говорила жена Зоя; и остерегала: — Ты не уходи, не уходи, милый друг, от разговора!

Но Елочка не слушал и уходил; вернее, уползал по жердяной лестнице — на чердак, откуда строил жене фиги, языки и прочие наглядные знаки своего мужественного сопротивления режиму...

— Где оставил глаза?! — устроил Елочка допрос, когда Саня заскребся в брошенной клети по соседству.

С уважением посмотрев на Санины очки, перемотанные изолентой, Елочка тут же уяснил, руководствуясь какой-то своей светлой мыслью:

— У нас, поди, и работы для тебя нет!

За годы странствий Саня не был только космонавтом. Он раздобыл немало «корочек» и, еще из автобуса увидев над поселком дымящую трубу, сразу же определился с трудоустройством.

— Оператор котельной, — сообщил Саня бдительному товарищу.

— О-о! — сообразил Елочка и размахнулся руками, чтобы удержаться в воздухе. — Тебе к нам в подшефные надо! Так бы и рапортовал...

И тут, на новом месте, Саня быстро обырял, сцепился языком с Елочкой и его подельниками, и окошко его веранды по ночам звенело от высоких голосов, а огненные окурки, которые мужики бросали с крыльца, алыми трассерами врезались в темноту. Состоял Саня в бобылях, алиментов через почту не перечислял, не кривой, не хромой, только плешь с осиное гнездо да рябь на лице — на сварных работах в Тюмени стрельнула шипящая окалина... Холостые бабы да вдовы присматривали его через штакетник. Имели в виду, что добрая метла выметет из Саниного угла разную шушеру, сдался бы сам хозяин. Однако Саня, как печной уголек, жегся, не брался в руки, хмуро сдвигал очки на переносицу.

IV

На смену в другой конец поселка Саня ходил полевой дорогой, высчитав с похмельной скуки, что так на сколько-то шагов короче, а может быть, просто потому, что захлестнутые лебедой и мелкой сосной

пашни напоминали ему родовые степи: та же стеклянная синь зияла кругом, то же огромное небо глыбилось в вышине, а ветер ворошил косматые зыби облаков, прочерченные дымным следом реактивного самолета... Как-то брат Родя склеил из свежей «Правды» и лучинок воздушного змея, после уроков Саня запускал его в осенней ненастной степи, и змей, распарусив газетные крылья, сумасшедше метался и клокотал, просясь под сонные облака, тонкая рыбацкая жилка, которой он был полонен, тянулась из Саниного кулачка. Однажды Саня забрался на высокую гору Даглан, синевшую в азиатской мгле. На горе сильничал ветер, гнул чахоточный кустарник, надувал брючные гачи, а затем и вовсе вырвал жилку. Змей вспорхнул и полетел по небу, по которому бежали тучи. Саня тоже побежал под гору, через степь. Но тучи оказались быстрее и куда-то унесли змея, а Саня заплакал и пришел на пустырь за деревенским оврагом, чтобы кидать в костер сухую траву и глядеть, как она молча умирает. Не с того ли давнего дня душа его парусит на ветру, а Саня все бежит и бежит за своей пустокрылой мечтой, как за улетевшим змеем, отсюда, с грустной низкой земли, хватаясь за скользкий хвост ее серебряной тени?..

И много, много чего поднимала память у жизни на краю, на самом донышке Господнего колодца, где Саня сыскал бродячим ногам путы, а сердцу — медленное увяданье. Когда в горле горчило от дум, он оборачивался спиной к ветру, чтобы воспалить в горсти огонек, томительно курил, образовывая дыханием впадинки на щеках, и ветер бросал на семь шагов окрест сгоревшие спички.

Дни в эту весну стояли ясные и теплые, вербы, словно целлофановые, светились вдоль речного обрыва, а внизу его по сломанной старой осоке и проржавелым ольховым листьям с шорохом проползла мутно-зеленая вода. Снег на огородах почти сошел, решетчатая тень от прясел, еще недавно длинно лежавшая на плотном и белом, нынче коротко рябила на земле, и узкий гребень влажного песка, разорванного по осени бороной, резко желтел на фоне блестящих черных комьев. Старуха Никитина в телогрейке и платке походила на ожившую мумию, одинокую и страшную в своем беспомощном одиночестве, с задравшейся на ногах грубой юбкой земляного цвета. Она сгребала вилами раскисший картофельный лыч, грузила его в дырявую цинковую ванну, поставленную на четыре лысых велосипедных колеса, соединенных железными втулками, и, вцепившись в трубчатый поручень, с грохотом и оханьем везла через огород на межу, а затем долго и словно бы нехотя возвращалась к жизни, отдыхиваясь сдавленным беззубым ртом на перевернутой тележке и посматривая на задранные колесья, с медленным застыванием спиц еще вращавшиеся перед ее недвижными глазами. Лыч со своих пяти соток, крепко урезанных со смертью старика, она собирала уже вторую неделю, делая за день три-четыре возки, скреблась, как курица, пугаясь идти в гулкую избу, где молитвен скрип половиц, а ночью — трупная синева в окошках.

Саня, как доброй знакомой, кивал старухе, но задержаться с разговором почему-то робел, а помочь совестился.

— Здолово-здолово! — нашарив его перед собой томительным взором и снова не признав, устало отвечала старуха; голубые глаза ее слезились от ветра. И на отпотевших березах уже нарывали коричневые почки, на пастбище наплакалось много сталистых озер...

Высокий остроголовый пастух Витька, рассевшись на порушенной изгороди, пальцами брал из пенопластовой коробки китайскую лапшу, а стадо разбрелось по бледному лугу до темного ельника и, прядая ушами, выедало жесткие пятаки стоговищ*, посоленные крупной изморозью. Витька тоже прибился к поселку со стороны, батрачил на дворе у мужастой городской фермерши, которую называли «Новорусская» и не любили, но пожар, поднявший крышу телятника, тушили всем народом. Это всегда занимало Саню, — то есть то соображение, что двадцатилетний Витька горемыкой торчал на земле, а не было ему в жизни печали. Жил он в косолапой, окошками в землю, избе с бывалой разведенкой, от шеи до грудей обваренной известкой: Валька ссаживала с печи кипящее, как адова сера, полубочье... Она смотрела на него матерью, но Витька не замечал, пьяный гонял черенком от метлы ее и ее детей, о которых он забывал, сколько их числом и какие будут его, а в женский праздник рано утром перся из магазина с вином и букетом дешевеньких цветочков, небрежно, как веник, сунув их под мышку. На весеннем морозе цветы роняли лепестки, устилая за Витькой его трудный путь к дому, пролегавший через гулевые избы, и авоська с бутылками к вечеру легчала, а Витька, наоборот, тяжелел, наливаясь сонной ершистостью и грубостью, но забитая, всегда похмельная Валька и душистому растрепанному венику была рада, ставила его в склянке с подсахаренной водой на окно, мутно глядевшее на улицу. Каждый день она ждала ребятишек из школы, и после обеда они стайкой прилетали на луг, боязливо косясь на хмурого Витьку, помогали ему загнать стадо в стойла...

Иногда Витька отрывался от чашки и коротким узким ртом, в который со смачным чмоком утекала кудрявая лапша, окликал глупую корову, норовившую заблудиться в лесу:

— Ну, и куда прешь, проститутка?! — а заметив Саню, он дико щурил на него совиные желтые глаза...

Молчали на сквозном ветру, трепавшем белые волнистые облака и Витькины тощие волосы, хмельные от лихой свободы, ибо Витька уже с ранней весны скинул свою безразмерную «пидорку», чтобы скрыть ею от стороннего глаза початую бутылку. Ветер толкался в ковыле и возвращал в лицо искры двух папирос, а глумливое воронье, доклевав дохлую рыжую собаку, которую Витька вывалил из капронового мешка под угор, чернильными взъерошенными кляксами жирело на телефонных столбах да вдалеке расчерчивало могильными крестами голубую фольгу неба. А наступала корова на лед озерца — хрустело, гремело на весь луг, от одного бережка к другому обваливался вздутый приморозом капрон. Так все было зыбко и ранимо, что, казалось, пропасть, сгинуть, оставить земную жизнь в эту пору было легко и отдохновенно. Вот только не умиралось, все жилось, все терпелось, и не было краю ни ветру, ни тоске.

— Тете Гале-то отписал? — долгим, тягучим голосом спрашивал Саня, который за последний год чего-то обмяк душой и затаился.

Он глядел помимо Витьки, мимо мочившихся, выгнув хвосты, коров с бурым треснувшим навозом на сопревших ляжках, мимо редеющей гряды изб, вставших на длинном угоре, обрывавшемся за поселком красной глиняной рытвиной, мимо ельника, который, говорят, живет триста лет, где мучительно куковала одинокая кукушка, вообще куда-то мимо этой полынной подлунной земли. Но его глаза ни в чем не

* Стоговище — остаток от стога сена.

находили опоры и уже ничего и никого не хотели видеть за потными стеклышками очков. Тогда Саня закрывал глаза, а из-под плотно сжатых век выдавливалось и бежало по лицу, но далеко утечь не могло и, продираясь через небрежную щетину, исчезало в водовороте жесткого рта.

— Чо молчишь?

У Витьки в Красноярске мыкалась, куковала без мужа и детей родная тетка. Она поставила его, сироту, на ноги, вымахавшие до сорок пятого калибра и к девятому классу раздавившие всю обувь, доставшуюся Витьке от покойного дяди. До восемнадцати Витькиных лет тетя Галя держала его при своем больном сердце, которое Витька уже тогда исправно покусывал, бросил ремеслуху и давил диван, задрав ногу в снежно-белом носке. Тетя Галя пласталась то санитаркой, то почтальоном, то продавцом на мясном рынке, в три нормы кормила Витьку и обстирывала, но однажды с искрами в глазах опустилась на табуретку и кое-что рассудила, в клеенчатом переднике прошла из кухни в Витькину комнату, где глох от собственного шума и шевелил на окнах занавески музыкальный центр, и перепачканной в курином фарше рукой слезно шибанула племяша по шее, чтоб совсем не испортить... Витька без любви звал ее маманей. Но, пустившись по миру, он тут же выпнул ее из сердца, как не поминал он всей своей прошлой жизни. Верно, Витька и не сказал бы, было ли что вообще за его плечами кроме рюкзака из грубой мешковины и котелка с бренчавшей в нем ложкой.

— Не-а! — незло огрызался Витька и, набрав в живот пузырь воздуха, громко отрыгивал его. — На фига козе баян?

— Тетка все-таки! В училище тебя устроила на сварщика. Взял бы да съездил...

— А где я тебе деньги на билет возьму?

— Потребуй у Новорусской. Платит она вам?

— Она тебе заплатит! Сама колбаску-сыр жрет, бутерброд с обеих сторон маслом мажет, а нам — во-о! «Боярышника» наберет за тридцать рублей — и лети на спиртовом паре!

— Ну, тогда займи у кого-нибудь.

— Ха! Вы все умные такие, а чирик дать на курево — легче удавитесь на суку!.. — Витька доглатывал холодную лапшу в золотистых пятнах застывшего жира, шмыгал носом, а потом вдруг разражался свистящим свирепым чихом, и лапша, попадая в носоглотку, свешивалась у него из нашарканных красных ноздрей...

В сумерках Саня обходил заваленный арматурой и шлаком двор котельной, проверял, заперты ли двери и ворота, да поплевывал на звезды, горевшие над жестяной крышей. Затем он заваривал чифир, цедил до одури, до опоения, заедая налипшей к фантикам карамелью, до тошноты курил, размазывая окурки о донышко консервной банки, а едва начинало юзить, притворял фанерную дверь в дежурку и разбирался ко сну, выкладывая на стол спички, очки, дедовы часы «Победа» без ремешка. Спал на амбулаторной кушетке с полезшим кусками дерматином, закрыв глаза на стрелки счетчиков, тихо гудевших в темноте. Виделась ему костяно-белая от древности бурятская деревня, откуда он пошел по свету в поисках рая: растресканные временем торцы бревен зияют, как дыры, а заборы держатся гуртом, будто избитые или пьяные, но когда падает один, вокруг скашиваются и умирают сразу несколько, и бескрылые журавли, засмотревшись в сухие колодцы, качаются без ветра и отпевают кого-то своим шарнирным скрипом... Рай Саня не

обрел, от гнезда отшился: старуха-мать, вскидывая над головой кривой батожок, прогоняет корову в поскотину, брат Родя, скорее всего, нарисовал на Саниной фотографии крест, а кресты других Золотаревых давно полегли и перечеркнули землю под собой...

И Саня, пробуждаясь среди ночи от звона лопат, которыми мужики набрасывали в гудящую топку уголь в искрах льда, а летом — от шарканья сапог за дверью, с воем в глотке представлял, как тяжелые отсыревшие домовины все глубже уплывают в землю, а люди в истлевших рубищах бьются обглоданными черепами о гробовые крышки.

— Надо окошки расколотить, душно стало... — обморгав слезы, брызнувшие в надетые очки, Саня со сна обшаривал всего себя, чтобы найти себя в пустоте.

Спасибо, Борька-юморист с Гондурасом, ишачившие на погрузке угля, приволокли из библиотеки мешок списанных книжек и применяли их по своей разумности. Саня же, как в юности, читал ночью, облизанным пальцем с треском задирая пахнувшие мышами и пылью страницы, а отвлекаясь на то, чтобы проверить термометры и отзвониться в город с отчетом, аккуратно загибал с угла прожитую страницу. За чтением он мало-мало забывался и с прозрачной тоской вспоминал себя прежнего, и Санина боль вспоминала его прежнего, о котором она не болела, лишь тихо всхлипывая под ребрами, как под лестницей душевная вахтерша, потерявшая сослепу ключи. Саня уже одолел полмешка бумаги и тлена, а взятые без его ведома книги нервно перекапывал, отшвыривая ненужные: «Ох, уж мне эти пастырнаки-мандыльштампы!..»

...Мужики с утра распыляли на курево его стопку, бережно складированную на подоконнике.

— Других раскурок не нашли?! — кровно обижался Саня и дрожащими пальцами крался в карман за папиросами — крепкими, студеными, прожигающими до кишок.

V

Раз в три дня с вечера Саня заступал на дежурство, а остальное время существовал мелкой шабашкой.

На битье могил Саню сомустил Борька-юморист, веселый матерщинник с натасканными кулаками, которые всегда нервно дрожали и, словно засидевшиеся собаки лапами, возбужденно перебирали пальцами, скреблись за пазухой и в карманах, а то бренчали железным браслетом часов, ожидая сигнального свиста для своих охотничьих вылазок. Псарь не портил породу, регулярно выгуливая кулаки, и они сцеплялись с такими же острозубыми кипящей сварой, выходя из нее победителями и отплевывая чужую кровь и сорванную с костяшек кожу... Борьку ценили и уважали. Он тоже, заодно со всеми, пожелтел от водки и совсем уж пропал в районной больнице, но спас отец. Старикан вырос из каких-то глубинных неразрывных корней, всего в нем было намешано, словно ручейки и малые речки, стекались в него разные крови, на грубых скулах и резких надбровных дугах бурля азиатчиной, и повалить его было непросто, поэтому халявные лекарства старик не пользовал, а выбирал льготу деньгами и к своей смерти скулачил полнехонькую трехлитровую банку, которую заначил от бражника-сына в подполье, но сплюнул через плечо и сдал заветную врачам, и Борька чудесным образом одыбался. Спустя месяц-другой желтизна сошла, а с появлением

в котельной трубы Борька уже состоял при важном деле. Бросая в топку уголь, он часто говорил: «Ох, распинал бы я голубятню тому, кто подписал меня на эту чахотку!» — и от раскрытого ревущего огня оплывало его багровое худое лицо, метались на сальном подбородке бронзовые тени. Досуг Борька оставлял для занятий более приятных. Он объявил себя директором кладбища, а своим замом назначил косоротого хромого Гондураса, по первому снегу откинувшегося из тюряги. Вместе они обротали уже не одного покойника, все больше павших пьяниц и стариков, которых мочалил и снаряжал в дорогу хархотник Мотя. Цену просили умеренную, чаще обходились магарычом, варили на старых могилах чай в обожженной консервной банке...

На Духов день, теплый и светлый после утреннего дождика, хоронили старуху Никитину, которую Саня встречал весной в поле.

Она жила в избенке на берегу, от крыльца до уборной загоревавшей дурной полынью. Ссечь ее у обветшавшей старухи уже не сговаривались руки: правая все-то сжимала гладкий, как кость, посошок, левая распутывала на дряблой шее тугой узел надавившего платка, терла слезящиеся кроткие глаза, а то сменяла на боевом посту правую руку и, падая от уха, за которое заправляла бледную прядь волос, до поясницы в слепом бессильном полете, как падают с умерших деревьев гнилые сучья, сама хваталась за старухин крепеж и, столкнув другую руку, тем сама крепилась. Старик мог бы отбить косу и срезать плакальщицу-траву, но его наперед скосила костлявая, его собачья ушанка истлела на крюку, вверченном в стену бани, а сети сгнили. Был еще, правда, сын Юрка, беглый алиментщик и диджей, пальцем крутивший в старом клубе пластинки. Но этот свалил в деревню Кунарейку, куда-то под Иркутск, и не казал носа. Когда ему отписали про мать, он отслюнявил через сельсовет деньги для погребения, а уж отсюда наняли копальщиков. Поселковые женщины собрали бабу Шуру в последний путь, украсили ее цветущей сиренью и сгоношили кой-какие поминки. Старухи посуху, без слез, проводили подружку до электростанции, там начинался сворот на кладбище. Здесь гроб поставили на дощатую телегу колесного тракторешки, которым управлял Елочка. Ну, поволоклись через пыльное поле в лесок за синей далью, где серебрились опушившиеся березки и осинки. В паху у Елочки вскочил волдырь, каждую минуту Елочка ждал своей погибели, был набожен и не пил. Он выгрузил гроб на землю и суеверно укатил, бросив могильщиков наедине со старухой, с их мерзким делом...

У Сани это были первые профессиональные похороны.

Жуть напала на его сердце еще там, в поселке, когда бабу Шуру выносили из ее неказистой избы с подслеповатыми окошками, а потом через большой старинный двор, в котором душно пахло отцветшей черемухой и тленом русской уходящей жизни. И теперь эта жуть не отпускала Саню, шарила по нему потными руками, трясла за глотку, колотилась под коленками. Он был сам не свой. Водка, которой он воровски оглушал волнение, не лезла в него, проливалась на белую праздничную рубаху, к вящему неудовольствию мужиков. Едва гроб опустили на телегу, как на вольном духу лицо старухи почернело, запали в рот синие губы, руки измялись и стали фиолетовыми ногти. Саня боялся взглянуть на покойницу, обмирая от глухого стука крышки, прыгавшей на кочках. Юморист сел на крышку, и его немытые клокастые волосы, которые загребал на затылок ветер, беспечно качались у Сани перед глазами. Саню мутило, бросало то в жар, то в холод, он раз

или два срыгнул с телеги зеленой селезеночной пеной. Гондурас, вяло кидавший на дорогу пихтовые ветки, плоско зевнул, надышав на Саню гнилыми зубами, и подал ему соленый от слюны окурок:

— На, керя, сделай пару зябок!

Уже на кладбище Саня суетился без причины, обвалил в могилу часть низовой, все еще ледяной глины, едва не опрокинул туда же смолевые доски на полати, пока Борька не огрел его черенком лопаты. А как стали предавать гроб могиле и Саня услышал: «Отпускаем!» — он, по своему обыкновению, понял буквально — и отпустил веревку...

Гроб перевернулся, отскочила неприлаженная крышка. Баба Шура, роняя из рук ветки сирени, врезалась лицом в красную холодную яму и уже оттуда, из глубины, стукнутая о твердь, отпахнула посиневшее от пятака веко и оглядела свет заволоченным мертвым глазом.

— Ты чо сделал, образина? — медленно сказал Борька, когда старуха затихла в корявой нише. — У ней аж сандалии свалились!

Саня весь съежился, словно подбирая себя, распавшегося, как пиджак без пуговок, и покосился на зашедшего сбоку Гондураса. Очки сползли у Сани на кончик носа, как две огромные слезы. Наконец, не находя своей безмерной глупости оправдания, он тихо произнес:

— Ты же сам сказал!

— Я тебе ка-а-ак сказал, ушлепок?!

— Отпуска-ай...

— Дак гроб отпускай, а не веревку!

Гондурас спрыгнул на гроб, схватил бабу Шуру под мышки и силой запихал ее в домовину, небрежно закрыл глаз, а серебряный крестик, выскользнувший старухе на кофту, сорвал с тонкой нитки и сунул себе в карман. Саваном он утер себе потное лицо и грязные руки, потом уже набросил его на покойницу.

— Ну, и ладушки, старая, лежи с миром! — и сикось-накось надвинул на гроб крышку, на два гвоздя прихватил молотком.

В три лопаты зарыли скоро, как собаку.

Саня, боясь могильной зовущей пустоты, кидал глину со стоном, но застыл в ужасе:

— Туфли-то забыли надеть!

Борька, не меняя сосредоточенного рабочего лица, хмыкнул:

— Их Гондя своей блатной шмаре прихватил!

Воткнули в рваный бугор, поднявшийся над старухой, самодельный крест. На нем Гондурас выскреб гвоздем и обвел карандашом старухины метрики, взятые в сельсовете. Отчество горе-ученик начеркал с ошибками, но исправлять не стали.

— Без чирика сотку оттянула Милентьевна на белом свете! — оскалился прочифиренными зубами Гондурас, поглаживая свое творение. — Зажилась, зажилась!

— Рот закрой, придурок лагерный! — сказал отрезвевший на ветру Борька и полез в брезентовую сумку, в которую им собирали обед.

VI

Поминки справляли тут же, на бугорке, повесив потные рубахи на изгородь, обнесшую кладбище с трех сторон. С четвертой, грудной, изгородь проломили, здесь ползли, окапываясь в бесхозном поле, свежие могилы и, поворотясь, глядели на поселок перископами крестов...

Кладбище словно бы жило с открытым сердцем.

С утра небо было в тучах без вести о хорошей погоде, но к выносу ударила вспышка света, соткалась в мире яркость настывающей синевы, перемежаемой нежнейшими, как валки тополиного пуха, облачками с легкими голубоватыми полосками по краям. Но все чаще, застилая небосвод плотной тенью, восставала изнутри неба огромная, очень темная не чернотой, а сгущенной синевой, даже не туча, а точно льдина, взломанная подводным течением. И вот этот то ныряющий вглубь, то показывающийся на поверхности осколок весь день нагнетал грядущие за ним дожди, и от этого поминутного ожидания грозы, грома, смерти неизъяснимый трепет творился в душе...

Гондурас, у которого от залитой водки больше скривился верблюжий рот и сталистой скорлупой навернулись глаза, закурил с пьяной размашкой. Сидя на корточках и пуская дым в верхнюю оттопыренную губу, рассеченную в драках, он опять вспомнил случай из своей тюремной практики:

— Собрали, короче, меня и еще двух отморозков возле проходной, дали лопаты и ломы — гоните на пустырь, долбите землю! Я, короче, такой стою, в падлу вся эта канитель... Ну, зарядили прикладом в грудак: ништя-як, равнение на середину! Почесали на скотомогильник, где безродных трупаков хоронят... А жмурик, короче, орясина метра так два длиной, ему бестолковку кирпичом проломили... Мы с Блохой типа ковыряем ямку, а Бздливый с Лаптем колотят гроб из горбыля. За пять минут слепили какой-то ящик — а этот, жмурик-то, в него не залазит, ноги мешают! Прибежал Навальный, начальник смены, слюна на пять метров летит. Приволок топор: нате, действуйте! Через час проверка. Ну, Лапоть ноги мужику отрубил, побросал их в гроб. Так зарыли...

Саня тоже вспомнил, как отца повезли в березняк за свежей пашней...

— И? — когда его скучный рассказ был закончен, серьезно спросил Борька, давая понять, что Сане с его поганым языком лучше не высовываться.

На пиру сидел Саня, а не пилось, кусок острым колом полезал в рот и долго еще стоял в кишках. От разговоров, которые вели меж собой его кореша, судорога вместе с оглушающим стаканом проходила Саню от макушки до пят, будто тело и душу разрубали надвое. На всякий случай Саня пас вилки и нож, а если они пропадали с глаз, весь замирал и отходил, обнаружив их в чьей-нибудь режущей или колющей руке, не у себя в спине. Набыченный, с отвисшей челюстью Гондурас, по слухам, сгубил родную мать, пнув ее в висок кирзовым сапогом с железной подковкой, затем прятался у бабки в Серпухове, пока бабка не дозналась про дочку и не сдала внука милиции. Теперь он, как так и надо, жил-был на свете, тырил Санины папиросы, примешивая к табаку катышки анаши, серые от карманной пыли, часто и мелко, чуть подрагивая беломориной, вшептывал в себя волоокий дым и нудно, поднарной блохой, ржал, напрягая крупные ноздри и стукая неровными зубищами, а спустя миг его загашенные скорлупы натекали кровью, и вот он уже орал о чем-то с задранными руками, на его конопатом овальном лице, от скулы до смятого носа, натиралась нарукавной пуговицей алая царапина. Глядя на Гондураса, Саня даже трезвел, будто шел он по зеленому тихому лугу, где думалось хорошо и, ломая смычки, играли кузнечики, — и вдруг его перекрестили жердью...

Один Борька все презирал, а паче страхи и сомнения, споря с Гондурасом, тоже что-то кричал, тугой кадык, словно поршень в насосе, туда-сюда с дивным напором ходил у него на красном горле, то выталкивая наружу литое, мокрое и соленое словцо, и тогда всем становилось печально и больно, то отползая в молчание и давая горлу набраться воздухом, чтобы снова выстрелить наповал или сплюнуть. И тоже что-то дикое, Бог весть чем сдерживаемое было в Борьке, в его бритких, ощеренных синими костяшками руках, уже раз или два разорвавших воздух предупредительными торпедами, в коротких сильных ногах с хрупкими музыкальными коленками, которыми он, на удивление, мог устроить месиво зубов и крови во рту, в нервных частящих движениях по траектории стакан-бутылка, вообще во всем этом быстром, неровно стареющем теле с кипящей в жилах молодцеватостью и затосковавшими по зиме висками.

— Не бзди-и-и, не бзди-и-и-и! Будете бзде-е-ть на своих похоронах! — время от времени страстно, но экономно предупреждал Борька, выплетая свой голос из какого-то очень едкого веретья, которым он мог бы захлестать и подчинить себе весь мир, впрочем, ненужный ему, стегая этой отдельной плеточкой по двум бараньим душам, чтобы сбить их в удобный табунок.

Смысл его кратких, как у спартанца, слов был яснее апрельского неба: говорить, при Борьке-то, они никогда не будут.

За короткие вспышки мысли и духа в себе Саня с ужасом воображал, что вот живет он в глухом краю, сидит на чужбинном кладбище, где лежат безвестные ему люди, молчит среди живых, но тоже сторонних ему людей, и чужая земля его холодит... Там же, где родная горяча, хоть лепешки пеки, мать досасывает хлебную корку, а может быть, руками таких же, как он сам, лабазников для нее уже роется вечное становище. Конечно, есть у нее и старший сын; но когда все кругом накренилось и поехало, надирая ножками души и полы, и Родион, наверное, блуждает по миру, не только Саня шатун. И вот эти случайные люди, эти равнодушные скоты, даром пождав сыновей, кое-как обрядят ее — маленькую и сухонькую, с задравшимся носом, впихнут в гроб, столкнут в могилу, а затем привалят сверху булыжник, справят свой собачий праздник и затопчут бугор сапогами. Но как же он может тогда существовать? Чего же не провалится в тартарары? Почему не разразится гром, которым с детства пугала мать, и не прольет на его беспутную голову чашу, полную дымной серы? Он-то, этот карающий гром, эта нависшая небесная чаша, точнее, страх непременного возмездия за грехи, — все это какое-то время держало Саню в узде; а вот же, ничто не могло собрать его в самом себе! Саня однажды будто взбурлил и разом выкипел до дна, до горьких одоньев, до золотой клепки, которой Создатель крепил в его теле больную, странную, чумную душу, а ныне отпускал ее на волю...

Прощай, прощай!

Наливали еще и еще — и вот уже не только далекий, туманный лик матери вставал на Санином небе едва-едва, но и лица напротив шурум-бурумом относило от него за горизонт или его откатывало от них. И всей связкой, в эти мгновения существовавшей между Саней и его друзьями, вообще этим чужим другим миром, была лишь Санина протянутая рука, зажавшая кружку с прыснувшей эмалировкой. Забываясь, Саня кого-то искал по сторонам пустыми глазами, но никого и ничего уже не находил — даже надгробий и витых оград, от кото-

рых еще утром было пестро и зарешечено, словно его обложили в этом кладбищенском сосняке. Слух его, как два ватных шара, мягко оседал в некую воздушную яму и, унося Саню за собой, молчал сам и его звал молчать на этом пропащем дне. Саня помнил только, что Гондурас на трех ногах — Юморист для пущей скорости отломил ему черенок лопаты — бегал за водкой в «чепок», попутно завоевал у кого-то полбулки хлеба и соленые огурцы, смявшиеся в кармане... И все это смели одним хапом... громко орали, махали руками... а затем Борька за снятый с бабы Шуры крест бил Гондураса смертным боем прямо на старухиной могиле...

...К ночи вызвездило и остыло, и Саня проснулся на бугре от холода. Он резко разомкнул веки и вдруг увидел двух себя в фиолетовых свечках, которые горели над ним. Оказалось, заблудшая корова явилась на кладбище, и глаза ее были большие и влажные. Ни Юмориста, ни Гондураса не было. Исчезла и общаковская сумка. В голове у Сани было железно от водки и во рту кисло от табака; пальцы отлежанной руки, которыми он пытался выскоблить из тугой бляшки ремень, его не понимали.

— Ох, мамка! Эх, Родя! И слить хочу, как медведь бороться! — пробормотал Саня, не узнавая набравшего кладбищенской немоты голоса.

Прыгая на одной ноге, Саня зажмурился и со злости разорвал распаряху, с которой посыпались мелкие пуговки. От жажды какого-нибудь яркого подвига, внезапно открывшейся в нем, он помочился бы на люминесцентную луну, стоявшую над черным в ночи кладбищем. Но с пары литров было не достать, в него четыре заливай для напряжения в пузыре. И он, кряхтя и отплевывая вязкую пену в жесткие усы, сослепу навел серебряную косую струю на свежую могилу. Мерцали на комьях глины срезы от лопат, дул в лицо ветер и сбивал струю на грубый крест...

VII

Со дня тех похорон, с той ужасной июньской ночи, когда он очнулся на кладбище в пыли и прахе живой и мертвой жизни, с Саней что-то стряслось необъяснимое.

Это что-то давно, как видно, назревало в нем и только подгадывало час, чтобы проклюнуться и сбить с себя скорлупу. Когда он в очередной раз явился на смену, Юморист, концом заточенной ложки резавший на пороге сало, осовело присмотрел Санино землистое лицо и сказал:

— Как будто хрен у соседа съел или гудок чесноком помазал!

Он чутко спал по ночам, пробуждаясь от своего шипящего змеиного дыхания, словно кто-то медленно, разлучая шов за швом, нитку за ниткой, тупыми ножницами или сгнившими зубами вспарывал над ним плотную ткань. Проблескивали в темноте два стеклянных кружочка — Саня брал со стола очки, — и звук исчезал, но едва Саня проваливался в подушку, как снова начинали рвать и кромсать, и он лежал с расколотой башкой.

Но и днем Саня не находил покоя и даже ел урывками, на ходу, чтобы скорее забить глотку и залить глаза, этим животным, организменным забалтывая и утомляя высокое и летучее, нывшее взаперти под ребрами.

Вся его прошлая жизнь вздыбилась в его четырех глазах и, свистя и гикая, пошла на него вражеской конницей.

Вместе с конницей оживали на стене, как на клубном экране, и обрастали подробностями два знакомо-печальных силуэта, объятые кинематографическим искусственным мороком, и сквозь эту кольцевую завесу, сквозь рубиновую пыль и стреляние раскручиваемой вертушки Саня ясно слышал чуть хриплые, зовущие голоса, но затем раздавался смачный не то хряск, не то треск, изображение распадалось и меркло, а кончик оборванной черно-белой пленки быстро вращался на бобине, точно стараясь нагнать и удержать ускользавшее от него дыхание, убегавшее движение, утекавшую речь...

Тогда Саня вскакивал и, промазывая ногами по тапочкам, с крупным потом на щеках и лбу обходил котельную, светя в глухие углы фонариком, и брезгливо различал в себе, уже мокром, как лягушка, преступную подлость ушей, ибо в минуты трепета и ужаса только уши оставались невозмутимо-сухими.

Его бледное лицо распухало в золотистых от электрического огонька лужицах, сбегавших на бетонный пол из прогнившей сливной системы, и через все его отражение, его мученический лик, мелко рябивший от щебета капель, с хлюпом проносились на красных лапах мерзкие облезлые крысы. Никого, кроме крыс, не найдя, Саня падал на кушетку и бессмысленно встречал рассвет, который ржавел вместе с железной крышей. И так-то, наблюдая однажды это молодое, но уже конченое солнце, слыша это мертвецкое молчание стены, за которой уже никто не жил и не кричал, Саня, как паленую водку, заглотил и свое бездомное одиночество на земле, никчемность всего, чем он до этого дышал, и увидел за собой сгоревшую степную полосу, а впереди совсем ничего, только мрак, пустоту да зияющее открытым сердцем кладбище, и содрогнулся навек растраченному себе...

На другой день Саня сграбастал и сжег в бочке все книги, что натаскал в свою клетушку, а черный пепел страниц, с вороньим карканьем поднимавшихся над огородом, догонял и добивал палкой. Бочку с еще горячим прахом опрокинул вверх дном, над шапкой бумажной слоистой золы возвел узкий бугор из глины.

Обвязав бритую голову косынкой, Елочка второй раз за лето загребал в поле картошку. Но, молодая и кипучая, она шебутливо росла, спустя неделю победно разваливая земляную клеть, в которую ее заточили, — Елочке опять заделье на весь день. К сорока годам он пропил последнюю совесть, а предпоследнюю берег в загашнике, и чтобы ее, тайную, не сперли, он сидел дома и кое-что кумекал, но доискаться до всего смысла разом пугался.

Он спросил об этом смысле у Сани:

— Болты с гайками сводишь, сосед?

Саня, обмыв из ведра со вчерашним дождем руки и лицо, с наслаждением встряхнул мокрыми волосами:

— «Мы бомжи от поэзии, мы шваль!..» Как говорил мой друг Леша Решетов, царство ему небесное.

— А-а! — рассыпался Елочка сухим трезвым смехом.

От шабашек Саня по возможности уходил и, оставаясь дома, запирал ворота. Но скрываться ему, между прочим, было просто глупо, когда ждала великая работа. Борька с Гондурасом получили от сельсовета сказочный калым: ожидая по зиме большого людского мора, они строили

на кладбище теплую избушку с печкой и нарами, кладовку под инвентарь и крытую уборную, а Саня им нужен был подносить топоры-гвозди да шестерить у кухонного котла...

Юморист, не умея зайти в ограду, с дороги лязгал камешками в провисший оконный целлофан, а Саня, провертев в целлофане глазок, подсматривал в него да ждал, когда человек сгинет.

— Нету его, слышь?! По грибы, что ли, в лес учесал... — врал за соседа Елочка, покуривая на терраске, и пыльной черемуховой веткой отгонял от дышащей форточки дым и комаров, потому что за окном жена Зоя кормила пшенично-смуглой грудью что-то розовое и душистое, как свежее банное мыло.

Борька сомневался, качаясь с носка на пятку и презирая Елочку за его тихий уют, за измену былым принципам и передовой морали, а больше за теплую податливую жену, которая ждала Елочку в постели:

— Какие грибы, придурок, в час ночи? Разбежись и ударься об угол!

Все в Сане натянулось в одну тугую звонкую боль, и куда бы он ни шел, по делу, а чаще без него, шарахался ли в ограде и по дому, задевая то сырой куст сирени, то себя в мутном омуте трюмо, всякое прикасание чувствовалось особенно сильно. Было это так, будто все Санино тело опухло от ударов, а уже в теле вместе с кровью запеклась и схватилась корками душа, и когда ворошили тело, душа мелконько трескалась, расползалась кусками и кричала. Она словно бы лизала сама себя шершавым языком и оттуда, из Саниного нутра, озирала хозяина голубыми преданными глазами да тяжко вздыхала, изымая это дыхание уже из своей, душевной глуби. И если Саня кое-как, но управлялся с душой в себе, то с тем, что было в самой душе, он совладать не мог, слабо представляя, что ту, душевную боль, сестренницу его внешней боли, живым рукам не согнуть. Но было, наверное, какое-то вышнее знамение, стояло над грешным существом, отводило от его чела смертные удары, коли сам человек все еще жил под грозовым небом, слабой былинкой колеблясь на вселенском ветру...

Сны Сане не перепадали, и если он засыпал под утро или в дождь, когда со всех крыш рыдало, чавкали дороги и поселок затихал в мозглой мгле, то в глазах у него, как стоп-кадр, застывал черный квадрат. В квадрат лезли безмозглые существа с крысиными хвостами, окликали Саню по имени и куда-то манили. Пробуждаясь, Саня видел, что это не квадрат, а дверь в дежурку, и в дверь ломились красная жара и похмельная шайба Гондураса, искавшего носки:

— Сандро, мои бумеранги не ты забашлял?

Глаза у Сани запали, из них вымыло былой металлический блеск, и даже ранний стакан водки, которым он опалял нутро, не задувал в него февральской метелью.

Пьянства он тоже, впрочем, стал сторониться, а мужикам объяснял свой отказ молчком, положив руку на сердце.

— Моторчик! — душевно поддакивали мужики.

Борька, как путный, наказывал Сане съездить в больницу.

— А то я руки сорву тебя хоронить... — вздыхал Юморист.

Но до Борькиных тягот было далеко, а в больницу Саня с гнилой душой и со своими страхами был не ездок.

И, засмотревшись в себя, он, наконец, свыкся со своей новой болью, обжился в ней, как в новой скорлупе, в которую он себя заковал, и мало-мало разобрался с новым собой, как с руководством к блестевшему от масла электрокотлу, который в конце месяца завезли в котельную.

VIII

Теперь на смену Саня шел скоро, не задерживаясь в лугах, налитых богатой зеленью, и сняв очки, в которые жарило солнце. Очки заливало сладким потом, а поспешал Саня потому, что зудела на спине прелая рубаха, будто за шиворот насыпали песок, и лысина блестела сальной яичницей. Тяжелое, все пестрое, словно сотканное из разных лоскутов, стадо ходило у дороги. У бледно-розовых ребристых коровьих сосков, где надавилось молоко, жужжали мухи и шарахались круглым роем, отмахиваемые ленивыми хвостами, а на теплых спинах быков дремали бархатные бабочки. Витька-пастух, набросив на лицо хрустящую газету с бабами, заголившими срам еще на обложке, лежал в треугольной тени шалаша из свежей ольхи. Его выброженные в реке резиновые сапоги сохли на солнце, надернутые голенищами на колья, а белая рубаха, трепыхаясь на высокой вешке, размахивала по ветру рукавами и все не могла никак улететь.

На Санины шаги пастух непременно просыпался, поднимал от земли соломенную голову:

— А-а, это ты, дядь Сань! А то я смотрю, что вроде ты идешь...

Он гулко кашлял со сна, и его равнодушные ко всему глаза метили в пустоту, как два забранных для рогаточного выстрела камешка, и поражали там, вдалеке, какую-то свою одинокую печаль.

Однажды Витька еще из-за бугра, на который он загнал стадо, чтобы его обветрило от мошки, зазвал Саню к шалашу. На доске, поставленной на два кирпича, лежали белобокая редиска, протекшие помидоры и разрезанные вдоль огурцы с рыхлой сердцевиной. Черный хлеб заглох, его Витька не резал, а рвал пальцами, и был хлеб в дырках. Тут же стояла консервная банка с камнем соли, окислившейся от росы; в соль ткнулась надкушенная луковица. Витька покапал из армейской фляжки в два обрезанных горлышка от пластиковых бутылок с пробками, настойчиво запихал одно Сане в руку. Икая, он поворотился обугленным от загара лицом к заросшей пашне, посередине которой в сухом ливне солнца, перемежаемом яркой летящей пылью, как в цветной калейдоскопической дымке, стояли кладбищенские сосны. Затем Витька нагнулся, помазал шероховатую землю пальцем, обмакнув его прежде в водку, и сорвавшимся голосом произнес:

— Давай, дядь Сань, хряпни за маманю писят грамм! Вчера же письмо пришло — тако-ое...

Был Витька уже косой, как турецкая сабля, ибо справлял поминки еще с утра, а затем догонялся в поселке. Худой кадык бултыхался в тонкой шее, выпирали под рубахой позвонки, острился длинный облупленный нос, да и во всем Витькином существе, как в Сане когда-то, было некое горькое неустройство. Это, впрочем, не мешало ему драться с женой, пить водку на жаре, валяться день-деньской под солнцем, выгорая рубахой и лицом, и плевать сквозь соломинку на возившегося в траве жука, которому Витька оторвал крылья.

— Огурцы соли, дядь Сань, я-то соль не ем — по-очки!.. — настойчиво угощал Витька, у которого захлестнуло бутылочным пеклом рот и на глаза наползли густые слезы.

И Саня, как ему этого не хотелось, по примеру Витьки покапал на землю и хватанул разом, чутко вслушиваясь, как водка отзовется в нем. В низ живота легло празднично и воздушно, на миг все расцвело в гла-

зах, и тут же снова поблекло. Он помячкал в банке обломок огурца и, обжигая потрескавшиеся губы ржавой солью, запихал в рот. Спросить было нечего; он выдал первое, что вместе с огуречным семечком село на язык:

— Что с ней стало-то? — Саня сплюнул семечко, утер губы. — Ну, как получилось?

— А моторчик, — кротко сказал Витька, когда отдышался, и жизнь вновь улыбнулась ему. — Моторчик заглох, дядь Сань!..

Битый жизнью и смертью «уазик» с красным крестом на боку промчал в соседнее село, поднимая за собой пыль и серебрясь в этом сером облаке лобовым выпуклым стеклом. Витька, проводив его восторженными глазами, неглубоко вздохнул и с мокрым хрустом разгрыз огуречный задок.

— Может, кто-нибудь кердыкнулся?! Я тогда опять с дядей Борей пойду могилу рыть, пусть Валька с заугланами пасет за меня...

Никакое письмо, как выяснилось к вечеру, Витька не получал, и получить, дырявое сердце, не мог, поскольку не было у него ни родины, ни флага, а писать ему можно было лишь с почтовыми голубями. Скорее всего, и тетка его была жива и здорова. Но Витька шумел на людях, оставив стадо оборвышам, и под теткину несчастную кончину выбирал в магазине крупный долг. Он врал навылет, прямо в душу человека, что маманя «кинула» его, а братиков и сестер, которых у него отродясь не было, сдали американцам «на органы». Однако не плакал: сухи и сметливы были его глаза, крылись под козырьком бейсболки «Речфлот», съехавшей на брови.

За мужем волоклась растрепанная Валька, с каждым шагом играли жилы на ее сваренном лице, а рот сам собой, против ее воли, широко открывался книзу, словно потягиваемый незримыми нитками, которыми всю Вальку приводили в движение, как тряпичную куклу с иголкой в сердце.

— Сирота, сирота! Плохо я одета! Никто замуж не берет — эх! — девушку за это! — орала Валька от ужаса за себя, за свое уродство, которое она спьяну выставляла напоказ, а трезвая хоронила за семью платками.

Новость эта почему-то так подействовала на Саню, что он дня два не мог ни есть, ни пить и болел хуже, чем от живота, а во сне вскидывался и звал брата.

IX

В субботу, на Ильин день, в котельную неожиданно пришел участковый милиционер.

Стояла жара, все дни над красным от солнца сосняком не было ни облачка, закаты пенились багровой густой краской, в поселке душно и горячо пахло угольным шлаком, которым зимой посыпали дороги, а дощатые желоба рассохлись, и осы свили в них свои гудящие гнезда. Вот и пожилой майор Коробейников походил на грустное, спекшее все корешки в сухой земле растение, которое к тому же выдернули из почвы и пустили бродить на толстых ножках, чтобы шугало по свету крапиву и репей, и когда бы растение ни верталось со службы в родную коробушку, полнехонькую таких же грустных и плотных, уже семейных коробчат во главе с маленькой добрейшей Коробчихой, все оберегавшей

детей подолом, никак это перекати-поле не могло угомониться, о чем-то кручинилось и куда-то рвалось, хотя огромная, глаже, чем у Сани, лысина кисло потела и походила на лесосеку, на которой только по склону уцелели редкие деревья и картавый кустарник. Но дело свое Коробейников знал добре, блестел замок его дырявой в уголках, словно объеденной мышами планшетки, скрипел на коренастой широкой фигуре сальный ремень и тяжелый пистолет бдительно оттягивал на короткой ляжке кобуру.

— Ильин день, а дождя нету! Хоть бы брызнул под вечер, а то третью неделю поливаю картошку из мотопомпы... — зажав планшетку под мышкой, Коробейников по-свойски загремел в ведре с водой железной кружкой.

— Это из крана, — предупредил Саня, а Коробейников что-то прожурчал в ответ и стал пить.

Вода, дымчатая от извести, шипучей воронкой утекала Коробейникову в рот, частью выливаясь обратно и капая с подбородка на пол, где плотно встали ноги участкового, и только в небольшой ямочке на подбородке, зацепившись за щетинку, слезилась одна капелька. Отпив, Коробейников полил из кружки на лысину, затем на лицо, смел капельки рукавом и посмотрел на Саню оживленно и влажно. Он словно чего-то ждал, может быть, неземного чувствования и предугадывания причин его визита. Однако Саня не понимал.

— Недавно ездил в город к отцу Иннокентию, поставил свечку за матушку... — прохаживаясь взад-вперед, раздумался Коробейников. — Ей же шестнадцатого тридцать лет со дня смерти... Знаешь, как я свою старушку хоронил?

К шести часам мужики разошлись по домам — топить адовы бани и клянчить у жен на суперкрепкое пиво. Саня прозябал в котельной один, наблюдая, как воробьи дербанят во дворе желтые стручки акации. Ни жены, ни бани у него не было, мылся он в душевой. Когда явился участковый, Саня как раз вышел из-под дождя и сидел в дежурке в одних трусах. Он думал о Гондурасе, который на прошлой неделе порешил топором стариков Башаровых, тихо гнавших самогоночку, и теперь ходил под следствием. В визите участкового Саня угадал подвох, а его вопрос пропустил мимо ушей.

Коробейников, конечно, попросту подбирал к нему ключ.

— Тоже, у Валерчи, у младшего-то, доживала в Таганроге, а у Валерчи жена... такая! — охотно и смачно, как, наверное, наворачивал красный борщ и домашние котлеты, тянул длинную песню Коробейников.

Он чего-то быстро запыхался, долго, словно мозговые кости, обсасывал слова, а которые глотал и тут же будто давился ими.

— Ну, тайком написала мне... матушка: забери, Роман... невестка все глаза... повы... повыкле... повыклева... а то заду... шу... шу... шу...

Саня постучал Коробейникова по спине.

— ...а то задушусь. Спасибо! А-а-стма... — Коробейников погрустнел; в груди у него рванулось и сипло прокричало, забиваясь в какие-то дальние уголки. — Значит, выехал я с первым поездом...

— И?! — коротким зевком нагло оборвали его рассказ.

Участковый натурально кашлянул и, свистнув дыхалами, отогнал в горло мокрую перхоту.

И тут Саня промолчал.

Тогда Коробейников перевел взгляд, уже заметно освинцевелый и выпуклый, с Сани на кушетку под замасленной спецовкой и с чурочкой вместо подушки, потом на стол из неструганых досок, погребенный гаечными ключами, вентилями, болтами, окурками и всем на свете, и, хлюпнув по лужицам на полу, мысленно поспешил из этого смрадного мирка в окошко, за которым начинался поселок. Водовозка проехала по улице; резиновая кишка, задранная крючком на бочку, на кочках тряслась и подпрыгивала, но вдруг выскользнула и зашипела на дороге пораженной змеей, выпуская из приплюснутого зева серебряное жало воды...

— Помирает твоя старуха, — неожиданно просто и внятно сказал Коробейников и, ослабив ремень, уперся низким животом в ножку качнувшегося стола, в лоб уставился на Саню. — А то уж...

— Откуда знаешь? — немного погодя отозвался Саня.

— Из Харетской милиции ориентировка пришла. Брат тебя ищет, просит доставить на место!

Махровое полотенце, которое Саня перекинул через плечо, дышало на его груди, но жило отдельной своей тряпичной жизнью. И Санино родное, голубиное, это светло-голубое все, что когда-то было у него в руках, но протекло сквозь пальцы так-то вот зряшно, как эта вода из шланга, однажды ушло из мыслей, точно выдохлось из него, стало высоким облаком и понеслось по небу наравне с прочими тучками. Думы об этом всем на поверку оказались ничем не крепче спиртового запаха, выносимого поутру, и весть о матери Саня встретил с холодными висками. Только что-то небольно хрустнуло в нем, как ветка в стеклянном от инея лесу, да брови метнулись ласточкиным хвостом, но и те уползи на место, растеклись по своим костяным дугам.

— А они имеют с матерью право? Ну, по закону? — только и спросил Саня.

— Кукушонок ты, Золотарев, тебе и закон не писан!

Коробейников встал, распахнул планшетку, бросил на стол лист бумаги и карандаш.

— Пиши отказное...

X

Саня шерстил поселок, продавая с плеча пиджак, почти новый, упал до тысячи, но на билет наскреб.

Борька тоже носился с ним, славя возвращение друга к старой доброй жизни, а когда все раскусил, снялся с дистанции и пошел своим ходом.

— Санек, если че... Ну, ты меня понял! — пьяный Борька с силой, набитой в руки копанием могил, втолкал Саню в автобус и даже, кажется, кивнул на прощание — за пыльным окошком было не видать...

Он думал, что его мучения изыдут сами собой, улетят в сквозящую щель окна, за желто-коричневую деревянную раму, которую он время от времени приспускал, чтобы встречным воздухом обдуло лицо и душный плацкарт, и уже там, за гремящим потоком поезда, распадутся в прахе и ничтожестве мелькающей жизни, затихнут перепелками в глупой смиреной природе, вообще утомятся, забудутся, пресытятся дорожными впечатлениями.

Но страдания его от скорой встречи с матерью и братом, оттого, что спустя годы он возвращался в свое гнездо, не измывалось ничем, ника-

кой телесной, духовной ли усталостью, и не подавлял эту горечь даже жуткий запах смеси, которой были пропитаны новые шпалы.

Тут, в этой спетой и спитой деревенской России, черкал по стеклам поезда убогий чернильный дождь. Он показался Сане еще более горестным, чем тот, который он видел в поселке, и эти люди за окном были, вероятно, самыми несчастными на земле. И мусор, который пассажиры выметывали за окна, разматывался на лету и рваными бумажными тучами сходился над этой нищетой, а конопатые ребятишки со станций от скуки бежали за промасленными от колбас и копченых куриц газетами, как за воздушными змеями...

От стучащего в ночи поезда едва-едва натерлась на востоке розовая полоска зари, а Саня уже высадился на железнодорожной станции.

Через час он трясся в кабине подвернувшейся грузовухи, огромная кепка, которую Елочка дал ему в дорогу, сваливалась Сане на глаза. Тучный русокудрый водитель по имени Николай вытребовал на гипсовом руднике отпуск, жену с ребятишками сослал к дядьке в Краснодар, чтобы есть даровые груши-арбузы и набираться литого здоровья, а сам спешил к тестю, куда-то на Балтай, косить от зари и ставить много-много сена. Все в жизни у Николая было хорошо, обстоятельно, и колючие огурцы, которые ему завернули в полотенце, он ел хорошо и обстоятельно, хрустя сочно и зелено во все горло. Рот у Николая белел от крепких плотных зубов. Николай как будто ел не огурцы, а чистый снег, начерпав его подальше от дороги. И жена у него, скорее всего, была пышной и сладкой, словно куст чернослива по осени, тоже хорошо и обстоятельно ела домашние булки и сальце с мясной прослойкой, небрежно красилась и не носила бижутерию, предпочитая все натуральное. А их дети, наверное, сплошь в похвальных грамотах, ходят летом босиком и вообще с розовых ногтей держат себя в узде... Саня враз почувствовал себя дефективным. Он, который никогда не умел так жить, чтобы быть полезным всем и себе не в обузу, с белой вороньей грустью косился на Николая, но и боялся его хрупкого мотылькового счастья, и спроси кто-нибудь у Сани, надо ли ему эту тихую радость, — пожалуй, он отказался бы. В кузове у Николая щерились зубьями деревянные грагаи, отливали серебром две нашарканные косы самого большого номера и с железными рукоятками, грохотала свора вил и, смиряя это грозное воинство, покоился кусок заплатанного брезента от армейской палатки. Пузатая капроновая фляга, лежа на боку, тяжело вздыхала в углу и, по всему, дождаться не чаяла мглистого лугового вечера, когда с нее скрутят пробку и среди побежденной прохладной травы склонят горлышком над кружкой.

— Примешь с устатку, земеля? — по-свойски спросил Николай, но Саня замотал головой. — А то гляди: первач! Накапай себе...

Выехали в степь, когда из черной ноздреватой тучи, от самой станции кружившей над ними то опережая машину, то оставаясь за глиняным холмом, налетел хищный дождь, с клекотом серебряных клювов пронесся над землей, издолбил капот машины, пыль на дороге, смял травы и скрылся. Небо, погрохотав, раз-другой сверкнуло алыми проволоками. В расступившемся фиолете выплыло солнце, пустило по лобовому стеклу радужный хвост и слизало капли, которые разметали старые «дворники». За окном блестели дорожные знаки, камни и жестяные козырьки редких остановок, едкая бензинная пыль размазывалась на мокрых листьях. Ольхи при дороге были полосатые, все в чернушных

пятнах, ибо солнце выжелтило на них только те места, которые были чистыми, а туда, куда села пыль, загар поцеловать не смог, и там после дождя зияла слабая зеленца. Но яркой, как в Санином детстве, зелени не было. Под открытым небом, на жалящем солнце все было серо и скудно, как всегда бывает в степи в конце лета. Все здесь, на ветровом юру России, уставало и изнашивалось не ко времени: травы, избы, люди. И еще нужно было суметь, ходя под здешним Богом, сохранить себя для долгой и трудной жизни...

На тракте голосовали буряты — помятый старик лет шестидесяти, весь в думах и частых движениях, а с ним — до черепа стриженый высокий парень призывного возраста, похмельно и длинно плевавший на ветер. Они проморгали ранний автобус, возвращаясь из соседнего села, где загуляла, ломая хрусталь, свадьба, суетились вокруг «ЗИЛа», отворяя водительскую дверцу и лапая руку Николая, в котором признали нужного человека, и глаза их были голубы от бессонницы и вчерашнего спирта.

— Один бурят — хорошо, два — шум, три — драка! — объясняя скорый уход с праздника, хохотнул старик и, посмурнев, рванул воздух губами, что-то недужно и властно прокричав на бурятском языке для парня, лизавшего разбитые кулаки.

Ну, залезли в кузов, гремя стеклом в двух брезентовых сумках, ну, поехали.

Пошел съезд на какую-то деревушку, под самое рубиновое облако вознеслась труба котельной, наводя на Саню тоску и сон. На березке, одиноко стоявшей на желтой полянке, трепались разноцветные ленточки и уже выгорели. В кабину постучали.

— Чего они? — удивился Николай.

— Амво-о-он... — устало ответил Саня. — Ты нездешний?

— Не-а.

— Откуда?

— Усольский. Приехал на рудник, немцы же строят гипсокартонный завод...

— А жена твоя... здешняя?

— Да-а.

— Бурятка?

— Не-а!!! — Николай радостно рассмеялся, оскалив снег, и его мясистый влажный язык на фоне белого застыл темно-красной раздавленной сливой.

Саня даже очки снял от волнения и двумя пальцами провел от переносицы к губам, точно сдирая с лица противную паутину, в которую его заманили.

— Обычай у них такой — капать Бурхану! Не понимаешь?!

Николай, проскрипев тормозной педалью, сразу стал серьезным.

— Понимаю, чо ты! Просто не замечал никогда...

Свернули на обочину.

Буряты выставили на щербатый асфальт пластиковые стаканчики, которые роняло ветром, пока старик не разлил в них из литрухи. Саян, внук старика, нарезал прямо на коленке сало и хлеб; его потершиеся в стирках джинсы были в ножевых царапинах, как разделочная доска. Один стаканчик взял старик, обмакивая в него указательный палец, побрызгал на березу, потом в воздух вокруг себя, что-то шепча так, как будто перебирал губами крохотный шурупчик. За ним то же самое, но

молчком, с крепким неверием в происходящее, проделал Саян, с косой ухмылкой оставил на плоском камне хлебную корочку и штрих-другой сала, размягчавшего на солнце и затхло пахнувшего целлофановым пакетом. Разлили еще. Парень, сев на корточки в сторонке, закурил, а старик подошел к Сане. Резкие морщины на лбу старика откатились к седым волосам, кожа стала гладкой, как Байкал без ветра: так старик улыбнулся случайному в его жизни человеку. Николай из машины с интересом наблюдал за ними, сглатывая последний домашний огурец, и уже никуда не торопился.

— Твой пай — мой пай! — бархатным голосом, в котором зазвучал хрипоток ветра, сказал старик, подавая Сане стаканчик и кивая на другой, остававшийся в его руке.

Оба выпили. Саня бегло зажевал коркой, а старик, зажмурившись, занюхал рукавом, и когда открыл глаза, они были мокрые...

На следующем повороте, у такой же наряженной березки, в изножье которой лежали пустые бутылки и смятая пластиковая посуда, в кабину заколотили опять, уже не просительно, а требовательно. Николай насупился и посмотрел на часы, но смолчал. Старик на этот раз выкупал в стаканчике с водкой листок березы, пошептал, поклонился земле и, хмуро покосившись на внука, которого уже штормило и грозило выбросить за борт, сделал в его сторону два-три быстрых шага. Руки старика, как два беркута, широкими махами взвились над его головой, изготовившись растерзать добычу. И Саян мигом залез в кузов, с презрением ко всем и всему отвернулся.

Старик, найдя в Сане родственную душу, снова подошел к нему:

— Твой пай — мой пай!

— Чай пил — гора ходил, водка пил — равнина падал! — вспомнил Саня и понял, что не доедет...

XI

Закатились в Хареты вечером, только прогнали стадо. Воздух еще гудел от луговой мошки, которая со стадом явилась в деревню. Со стадиона доносило хлопки по футбольному мячу, а Сане помнилось во сне, что снова стучат в кабину. Он крикнул, чтобы ударили по тормозам, и рот его пьяно разъехался, однако кроме сухой слюны ничего не уронил. В пути Саня насчитал девять поворотов и раскис на мягком сидении, жарком от августовского солнца, которое за день окрепло и золотилось в небе, где уже не было и малого облачка, одна степная печаль. За время его забытья буряты сошли в пшеничном поле, снова долго ручкались с водителем...

Николай потряс его за плечо.

— Ну, где твой дом? Куда рулить? — со смехом спросил у Сани, когда тот продрал глаза и озирался так, как будто впервые видел и Николая, и эту деревню, и себя в узком зеркальце, отражавшем чемодан и алый блеск заката, догоравшего у Сани за спиной, в кузове.

— Где это мы?! — завозился Саня.

— Привет! Нака-апался...

По тихой сумеречной улице ехал верховой; бренчала на зубах коня железная конфета. Оттолкнув дверцу «ЗИЛа», Саня свалился с подножки, на хромых ногах подскакал к пастуху, схватился за узду и, городясь от слуха Николая ладонью, приложенной ко рту, снизу с надеждой уставился на человека:

— Слушай, друг, выручай, а! Где тут живет старуха Золотарева?

Черный азиат, близко присмотрев Саню, вдруг отпрянул, а с ним кинулся в сторону его ражий конь. Верховой выругался по-бурятски, смиряя коня. Но конь все равно пятился от незнакомца, от которого пахло табаком, водкой и гулящей жизнью, скалил зубы и раз или два хватанул бродягу за рукав.

— Дак чо молчишь, друг?

— А ты кто такой? — строго спросил конный.

— Сын я ее, Саня. Саня Золотарев! — Саня радостно застучал себе в грудь, как будто после многих лет разлуки встретился с собой и, едва узнав бывшего себя, со слезами и трепетом кинулся с прошлым собой обниматься. — Может, видались? Ты в этой школе учился?

В тугую жесткую ухмылку сомкнулся рот верхового, он крутнулся на одном месте и, пристукнув животное в дыхало, надвинулся на Саню конской грудью, мощной и вольной, в которой жило и работало большое гордое сердце. И Саня, вздрогнув, со страхом в глазах попятился, пока не свалился, запутавшись в собственных ногах. Николай вопросительно посигналил, но никто не услышал, только конь повел мохнатым ухом и, задрав голову, нервно заржал.

Кепка тоже свалилась с Сани. Он, поднявшись и отряхивая пыль, долго не мог нахлобучить кепку на голову, не сводил дрожавших глаз с человека напротив.

— Чо ты?!

— А чего?

— Лезешь-то дуриком!

— А чего?!

Азиат сплюнул; глаза его вспухли от мошки и дыма. Сане почудилось что-то знакомое в лице верхового. Он словно бы поглядел в мертвый омут и увидел одну живую рыбку, и эта живая рыбка, тоже увидев Саню, вся затрепетала плавниками и пошла к нему через иловую толщь и ядовитые водоросли...

Саня снова, уже с неотрывной силой вцепился в узду.

— Брат, ты?! Ро-одя!

— Хватилась... она!

Родион с хрустом завернул коню морду, конь захрипел.

— Узду-то пусти, Соловушка, чо ты его чалишь...

...Справили сороковины. Вечером все разошлись, Саня, абсолютно трезвый, залез на чердак, раскопал под ветхими тряпками свой тайник, о котором еще за столом вспоминал Родя, и старым тозовским патроном выстрелил в себя из расточенного стартового пистолета. Но убиться не убился, — жалкого, красного от вылившейся крови, побитого уродливой контузией, содрогавшей его до смерти, ссаживали Саню с чердака на веревках, а затем под руки вели через двор к воротам, где плакала сиреной и мигала в ночи красно-синим позывным огоньком машина «скорой помощи».

Брат Родион сидел на скамье у дома и, опустив белую голову, курил жгучие Санины папиросы, поджигая их одну от другой.





НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

Война за пространство

Атлантизм

Те Атланты уронили небо.
(Знамо дело — интеллектуалы!)
Но у многих снова есть потреба
За погибель поднимать бокалы.

Ни Руссо, ни Тао Юаньминю
Не понять сих выходцев Аида:
До сих пор ласкает их гордыню
Провалившаяся Атлантида!

Провалилась же! Чего же боле?!
Странно, что готовы до сих пор вы
Рухнувшего царствия консоли
Решетом выуживать из прорвы!

Лишь одно осталось объясненье
Ошаленью баловней Ваала;
Впали в ТО ЖЕ самоупоенье?
И ТАКОГО ЖЕ хотят провала?

Флаг вам в когти, злые привиденья!
Коли вам достигнутого мало.

Надушенные записочки

Умники: вместо того, чтобы
Лавки закрыть оружейные —
Пишут законы лилейные,
Нежные, благоговейные,

С просьбой не пахнуть сивухою
К тем, кто пальбой увлекается,
Ибо — с палящих «под мухою»
Строго взыскать полагается.

Зюзи!
Да как же вы станете

С вооруженного взыскивать?
Как подчиняться заставите?

Он же ведь может и выстрелить!
Но... разговаривать с олухами
(Между разрядом и сполохами)
Муторненько. Бесполезненько.
И — продолжается песенка;

Пишут они уважительно
Гангстерам письма елейные
Вместо того, чтоб решительно
ЛАВКИ ЗАКРЫТЬ ОРУЖЕЙНЫЕ!

Даты

Сброд
(Вопреки истории самой)
Одну лишь дату жалует
на свете:
«Тридцать седьмой!
Тридцать седьмой!
Тридцать седьмой!»

...А почему не девяносто третий?

Все войны — это войны за пространство...

Все войны — это войны
за пространство.
Мороз бывает лютым чересчур,
Но ханство не затем идет
на ханство,
Чтоб захватить побольше
теплых шкур;
Все войны — это войны
за ПРОСТРАНСТВО.
Вот хворость, от которой
нет микстур.
Разбойник зрит сокровище —
в комплекте
С пространствами, способными
прельстить;
Зачем стяжать и грабить,
коли негде
Награбленное будет разместить?
Тот бедствует, а тот —
живет богато,
Ан — места и ему недостает.
Но не дари ему под виллу плато;
Общенародны клены, дуб и мята...

Знай: лишь дурак пространства
раздает!

Когда наглец тайгу соседям
дарит,
Мы праведного ждем кого-нибудь,
Кто по когтям предателя ударит!..
(Эх! Мы-то безоружны! Вот в чем суть!)
Но Завтайгой — за вклад его
тяжелый —
Не обзывай «слугою двух господ»:
Он служит одному.
Зато —
чужому.
(Дать орден за Дальстроя остов голый?
Дашь Крест, — а он своих на нем
распнет!)

Все войны — это войны за пространство.
Вор хочет войн. Он ищет как-нибудь
С Китаем нашу Родину столкнуть:
Мол, я-то — что! Но русское
тиранство
Препятствует раздаче
Гор и Вод, Влиянья, Расстоянья и Продукта.
Безумен — у него на поводу кто!
И лишь дурак — пространство
отдает!

За что б ни отдал (за гроши? За ласку?)
Кому б ни продал (Ироду? Куме?), —
Лишь слабоумный мог отдать
Аляску!
(Хоть наша речь не только об уме).
Не слишком чист —
Кто хвалит супостата.
Не слишком здрав — кто редко
слезы льет.
Не слишком мудр — кто
расточает злато.
Но ЛИШЬ ДУРАК
пространство раздает!

* * *

Стихнет —
И снова обрушится
Ветер, душистый насквозь...
Господи! стоит прислушаться:
Что это вдруг пронеслось?!
В шелестах клена осеннего,
Силясь восполнить пробел,
Слышатся... песни Есенина!..
Те, что сложить не успел.



ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА

Три рассказа

«Кто-то же должен быть с ними!»

О рассказах Елены Тулушевой и об их авторе

Елену Тулушеву начинающим автором не назовешь, хотя пишет она всего два года. В литературу Елена пришла сложившимся человеком. В 27 за ее плечами Московский институт клинической психологии, аспирантура. Работа во Франции и Соединенных Штатах (в рамках проекта «Духовность для детей»). Скажут: «Экая везуха!» Но вряд ли любители «везухи» согласились бы по примеру Елены заниматься с неблагополучными подростками из гетто Лос-Анджелеса, куда даже свирепые американские копы предпочитают не соваться!

Вернувшись в Россию, она продолжает ту же работу с молодежью столичных окраин. Елена — старший медицинский психолог в реабилитационном центре для подростков, переживших насилие, а также страдающих алкогольной и наркологической зависимостью. «Мы пытаемся дать им возможность посмотреть на мир по-новому. Предложить вариант другой жизни», — говорит она.

Как-то я спросил Елену, не жалеет ли, что посвятила жизнь работе с таким малосимпатичным в большинстве, а зачастую и агрессивным контингентом. Казалось бы, обладательница красного диплома престижного столичного вуза, могла бы найти место получше. Ни минуты не раздумывая, как о чем-то давно решенном, сказала: «Кто-то же должен быть с ними!»

Тулушева не из тех, кто может удовлетвориться заботой о неблагополучных с девяти до шести. В свободное время она активно занимается волонтерской работой. Выступает по радио и телевидению, рассказывая о трагедиях наркозависимых ребят.

Писательство для Елены — еще одна возможность продолжить борьбу за своих подопечных. Герои ее рассказов — реальные люди. С каждым она работала ни один день, пытаясь понять, где истоки обрушения молодых судеб. И теперь дает им высказаться, а подчас и выплакаться (рассказ «Виною выжившего»). А это уже немало.

Она пишет в жанре нон-фикшн, самом популярном сегодня. Популярном, но и уязвимом: при поверхностном чтении может показаться, что здесь не требуется искусство, дескать, литература такого рода рождается сама собой, знай записывай. На самом деле, нон-фикшн требует даже большей творческой изощренности, чем традиционная проза.

Подчеркну ряд несомненных достоинств авторской манеры Тулушевой. Точно выбранные социальные типажи. Того же Славу из одноименного рассказа легко

узнать на фотографиях ребят из Бирюлева или с Манежной. Органичная речь — язык столичных окраин. Разумеется, он далек от того упругого, разнообразного, душистого языка, к которому нас приучила деревенская проза. Но на асфальте, заплеванном и стылом, говорят по-другому.

Художественно выразительные детали. В рассказе «Мамы» подросток, узнав, что его вырастила не родная мать, по-иному смотрит на нее: «Он заново изучал это чужое лицо». Сказано с характерной подростковой безжалостностью. И беззащитностью.

Рассказы компактны и динамичны — результат тщательного отбора материала. Особо отмечу объективизм. Редкое качество. В отличие от большинства сверстников, норовящих не просто «войти» в созданный ими текст, но и заполонить его своим присутствием, Тулушева держится в стороне, предпочитая внимательно наблюдать за героями. Они занимают всю сцену, действуют, думают, печалятся, злятся. Это придает повествованию энергию и убедительность.

Иной раз такая манера выходит Елене боком. На форуме молодых писателей в Липках, где ее рассказы обсуждали на семинаре «Нашего современника», многие требовали от автора «перевоспитать» скинхеда Славу, одержимого эгоистическим юношеским «богоборчеством».

Так и хотелось сказать: не нравится герой? Ну, так и автор от него не в восторге. Изображая Славу, Тулушева рассказывает о явлении, присутствующем в молодежной субкультуре, влияющем на жизнь общества. Слава — типичный скинхед со всем комплексом идей, устремлений, фобий этих злых и несчастных ребят, выброшенных на обочину жизни. Желаете «исправить» таких, как он, — идите к ним! Научитесь говорить с ними! Между прочим, именно этим и занимается Елена в реабилитационном центре, пока вы «благочестиво» резонерствуете.

И последнее, на что обращу внимание читателей. В рассказах Тулушевой впечатляет разнообразие форм повествования. Вместо стандартного пересказа, происходящего от лица автора, здесь и внутренний монолог (рассказы «Слава», «Виною выжившего»), и напряженный диалог («Мамы»). И это не просто демонстрация технической «оснащенности». Это прием, позволяющий читателям глубже проникнуть в мир героя, взглянуть на жизнь его глазами.

Не могу не упомянуть о рассказе «Когда я умру, я стану собакой», хоть он и не вошел в подборку (выбивается тематически). Это виртуозный монтаж двух параллельных диалогов. Молодая пара лениво переговаривается в номере курортного отеля. А в углу негромко работает телевизор — там свой сюжет с драматическими поворотами. Время от времени парень пересказывает происходящее на экране подруге, лежащей на кровати. Автор ни единым словом не обозначает своего отношения, но читателю и так ясно: эти двое, несмотря на физическую близость, предельно разобщены. Им нечего сказать друг другу.

Я сам не раз писал о разобщенности людей, о формах социальной солидарности, о необходимости помощи обездоленным, о волонтерской работе. Мне близка нравственная основа деятельности и творчества Елены Тулушевой. С удовольствием представляю читателям ее первую публикацию.

Александр КАЗИНЦЕВ

Слава

Звонок в дверь. Вот уроды, к матери что ли? Скоро вроде Рождество, наверняка кто-то из ее церковных, кто еще придет в такую рань, когда у страны двухнедельный запой — только эти, святоши. Башка раскалывается. Надо Филу набрать, сегодня хоть выйти освежиться. Что ж так долго не открывает?! Убил бы, весь мозг прозвонили!

Не вынимая головы из-под одеяла, он нащупал на полу липкий мобильник. Дрянь какая, опять залили. На раздражающем глаз дисплее высветилось 7:30. — Что за... Ну это уж слишком! К матери в такую рань никогда не приходили. Совесть-то у них должна быть... Или не к матери?.. — неприятный холодок пробежал по хребту до самой макушки. — Спокойно, что дергаться, уже три дня прошло. Черт, в голове застучало, как молотком. «Славик, тебе же врачи говорили, нельзя пить столько — у тебя давление!» — скривя лицо, он спародировал мамину интонацию. — Забавно. Он начал вспоминать лысого Игоря Владимировича, который через тройные бифокалы внимательно разглядывал волны его ЭКГ: «Ну и куда ж вы, молодой человек такими темпами приедете? Сначала алкоголь, потом пьяные выходки, незащищенные половые связи, наркотики... а с вашим сердцем, не дай Бог!» — Да уж, мужик, тебе-то Бог явно всего этого не дал, так что не завидуй.

Воспоминания оборвал повторившийся звонок. Неожиданно для себя он съежился и вжался в спинку дивана. — Да что это я? Сейчас мать откроет или спровадит, кого там принесло. — В коридоре послышались спешные шаги, а из спальни — недовольное ворчание отчима. Секунды превратились в тягучую смолу. — Почему не открывает? — Поддавшись какому-то животному страху, он вытащил голову из душного тепла и начал прислушиваться. Мать явно была растеряна, открывала медленно, осторожно. Мужские голоса. — Неужели все-таки к нему?! — Забыв о тяжести похмелья, он в одном скачке дотянулся до двери и задвинул щеколду. Глупый детский каприз, когда он потребовал от матери замок на дверь, кажется, впервые в жизни помог ему почувствовать себя в безопасности. Тогда, в двенадцать лет, его раздражало ее вторжение в самый разгар игры в «приставку» с ребятами с ее стандартными «мальчики-не-хотите-покушать». Он нахмурился — сейчас не время для детских воспоминаний, надо срочно прийти в себя.

— Вот, пожалуйста, ордер на обыск, — послышалось размеренно из коридора. — Да вы не переживайте, вы же знаете — Слава у нас на учете давно. Разговор, конечно, серьезный. Думаю, он сам сейчас все расскажет.

— А обыск зачем? — голос матери звучал встревоженно. На него накатила паника. Он замер, зацепившись взглядом за книжную полку. — Черт, книги! — Две полки готовых улик, все вперемешку. — Скорей, думай же!

Стук в дверь. И следом бешеный стук — сердце.

— Слава, к тебе пришли. Из милиции. — Мать всеми силами старалась придать голосу твердость и спокойствие. Получалось плохо. Задрожав, как в детстве после холодной речки, он с трудом нарочито безразлично выдавил:

— Ща, мам, я голый. Сейчас штаны натяну.

— Может, вам пока чаю? Давайте я документы заодно поищу. У него выписки есть, характеристика из колледжа хорошая. Мы тогда для комиссии брали, после их собраний на Манежной площади, помните?

— Да уж как не вспомнить, Татьяна Борисовна. Собраньице вышло у них на славу. Это уже какой — третий его привод был? Давайте, несите бумажки, они ему пригодятся.

Думай, думай же! Ты же умный! Среди всех этих тупых баранов ты из тех единиц, которые реально понимают суть движения. Вот они — доказательства твоего интеллекта — черные обложки, затертые страницы... Это же могила — точно зона!.. Окно... Еще темно, холод, все спят, никто не услышит! Он подбежал к подоконнику — от рамы потягивало зябкой промозглостью, на улице медленно падали редкие снежинки. — Плохо, не заметет — вдруг найдут? Хотя как докажут? Тогда, на Манежке, у них даже на камерах мелькала его фигура — и то не сумели, не пойман на месте — не вор. Пришлось отпустить за неимением доказательств. Скорей, в запасе минуты две, не больше.

Старые расшатанные стеклопакеты открылись бесшумно. Он сгреб с полки полную охапку, свалил на подоконник и неловкими движениями начал выкидывать книги как можно дальше в окно, чтобы не ударились о балконы или карнизы нижних этажей. Внутри все кипело. Казалось, он теряет драгоценное время, не в силах поворачиваться быстрей. В любой момент они могут ворваться. Вторая полка, самое дорогое, его любимое. Книги будто цепляются за шкаф, возмущаются. Их совсем немного — но этого достаточно, чтобы все сломать. Последняя партия почти растаяла в окне. Осталась только она — его гордость, святыня, книга «великого тирана». Он в ярости крутился по комнате, пытаясь пристроить ее куда-нибудь, где не найдут.

— Идиот, раньше надо было думать, никаких секретных мест или лазеек. Все на виду. Эта привычка с кадетского корпуса — там быстро «объясняли» новичкам, что такое «прятать»: твои вещи никогда не могли быть только твоими, если ты не из сильнейших. Три года кадетства — три года тоски, унижения, бесконечной борьбы за выживание. Он так и не смог простить матери все эти скитания — пятидневки в саду, лагеря на все три смены и, наконец, — подобие армии для сотни брошенных мальчишек. Первое время он тайком плакал, каждые выходные жаловался ей, просил забрать, обещая прекратить школьные драки и прогулы. Она только разводила руками: у нее работа, надо на что-то жить, тянуть его в одиночку, совсем не остается времени за ним следить. Он кивал, старался понять, вытирал слезы и снова возвращался туда каждое воскресенье. Он старался, но так и не смог простить. Там было совсем не так, как показывали в старых военных фильмах. Чтобы выжить, нужно было драться. Постоянно, за все: за очередь в душ, за вторую котлету, за свою койку у окна. Он дрался с яростью, мысленно представляя в каждом обидчике пьяного отца, которого так и не запомнил. Он с недетской жестокостью бил в лицо, под дых, представляя, как отец корчится от боли. Сначала он дрался, чтобы выжить, защитить себя, затем, завоевывая все больший авторитет, он дрался уже просто, чтобы удержать позицию. Ему нравились восхищенные взгляды ребят, когда он входил в «качалку», нравилось чувствовать бешеный стук сердца, привкус крови во рту.

Стук сердца... Сейчас оно билось так быстро, будто боялось, что скоро замолкнет. Прятать некуда — последняя книжка полетела в окно. Он глубоко вздохнул, вытер потные ладони о простыню, натянул домашние треники и направился к двери.

— Здрасьте, а вы ко мне? — он не пытался сделать вид, что удивлен.

— Ну привет, Слава. К тебе, давно не виделись, — лицо лейтенанта изображало пародию на улыбку. Второй с раздраженно скучающим видом мешал сахар, мерзко позвякивая ложкой. Звук отдавался в голове долгим эхом.

— Да вроде не так уж и давно, — просиял как можно более беззаботно Слава, — с прошедшими вас!

— Ну что, сам расскажешь или освежить твою память? — поздравление с праздниками не добавило лицам гостей доброжелательности.

— А что, случилось что-то?

— Значит, освежить...

— Мм, да вы начните, а я, может, вспомню. Сами понимаете — Новый год, каникулы. — Желудок начал ныть и выкручиваться, к горлу подступила тошнота, во рту пересохло.

— Где ты был в ночь с первого на второе января?

Конец. Время остановилось, стук внутри тоже замер. Они знают. Откуда?! Это точно конец. Сколько раз все проходило гладко, неужели Фил? Да нет, не мог он. Хотя если взяли с чем-то, надавили, мог и сдать... Сами идиоты, без масок вышли. Но ведь смотрели по сторонам — никого вокруг. Этот второй не мог знать ни имен, ни адресов. Он и опознать бы их вряд ли смог: темно было, все на одно лицо. Сколько таких ходит по району в праздники. Не доглядели. Да что там — в пьяном угаре можно и не такое проглядеть.

Главное — не молчать слишком долго, а то точно уцепятся. Так, пришли в 7:30. Значит, боялись не застать. Значит, дело еще не завели — выслали бы повестку, наверное. Возможно, ничего у них и нет, пришли так, просто подозревают. Районная база состоящих на учете не такая уж большая, вот и ходят, выискивают, может, кто сам дрогнет — сознается. От этих мыслей стало легче: вывернусь. Презумпция невиновности, все такое.

— Ну, с первого на второе... я как все! — так же безмятежно улыбнулся он.

— Как кто — все? — Тот, что пониже ростом — Павел Сергеевич — начал заметно раздражаться. Он лично вел дела Славы, был его «куратором». Нормальный в принципе мужик, сколько раз болтали вне стен отделения, бывало смеялись вместе. Но сейчас... сейчас он смотрел совсем по-другому, как будто у себя в кабинете, полном других ментов. Может, дело во втором, что пришел? А зачем они пришли вдвоем, раньше такого не было... Спокойно, надо прекращать улыбаться, лучше прощупать, что у них реально есть.

— Как все — пил с ребятами. Потом еще с девчонками из колледжа. Вы скажите время, чтоб я припомнил.

— Время, Слава, с 23:00 до полуночи. Ну и, собственно, после полуночи тоже.

Знают. Пропал. Все сходится. Лицо начало гореть, на лбу выступили капли пота. Теперь бы понять, как много они уже знают, да не сказать лишнего.

— Думаю, мы гуляли. Вроде... Да, гуляли по району, петарды пускали. Ничего особенного.

— Ну да, действительно. А что было потом?

Просто давят, разводят. До последнего надо отпираться.

— Да всю ночь и гуляли. Потом... под утро домой. Вроде.

— Да, он пришел около пяти. Ключ не взял, мне пришлось открывать, — все это время мать молчала, боясь пошевелиться.

— Татьяна Борисовна, ваши показания нам понадобятся позже! — мать невольно замолчала, оборванная на полуслове, и начала бесцельно переставлять предметы.

Они и правда начинали злиться. Пятое января, 7:30, выезд с обыском. За смену заплатят по праздничному тарифу, но все же они надеялись провести ее в теплом кабинете, по очереди отсыпаясь и просматривая повторения новогодних «Огоньков». Но на них повесили эпизод с нанесением тяжких телесных повреждений, да, возможно, еще и по 282-й статье. А с нынешним мэром вся верхушка готова выслуживаться по этой линии, целые блоки профилактической работы разработали. На бумаге, конечно, но трудились же. И вот тебе — малолетние придурки не рассчитали силы. А по шапке получит весь отдел.

— Слава, мы тут до ночи сидеть не будем. Или сам расскажешь, или посидишь у нас сутки, поумнеешь.

— У вас? Да что он сделал? Он мой сын, я имею право знать, с какой целью вы его допрашиваете! Он несовершеннолетний! — голос матери звучал истерически.

— Татьяна Борисовна, — уже на повышенных тонах продолжал Павел, — ваш сын, Слава, подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений в виде ножевых ранений. Радуйтесь, что еще не с летальным исходом. Но это — уже, возможно, реальные сроки, а не условка. А это, соответственно, значит — и вам, и Славе стоит с нами сотрудничать. Вы меня хорошо понимаете?

«Радуйтесь, что не с летальным?!» — Идиоты, не добили, не проверили. Баран, надо ж было так, ведь нож был, столько ударов — все мимо что ли?!

Голова закружилась. Перед глазами замелькали едва сохранившиеся в памяти картинки. Он выходит из дома с ножом. Просто так, весь день пил, и адреналин зашкаливает. Фил и Лось ждут у подъезда. Пьяные. От холода, наверное, их понесло. Им весело и хочется беситься, как в детстве, тупо громко ржать и бегать. Провал. Сколько прошло времени — час, два? Потом картинка: убегающий мужик под их громкие улюлюкивания... Жалкий трус — сбежал, бросив дружка на расправу. Его уже повалили и дубасят ногами, прыгают, довольно скалятся. Это вкус власти над чьей-то жизнью, с каждым разом он все сильнее и сильнее. А потом — нож. Он не мог вспомнить, в какой момент достал его, и как решился... Да вряд ли он вообще мог тогда думать. Картинки сменяли друг друга, как за окном поезда. Он ударил его ножом, он помнил это ощущение — раньше не знал, как это — когда лезвие протыкает кожу, входит в мышцы, застревая меж ребрами. Раньше он дрался только руками и кастетом. Было холодно, от удара рука начала заливаться теплой кровью этого урода. Это было чем-то новым, и он вспомнил, как замер, разглядывая стекающие по рукоятке капли. Что произошло дальше — никто не понял. За эти дни они еще не успели протрезветь настолько, чтобы все это обсудить. Только картинка в голове, как этот бежит к ближайшему подъезду, бормоча что-то на своем языке. Как он мог бежать? Может, показалось? Пьяный угар? Нет, он помнил пик своего бешенства — это было уже в подъезде. Он не орал, он хотел просто убить. — Убить, убить эту тварь! — снова застучало в голове, как в ту ночь.

— А почему я? — он уже не мог прятаться за маской беззаботной улыбки.

— А тебе доказательства что ли нужны? Ордер на обыск ни о чем не говорит? — в ухмылке Павла читалось раздражение вместе с досадой. Он как будто и не хотел особо заморачиваться, да работа такая.

— Насколько я знаю, мне адвокат полагается. Я ведь могу без него ничего не говорить?

Выражение досады сменилось безразличием.

— Можешь, конечно. Насмотрелись американских боевиков, адвоката ему. Раньше чем думал?

— Только в отделение все равно с нами придется пройти, — впервые подал голос второй, который был крупнее и, видимо, тупее Павла, — бумаги подписать должен, что мы приходили, протокол оформить нужно.

— Да и полезно тебе будет кое-что увидеть. Может, и адвокат не понадобится. Ну, а обыск мы сейчас должны провести. Понятых бы надо, Татьяна Борисовна. Видимо, соседей ваших придется будить.

Взглянув на мать, он заметил, что она будто постарела за эти несколько минут. Она не поднимала глаз на Славу. Она стояла, как тогда, когда он видел ее на воскресной службе в церкви. Она затащила его в тот раз только потому, что ему нужно было получить ее согласие на бойцовский лагерь. Взамен Слава согласился отстоять службу: пара часов скуки за три недели настоящей свободы — небольшая цена. Он с тоской разглядывал толстых теток в платочках (если они все постятся — почему такого размера?) и странных мужиков с блаженными лицами. Неужели мать думает его таким способом изменить? Глупо. Кроме отвращения ничего. Ну и смех иногда берет, глядя, как они чуть ли не лбы расшибают в поклонах. А потом он увидел ее... как-то по-новому увидел. Они никогда не были близки: она постоянно его куда-то сдавала, перепоручала, избегала разговоров, редко обнимала. Но в тот момент она показалась совсем чужой и далекой, как из другого мира. В этом своем смирении, в этих шепчущих губах, складках на лбу — она была пугающе чужой. В тот момент ему стало так больно, так горько от своего одиночества. Он возненавидел ее Бога и всю его церковь. Возненавидел со всей детской беспощадной ревностью. И с каждым годом, с каждым очередным церковным праздником, с каждой новой книгой, которую она пыталась ему подсунуть, эта ненависть только росла.

И сейчас она стояла перед ними, как тогда, в этой смиренной позе. Ему стало тошно и гадко, она была ему отвратительна, она всегда пыталась вызвать у него чувство вины, это бесило. Где же ее дорогой Бог? Что ж не поможет? Ах, ну да, ей-то он поможет, но не Славе. Ведь это же она любит Его. Раньше ее слова вызывали боль и обиду: «Славик, больше всех я люблю Бога, а на втором месте навсегда будешь только ты. Так должно быть у верующих, ты не можешь обижаться!» — Ну да, конечно. На втором месте у родной матери! Никогда я не буду вторым, я — первый, я — лидер! — он жил этой идеей лет с двенадцати, с тех пор, как мать, по его выражению, вдарилась в религию, променяв на нее, — он с горечью повторял это, растравляя душу, — его, Славу, единственного сына.

На зону не хочется. Хотя малолетка ему уже не светит, можно не бояться этого зверья, а по законам взрослой за его статью будут только уважать. Для некоторых, особо ценных в сообществе, специально есть фонд — из него на зону шлют деньги, технику. Он сам переписывался

с одним таким: шесть только доказанных убийств в Воронеже, уже вторая судимость. За это свои его не забыли: ноутбук с круглосуточным интернетом — выкладывает фотки каждый день! Ну и ничего так — живет там, не напрягаясь вроде. Не все так страшно... Да и вообще пока рано еще волноваться, пока кроме учета у него даже условки нет, все только грозятся.

Пришли соседи, он проводил их всех в свою комнату и вышел. Не хотелось все это видеть. Книги выкинул, нож еще в ту же ночь спустили в канализационный сток, одежда, выстиранная на балконе — следов крови там не было. Пусть сами шарят. Сначала он подумал остаться — насмотрелся сериалов, где менты что-то подбрасывают по ходу обыска, но поразмыслив, решил, что это не его случай. Его же не в распространении подозревают. Да и Павел вроде нормальный мужик. Голова гудела, каждый шаг был в тягость, хотелось сигарет и пива. Он вышел на балкон в гостиной. Уже светало, редкие снежинки исчезли, оголив грязные тротуары. Там снаружи было также паршиво, как внутри: грязно и холодно. Паника сменилась какой-то обреченностью. Он просто ждал. Сил не было спорить, что-то доказывать, отмазываться. Он долго стоял прищурившись в поисках решения, как вести себя дальше. Бороться сил не было, да и глупо, обыск есть — значит зацепок достаточно. Но просто сдаться ментам с чистосердечным и молча вздыхать — это не для него... После нескольких затяжек немного отпустило. Руки перестали дрожать, морозный воздух остудил голову. Выходил с балкона он уже с твердой стратегией. Он не будет опровергать того, что они уже доказали. Но и ничего нового им не сообщит. Только не с повинной, не со страхом перед этим волками!

В отделении было тепло и мрачно. Обыск ничего не дал, по пути в ОВД все трое молчали. Слава списал это уныние ментов на отсутствие у них прямых доказательств. Скорее всего, привод сведется к подписанию бумажек. Вроде и порадоваться можно, но день уже был испорчен. Хотелось поскорее уйти отсюда, отоспаться и хорошенько напиться вечером с пацанами, поржать над ментовским проколом с книжками.

— Вадик, принеси там из сейфа конверт желтый, — Павел проводил напарника взглядом, бросил на стул куртку и внимательно посмотрел на Славу.

Вадик вышел, и Славе стало как-то некомфортно от этого пристального взгляда. Отшучиваться настроения не было, скорее, хотелось нагрубить. Он начал рассматривать уже давно изученные щели в полу, свои кеды, запачканные джинсы.

— На, держи, — желтый объемный конверт глухо стукнулся о стол.

— Ну что ж, тогда приступим.

Последующие манипуляции не вызывали у Славы интереса, поскольку ни один, ни другой не обращали на него никакого внимания, и Слава решил, что конверт к нему отношения не имеет, а его подержат здесь подольше просто для профилактики. К этому он был уже привычный и постепенно начал задремывать в мягком старом кресле.

Но когда его окликнули и подозвали к монитору, что-то неприятно кольнуло внутри.

— Ты с креслом двигайся, полюбуйся с комфортом.

Несколько секунд на экране рябили черно-серые полоски, ничего не происходило. Потом появилось какое-то размытое изображение. Постепенно картинка выровнялась и выдала обзор лестничной клет-

ки и, по-видимому, входной двери. Вид сверху, как будто через лупу, немного искаженный. Несколько секунд картинка просто висела, наконец дверь открылась и кто-то вошел. Точнее, вбежал. Через секунду показалось застывшее от страха лицо. Вбежавший пытался захлопнуть дверь, что-то кричал. Внезапно дверь снова открылась. Толкаясь, ввалились три фигуры и начали хаотично двигаться перед лестницей. Один оторвался и стал медленно подниматься по ступенькам, потряхивая каким-то предметом в правой руке. Его походка отличалась от метаний того, первого. Он шел твердо, вытянув шею и широко расставив руки. Пленка периодически чуть-чуть зависала, и картинка шла как будто в замедленном темпе. Двое других так и замерли почти у самого входа. Звука не было, но Слава уже знал, что кричит этот здоровенный бритый бугай. Крупным планом, почти глядя на них с экрана, он занес свой нож и несколько раз с силой воткнул его в медленно сползающую по стене фигуру. Она сползла, как тряпичная кукла. Бугай пнул ногой лежащее тело и развернулся к другим двум прямо перед самым объективом. С экрана на сидящих в кабинете смотрел Слава.

* * *

Оглашается приговор... согласно Уголовному кодексу Российской Федерации... дело номер... два года колонии общего режима... условно.

Из зала заседания начали медленно выходить присутствовавшие на слушании. Слава шел, растерянно слушая причитания матери. За последние месяцы он слышал это сотни раз: как она ездила с сумками еды к раненому в больницу, как отчим переводил ему деньги сразу на родину, потому что Сулейман боялся, что сам не выживет, а раз деньги предлагают — надо все переслать семье. Она столько раз пыталась потащить с собой Славу в больницу, чтобы он извинился, но после его резких слов, что он не сожалеет ни о чем, мать решила не рисковать и уладить все самостоятельно.

— Ну что, доволен своей «Минутой Славы»? — отчим ухмыльнулся собственной находчивости, но, встретив каменный взгляд, быстро отвел глаза.

Виною выжившего

— Сильней закручивай!

— Я закручиваю.

— Ты не закручиваешь, я же вижу!

— Сказал же, закручиваю.

— Да ты мне всю жизнь говоришь! Хоть бы сделал что... Вздыхает он! Закручивай нормально, опять сорвет, мне вытирать все!

— Не кричи, я делаю.

— Не кричи ему! Да тебе хоть оборись — услышишь что ли?! Сколько кричала, чтоб пить бросил — услышал?!

— Ну не могу я не пить, ты же знаешь, ну не кричи, утро же.

— Почему я могу, а ты не можешь?! Устроился! Утро у него: половина первого! Уже нажрался! Нормальные люди пашут вовсю!

Марина еще несколько минут попробовала не открывать глаза, но вопли матери окончательно прогнали сон. — Нормальные люди... Когда-

то они еще могли бы претендовать на это звание. Когда-то давно, когда Марине было лет пять, и отец хоть и пил много, но только по праздникам. В разгар застолья он брал ее себе на руки и, обдавая неприятным запахом алкоголя и лука, начинал громко на весь стол рассказывать о том, какая его Мариночка самая толковая в группе, что будет, как мама ее, самая завидная невеста. Руки у отца становились холодными и липкими, сидеть было неудобно, а от его поцелуев на щеках оставались влажные следы. Но все это казалось совсем не важным. Она сидела с восторженной улыбкой самого любимого ребенка на свете: папа ею гордится, говорит, что она будет похожа на ее мамочку!

Очередные крики матери резко оборвали воспоминания о детском счастье. «Как же достали уже, надо дверь поменять. Хотя эта и через бронированную проорется. Да и денег на это все равно нет», — мелькнуло в голове. Образ матери вторгся в сознание: руки в боки, ноги расставлены, как у мужика, голова приподнята, готовая обрушить череду возмущенных претензий на каждого, попавшего в поле зрения ее бегающих глаз. Видение окончательно заставило Марину открыть глаза и скинуть одеяло. От прикосновения к холодному полу стало зябко и неуютно. «Хорошенькую же перспективу ты мне предлагал, папочка», — размышляла она, рассматривая себя в зеркальную дверь шкафа, с облегчением не обнаруживая следов внешнего сходства с матерью. О вчерашних посиделках напоминали воспаленные глаза и пародия укладки на голове. Она карикатурно себе улыбнулась, отражение ответило совсем не дружелюбно.

Судя по продолжающимся воплям матери, кран они так и не прикрутили. Кутаясь в старый свитер, она выглянула в коридор.

— Когда в душ попасть можно будет?

— Здрасьте тебе! Неужель проснулась? А чей-то так рано? — мать, как паук, готова была переключиться на новую жертву, застрявшую в паутине ее квартиры.

Марина вопрос матери проигнорировала, обратившись к открытой двери ванной:

— Пап, скоро закончишь?

— Да хрен его поймет, мать кран купила дурной, резьба слетает.

— Ах, это я еще и кран не тот купила?! — паук заметил остатки теплившейся жизни в первой жертве и поспешил закончить свою миссию. — Да ты б хоть раз зад свой поднял, да сам купил! За столько лет в доме никакого проку! Кран не тот! Руки у тебя от водки не те!

— Да я что, я кран, говорю, не наш. Импортный, не подходит сюда.

— Чем это тебе ихние краны не угодили?! Ты на него заработай сначала, а потом обхаивай!

Раздался треск, что-то звякнуло о ванну, послышался шум воды.

— Да что б тебя, твою же...

В заключение отцовского мата обреченно прозвучало: «Не вышло, Надь, треснул».

— Не вышло?! Замуж я б за тебя не вышла, тогда б все у меня в жизни вышло куда надо!

— Ну, я так понимаю, отечественное производство рулит! — бросила Марина.

— Ишь ты, оживилась как! Мы уж и не думали тебя до ужина увидеть! — полная капитуляция отца добавила пауку новых сил, и он надвигался, потирая лапки.

— У меня выходной. Захочу — и до ужина спать буду. Я не трогаю никого. Если б не твои крики — спала бы дальше.

— Ну конечно, чем еще заниматься-то. Всю ночь шляется, потом спит сутками. Хоть бы раз за месяц в комнате разобралась, гадюшник развела, зайти страшно!

— А нечего заходить — это моя комната.

— Еще ты мне указывать будешь, куда заходить в собственной квартире! Заработай для начала себе хоть на угол!

— Будешь трогать мою комнату — я ее таджикам сдам, я тут прописана. Нечего было ту квартиру Мише отдавать, я бы с удовольствием облегчила вашу жизнь своим переездом.

При словах о Мише лицо матери исказилось болью и досадой, руки машинально опустились, и вся она как будто ссутулилась, совсем поникла. «Ну вот, опять сейчас начнется», — Марине стало жалко мать.

— На кухне он. Иди, поговори, — голос матери звучал глухо, в нем уже не слышалось злости, скорее отчаянье и безысходность.

— Мишка?

— Случилось, видимо, что-то. Но молчит, тебя, может, ждет. Ты поговори с ним? — взгляд у матери стал мягким, болезненным.

— Денег он, небось, ждет, что еще у него случается? Вот и приехал. — Марина не выносила этот жертвенный образ мамы и с годами привыкла отсекать все сентиментальности жестким тоном и жестокой правдой.

Мать молча проводила ее взглядом и машинально зашла в ванную.

— На, Коль, старый пока давай закрутим.

— Старый — это можно. А что он подтекает — да это я сейчас прокладку новую поставлю, лучше этого будет.

На кухне было холодно, пахло газом и кофе.

— Привет! — произнесла Марина как можно дружелюбней, стараясь вытянуть себя из утренней злости. — Как дела? — и, не дождавшись ответа, она начала включать остальные конфорки, потирая над плитой озябшие пальцы.

— Нормально. Сама как? — он по привычке не поднимал глаз от дымящейся кружки.

— Путем. Если б не эти — вообще неплохо.

— Да уж, мать жжет. Я в детстве думал, у нее когда-нибудь голос кончится, и она всю оставшуюся жизнь шепотом будет разговаривать.

Марина улыбнулась воспоминаниям, как они в детстве прятались от матери в ванной, и как однажды замок заело, и они не смогли открыть дверь. В итоге отцу пришлось замок выламывать, а мать орала потом еще неделю.

— У этой не кончится. Я в детстве думала, что когда вырасту — никогда кричать на своих детей не буду. Но, чую, гены свое возьмут.

— Как работа? Все пытаешься спасти мир? — ухмыльнулся Миша.

— А ты все пытаешься спастись от мира? — попыталась уколоть она.

— Каждому свое, выживаем, как можем.

Марина насыпала кофе, залила кипятком и, развернувшись, села напротив брата.

— На какие деньги выживаешь-то? Воруешь? — почти с утверждением вывела она.

— Когда как. Где так, где приторговать перепадет. Да все как раньше. Тут вот дед подкинул немного, типа ко дню рождения.

— Ну да, он говорил мне. Я его предупредила, что это тебе на похороны, — она шумно отхлебнула глоток и поморщилась.

— Все там будем.

— Ну, ты-то торопишься первым.

Она хотела продолжить стандартный обмен колкостями, но наконец, взглянула на брата, и внутри защемило. За последний месяц, который они не виделись, он сильно похудел. На отливающем голубизной лице его глаза казались стеклянными лампочками. Редкая щетина прикрывала обветренную, местами в мелких язвочках, кожу. После второго срока он два месяца лечился в туберкулезном санатории, но начавшие было появляться признаки жизни на его лице исчезли уже через пару недель, и сейчас ничто не напоминало о выздоровлении.

— На чем сейчас?

— Месяц чистый! — он широко улыбнулся, обнажив несколько новых дыр между зубами. После первого срока за грабеж мать отдала всю выручку с последней продажи на его имплантаты. Наивная, она надеялась, что тюрьма его изменит, а подремонтированная улыбка простимулирует найти приличную работу.

— Врешь.

Он не ответил, неловко поднес ко рту кружку, и стало заметно, что рука его не слушается. Он был похож на инвалида.

— «Винт»?

— Ух ты, профессорша, сечешь. Где поднатаскалась? Это даже не наркотик. Захочу — брошу.

— Ну да. Я это каждый день слышу. Лечиться не надумал?

— Да все нормально, расслабься! — нотации ему порядком надоели. — Проходили уже, Марин. Работай на работе.

— Извини. Это, скорей, вопрос риторический.

На кухне повисла пауза. Миша так и не отрывал взгляда от кружки, потирая ее бледными пальцами — на костяшках выделялись многочисленные старые шрамы. В подростковом возрасте Мишу отдали на скалолазание, где он быстро освоился и заслуживал частые похвалы. Родители, поверив в способности сына, готовы были оплачивать и дорогостоящее снаряжение, и выезды на соревнования, несмотря на средний доход семьи. Младшей по возрасту Марине становилось завидно. Ей тоже хотелось, чтобы на нее что-то тратили, радовались успехам, подбадривали. Но денег на занятия для дочери не оставалось, в связи с чем никаких «талантов» у нее выявлено не было. Марина надеялась, что в чем-то сможет отличиться, но в школе она была из середнячков, а бесплатные кружки предлагали только бисероплетение и шитье. Всей семьей они приходили на соревнования поболеть за Мишу, и Марина с тоской переводила взгляд с восхищенных родителей на карабкающегося все выше и выше брата. Ей хотелось тоже залезть высоко, еще выше него, выше всех них, чтобы они задирали головы, чтобы увидеть ее. И тогда в ней родилась та самая детская, но совсем не девчачья мечта. Космос. Выше всех, даже выше этих альпинистов, поднимались только они в своих огромных кораблях. За их подъемом следят на мониторах сотни людей, а по телевизору — и целый мир. От одной мечты о таком полете у нее замирало сердце.

Как идти к своей мечте, Марина не знала, и никто ей не мог подсказать: мечта была сокровенной тайной. Поэтому Марина просто ждала. Ждала, что оно обязательно как-то получится, что мечта сбудется и поможет ей тоже заслужить восхищенные взгляды... Ей так хотелось стать лучше Миши, хоть в чем-то.

Судьба помогла Марине стать лучше брата, но совсем другим способом. В то время, пока она ждала исполнения мечты, в школе заключили договор с социально-психологическим колледжем, куда Марина и отправилась после девятого класса. А из колледжа предлагалось без экзаменов попасть на вечернее отделение института. Космос почему-то все не появлялся в ее жизни, как и сами космонавты. Зато начали появляться мотоциклисты. Не заменят, конечно, но тоже в шлемах и «летают». Жизнь вела Марину вперед. Мысль об институте немного пугала: в их семье ни у кого высшего образования не было, и насколько все будет сложно или интересно, никто рассказать не мог. Но надежда на то, что ее тоже наконец похвалят, манила. Миша к тому времени застрял на уровне училища. Сначала бросил одно, потом исключили из другого, и он год отдыхал, в третьем у него «не сложились отношения». Родители списывали неудачи сына на загруженность тренировками, но вскоре выяснилось, что тренировки Миша посещает так же, как и учебу. А потом... Потом все закрутилось.

Марина безумно уставала на последнем курсе колледжа, постоянно подрабатывая вечерами. Она периодически замечала странные компании брата в квартире, но на ее жалобы мама не реагировала: «Мише необходимо отдохнуть!» Да вроде ребята и не пили у них дома, просто общались. Со временем Марине начало казаться, что она стала рассеянной: не могла найти вещи, куда-то засунула новый плеер, потеряла сережки, деньги все время улетучивались из кошелька. Она старалась дольше спать, завела записную книжку с напоминаниями, подсчитывала траты. Но когда к ней обратилась мама с вопросом о пропаже шкатулки со скромным содержимым из двух золотых цепочек и обручального кольца, уже не налезавшего на палец, они обе напряглись.

Сначала подумали на выпивающего отца. Но мать всегда оставляла ему деньги на алкоголь, и ему вроде хватало. Пил он запоями, раз в два-три месяца, а деньги и ценности пропадали регулярно. Мать валила все на дружков Миши, гневно обижаясь на попытки Марины «очернить» брата. А потом Марине уже и не пришлось спорить и ругаться. Реальность обрушилась на мать. Миша резко похудел, у него побледнела кожа, настроение менялось от благодушного безразличия до ярости, он постоянно «терял» телефоны, просил деньги «выручить друга», не оставляя матери возможности для отказа своими криками и ударами кулаков о стену. В доме появлялись чужие люди, никогда не смотревшие в глаза, деньги и ценности приходилось прятать, на дверях поставили замки, которые постоянно «ломались». Мать отказывалась принимать реальность, даже обнаруживая в ведре шприцы. А потом им позвонили из больницы, куда Мишу забрали с передозировкой. И диагноз в карте не оставил вариантов.

Дальше были споры, крики, пропажи, платные клиники и побеги, мамины слезы и Мишины шантажи, мольбы, просьбы, обещания. Бесконечная вереница, затянувшаяся на несколько лет. Марина разрывалась между институтом и работой в школе, стараясь полностью себя

обеспечивать, понимая, куда уходят все средства родителей. Она старалась поддерживать мать, воздействовать на брата, выбрала в институте специализацию по работе с зависимыми, чтобы лучше понимать происходящее и помочь Мише. Она очень старалась ничем не огорчать родителей, чтобы хоть с ней у них не было проблем, хотела дать им повод для радости. Но, поглощенные бедами сына, отец с матерью были не в состоянии замечать дочь. И опять все их внимание было приковано к Мише, только теперь уже к его падению. Когда Марина прилетела домой с заветной «корочкой» диплома о высшем образовании, единственной в их семье, мама со слезами выдавила: «А Миша-то, ведь и Миша бы тоже мог! Как же это мы не уследили...»

Сейчас она смотрела на него, и ей первый раз за долгое время захотелось о нем поплакать. Было понятно, что он не выдержит слез и уйдет, но они уже полились. Она оплакивала их детскую дружбу, его заботу о ней и защиту в школе, его стремления и победы, свою детскую ревность и обиды. Она оплакивала все то, что уйдет вместе с ним, уже совсем скоро. Она оплакивала свое будущее одиночество и это не покидающее чувство вины за свои успехи, свои планы и мечты, вины за свою жизнь, которая у нее будет, а у него нет.

Миша увидел слезы и без слов ушел в родительскую спальню. Она еще несколько минут беззвучно плакала. Сейчас она пойдет в свою комнату, наденет новые джинсы и свежевыстиранный белый свитер. Она уложит упрямые рыжие волосы, вставит в нос пирсинг с золотой ласточкой, капнет на запястья любимые духи. Она выйдет из дома, поймает частника и поедет в турагентство доплатить за поездку на Мальту. Потом встретится со своим «космонавтом», будет кататься по летней Москве, проведет с ним ночь и, счастливая пробуждением с той дремотной утренней негой, поедет на работу, пытаться спасти кого-то, как не смогла спасти его.

Он выкурил оставленные отцом сигареты, выпросил у матери еще немного денег и, сев в дребезжащий троллейбус, поплелся на окраину Москвы, в свою квартиру, коротать день в окружении таких же, как он, даже не загадывая, наступит ли завтра.

Мамы

— А имя твое, знаешь, почему такое?

— Да знаю, дед!

— Богдан — Богом данный.

— Да я знаю, дед, сто раз говорил!

— Бог — он в душе у каждого, вокруг нас, в каждом дне. Во всяком деле Он с тобой.

Беседы деда с каждым годом становились все скучнее, эпизоды и шутки повторялись, и взрослеющему Богдану компания старика уже начинала казаться тоскливой обязанностью.

— И потому в церковь ходить нужно, чтобы поближе к Богу-то быть, — продолжал дед, обращаясь к разложенной на столе гречневой крупе. Кожа у него на ладонях была мозолистой, и, казалось, пальцы уже не могли до конца разогнуться, не прорвав эту тугую подошву. Гречка оказалась никудышней, и дед все время качал головой, выбирая дрожащими пальцами черные зерна.

— И люди там, в церкви-то, они душою светлей, помогут они, если что, добрей они, в сердце.

В ответ на слова о доброте людей память Богдана начала прокручивать эпизоды воспоминаний. Ему было лет шесть, когда они с матерью и крестной поехали в Углич к родным. Городок был теплым, приветливым. Они весь день гуляли по его паркам и зашли на вечернюю службу в церковь. Богдан уже знал, зачем нужны церкви, умел креститься и ставить свечки с очень серьезным лицом. Эта была не похожа на их московскую: низкие потолки, тусклые деревянные иконы в потрескавшихся рамах, наваленные на лавках пакеты и свертки, и всего человек пять прихожан, которые недобро уставились на них. Богдану церковь не понравилась, даже рассматривать было нечего, и его скользивший в поисках чего-то особенного взгляд остановился на маме. Мама стояла чуть сбоку, и через узкие окошки на нее падали мелкие лучи света, начинавшие бегать по лицу и платью всякий раз, когда снаружи ветер шевелил деревья. Богдан смотрел на маму с восхищением и любовью. Она была такая красивая, улыбчивая, к ней так хотелось подбежать и обнять... Но он знал, что в церкви нужно стоять тихо, и продолжал вздыхать от скуки, переминаясь с ноги на ногу.

Потом к крестной подошла какая-то тетка и что-то спросила. Крестная едва мотнула головой и отошла. Тетка постояла и направилась к маме, и Богдан с любопытством начал осторожно пододвигаться к ним, чтобы лучше слышать.

— А вы свечки брать будете?

— Нет, спасибо. Мы еще завтра зайдем, поставим.

— А?

— Нет, спасибо! Сегодня не будем.

— Не нужны вам свечки?! — тетка так посмотрела на маму, что Богдану показалось, будто мама сделала что-то плохое и на нее сейчас наругаются. Он поскорей поторопился взять ее за руку.

Через пару минут тетка вернулась и встала перед ними, наклонившись к Богдану.

— На вот, держи, раз они не могут тебе купить, — громко и злобно сказала она, протянув погнутую красную свечку. — Пойдем, поставим Казанской.

Богдану идти не хотелось, но мама молчала, и он решил, что свечку поставить нужно, раз дают. Тем более, тетка так громко говорила, что он побоялся, что она все-таки наругается на маму, если он не поторопится. Тетка согнулась и обхватила Богдана за плечи. Ее волоски неприятно щекотали щеки, изо рта противно пахло. Через пару шагов Богдана осторожно потянули назад. Обернувшись, он с облегчением увидел маму.

— Не надо, спасибо.

Но тетка ухватилась за Богдана еще сильнее и заговорила еще громче:

— Не трогай ребенка! Как себя ведешь в церкви! Позорище!

— Нет, это вы уберите руки от моего ребенка! — мама теперь говорила жестко и тоже громко.

— Да ты что творишь?!

— Уберите руки от моего ребенка! Он чужого брать не будет и никуда с вами не пойдет!

Растерянного Богдана тянули в разные стороны, свечка выпала, и освободившейся рукой он ухватился за маму, боясь, что одна она без

его помощи с теткой не справится. Мама сгребла его в охапку, подняла на руки и, крепко прижав, развернулась к выходу. А тетка все не успокаивалась, шла за ними и почти кричала:

— Свечку купить не могут! И не стыдно так в церкви-то себя вести! Пример какой ребенку! Приехали тут!

— Не надо трогать нашего ребенка, он приучен у чужих людей ничего не брать! — вступилась крестная.

— А ты кто такая? Как воспитали-то!

— Меня очень хорошо воспитали, и вам дай Бог так своих детей воспитать...

Дальше разговора Богдан уже не слышал, только испуганно смотрел через мамино плечо, как тетка ругалась на крестную. Мамино плечо пахло вкусно, и щека терлась о ее мягкую шею. «Хорошо как, что у меня и моя мама есть, и крестная мама. Вместе они точно сильнее тетки!» — размышлял он, укачиваемый теплыми любимыми руками...

Детские воспоминания опять подняли внутри какую-то тревогу. В последнее время он все чаще чувствовал ее. Иногда она даже перерастала в страх и спускалась к самому животу. Почему и откуда она появлялась, Богдан не мог понять, и от этого еще неприятней становилось. От родителей он постоянно слышал про переходный возраст.

— Дед, а я вот что-то маму не очень помню, когда совсем маленький был. Работала она что ли много?

Дед продолжал перебирать гречку, как будто и не слыша.

— Де-ед! Про маму спрашиваю, почему не помню? — повторил Богдан в самое ухо.

— Да слышу я. На-ка вот, собери, что осталось, — он протянул банку для крупы, а остальное сгреб в кастрюлю. Богдан вяло ссыпал не отобранные зерна в банку, ожидая очередной истории деда. — Да вот, как тебе сказать. Вроде уже взрослый ты у нас, вымахал какой, понимать должен.

— Чего понимать?

— Да про маму понимать, — дрожащие руки несколько раз безуспешно чиркали спичками о коробок, но искра не появлялась.

— Дай я! — спичка ловко скользнула по картону, озарилась пламенем, и конфорка засветилась сине-оранжевыми языками.

— Вот помощник, говорю, вырос ты уже, двенадцать-то лет!

— Тринадцать, деда. Двенадцать в том году было, когда велик подарили.

— Ну да, тем более, тринадцать уже, поймешь.

— Что пойму?

— Да про маму. Они, видно, закрутились совсем, сказать тебе забыли.

— Да кто они? И что сказать?! — Богдан уже начинал злиться на деда, постоянно забывавшего суть разговора. Последнее время даже свои древние истории он рассказывал запутанно, сбиваясь с одной на другую, и Богдан сам нередко подсказывал ему продолжение сюжета.

— Не твоя она.

— Кто? — Богдан так углубился в свои размышления о деде и его старости, что забыл, о чем шла речь.

— Мама твоя... Она не твоя, понимаешь?

— Ты чего, дед? Как это? — в горле снова появилось то странное ощущение. «Наверное, это от грусти, что дед совсем старый стал

и глупеет. Такую ерунду иногда говорит!» — Богдан постарался отогнать неприятные мысли.

— Когда родился ты, другая у тебя мать была. Она тебя родила, но не сложилось у них потом с отцом. Вот другая мама тебя и растила.

Богдан замер и не мог понять, что он чувствует.

— Это как же это, дед? — говорить получалось плохо, то странное ощущение, как будто сдавило горло, и слова прозвучали почти шепотом. — Как же так вышло?! Ты путаешь что-то!

— Ну, как вышло... Что поссорились-то? Ну, бывает так, ты уж должен понимать. Любили они друг друга. Потом Женька у них появился. А потом выпивать она начала. Негоже это, женщине-то пить, понимаешь? Мы тогда еще все в Кузовке жили, деревня значит. А там же не как тут, в Москве, там все все видят, не утаишься. Соседи-то шепчутся, переговариваются, отцу потом все слухи доносят. А Женька не понимает, маленький еще. Как брошенный он был совсем.

— Кто он? — слова деда звучали, как из радиоприемника. Как будто кто-то там, за ящиком, рассказывал очередную запутанную историю.

— Женька-то, маленький когда был.

— Да кто это?! — на какое-то мгновение Богдан подумал, что дед и правда рассказывает историю про кого-то чужого, про далекого мальчика и его пьющую маму.

— А, ну да, ты же его не запомнил, наверное. Брат твой — Женя. Первенец у них был. Добрый такой малыш, а глаза все время грустные, — с такой-то матерью.

— Брат? А как же Леша?

— Леша, он не твоего отца сын, это сын мамы, которая вырастила тебя. Когда она с отцом твоим сошлась, лет девять ему было, на год старше Жени.

— Так Леша не брат мне?!

— Ну не родной, а так брат — сводный. Вместе же росли, у одних родителей. А Женя родной. Когда Ксения, это мать-то твоя, которая родила тебя, вот когда она совсем спиваться начала, отец твой ее к батюшке повез, к святым местам. Это он ее так вылечить все хотел. Да ты не хмурься, большой уже, понимать должен. Вот вернулись они оттуда, а она, значит, забеременела. Это тобой, значит. И как она тут преобразилась вся! Помогли видать, в церкви-то. Пить бросила, приветливая такая стала, ухоженная, с Женькой целыми днями возилась, в школу его готовила. И он-то как радовался, что мамка его так изменилась, сиял весь, когда с ней по улице шел.

— А что с ним стало?

— С Женей-то? Ничего не стало, тьфу-тьфу, жив-здоров, слава Богу!

— А где же он?!

— Так где был, там и есть. Он ведь с ней остался, с Ксенией.

— Как остался?! А как же я? — внутри как будто все тонуло, ускользало. С каждым новым словом деда словно открывался другой мир или, наоборот, рушился его мир, такой любимый, понятный, привычный. Перед глазами возникла картинка женщины с ребенком, которые как будто на другом берегу машут ему рукой, но к себе не зовут. А он проплывает мимо. Им так хорошо вдвоем, они там вместе... И ему вдруг так туда захотелось...

— А почему я не с ними?!

— Ну, так ты и досказать не даешь. Не с ними... С папой ты остался, а он с ней. Ты когда родился — праздник какой для всех был! Здоровый, крепкий — она ведь всю беременность не пила, не курила, как чудо какое. Вот тебя так и решили назвать, мол, Богом ты послан им был, понимаешь? Богом дан. А через год снова пить начала, да только хуже прежнего. Вас с Женькой бросит и уйдет. А он с тобой на руках все ко мне прибегал. Маша моя слегла тогда, бабушка-то ваша, я и не выходил почти из дома, за ней смотрел. Вот притащит тебя Женька, а сам плачет, за мать переживает. Я накормлю вас, тебя уложу, а его в магазин пошлю или на почту там, принести что. Помощник он был мне в то время. Вот за хлебом, помнится, пошлю, а он часа на два пропадет. Прибегает, весь запыхавшийся, сандалии пыльные. И я, значит, соображаю, что это он мать опять бегал-искал по всей деревне. А мне говорить не хочет, стыдно ему за мать. Так вот почти год и жили. Пока она на три дня не пропала. Ее потом участковый привез на машине своей, чтоб народ-то не видел позора. Она грязная вся, без обуви, в чужих лохмотьях, пьяная. Ну, тогда отец твой не выдержал. Пошел на следующий день на развод подавать. А самому тяжело, сколько лет вместе, все жалел ее...

Дед застыл, глядя куда-то поверх Богдана... А у того в голове как будто появилась недостающая деталь мозаики. Ему казалось, что он начал вспоминать те эпизоды, о которых говорил дед, — фрагментами, вспышками... Синие с красным сандалии с оторванными ремешками, сбитые коленки, светлые кудрявые волосы. Но все это как будто со стороны, как не его. «Наверное, это был Женя! Наверное, я его помню!»

— А сандалии у него, они какие были?

В глазах деда застыли слезы, а голова монотонно покачивалась.

— Чего говоришь-то? — он достал наглаженный по старой привычке платок и приложил его к глазам. — Заболеваю я, похоже. Вот... заслезились совсем.

— Сандалии у Жени синие с красным были? Еще с ремешками оторванными!

— Сандалии? — дед никак не мог переключиться со своих мыслей обратно на разговор. — У Жени-то? Да откуда ж я помню, какие они были...

— Жалко... — Богдану показалось, что очень важно узнать про сандалии, что от этого так много зависит.

— Хотя, наверное, порванные были. Ксения-то совсем уже за вами не смотрела. Так и ходил он, в чем придется, пока отец не заметит. Нелегко тогда всем было.

На кухне снова повисла пустая тишина. Вода закипала, но мальчик и дед как будто и не слышали позвякивания алюминиевой крышки.

— Маша моя совсем при смерти была. А отец твой мне так и говорит: «Мне, пап, от стыда не скрыться в деревне. Только мама и держит, не могу вас тут одних бросить». — Дед помолчал несколько минут. — А потом умерла бабушка ваша. Как сорок дней справили, так он переезжать надумал. А Ксения помаленьку соображать начала, что детей он забрать у ней хочет, вас с Женькой. И давай тогда она Женьку жалобить. Все плакалась ему, как она одна пропадет, как не управится с горем. А он не знай как, все утешал ее. Да возьми и скажи ей: «Я тебя, мамочка, ни за что не брошу! Я тебе обещаю!» — это он мне в тот же вечер рассказал, что матери пообещал. А сам плачет: и мать ему жалко, и с отцом быть хочет.

— Значит, он все-таки маму выбрал? А я как же? А меня — меня не спросили? — Богдан не понимал, что с ним происходит. Ему хотелось то расплакаться и спрятаться в угол, то закричать громко-громко, разломать все, а то убежать далеко, чтобы никто не нашел.

— Да тебе два года было, кроха совсем! Как отец все устроил, так решил переезжать с вами. А Женька — ни в какую: плакал, кричал, из дома до самой ночи уходил. Ну и не выдержал, отец-то. Решил время дать ему: пусть, мол, успокоится. Думал, будет навещать его, так тот сам и попросится. А тебя он Ксении не оставил. Боялся, не уследит. Вот и решили мы с ним: вдвоем уж как-нибудь управимся. Так и переехали в Москву. Первое время к нам Настя часто приезжала, крестная твоя. Она ж папе твоему сестра двоюродная. Переживала за нас: как мы, два мужика, с ребенком управимся. Приедет, бывало, на выходных, и весь день от тебя не отходит. Игрушек навезет, в парк сводит — баловала, одним словом. И все папку твоего пилила, что, мол, без матери мальчишке нельзя расти.

— А мама, мама приезжала к нам?

— Какой там! Он ни адреса ей не дал, ни телефона. Боялся очень. Ты первые дни все плакал, искал ее. Вроде ж ведь когда жил с ней, она и не видела тебя почти: пила да гуляла. А ты все же тосковал по родной душе. Вот отец и боялся, что увидишь мать — совсем тяжело станет. Так тебя больше к ней и не возил.

— Никогда?!

— Да вот, выходит, никогда. Да и сам он со временем все реже в деревню выбирался. Сначала Женьку хотел забрать, переживал за него. Но тот никак, уперся, маму решил оберегать. Ну и успокоились на том: Женька с ней, а ты с отцом. Он его раз в месяц навещал, игрушки возил, одежду. Постарше стал — и денег подкинет, не бросал, в общем. Он уж теперь и в армии отслужил. Отец мне его фотографии показывал, гордится.

— Так они и сейчас общаются?

— Конечно, что ж им не общаться — сын все-таки.

Дед не стал расписывать внуку, как его отец искал себе новую жену, как мучился, приглашая в дом то одну, то другую. Самому деду ни одна не нравилась: все они, когда Богдана видели, как будто разочаровывались... Не хотелось им чужого ребенка. Да и понятно оно: зачем им в придачу к мужику неродной малыш. А потом появилась Вера. Деду она сразу понравилась: взрослее всех предыдущих, серьезная, рассудительная. И, главное, глаза у нее добрые, задумчивые. Как в дом пришла — так как будто всегда с ними и жила. И с Богданом как ловко управлялась. И Насте она понравилась — подругами стали. Настя деда подбивала повлиять на сына: мол, чем не пара, женился бы. А сын все как-то мялся, отмалчивался. А раз приехал, видимо, со встречи с ней, весь взволнованный:

— Пап, разговор у меня к тебе. Совета твоего спросить. Хочу на Вере жениться.

— Ну, и слава Богу! Чего тянуть-то! Хороша она, и Богдану с ней хорошо.

— Подожди, тут проблема есть.

— Да ну навыдумываешь еще, чего там у вас?

— Ребенок у нее. Уже большой, девять лет.

— А где ж это он?

— С ней живет, в ее квартире. Вот сегодня знакомиться ездил, Алексеем звать, славный вроде паренек.

— А чего ж тогда проблема?

— Ты думаешь, не страшно? — глаза сына засияли с облегчением. — Я за Богдана переживаю, как ему-то будет?

— Да ну брось ты, малой он еще. Привыкнет, как к родному, и не вспомнит потом.

В круговерти переездов Богдан и правда попривык. Одно время подолгу молчал, все прислушивался к чему-то. Но и это постепенно прошло. Первые месяцы дед часто забирал Богдана на выходные к себе, старался дать передохнуть сыну с невесткой. Но постепенно Вера начала все больше привязываться к малышу и настойчиво просила детей не разлучать: вместе с ними обоими и в парк, и в лес, и на море. И жизнь потекла спокойно. Впервые после смерти Маши деду показалось, что все налаживается. Бывали и ссоры. Да у кого же их нет. Но так они с годами привыкли друг к другу, что все уже само текло, как будто так и должно быть.

Дед посмотрел на совсем потерянного внука. И жалко его стало, и вроде большой уже. Забился в угол, как воробей взъерошенный.

— Как же так, деда?

— Ну, вот так в жизни вышло. Всякое бывает, понимаешь. Ты не тоскуй, уж как получилось.

— Ведь они должны были мне рассказать! Обязаны были! Как же это они?!

— Да не хотели, чтоб переживал ты! Как лучше ведь хотели.

— Кому лучше? Они ведь знали! Это ведь... Это ведь получается, все знали? Все вы знали?! — Богдана пронизывала боль от такого предательства близких.

— Да мы ж за тебя боялись. Что ж не поймешь никак, чудак-человек!

— И крестная, значит, Настя, тоже знала? — он уже не слышал деда, а только перебирал в памяти всех родных и друзей семьи, пытаясь разобраться, кто из них тоже знал, но молчал.

В дверь позвонили. Два коротких, один длинный. «Это она! — мелькнуло в голове у Богдана. — Она всегда так звонит, чтоб дед чужим не открывал!»

— Откроешь? — дед несколько мгновений вопросительно смотрел на погруженного в свои мысли внука и, кряхтя, пошел открывать сам.

«Это все неправда!» — вдруг озарило Богдана. Сейчас она войдет, его мама, и все это окажется глупой историей старого деда. Она посмотрит на него, и все сразу станет ясно.

— Привет, Вера!

— Вы чего так долго не открываете?! Я уже подумала: случилось что! А ты чего такой хмурый? Подростковый бунт на корабле? — она ласково улыбнулась Богдану.

— Ты... ты почему мне не сказала? — он хотел, чтобы вопрос звучал твердо, по-взрослому, чтобы она не смогла соврать. Но голос дрожал и звучал пискляво, как у девчонки.

— Что не сказала, родной мой? — она нежно смотрела на него, одной рукой пытаясь расстегнуть босоножку. — Ноги совсем отекли: осень на дворе, а жара какая!

— Никакой я тебе не родной! — сдавленно прохрипел он.

Все внутри напряглось, как пружина. «Скажи, что это все не так! Ну же! Скорей, скажи, что дед совсем глупый стал! Ну, чего же ты!» —

мысли проносились в его голове, пока она поднимала взгляд от непослушного ремешка.

— Что ты имеешь... — ее глаза встретились с глазами Богдана, и взгляд начал медленно напрягаться, как будто пытаясь что-то рассмотреть. Она резко повернулась к деду, и лицо ее застыло с выражением страха. Дед растерянно отвел глаза, потирая затылок. Мамин взгляд снова вернулся к Богдану и замер... Все его надежды разбились. Все было правдой, дед не врал. Он все прочел на ее лице.

Вера осторожно стянула босоножки, захлопнула входную дверь и прошла на кухню, сев напротив Богдана. Дед выключил свет в коридоре и медленно поплелся за ней.

— Ты теперь все знаешь, да?

Богдан смотрел на ее лицо, не чувствуя внутри ни тепла, ни нежности. Волосы у нее прилипли ко лбу и щекам, под носом выступили капельки пота, а кожа неравномерно покраснела. Она тяжело дышала, и от нее пахло пыльной улицей. Ее веснушчатые руки нервно потирали край стола, и он задержал взгляд на мозолистых от стирки красных пальцах с заусенцами у основания коротко остриженных ногтей.

— Нам надо всем поговорить.

Они снова встретились взглядами, и она поспешно отвела свой в сторону убегающей на плите каши. Он увидел много мелких морщин вокруг ее едва подкрашенных глаз. Они разбегались лучиками от носа к вискам и вниз к щекам. Они бежали по всему лицу, исчерчивая едва заметной паутинкой ее лоб, щеки, подбородок. Он смотрел на ее бледные тонкие губы, которые что-то произносили, и морщинки вокруг них. Он заново изучал это чужое лицо.



ВЛАДИМИР ШУГЛЯ

Мы у века последние

* * *

Отец нам строил дом —
Мне было восемь.
Все сам... Своим трудом —
Семь зим и весен.

Дом рос... А с ним и я
Из сини в просинь.
Ложилась колея
На дни — колосья.

И белых яблонь сад
Вел в поднебесье...
Цветочный аромат
Струился песней.

И правдою поил
Родник деревни,
Душе давали сил
Поля... деревья.

...За поворотом — брод,
Лес в птичьих гнездах.
И мама в дом зовет,
И небо в звездах...

Шепни мне, сердце...

Шепни мне, сердце, что устало,
Что дальше жить
со мной нельзя,
Что от вокзала до вокзала
Не жизнь... Что все проходит зря.

Что жить, как все, я не умею
Покой души не берегу,
Живу потоком, ветром вею...
А надо бы — на берегу...

В ответ — стук сердца
под рукою,
И сбои ритма, как слова:
А по-другому разве стоит?
Жизнь, что разлив
реки весною...
А нету стрежня — жизнь мертва.

* * *

Кричали: «Жаждем перемен»...
И вот уж нет запретных тем —
И больше прежнего грешим,
Тепло сердец уходит в дым.

И Бог оставлен на потом
В погоне грешной за рублем:
Быстрей, быстрей набить суму,
Не зная дальше: «что к чему».

...Возводим дом, а в нем нет стен,
Бурьян на пашнях, свалок тлен.
Из истин пепл — кострищ — и дым
Туманят душу злом земным...

А жизнь по сути-то проста:
В ней детский смех — она... чиста!

Цыганка гадала...

У автовокзала —
Платок до бровей —
Цыганка гадала...
Слов лился ручей.

Держала рукою
Девичью ладонь,
В девчушке — больное —
Сердечная томь.

Росинками слезы
В ресницах видны,
Сердечные грезы
Туманам сродни...

Ей хочется верить
В гадалкину «новь».
Распахнуты двери
В надежды... В любовь.

Цыганка гадала,
И лился елей...
Девчонка стояла,
Забыв про людей...

* * *

У времени взведен фугас...
Его часы — грехами в нас —
Отсчет ведут, как на войне,
В любой душе... на самом дне.

Холодный воздух гулом глух...
Но что-то сердцу режет слух:
Средь суеты и неудач
Я слышу сына тихий плач...

Иду к нему... И зла фугас
Не первый — мимо — рвется раз...

Мы у века последние...

Крутятся времени мельницы,
Вечности льется вода...
Сердцу по-прежнему верится
В то, что не скажут уста...

Где же вы, полосы белые?!
Плевелы стали зерном,
Весен подснежники светлые
Сгинут под горьким дождем...

Но не проклятья мы выхрипим —
Веру с любовью возьмем —
Души очистим и высветим
Вечным, небесным огнем.

Пусть мы у Века последние,
Пусть нас осталось чуть-чуть —
Входим в столетье соседнее,
Не растеряв свою суть...

Мы как и прежде — передние! —
В Млечный уносимся Путь...





АЛЕКСАНДР ЗВЯГИНЦЕВ

Три рассказа

Неуловимая

Примчался неугомонный Сережа Прядко и потащил на место происшествия. Взрыв в охраняемом гаражном комплексе, есть жертвы, азартно объяснил он по дороге. Руководство взволновано — вдруг терроризм? Тогда весь город будет стоять на ушах.

Ехать было недалеко.

У гаражей уже работали криминалисты и врачи «скорой». На земле в луже крови лежал человек с черным обугленным лицом. У него были по локоть оторваны обе руки. Невозможно было понять, жив он или мертв.

— Живой, но... Шансов почти нет, — покачал головой врач.

— Что-то взорвалось у него прямо в руках, — доложил эксперт. — Взрыв был граммов так на сто в тротиловом эквиваленте. Как он еще жив остался, не понимаю! Башку должно было снести напрочь. Повезло...

Ледников еще раз взглянул на обугленный обрубок: если это считать везением...

Прядко, известный скорохват, уже выяснил, что потерпевший — владелец одного из гаражей Кирилл Селиверстов. Причем в свой гараж он, судя по всему, даже не вошел: дверь была заперта. Это подтвердил и один из охранников, видевший, как Селиверстов, не открывая дверь, зашел за угол гаража, а через минуту грохнул взрыв.

— С собой он, что ли, эту бандуру принес? — хмыкнул Прядко.

— Или тут нашел, — пожал плечами Ледников.

Пока врачи в больнице спасали Селиверстову жизнь, эксперты установили, что в руках у него взорвалась коробка с видеокассетой, от которой практически ничего не осталось — только крохотные кусочки пластмассы.

Прядко неустанно таскал Ледникову добытую информацию.

Так как тридцатипятилетний Селиверстов, как выяснилось, служил в коммерческой структуре, начали отрабатывать версию, связанную с профессиональной деятельностью пострадавшего. И ничего явно подозрительного не нашли. Сам он никаких финансовых вопросов не решал, и вообще от него в фирме мало что зависело.

— Я с владельцем говорил, — доложил Прядко. — Он прямо сказал: если бы хотели наехать на фирму, то имели бы дело лично с ним. Получается бытовуха...

— Ну, и какие будут предложения? — устало поинтересовался Ледников, на котором, как обычно, висело еще несколько неоконченных дел. Успокоившееся начальство, для которого все, что не терроризм, может подождать, уже не

требовало срочных отчетов, поэтому можно было спокойно разобраться в том, что случилось.

— Надо, пока он сам не заговорил, поработать с его семьей, — недолго думая, сказал Прядко.

— А он сам-то сможет когда-нибудь заговорить?

— Врачи говорят, что теперь шансы есть, хотя... рук нет, легкие обожжены, от глаз ничего не осталось, еле-еле слышит...

— Да, повезло мужику, — вспомнил Ледников слова эксперта. — А что у него за семья?

— Семья — одно название. Развелся он месяц назад. Ушел от жены.

— Характерами не сошлись? Или были другие причины?..

— Откуда я знаю? — слегка осадил его Прядко. — Я пока его работой занимался.

— А я вот хочу знать, что у него с семьей, — ворчливо повторил Ледников. — Причем очень надеюсь услышать это от тебя.

— Слушаюсь, товарищ начальник! — козырнул Прядко.

Прядко, как всегда, обернулся быстрым соколом. И уже на следующий день выложил весьма любопытную информацию. Бывшая жена Селиверстова рассказала, что муж очень изменился за пару месяцев до развода, но она поначалу на это не обращала особого внимания, потому что была занята ребенком: родившаяся год назад девочка все время болела. А потом Селиверстов заявил, что уходит. Причем решительно настоял на официальном разводе. Немедленно. Жестко, без экивоков сказал: «Чтобы у тебя не было иллюзий, что я вернусь».

— Видимо, у него кто-то появился, — подвел итог услышанному Ледников.

Прядко, зажмурив глаза, потянулся, как кот.

— Что характерно, я и сам до этого дошел.

— Иди ты! Ну, ты даешь!

— Да-да, гражданин начальник. Не ты один у нас такой умный.

— И кто она, эта разрушительница семьи?

— Ищу.

— Давай. И без женщины не возвращайся.

Прядко вернулся без женщины, но зато со смышленым парнишкой, который не только видел у гаражей мужика, звонившего по мобильнику, но и ясно слышал, как он сказал: «Кассета будет лежать на крыше твоего гаража, завернутая в пакет». Парнишка оказался настолько смышленым, что запомнил марку машины, цвет и последние цифры номера. Да еще помог составить фоторобот звонившего. Для Прядко этого было, по его собственному выражению, выше крыши.

Он явился через день, сел напротив и уставился на Ледникова, который молча ждал, когда Прядко начнет колоться. Наконец, тот сказал:

— Я нашел похожую машину.

— Кто бы сомневался.

— И владелец очень даже похож на фоторобот.

— Ну, и кто это?

Прядко со значением глубоко вздохнул.

— Подполковник.

— Настоящий.

— Еще какой. Сотрудник центрального аппарата МВД...

Прядко состроил удрученную физиономию и закончил:

— Гладыш Николай Николаевич.

Ледников тоже немедленно впал в задумчивость — ничего себе поворот сюжета!

— Может быть, совпадение?

— Может, — послушно согласился Прядко. — Только еще я нашел женщину Селиверстова. Ту, из-за которой он бросил семью. Ее зовут Нина Владимировна. Фамилия — Гладыш.

Ледников удивленно посмотрел на хитрую физиономию Прядко.

— Не может быть.

— Да-да, — подтвердил тот. — Любимая женщина ныне взорванного Селиверстова — жена подполковника Гладыша.

И нетерпеливо спросил:

— Будем брать товарища подполковника?

— Успеешь, — успокоил его Ледников. — Куда он от тебя денется... Ты же понимаешь, что ошибки тут быть не должно. Так что давай еще покопаем. Пройдись по родственникам, знакомым, сослуживцам...

Уже через пару дней Прядко расписал Ледникову всю диспозицию.

Подполковник Гладыш был совершенно сумасшедшим мужем и отцом. Нину, жену свою, он отбил восемь лет назад у какого-то сослуживца, который с горя подался в далекие края. От первого брака у нее уже был сын, а через два года от Гладыша родился второй. Гладыш обожал обоих. С женой он буквально нянчился: возил на работу, забирал, сам делал все по дому. Он открыто гордился своей ненаглядной, даже в присутствии посторонних зачастую просто не мог отвести от нее страстного взгляда, смущая не только других, но и ее тоже. Вот такое счастье... Но полгода назад влюбленный подполковник с недоумением заметил, что жена вдруг внезапно исчезает с работы, а ее мобильник в это время почему-то отключается. Жена в ответ на расспросы устало улыбаясь: «Ты что, ревнуешь?» Однако и на работе ее исчезновения среди бела дня тоже не остались незамеченными.

На то, что творится что-то необычное, обратили внимание и в фирме, где трудился Кирилл Селиверстов. У него тоже начались регулярные отъезды в неизвестном направлении, появилась непривычная мрачная задумчивость, время от времени вырывались помимо воли странные фразы: пора что-то менять, начинать новую жизнь.

А потом их, Селиверстова и Нину Гладыш, кто-то увидел вдвоем... А потом еще кто-то увидел...

— Они, конечно, скрывались, как могли, встречались только в рабочее время, но, сам понимаешь...

Прядко почесал щеку, вздохнул.

— К тому же Селиверстов решил, что хватит уже скрываться. Намерения у него были, судя по всему, самые серьезные. Он хотел, чтобы Нина Гладыш стала его женой. Он для того и решил разводиться.

— А у нее какие были намерения?

— А она, как я понимаю, уходить от мужа не собиралась. Да и зачем? Мужик растит ее детей, что родного, что неродного, готов носить на руках, с карьерой у него все в порядке, глядишь, в генералы выбьется... Ее все устраивало, но Селиверстов пошел буквально вразнос: уходи от мужа, и все тут. Сдается мне, что Гладыш все узнал, ну и...

Ледникову уже было ясно, что так все и было. Он просто чувствовал это. Интуиция его, если вообще срабатывала, то практически не ошибалась.

— Он мужик-то неплохой, Гладыш этот, — задумчиво сказал Прядко. — Я наводил справки. Десантник в прошлом...

— Значит, и бомбу сделать может при нужде, — сказал Ледников.

— Да понятно тут все, — махнул рукой Прядко, как бы отодвигая в сторону сантименты. — Брать надо!.. Одного не пойму: зачем ей, этой самой Нине, все это было нужно? Было у бабы все, а теперь что? От любовника — слепой обгорелый обрубок остался, муж в тюрьму на долгие годы сядет... Сломала жизнь и себе, и мужикам.

— Ты ее-то видел? — поинтересовался Ледников.

— Так, посмотрел со стороны. Из любопытства.

— Ну, и как?

— Честно? Не в моем вкусе. Только чувствуется в ней что-то... — Прядко пощелкал пальцами. — Какая-то она, понимаешь, неуловимая.

— В смысле?

— Ну, на первый взгляд, тихая, спокойная, а потом вдруг начинает казаться, что способна она на многое. Что-то она такое обещает, от чего у мужика голова кругом идет.

— И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет?

— Сам придумал?

— Пушкин. Заключительные строки поэмы «Цыганы».

— Класс! — одобрил Прядко.

— А ты думал. Слушай, ты приведи-ка ее ко мне, сию, как выражаются французы, la femme fatale.

— А не опасаешься? — ухмыльнулся Прядко.

— Чего? — не понял Ледников.

— Что она того — произведет на тебя сильное впечатление? За бомбой не полезешь? — заулыбался Прядко.

— На тебя же не произвела, — отмахнулся Ледников.

— Так то я! А ты у нас впечатлительный. С женщинами у тебя всегда все очень запущено...

— Ладно-ладно, разговорился, — проворчал Ледников. — Свободен.

Ледников не стал говорить Прядко, что он задумал нечто, что может лишить его лавров победителя в расследовании покушения в гаражном комплексе. А Сережа Прядко такие вещи, всякие там лавры и благодарности в приказе, очень уважал. Нравилось ему быть победителем. И начальству напомнить про свои доблести он никогда не стеснялся.

Прирожденный оперативник, Прядко действительно углядел в Нине Гладыш самое главное — неуловимость облика.

Была она не очень высокая, но стройная, со светлыми, рассыпанными по плечам волосами и непроглядно темными, скрытыми под падающей на лоб челкой глазами. На первый взгляд ее лицо могло показаться просто правильным, но будто стертым, невыразительным. И вдруг буквально на глазах, затаенно улыбнувшись чему-то своему, она превращалась в загадочно-прекрасную женщину, в которой угадывалась глубоко спрятанная страстность. И мужчине невольно хотелось этой женщине понравиться.

— Нина Владимировна, — сказал Ледников, аккуратно подбирая слова, — у нас есть все основания считать, что взрыв, во время которого пострадал Кирилл Селиверстов, организовал ваш муж Николай Гладыш. Мы могли бы арестовать его хоть сегодня...

— Господи, и за что мне все это, — устало, с искренним непониманием произнесла женщина.

— Что именно?

Но она словно не слышала Ледникова и продолжала говорить о чем-то своем, видимо, давно наболевшем.

— Подруги крутят романы — и ничего. Все им с рук сходит. Отвлеклась, побаловалась — и домой. А я, как проклятая, — каждый раз такая история закручивается, что хоть вой! Ведь и с ним, с Николаем, так же было. Думала, так, интрижка, романчик, ни к чему не обязывает, а он впился в меня насмерть, и пока от мужа не увел, не мог успокоиться...

Она покачала головой.

— И с Кириллом тоже сначала ничего серьезного не было — баловство одно, развлечение на скорую руку. А потом и он туда же — уходи от мужа, и все. Куда уходи? У меня двое детей! Да и не хочу я с мужем разводиться. А Кирилл как с цепи сорвался! Сам развелся, мне ничего не сказав, планы стал на наше общее будущее строить... Я уже прятаться от него стала, на звонки не отвечала. Так он заявил, что сам встретится с Николаем и все ему объявит по-мужски. Бред! Я уже просто не знала, что делать...

Было ясно, что она говорит совершенно искренне.

— Видимо, Бог наделил вас способностью вызывать в людях глубокие чувства, — мягко сказал Ледников.

— Да? А меня Он спросил — нужно мне это?

Ледников не стал объяснять ей, что Господь не спрашивает чьего-либо разрешения. У него иные резоны.

— По-моему, вы сразу догадались, что взрыв устроил ваш муж, — сказал он.

— Догадывалась, — не стала отпираться Гладыш. — Догадывалась, но... старалась не думать.

— То есть вы с ним об этом не говорили?

— Нет, конечно.

— Ну, и как вы с Гладышем живете после этого? Зная, что он искалечил Селиверстова?

Она непонимающе посмотрела на него.

— Нормально. Делаем вид, что ничего не случилось. Что ничего не было. Что мне — руки на себя накладывать?.. У меня дети.

Ледников видел, что женщина действительно способна все забыть и жить так, словно ничего не было. И уверена, что слепой обрубок, оставшийся от здорового красивого мужика, полного надежд и страсти, не имеет к ней никакого отношения...

Он вздохнул.

— Нина Владимировна, вам надо убедить мужа прийти к нам и во всем признаться. Иначе мы придем за ним сами.

Она посмотрела на него задумчиво, но ничего не сказала.

— Я достаточно много узнал о нем. Он приличный человек, но... Видимо, ослеплен страстью, которую вы ему внушаете. У него чистое прошлое, прекрасная репутация, есть государственные награды... В случае явки с повинной все это будет учтено. Да и Селиверстов все-таки остался жив. Хороший адвокат способен многого добиться при таком раскладе. Срок может быть вполне терпимый. К тому же амнистии, условно-досрочное освобождение... И потом... Мне кажется, если вы его дождетесь, он вам все простит.

«Сибирина»: Беларусь — Россия

— Он уже простил, — грустно улыбнулась женщина.

Гладыш пришел на следующий день. Написал явку с повинной, из которой следовало, что он решил убрать Селиверстова вовсе не из ревности, а потому, что тот преследовал его жену своими гнусными домогательствами. И что его жена была лишь ни в чем не повинной жертвой, которую он должен был спасти от преследований этого маньяка...

Из колонии, как случайно узнал Ледников, Гладыш писал жене письма, полные любви и страсти. Чуть ли не каждый день. А как вела себя она в это время, Ледников не интересовался. Хотя его не удивило бы ни известие, что она закрутила новый роман, ни рассказ о том, что она живет теперь только ради семьи и ждет мужа...

Удивило его другое: к искалеченному, полуслепому Кириллу Селиверстову вернулась жена, и они опять стали жить вместе.

А Сереже Прядко, которому Ледников своими действиями помешал героически взять опасного преступника, убедив того с помощью Нины Гладыш явиться с повинной, он клятвенно пообещал в следующий раз помочь проявить свою железную хватку и получить за это причитающуюся звездочку на погоны.

Полный Акутагава!

Полковник в отставке Крестовский, прошедший Афган и Чечню, а после увольнения из армии превратившийся в удачливого бизнесмена, лежал на полу, словно прижимая что-то к груди. На самом деле, падая, он просто схватился обеими руками за рану. В него выпустили из пистолета семь пуль: четыре в спину, по одной в живот, грудь и шею. Палили с близкого расстояния, пока не кончились патроны.

На стене висела фотография: молодой, счастливый Крестовский в мундире с погонами капитана рядом с улыбающейся женой, полнеющей блондинкой, и очень серьезной темноглазой дочкой, словно предчувствующей какие-то ужасные события.

Тело Крестовского нашла его дочь Альбина, вернувшись с прогулки с собакой. Та самая темноглазая девочка с фотографии. Она сидела на диване, не шевелясь, и прижимала к себе собаку, видимо, боясь выпустить ее хоть на секунду. Утром ей надо было идти в школу, потому что завтра 1 сентября, а теперь она не знает, можно ли ей завтра идти туда.

— Если бы дело было только в этом, — завершив осмотр места происшествия, подумал следователь по особо важным делам Ледников. — Кто знает, что теперь будет с ее жизнью... Ведь судя по всему, ее отца убила ее мать.

Сергей Прядко, молодой энергичный опер, который времени на чувства не тратил, быстро установил, что случилось здесь накануне.

Отец задержался на работе, и когда пришел, мама Альбины стала его ругать. Родители ссорились громко, девочка не хотела при этом присутствовать и поэтому пошла гулять с собакой. Гуляла долго, надеялась, что родители к ее возвращению успокоятся. Вернувшись, она нашла отца лежащим на полу в луже крови. На столе лежал пистолет. Матери дома не было... Она позвонила в «скорую помощь», отперла дверь и спряталась в другой комнате.

Альбина говорила медленно, но очень внятно и разумно, изо всех сил стараясь правильно и подробно отвечать на вопросы Прядко. Да, папа опять задержался на работе, мама из-за этого, как обычно, сильно переживала... Было видно, что девочка достигла того переломного момента в своей жизни, когда родители уже не выглядят всемогущими и всепонимающими людьми, их слабости и недостатки становятся видны ребенку совершенно отчетливо, а иногда и преувеличиваются...

Сережа Прядко спросил у девочки, где может быть мама? Девочка чуть слышно ответила, что, наверное, у тети Жени. А кто это? Мамина подруга, она живет рядом. Ледников с Прядко отправились по адресу. Крестовская была там. Они с тетей Женей, стареющей и расплывающейся бабенкой, допивали вторую бутылку водки. С пьяным упрямством Крестовская принялась твердить, что с мужем она не ссорилась и ни в кого не стреляла... Ушла из дома, потому что он стал распускать руки.

Пьяненькая тетя Женя сидела рядом и утвердительно кивала головой: подтверждаю, все так и было!

Когда Ледников, которому надоели две пьяные сговорившиеся тетки, резко и зло спросил, знает ли Крестовская, что ее муж убит, она, не поднимая глаз, замотала головой. Но в глазах ее стоял какой-то предсмертный ужас, который все же пробирался в ее затуманенный водкой мозг. Наверное, она, когда убегала, надеялась, что Крестовский остался жив.

Утром, слегка протрезвев, терзаемая похмельными страхами и судорогами, Крестовская во всем созналась: она выстрелила в мужа во время ссоры. Но мужа она любила и любит. Выглядела она нехорошо, как и должна выглядеть спивающаяся пожилая тетка. От спеси полковничьей жены в ней не осталось ничего. Она превратилась просто в полумертвую от страха глупую бабу, испоганившую собственную жизнь и жизнь собственной дочери.

В деле не было ничего интересного, все экспертизы подтверждали ее признания, оставалось выяснить, откуда в доме взялся пистолет. Прядко обещал обернуться мигом. Он был доволен собой и судьбой: еще одно быстрое расследование в карьере бравого старшего лейтенанта, которому задуматься и о погонах капитана уже не грех. Но с пистолетом вышла заковыка: он нигде не был зарегистрирован, его следы нигде не обнаруживались.

— Да ясное дело — Крестовский из Чечни привез, — торопил Ледникова настырный Прядко. — Там этого добра — как грибов в лесу. Решил себе оставить на свою голову. Оружие в доме — всегда скрытая угроза, потому что неизвестно, как жизнь повернется. Не держал бы Крестовский пистолет дома, может, остался бы в живых.

— Ну, если женщина из ревности его возненавидела, она и сковородкой убить может.

— Может. Но, согласитесь, что сделать это куда труднее... Тут есть шанс отбиться.

— Ишь ты, куда тебя понесло. Смотри — философом станешь. А философам в операх делать нечего.

— Не боись за нас, мы меру знаем. Лишнего в мозг не берем, — усмехнулся Прядко. — Мне вот другое не нравится: чего это ты, гражданин следователь, с этими Крестовскими задумал... Вола за хвост тянешь. А ведь дело-то ясное.

От этого неугомонного опера скрыть что-либо было сложно.

— А может, и нет, а?

— Чего тут неясного! — взвился Прядко. — Пистолет их, небось, среди белья хранился. Отпечатки на нем — жены Крестовского. Стреляли явно по-бабьи: палила, закрыв глаза, пока не выпустила всю обойму.

— А если по-бабьи, то как эта клуша могла хладнокровно сходить за оружием, снять его с предохранителя, передернуть затвор?

— Да потому что она — прапорщик в прошлом. Понимаешь — прапор! Наверняка ее в гарнизоне научили с оружием обращаться. А может, это вообще ее пистолет? И Крестовский о нем ничего не знал?

— Серый, они прожили вместе восемнадцать лет. Знали друг друга с детства. Она вышла за него, когда он был лейтенантом, а ей было всего двадцать лет. Она из-за него бросила институт и моталась с ним по гарнизонам и горячим точкам... И после всего этого — вот так, взяла и убила? Зная, что вот сейчас в дом войдет дочь?

Прядко безнадежно махнул рукой.

— И на что ты намекаешь? Стреляла-то она.

— Да. Но ее могли натравить на него. Убедить, что он хочет с ней развестись, бросить ее ради молодой и красивой, забрать дочь...

— Ты это сейчас придумал? Или во сне увидел?

— Какая тебе разница? Посмотри, что у него на фирме творится. Мы даже не знаем, есть у него компаньоны или нет.

— Ладно. Завтра сгоняю.

Он был уже в дверях, когда Ледников его окликнул.

— Серега, ты прикинь. Сейчас у нас на руках самая банальная бытовуха: жена убила мужа. Хорошо еще, что не сковородкой. А если там окажется запутанное резонансное дело? Это же совсем другой расклад, совсем другие заслуги и, соответственно, поощрения...

Хмурое лицо Прядко сначала сделалось задумчивым, а потом посветлело: слово «резонансное» действовало на него магически. Он такие дела любил и, в отличие от начальства, никогда их не боялся.

Предчувствия, как всегда, его не обманули. Через несколько дней после похорон к Ледникову пришла темноглазая девочка Альбина. Впрочем, девочкой ее назвать было уже трудно, настолько она повзрослела за эти дни. Совсем другое лицо.

Альбина протянула Ледникову бумажную папку. В ней были фотографии и отпечатанные на принтере короткие письма.

— Где ты это взяла? — спросил Ледников, быстро просмотрев бумаги.

— Они на столе лежали и валялись на полу, когда я тогда домой пришла... Когда папу убили. Я их собрала и спрятала.

— Почему ты их сразу нам не показала?

Альбина, чуть помедлив, объяснила:

— Я не знала, что вы подумаете... И не хотела, чтобы об этом знали другие.

— А теперь?

— Теперь я хочу помочь маме. Потому что папе уже помочь нельзя.

На фотографиях был запечатлен Крестовский с молодыми женщинами.

Отставной полковник, судя по снимкам, жадно добирал те радости жизни, которыми трудно было пользоваться в военных гарнизонах, где

вся жизнь на виду и никуда не спрятаться от местных сплетниц. В письмах Крестовскую в коротких, энергичных, а порой и просто непристойных выражениях информировали о забавах и увлечениях мужа. В более поздних по времени письмах аноним давил на то, что муж давно решил ее бросить, а дочку взять себе... «Ты, прапорщица, останешься с голой задницей, никому не нужная. Почаще в зеркало смотри...»

— Вы же видите, ее специально изводили, толкали на убийство, — сказала Альбина.

— Альбина, кто тебе посоветовал принести это мне? — спросил Ледников. — Я же вижу, что ты не сама это придумала.

— Адвокат, — с вызовом сказала Альбина. — Маме наняли очень хорошего адвоката. Он сказал, что эти... бумаги помогут. Что они меняют дело.

Что-то они меняют, подумал Ледников, но вот Крестовского из могилы они все равно не поднимут. Кстати, очень интересно узнать, откуда у Крестовской вдруг появились деньги на адвоката?

Скоро и это выяснилось. Прядко перетряхнул фирму Крестовского и выяснил много интересного. Оказывается, ее совладельцем была Вера Максимовна Клейменова, по совместительству главный бухгалтер. Мало того, Прядко раскопал, что в прошлом они были любовниками, однако любовь увяла, остались одни дела. Но и с делами не очень ладилось: Крестовский так увлекся сладкой жизнью, что это стало сказываться на бизнесе. Клейменова, женщина не только интересная, но и деловая по натуре, даже предлагала ему уйти из бизнеса, продав ей свой пакет акций, но он об этом и слышать не хотел. Зато его жене, оказавшейся под следствием по обвинению в убийстве мужа, деваться было некуда. И вскоре Клейменова объявила персоналу фирмы, что она теперь является единственной владелицей, потому что Альбина, наследница Крестовского, обязалась продать ей весь пакет акций фирмы после вступления в права наследования. Естественно, за солидную сумму. Солидную, но, разумеется, несопоставимую с их рыночной стоимостью. Но на адвоката этих денег хватило. В общем, именно Клейменова оказалась вся в шоколаде: бросивший ее любовник наказан, фирма от непутевого совладельца спасена, сама она при этом еще и деньги большие получила. С таким везением и на свободе...

Ледников с Клейменовой, разумеется, встретился. Мадам произвела на него впечатление. Но взять ее было решительно не за что. На самые интересные вопросы: «Могла она представить себе, что жена способна застрелить Крестовского?», «Знала ли, что в доме есть оружие?» — ответ был один: «Нет». На том и расстались.

И даже Прядко не удалось на нее ничего нарыть. Хотя он и старался, когда Ледников сказал ему, что изводить Крестовскую могла именно Клейменова — все указывает на нее. «Валя, я тебе, конечно..., но концов нет. Тетка грамотная», — признал Прядко. А он такое признавать ох, как не любил.

Крестовская получила минимальный срок. Адвокат у нее был действительно хороший. Но вот что с ней будет, когда она выйдет, подумал Ледников, узнав о приговоре. И что ей скажет темноглазая Альбина, которая нашла в доме труп своего отца, убитого собственной женой...

Зашедший вечером после работы к Ледникову Прядко был в этот раз вообще не похож на себя — задумчивый, никуда не спешащий. После пары рюмок вдруг сказал:

— И все-таки, знаешь, не могу поверить, что эта самая Клейменова жену Крестовского до убийства довела.

— Давай-ка я тебе лучше одну историю расскажу, — миролюбиво предложил Ледников. — Перескажу своими словами старинный японский детектив.

— Ну, разве что японский, — согласился Прядко. — Наших детективов мне на работе хватает. Только выпьем сначала, чтобы лучше думалось.

Выпив и закусив, он изобразил на лице внимание.

— Погнали, пока при памяти.

— Так вот, жил-был много-много лет назад, считай, в Средние века, один хороший японский следователь. И был у него друг — классный опер, с которым они много мокрых дел раскрутили. И вот однажды случилась такая история: в роще за городом дровосек наткнулся на труп самурая. На теле была всего одна рана, уже запекшаяся, а рядом ничего, чем эта рана могла быть нанесена. Разумеется, наш опер-молодец вместе со следователем начинают дело крутить.

А так как опер наш действительно молодец, то скоро он находит свидетелей, которые видели самурая. Но не одного, а с женой, молодой и красивой. Женщина сидела на лошади, рыжеватой, с подстриженной гривой. А у самурая, кроме меча и кинжала, был черный лакированный колчан со стрелами. Они направлялись в ближайший город.

Потом наш опер, который землю копытом роет, натыкается неподалеку от места убийства на человека, который лежит со сломанной ногой на земле. Рядом валяется черный колчан со стрелами, а неподалеку пасется рыжеватая лошадь с подстриженной гривой.

— Какой везучий был опер! — завистливо помотал головой Прядко. — Нам бы такого! Настоящий опер — всегда везунчик.

— Ты слушай дальше, — усмехнулся Ледников. — Так вот, опер наш вспоминает словесный портрет одного известного разбойника, и сразу понимает, кто перед ним. И, разумеется, волочет его к следователю, дабы тот предстал пред его светлые и все видящие очи. А следователь наш такой ушлый и умный, так умеет построить допрос, что разбойник скоро признается, что вчера он действительно встретил самурая с женой и пошел за ними, потому что она сразу произвела на него, так сказать, неизгладимое впечатление. И понял он, что должен обладать этой женщиной. Но было ясно, что для этого придется убить самурая. Ибо когда хотят завладеть женщиной, ее мужчину всегда убивают. Но, как сказал разбойник, он не собирался убивать его, так сказать, физически — мечом или стрелой. Он решил убить его морально, овладев женщиной прямо у него на глазах...

В общем, он хитростью заманил самурая с женой в рощу, там оглушил его и привязал к дереву. А потом изнасиловал его жену, как она ни сопротивлялась. После этого он благоразумно решил смыться, но женщина, как безумная, вцепилась в него и крикнула: «Кто-нибудь из вас двоих должен умереть!.. А я пойду с тем, кто останется в живых». Разбойник, глядя в ее пылающие глаза, вдруг понял, что не может уйти без нее. А значит, должен убить ее мужа. Но он понимает, что если просто прирежет связанного, то это будет подло и навсегда запятнает его в глазах женщины... Едва он разрезал веревку, самурай выхватил меч и бросился на него. Во время отчаянного поединка разбойник убил самурая.

«Сябрына»: Беларусь — Россия

Но когда он с окровавленным мечом в руках обернулся к женщине — ее нигде не было! Он стал искать ее и не нашел. Только мирно щипала траву лошадь. Разбойник испугался, что сейчас она приведет людей, взял меч убитого, лук и стрелы, сел на лошадь и помчался прочь. Но неподалеку от города лошадь поскользнулась, он свалился с нее и сломал ногу... Тут и появился наш замечательный японский опер.

— Прямо как в кино! — не выдержал Прядко.

Но Ледников не обратил на него внимания.

— Это еще что! Пока следователь колол разбойника, опер нашел монаха, которому скрывшаяся женщина рассказала, как все было на самом деле. Оказывается, разбойник не просто связал мужа и изнасиловал ее, он при этом всячески издевался над ним... А потом, когда все было кончено, он встал и брезгливо оттолкнул ее ногой от себя. В этот миг, как сказала женщина, она увидела в глазах мужа какой-то «неописуемый блеск».

«Даже теперь, вспоминая его глаза, я не могу подавить в себе дрожь, — сказала она монаху со слезами на глазах. — Муж в это мгновение излил всю свою душу в этом взгляде. Его глаза выражали холодное презрение и затаенную ненависть. Он был совершенно безучастен к моим страданиям. Я поняла, что не могу вынести этот взгляд... А тем более, жить с ним рядом». И тут она увидела кинжал на траве. Подняла его и сказала мужу: «После того, что случилось, я не могу больше оставаться с Вами. Я решила умереть. Но... но умрете и Вы. Вы видели мой позор. Я не могу оставить Вас в живых».

— Она что же, с мужем на Вы? — удивился Прядко.

— Так она же японка. Чего ты от нее хочешь? Да еще муж самурай! И смотрит на нее с ненавистью и презрением. В общем, схватила она кинжал и вонзила в грудь мужа. И потеряла сознание. Когда она очнулась, муж висел на веревках уже мертвый. Она разрезала веревку и... Она понимала, что у нее есть один выход — умереть. Но чувствовала, что убить себя она не может. Как она сказала: «Не могла найти в себе силы умереть». Она бросила нож и побрела прочь...

— Ну, да, себя зарезать — то еще упражнение... — с пониманием заметил Сережа.

— После этого рассказа наш японский следователь задумался. Обе версии хороши, но противоречат друг другу. Кто же прав, а кто лжет? Он приказал доставить дровосека, который нашел труп. И по ходу разговора понял, что тот что-то скрывает: путается в показаниях, говорит о вещах, которые знать вроде бы не должен. Поняв это, следователь принимается за него всерьез. И тогда дровосек сознается, что видел убийство своими глазами, сидя в кустах, но побоялся сразу рассказать об этом...

— Ну, и что поведал этот ханыга? Знаем мы таких, которые в кустах сидят, — усмехнулся Прядко, наполняя рюмки.

— А сказал он вот что... Разбойник, обесчестив женщину, стал уговаривать ее уйти с ним жить вместе. Но она сказала, что не сможет быть с ним при живом муже. Разбойник говорит: отвяжи его, и я вступлю с ним в честный бой за тебя. Женщина отвязывает мужа... Но самурай не собирает драться за нее! Он говорит, что не собирается рисковать жизнью ради обесчещенной женщины. «Забери эту потаскуху себе, если хочешь!» — говорит он разбойнику, отталкивая женщину от себя. Но и разбойник, как выясняется, уже не горит желанием драться. Весь пыл

его куда-то улетучился, и он собрался уходить. А вы, мол, тут разбирайтесь сами. И вот тогда, как рассказал дровосек, женщина принялась страстно убеждать их вступить в поединок. Она взывает к их доблести и гордости. Она смеется над их трусостью. Женщину, мол, нужно покорять мечом, вы просто не мужчины... В результате ей удается разозлить их, они вступают сначала в перепалку, а потом и в поединок, и разбойник убивает самурая... Однако женщина после смерти мужа убегает, а разбойник даже не пытается ее искать. Собирает добычу, забирает коня и уходит прочь. Вот какую историю рассказал следователю дровосек.

Прядко с задумчивым видом жевал сыр. Потом поинтересовался:

— Ну, и что следователь, наш японский друг и коллега? Опер-то у него нормально работал, а сам он?

— Сам-то... Дело в том, что был он товарищем несколько философского склада. Например, иногда размышлял о том, как можно ловить убийц в стране, где любой самурай может отрубить любому крестьянину голову только потому, что ему надо проверить, хорош ли его новый меч? Или просто потому, что крестьянин чем-то ему не понравился.

— Можно подумать, у нас иначе! — пробормотал Прядко, принимаясь за оливки.

— Ну, головы все-таки прилюдно теперь вроде бы не рубят, — возразил Ледников.

— Вот разве что, — усмехнулся Прядко. — Зато джипами давят, как курей! При свидетелях и без всяких последствий.

Ледников возражать не стал, только вздохнул и продолжал свой рассказ.

— В общем, закончив допросы, наш следователь стал думать о том, как мерзко устроен человек... Ведь все, что он узнал сегодня, говорит не только о том, как трудно установить истину, но и о греховности людей, их бесчестности и эгоизме. Они все лгали. Почему? Только от страха? Или чтобы выгородить себя? А может, они просто не способны говорить правду?.. В общем, наш следователь довел себя до того, что ночью ему приснился то ли сам убитый, то ли дух его и рассказал, что случилось на самом деле...

— Неплохо устроился дядя: сам дрыхнет, а ему во сне признательные показания дают.

— Серый, ты хотел бы, чтобы бандюки тебе еще и во сне являлись? Вместо баб?

Прядко задумался, почесал нос и рассудил, что это было бы слишком. Правда, проворчал с обидой:

— К тебе-то, небось, приходят!

— Бывает, — не стал отпираться Ледников. — Так про самурая рассказывать?

— Давай-давай! Интересно же, что у него там за версия нарисовалась?

— И нарисовал дух убитого самурая нашему следователю такую картину... Овладев женой самурая, разбойник уселся рядом с ней на землю и принялся ее всячески утешать. Жена сидела на опавших листьях и не поднимала глаз. Можно было подумать, что она внимательно слушает разбойника. А тот говорил женщине, что после того, что произошло, жить с мужем она все равно не сможет. Так не лучше ли уйти с ним? Ведь он сделал все это только потому, что она сразу поразила его сердце, и теперь он не может без нее жить. А муж будет только все сильнее ненавидеть ее, потому что никогда не простит...

Женщина вдруг подняла голову. «Никогда еще я не видел ее такой красивой!» — признался, не в силах сдержать волнения, самурай.

И что же ответила красавица жена разбойнику?

«Ведите меня, куда хотите», — сказала она. А потом послушно, как во сне, последовала за разбойником, который вел ее за руку.

Они уже вышли из рощи, как вдруг женщина остановилась, указала на связанного самурая и несколько раз, как безумная, выкрикнула: «Убейте его! Я не могу быть с вами, пока он жив!» Разбойник в недоумении остановился. «Убейте его!» — умоляла женщина, хватая разбойника за руки. Но разбойник отшвырнул ее от себя и обернулся к самураю. «Что делать с такой женщиной? — спросил он. — Убить?» Самурай не успел согласно кивнуть, как его жена бросилась бежать... Разбойник только посмотрел ей вслед. Потом он забрал добычу, вскочил на лошадь и был таков. Но перед этим он надрезал в одном месте веревку, которой был связан самурай, и сказал: «Выбирайся сам и живи, как сможешь». Когда самурай освободился от пут, то увидел кинжал, который разбойник забыл захватить с собой. Он вспомнил, как его прекрасная жена с искаженным лицом умоляла: «Убейте его!», поднял кинжал и одним взмахом вонзил себе в грудь. И наступила тишина. Только горели печальные лучи закатного солнца на стволах бамбука. И вдруг кто-то вынул кинжал из его груди. После этого он навеки погрузился во тьму небытия...

Ледников замолчал.

— Надо будет моей рассказать, — задумчиво сказал Прядко. — Пусть знает, какие они, бабы, бывают. Даже в Японии. Ну, гражданин Ледников, теперь вопрос на засыпку. Кто кинжал-то из самурая вынул?

— А ты как думаешь? Могла жена вернуться... Мог разбойник...

Ставить в известность Прядко, что в рассказе Акутагавы об этом не говорится, он не стал. Есть, правда, своя версия в гениальном фильме Куросавы. Интересно, какую выберет опер Сережа Прядко?

— Да нет, жена и разбойник тут ни при чем, — отмахнулся Прядко. — Кинжал должен был спереть этот самый тихий ханыга-дровосек... Знаю я таких свидетелей. Особенно если учесть, что он сначала темнил: мол, ничего не видел! Точно — сидел в кустах, пускал слюни, а когда все закончилось, пошел и кинжал прихватил. По тем временам вещь, наверняка, ценная.

— Ты с Куросавой случайно не был знаком? — улыбнулся Ледников.

— А кто это?

— Великий японский кинорежиссер. Мыслите вы с ним одинаково. У него в фильме тоже дровосек кинжал вынул. У Акутагавы, между прочим, об этом ничего не говорится.

— Поработал бы этот Акутагава с мое в розыске!.. Валь, а теперь колись: на хрена ты мне эту притчу поведал?

Ледников помолчал. Черт его знает, для чего!

— А ты как думаешь? — наконец спросил он.

— Думаю, решил вот так хитро объяснить мне, дурачку, что дело с Крестовской такое же запутанное и психическое... Только вот что я тебе скажу. Следователю твоему впечатлительному надо было не сны смотреть, а провести весь комплекс следственных действий, дабы установить, каким оружием была нанесена рана — мечом или кинжалом? Надо было провести очные ставки и следственный эксперимент, пальчики снять с кинжала, у всех одежду исследовать, экспертизы провести... И тогда стало бы ясно, кто именно самурая нашего кончил. Вот

что следствие должно установить и суду предъявить. Этому, по-моему, ты меня постоянно учишь. А что там обвиняемые и подозреваемые врут, не наше с тобой дело. Их на том свете черти за это крючьями драть будут. А ты, Ледников, классным следователем был бы, если бы не изводил себя всякими мерехлюндиями. Дался тебе этот Акутагава! Где он, а где мы? В прокуратуре Акутагавам делать нечего.

— Это ты точно заметил, — засмеялся Ледников. — Тем не менее, Серега, запомни одно: если не будешь сомневаться, все проверять и перепроверять, много безвинных людей от такой твоей скорострельности пострадает.

— Согласен. Но я, Валя, тебе еще одну вещь скажу. Нет, две. От себя и от того японского опера, который свою работу честно проделал. Первое: все-таки чаще всего преступник есть, причем конкретный и реальный. Так что не надо его вину размазывать, особенно по жертвам. Ладно, допустим, сам Крестовский был не сахар, а эта баба, Клейменова, его жену травила, к убийству подводила... Но за пистолетом в другую комнату разве жена не сама сбегала? Не сама она его на мужа направила? Не сама начала?.. У меня с женой тоже, знаешь, скандалы бывают, еще какие! Но ведь я не собираюсь брать пистолет и палить в нее. Так что если ты убил, значит, ты и виноват. Ты и расплачивайся.

— А вторая умная вещь? — напомнил Ледников, несколько удивленный неожиданно открывшейся в Прядко способностью четко формулировать неуставные мысли.

— Была тебе белка, будет и свисток, — попридержал его тот. — Ты первую усваивай, а я пока хлопну рюмочку и закушу.

Исполнив задуманное, он откинулся на спинку стула и совершенно трезво, цепко поглядел на Ледникова.

— Ну, доказал ты мне, что истину в этом японском деле установить не так просто. Что каждый не только лжет, но и не помнит, что было в действительности. Что с того? Что это меняет? Искать все равно надо. И люди ее, истину, все равно будут искать. Не в судах и прокуратуре, а в разговорах на кухне. Там они все равно свой приговор вынесут и виновного назовут. Потому что жизнь без истины — бардак, а люди — плохие клоуны или мартышки.

— Ну, Серый, ты прямо на глазах растешь. Ход этих твоих мыслей нас очень сближает. Кстати, Акутагава покончил с собой в состоянии депрессии, — задумчиво сказал Ледников.

Сережу известие о печальной судьбе Акутагавы нисколько не удивило.

— Ну, правильно, с такими мыслями долго не протянешь. И поэтому большинство людей верит, что она, истина, есть. И никогда не согласится с тем, что ее нет вообще. А для нас с тобой это, знаешь, что значит? Что если есть убитый, значит, есть и конкретный убийца. И найти его — наше с тобой дело.

В кармане у Прядко запел телефон. «Если кто-то кое-где у нас порой...»

Ледников все время забывал спросить, Сереже действительно так нравится эта песня с дурацкими словами или он так прикалывается? А может, специально для допросов держит? Например, уперся подозреваемый, а тут вдруг — «Если кто-то кое-где у нас порой...»

Прядко выслушал неведомого собеседника, с грустью оглядел недоеденное и недопитое, сунул телефон в карман и поднялся.

— Все, Валь, сумрак ночи зовет. Я помчался. Опять убийство. И судя по всему, на бытовой почве. Прямо полный Акутагава!

Дуэлянты

Они ехали на место преступления вместе, и Прядко загружал Ледникова уже добытой информацией. Он обладал способностью только ему ведомым способом улавливать ее будто прямо из воздуха, в котором вились обрывки слухов, разговоров, официальной информации. А дело было неприятное.

В отделе вневедомственной охраны районного отдела милиции два офицера учинили перестрелку. Один убит на месте, другой в тяжелейшем состоянии в больнице. И вообще это была самая настоящая дуэль из-за женщины. Причем женщина служит там же в звании капитана.

У Прядко блестели глаза в предчувствии интересного дела, а Ледников только вздыхал. Дуэль в райотделе милиции! Из-за женщины в погонах капитана. Господи, помилуй! К тому же он хорошо представлял себе, какие вокруг этого закрутятся интриги, чтобы соблюсти честь мундира. Начальство предупредило его — дело деликатное.

Когда они приехали в райотдел, на месте уже работали медэксперты и криминалисты. Дуэлянт в наличии был только один, убитый. Он лежал в курилке на полу ногами к выходу, лицом вниз. Одна рука была прижата к груди. Лежал он на ней всем телом, откинув вторую руку в сторону. Рядом валялся пистолет, а чуть дальше — мобильник.

Прядко, тихо шепнув: «Я с людьми пообщаюсь, у меня тут знакомые есть», — пропал в коридорах райотдела. В плане «общения с людьми» Сергей был гений, ему почему-то рассказывали то, что скрывали от других.

Первой, как выяснилось, обнаружила дуэлянтов молодая женщина по фамилии Мотылева, служившая в отделе инспектором. Она уже отошла от испуга и рассказывала с удовольствием, чувствуя себя чуть ли не героиней дня.

Итак, в райотделе уже несколько дней шел ремонт. В этот день рабочие очищали от старой краски стены в коридоре. И вдруг они услышали три выстрела в курилке, куда рядовой состав обычно не ходит. Перед этим в курилку зашли капитан Живилло и лейтенант Бушманов. Рабочие растерянно глядели друг на друга, когда из своего кабинета вылетела Мотылева. Она была назначена наблюдать за ремонтом и почему-то решила, что рабочие замкнули проводку, и хотела было на них наорать. Но рабочие сказали ей, что это в курилке стреляют. Когда Мотылева вбежала туда, лейтенант Бушманов лежал на полу, а рядом сидел капитан Живилло. Он стонал и зажимал рукой окровавленное плечо.

— Значит, рана была не смертельной? — уточнил Ледников.

— Крови было много, а так он даже начальнику, когда тот прибежал, показал свой мобильный, — успокоила его Мотылева.

— Это еще зачем?

— А там эсэмэска была.

— Как интересно! — протянул Ледников. — И какого же содержания?

— Сейчас точно скажу, слово в слово, — сосредоточилась Мотылева. — «Последний наш разговор сегодня. Виктор».

— Виктор, я так понимаю, это лейтенант Бушманов?

— А вы откуда знаете? — Мотылева с притворным удивлением взглянула на Ледникова.

— Догадался. Вы так наглядно все рассказываете, что это нетрудно.

— А он еще и сказал что-то, — уже в открытую кокетничая, сообщила Мотылева.

— И такая внимательная женщина, как вы, разумеется, запомнила, что именно, — продолжал разыгрывать из себя галантного кавалера Ледников.

— Разумеется. «Он свое обещание выполнил». Вот, слово в слово.

— Побольше бы таких свидетелей, у нас бы все дела раскрывались, — по возможности обольстительно улыбнулся Ледников.

Инспектор Мотылева многозначительно хихикнула.

Вечером они подводили предварительные итоги расследования. Как выяснил расторопный Прядко, капитан Живилло и лейтенант Бушманов любили одну женщину — Вику Пешкову, «королеву красоты» райотдела.

— Ты ее видел? — поинтересовался Ледников. — Что, действительно королева?

— Для здешних мужиков — да. Но не для тебя. Для тебя, Валентин, она из другой оперы, — туманно проинформировал Прядко.

— Больно много ты обо мне знаешь.

— А чего тут знать, — пожал плечами Прядко. — Я что, твою женщину не видел? Вика рядом с ней — продавщица с рынка.

— Не понял.

— Ну, твоя — покупательница с платиновой карточкой, а Пешкова — продавщица. Вот так.

Ледников только головой помотал от такого сравнения.

— Но мужиков рядом с ней, с этой самой Викой, всегда много было. Только мужей официальных — трое. С мужем последним она, знаешь, где познакомилась? В тюрьме...

— Сидела, что ли?

— Нет, работала там. Она, когда в Москву приехала за счастьем, устроилась надзирательницей, хотя у нее диплом был учительницы физкультуры. Но уже вскоре стала Вика лейтенантом и получила офицерскую должность. Ну, поработала, познакомилась с мужем будущим. Он опером был и потому в тюрьму к своим подопечным часто захаживал. А потом она перевелась во вневедомственную охрану. Да как — стала командиром «группы захвата».

— Это которая выезжает на место, если сработала сигнализация?

— Ну, да. Там она с капитаном Живилло сошлась. Причем у него тоже семья, дочки... И началась между ними любовь. Да какая! Несколько лет длилась. Их даже называли потом два влюбленных капитана.

— А муж? Который опер?

— А муж объелся груш. Он ей верил, хотя вокруг все знали, что происходит. Правда, потом все-таки прозрел, и они развелись. Ну, Вика тут же стала Живилло душить — женись. Бросай свою и женись. А у того что-то заколотило. И чувства уже остыли.

Не Бог весть какая оригинальная история, подумал Ледников. Только с какого бока тут лейтенант Бушманов?

— В общем, она поставила Живилло ультиматум: или расписываемся, или расстаемся. Ну, он подумал и решил, что можно и расстаться.

И вся их любовь как бы осталась в прошлом, стали они друзьями. И тут в отдел перевели лейтенанта Бушманова. И завязался у молодого холостого лейтенанта с разведенной Викой бурный роман. Прямо на глазах у Живилло.

— И Живилло вдруг обнаружил, что ему обидно, — вдохнул Ледников.

— Точно. Оказалось, смотреть на любовь Вики и Бушманова спокойно он не в состоянии. Корежить его стало.

— Теперь говорят — колбасить, — усмехнулся Ледников.

— Ну, заколбасило, — не стал спорить Прядко.

— Ладно, с этими корсиканскими страстями все понятно. Картину преступления мы имеем?

— Вполне.

И Прядко тут же рассказал, как нарисовалось ему это дело со слов очевидцев и самого Живилло. Ледников знал, что Прядко в последнее время любил развернуться, набросать версий, и потому всегда предоставлял ему возможность посолировать. Растет человек не по дням, а по часам.

Итак, рассказал Прядко, утром после ночного дежурства лейтенант Бушманов сдавал табельное оружие только что заступившему на дежурство капитану Живилло. Причем, как утверждают очевидцы, процесс проходил совершенно мирно, с взаимными шуточками. Потом был развод, после которого Живилло и Бушманов и отправились в злополучную курилку. Бушманов уже был без оружия, Живилло при табельном пистолете. А потом раздались выстрелы...

Как успел рассказать Живилло до того, как его отвезли в больницу, случилось следующее. Бушманов после развода сказал Живилло, что надо поговорить без свидетелей. Едва они вошли в курилку, Бушманов прошипел: «Я тебя предупреждал, сука! Если не оставишь Вику, башку отвинчу! Ну, вот и получай!» Живилло решил, что сейчас начнется драка, поднял руки, чтобы защищаться, но Бушманов просто выдернул у него из кобуры пистолет и выстрелил. Стрелял он с двух шагов, целился прямо в сердце, но Живилло успел присесть, и пуля попала в плечо. Живилло упал. Лежа на полу и обливаясь кровью, он в ужасе ждал, что Бушманов его добьет. Тот смотрел на него безумными глазами, а потом вдруг поднял руку с пистолетом и дважды выстрелил в себя. Видимо, хотел в голову, но руки у него тряслись, и он первый раз попал себе в шею, а второй — под челюсть. После второго выстрела — упал.

— Я так понимаю, что если бы разговор состоялся без оружия, то Бушманов бы Живилло спокойно накостылял, — задумчиво уточнил Ледников.

— Ну, да. Живилло хилый такой, дерганый, а Бушманов — парень здоровый был, спортсмен. Потому все и боялись, что он не выдержит и как-нибудь сопернику по рогам надает. Тем более, что Живилло в последнее время сам напрашивался.

— Ну, и зачем Бушманов стрелял в Живилло, если он мог ему просто в лоб дать? Зачем в себя стрелял?

— Стрелял он, судя по всему, в состоянии аффекта.

— А чего в него, в этот аффект-то, он впал? — продолжал придираться Ледников.

— Живилло его довел до беспамятства, — объяснил Прядко. — Он всем рассказывал, что Вика все равно его баба, а Бушманова называл

козленком на два дня. Бушманов был парень довольно стеснительный, говорить с Живилло не решался, поэтому слал ему эсэмэски. Мол, оставь Вику в покое... Живилло их всему райотделу показывал со смехом. Особенно предпоследнюю. «Если она не будет моей, то и твоей тоже!» — с чувством продекламировал Прядко.

— Что-то уж больно красиво для офицера вневедомственной охраны. Свихнулись они совсем с этими эсэмэсками, уже нормально поговорить не могут, — пробормотал Ледников, думая о своем.

— Это точно. Но для нас, сыщиков, тут большое удобство: следы остаются, — хмыкнул Прядко. — В общем, дошел парень до точки. А в себя стрелял, когда увидел, что убил офицера при исполнении, и понял, что ему теперь грозит...

— Ну, во-первых, не убил, — остудил Сережу Ледников. — А во-вторых... Смотри. В левой руке, на которую Бушманов упал, у него была барсетка. То есть эта рука у него была занята. Берем правую руку. Кисть застыла в полусогнутом состоянии, что вроде бы подтверждает, что перед смертью он держал в руке...

— ...пистолет, который выскользнул из руки при падении, — встрял нетерпеливый Прядко.

Ледников назидательно поднял указательный палец.

— Но рядом с пистолетом валялся еще и мобильник... Его, Бушманова, мобильник. Он что, правой рукой держал и пистолет, из которого стрелял, и телефон? А до того он еще и выхватил этой же рукой пистолет из кобуры Живилло?

Прядко задумчиво почесал где-то за ухом.

— Ну, мобильник мог и выпасть из кармана.

— Мог, — не стал спорить Ледников.

Тем более что тут позвонила та самая женщина, у которой Прядко подозревал наличие платиновой карточки.

С улыбкой глядя на Прядко, Ледников не удержался и спросил: «Слушай, а у тебя есть платиновая карта?.. Пришла в голову одна странная мысль».

Прядко хмыкнул и посмотрел на Ледникова победоносно. Тот поднял обе руки вверх.

— Ладно, на сегодня все. Давай дождемся результатов экспертизы. Мне почему-то кажется, что там будет много интересного.

Получив результаты экспертизы, Ледников вызвал Прядко, и они отправились в больницу, на свидание с оставшимся в живых дуэлянтом — капитаном Живилло.

Тот не выглядел ни страдающим, ни удрученным. Скорее даже умиротворенным, как человек, у которого свалилась с плеч долго мучившая его забота. Первым делом Живилло сообщил, что пуля скользнула по ключице, важных органов не задела, операция была легкой и скоро его выпишут. При этом он глядел в потолок и чему-то улыбался.

— Все понятно, капитан, — остановил его Прядко. — Теперь давай по делу.

В машине, после того как Прядко изучил заключения экспертов, Ледников сказал ему, чтобы он вел допрос, а сам он какое-то время понаблюдает за происходящим со стороны.

— Мы люди свои, так что давай по-честному, чтобы зря время не тратить, — предложил Прядко. — Поговорим как офицер с офицером.

— Пожалуйста, я готов, — чуть ли не весело сказал Живилло. — Только должен предупредить, что у меня уже был адвокат и объяснил мне, что я должен говорить.

— Быстрый ты! — удивился Прядко.

— Так я же понимаю — ситуация непростая...

— Тогда поехали. Значит, так. Медэксперты установили, что Бушманов скончался от второго выстрела под подбородок. Первый выстрел смертельным не был: пуля практически только пропорола кожу.

— Ну, да, правильно. Убил он себя вторым.

— Идем дальше. Дактилоскопическая экспертиза установила, что на пистолете четко отпечаталась ладонь Бушманова. Кисть его руки находилась в полусогнутом состоянии, что подтверждает — в ней был пистолет...

Живилло кивнул.

— Но вот рядом с пистолетом лежал его мобильник, — деловито сказал Прядко. — Другая его рука была занята барсеткой... Что же он, в одной руке и пистолет, и мобильник держал?

Живилло пожал плечами.

— Может, он у него в кармане был? А когда он свалился — выпал...

— Я вот тоже так товарищу следователю сказал, — кивнул Прядко в сторону Ледникова. — Но вот дальше-то, капитан, что-то у нас не складывается...

— Что именно?

— Ты же знаешь, что первая пуля из ствола всегда выходит со следами оружейного масла? — глядя на Живилло ясными глазами, спросил Прядко.

— Да?

— Да. Так вот эксперты установили, что «масляная» пуля действительно была первой. Но она была выпущена не спереди, а сзади... Понимаешь, капитан, что это значит?

Живилло ничего не ответил. Просто лежал, уставившись в потолок, по-прежнему улыбаясь.

— Мало того, — продолжал нажимать Прядко, — установлено, что первый патрон был загнан в патронник заранее, задолго до выстрела. К стрельбе готовились... И вот еще что. Мы выяснили, что угрозы от Бушманова, которые поступали тебе на телефон и которые ты показывал всему отделу, на самом деле слал себе ты сам с другого телефона...

Ледников смотрел на Живилло и никак не мог понять, что тот переживет теперь, когда стало очевидно, что никакой «дуэли между ментами» не было. А было хладнокровно спланированное и осуществленное убийство... Он, этот самый Живилло, по рассказам коллег, вовсе не был уверенным и умеющим держать себя в руках мужиком. Наоборот, его считали истериком, склонным зачастую паниковать без всякого повода. А тут лежит и чуть ли не доволен тем, что его уличили в убийстве, за которое ему придется отдуваться по полной программе.

— Ну, что, капитан, сам расскажешь или как? — спросил его Ледников.

Живилло вздохнул.

— Витьку, конечно, жалко. Он мужик был неплохой, но вот не повезло ему... Мы так из-за нее, из-за Вики, сцепились, что уже не расцепить нас было по-хорошему. Не смог бы я терпеть, что они живут рядом и от счастья аж светятся...

— Так ты же сам на ней жениться не захотел! — напомнил Прядко.

— Сам, — согласно кивнул Живилло. — Я ведь и свел их сам. Мы с ней разошлись уже тогда, а Витька в нее сразу влюбился, только сказать боялся, как пацан. А я ему и предложил: «Давай скажу ей?» Он перепугался. А я думаю, пусть Вика на другого переключится, а то больно уж переживает она наше расставание, достала просто... В общем, подошел я к ней по старой памяти и говорю: «Есть у меня человек один, который в тебя влюбился без памяти, а сказать боится». Ну, посмеялись. А потом смотрю — у них такое началось. Я был уверен, что ничего серьезного быть не может, Витька-то был младше нее... А на меня она, как на пустое место, стала смотреть... И почувствовал я, что не могу этого вытерпеть. Выше моих сил. Не могу, и все!.. Ну, и придумал... Стал себе эсэмэски с угрозами слать и всему отделу показывать. Самое интересное, что между нами с Витькой никаких ссор не было. Он вообще говорил мне, что никогда не забудет, что это я его с ней вроде как свел, будет всю жизнь благодарить... Лучше бы не говорил.

В общем, выбрал я день и момент, когда он точно без оружия будет. Понимал, что мне надо стрелять быстро — если я начну у него на глазах пистолет доставать да передергивать затвор, он может меня скрутить, потому что мужик здоровый... Так что загнал я заранее патрон в ствол, а когда он свой пистолет сдал, сказал, что надо поговорить... «Пошли, — говорю, — в курилку, там никого нет». Идем по коридору, я смотрю: у него на левой руке барсетка болтается. Надо, думаю, и правую руку ему чем-то занять, чтобы он ничего не успел... Только в дверь вошли, я говорю: «Слышал, у тебя мобильник новый? Вика подарила? Покажешь?» Он мобильник вынимает, чтобы похвастаться, как она его любит, я тут же и выстрелил, попал в шею... Он упал, лежит, смотрит на меня, ничего не соображая... А я говорю: «Она моя и всегда только моей будет!» Он что-то замычал, типа — возражает, я наклонился и выстрелил второй раз в подбородок. Потом в плечо себе выстрелил. А пистолет Витьке в руку вложил и сжал его кисть, чтобы отпечатки на рукоятке остались. Я вообще-то хотел сам в коридор выйти, чтобы кого-нибудь позвать, но у меня вдруг голова закружилась, и я рядом с ним грохнулся...

Живилло помолчал, помотал головой.

— Очнулся, а его лицо от меня — в полуметре... И я еще подумал: вот так, Витя, не мог я ее тебе уступить, не мог.

Ледников с некоторым изумлением смотрел на этого заурядного капитанишку, в котором вдруг пробудились такие страсти.

— Ну, будешь чистосердечное писать? — деловито спросил Прядко, ни на секунду не забывавший, когда надо ковать железо.

— Чистосердечно, не под протокол, я вам все рассказал. Зачем мне вас дразнить, раз вы обо всем и без меня догадались, — засмеялся Живилло. — А писать мне адвокат пока запретил. Скажет написать — напишу. Скажет не писать — не напишу. Ему виднее.

— Ты чего такой радостный, а, капитан? — удивился Прядко. — Ты хоть понимаешь, что тебя теперь ждет?

— Это все еще доказать надо. Мало ли что я вам тут наплел. Правда, я и такой вариант продумывал, что следствие обо всем дознается, — потянулся Живилло. — Давай посчитаем. Мне больше восьми лет не дадут — у меня смягчающие обстоятельства — аффект, двое детей малолетних. Служба безупречная. Сидеть буду на милицейской зоне,

там за хорошее поведение на поселение быстро переведут... Знакомые кое-какие солидные помогут. Так что годика через три выйду...

— А если Вика за это время еще кого-нибудь найдет? — поинтересовался Ледников.

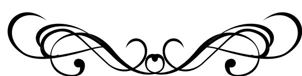
— Нет, теперь не найдет, теперь она знает, что за это бывает.

Живилло вдруг весело подмигнул им. Господи, он действительно чувствовал себя чуть ли не счастливым. Во всяком случае, человеком, который сделал то, что должен был сделать.

Потом у Ледникова был еще разговор с Викторией Пешковой. Постаревшая и подурневшая женщина, которую уже никто не мог бы назвать «королевой красоты», в полном отчаянии не могла понять, в чем она провинилась перед Богом и за что ей такие испытания. Рассказывала, что в отделе поговаривают, что дело постараются как-то замять, тем более, у Живилло есть знакомый генерал. Отмазать Живилло совсем, конечно, не удастся, но срок, скорее всего, ему дадут небольшой, а там и досрочное освобождение возможно подоспеет...

— Я, знаете, чего больше всего боюсь? Что он опять ко мне заявится и начнет права качать. Не вынесу я этого...

На следующий день Ледникову приказали дело Живилло передать другому следователю для окончания расследования, ведь с ним все уже ясно, а самому переключиться на другие, более важные дела. Он все-таки следователь по особо важным делам!





ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН

Вся наша жизнь в любви

Пред вечным небом

Дождь перестал, как я услышал —
по тишине глухой на крыше,
еще бы ветер с гор не дул...
Не много ли опять хочу я,
стихом высоким жизнь врачуя —
под уходящий в небо гул.

А разве половиной сердца
стихи, достойные бессмертья,
сумеет кто-нибудь сложить?
Конечно — нет! И он в природе,
пусть до конца хоть в непогоде,
живет себе — как хочет жить.

Но чтоб сполна в мое оконце
с утра пораньше лилось солнце,
вливаясь в душу, как в раю,
а вместе с ним — и птичий гомон,
которым так я очарован,
что сам, набравшись сил, пою.

Так я хочу, и так — бывает...
Но только Бог определяет
все — даже миг и блеск зарниц.
Поэтому — душою строгой
я каждый день взываю к Богу, —
упав пред небом вечным — ниц.

Старая деревня

Вот она — лежит, как на ладони, —
на вершине, до сих пор жива...
Старая, еще, наверно, помнит
византийцев чуждые слова.

Многие дома стоят — открыты,
день да ночь их только сторожат...

За деревней кладбище разбито,
где почти все жители лежат.

Пусть земля им, Боже, будет пухом...
Пусть царит в деревне забытье...
Но не раз, не два — по здешним слухам —
разорить пытался враг ее.

Ветер векового запустенья
бьет дверьми и створками окна...
За помин твой, старая деревня,
с грустью выпью доброго вина.

* * *

По закрайкам утиных болот
вот и выпал серебряный иней.
И сполна побелел небосвод,
еще утром казавшийся синим.

Горный воздух заметно остыл,
но тихи и светлы еще ночи,
только что-то я вдруг загрустил
и не рад поэтической строчке.

Ничего тут не скажешь — пора
наступила в природе такая...
То-то будет еще, как с утра
снег закружит метель молодая...

* * *

Пусть душу страх не беспокоит,
что в первый раз так далеко
зашел я в лес, где терпкой хвои
напиток пью, — как молоко...

Да, человека нету рядом...
Но сколько — посмотри скорей! —
скворцов, чьи души на порядок
добрей, чем у иных людей.

* * *

Вновь птахи, обживая сад,
подняли вдруг переполох:
то ястреб прилетел — вот гад! —
и ищет жертву...
Чтоб он сдох!
И — сдохнет! — даже не вскричит...
Мне только надо взять ружье...
Но слышу — небо говорит:
«Брат, это дело — не твое...»

* * *

Жизнь моя — то зной, то холод,
непростая жизнь, хоть плачь.
Но в любви я вечно молод:
верен, искренен, горяч!

Пусть душа твоя поплачет,
что ревнив до злости я...
Я — люблю! И это значит,
что и в смерти ты — моя!

Ветер-коршун в поднебесье
разгоняет нудный дождь...
Ты вернешься — я воскресну,
но умру — коль вновь уйдешь.

* * *

Под плеск волны и крики чаек
сижу за столиком — с тобой,
в которой я души не чаю,
с которой верую в любовь!

Немного душно, хоть и дует
прохладный, шелковистый бриз.
И в небе, где луна колдует,
созвездья первые зажглись.

Пора домой... но в этот вечер
глаз от тебя не оторву...
Как будто повстречал я вечность,
как будто в вечности — живу!..

* * *

Песок да ил со дна морского
подняли волны, теша злость...
И жгучее до боли слово
застряло в горле, словно кость.

Ведь я охотиться собрался —
с утра пораньше, у камней,
где мне не раз уже встречался
косяк проворных окуней.

Но все равно, как у корыта
разбитого, мне слез не лить —
морская даль всегда открыта,
чтоб ей навстречу плыть и плыть...

Эй, малый, подгони-ка лодку,
дай понадежнее весло!

Ух, погребу я вновь в охотку —
волне неистовой назло...

Всю страсть души, всю волю сердца
вложу в движение, чтоб жизнь
вслед за душою, как в бессмертье,
летела и летела — ввысь.

Да, я такой неугомонный,
меня сломать и черт не смог,
поскольку, хмурясь недовольно,
мне все же помогает Бог.

* * *

Вот оно — прекрасное — мгновенье!
Над землей с горящим опереньем
солнце птицей в облаках кружит.
Обо всем на свете забывая,
я ему молюсь за радость края,
где душа — стихами говорит...

Я для солнца, словно червь, ничтожен!
Да, ничтожен, ну, и что же, что же!
Пусть оно попробует хоть раз,
как стихами я, сияньем зримым
вызволить из смерти жизнь любимой,
чьи глаза любых прекрасней глаз!

* * *

О, эти ночи, эти ночи!
Когда во тьме душой тону,
вновь столько горя мне пророчат,
что глаз до света не сомкну!

И как ребенок, плачу горько, —
в бессилье что-то изменить.
А тьма глухая смотрит волком,
готовая со мной завыть...

Критская баллада

Штормит, но не так, чтобы очень...
Но — очень хочу по волнам
уплыть, как мой предок, на коче
к далеким, чужим берегам.

Но жаль: исполненье желанья
придется на год отложить —
настала пора расставанья
с землею, что не разлюбить...

И как в этом случае часто бывает,
зайду в «Семь морей».
Бармен, надо выпить за счастье!
Неси все подряд и живей!..

И сам не замечу, что к водке
я вновь от вина перейду...
Ах, что за закуска — селедка?!
Такой вряд ли дома найду.

С чего так печальна гитара
в руках твоих быстрых, цыган?!
Давай — наше русское, с жаром, —
покамест я в доску не пьян!

Швыряю цветастые евро,
к ним руки цыган потянул, —
и — словно за самые нервы, —
гитарные струны рванул!

И выдал на свет, мать честная,
такую вдруг радость-игру,
что вспомнилась жизнь золотая,
забылось, что все же — умру...

От чудной игры — в полумраке,
в сигарном дыму, как навек,
не помню, плясал я иль плакал,
но помню, что был человек!..

И пел я про черные очи,
которых — вовек не забыть...
И море не то, чтобы очень,
но все же пыталось штормить.

Гимн семье

Все кончено! Прощай! А может, может, только —
все начинается, ведь нам с тобою толком
друг друга не понять, — так взвинчены душой
вопросом: кто кому за муки должен больше...
Ах, что за ерунда! Позора нету горше!
И жизнь, как никогда, пугает нас бедой...

Но знаю, как душой ни взвинчены мы в спорах,
вся наша жизнь — в любви, горящей, словно порох,
на протяженье всех высоких, звездных лет!
И как в любви — без мук? Никак! Но в жизни надо
не помнить долго их... А вот любви отраду —
упрямо вспоминать, как сердцем вешний свет!

На радости святой — навек узлом навязан
смысл той семьи людской, которой не заказан
путь в будущее, где — хотим мы, не хотим —
а будем жить мудрей: друг в друге видеть друга,
а не врага на час, когда рвет души мука —
и мы в сердцах с тобой черт знает что творим!

Черная соль

Не думал я... И — думать не хочу
о жизни, пролетевшей, словно ветер.
Теперь бы мне немного первачу,
да и уснуть, забыв о всем на свете.

А что еще я предложить горазд
своей душе, спаленной напрочь болью, —
ведь это время, если не предаст,
то раны мне посыплет черной солью.

* * *

Что за мука! — я снова не умер!
Хотя все говорило о том:
и — сигналящий холодно зуммер,
и — гремящий неистово гром.

Не везет... а давно надоело
в душу горестной жизни смотреть.
Будто кончилось доброе дело —
и осталось о прошлом жалеть...

Говорят, что я гений... Что толку,
если руку мне жмут дураки,
что болтают себе без умолку,
аж протерли до дыр языки...

От судьбы ничего не желаю,
ибо все, что мечталось, пропел...
Никого не люблю... но прощаю
даже тех, кто меня не жалел...

И летает меж твердью небесной
и земной беспокойная весть,
что пришедшая в старости песня —
это чуть ли не юности месть...

Пусть однажды помру и не охну,
но заветный оставшийся стих
не осудит ни жизнь, ни эпоху,
ведь я все-таки — выкормыш их.



АЛЕКСАНДР БОГАТЫРЕВ

Два рассказа

Как капитан Султанов службы лишился

Село Крестовоздвиженское в тридцатые годы переименовали в Красногвардейск. Объявили городом и сделали районным центром. На город Красногвардейск был похож мало. Несколько двухэтажных каменных купеческих домов да три сотни деревянных изб. Каменные дома стояли на набережной и на Соборной площади. В них разместилось партийное и прочее начальство. На окраине построили мукомольный и кожевенный заводы, мясокомбинат и пекарню. При заводах вырос новый жилой район для рабочих: сначала деревянные бараки, а в шестидесятые годы на месте снесенных бараков поставили однотипные пятиэтажки. Самым заметным преобразованием советской власти в Красногвардейске был взрыв Крестовоздвиженского храма.

Чудом уцелела кладбищенская Казанская церковь. Она была вдали от центра на противоположной от рабочего городка стороне. Закрыли ее в 37 году, но взрывать не стали. Во время Отечественной войны снова открыли и до объявленной Хрущевым антицерковной кампании не закрывали. Но в год полета Гагарина в космос постановили Казанский храм все же взорвать. Было ли это решено в столице или местным начальством — не известно. Но приказ о сносе храма пришел из Москвы. Он взволновал не только местный люд, но и столичных защитников старины. Казанская церковь была очень хороша. Семнадцатого века. С шатровой колокольней. Сохранились прекрасные изразцы и резной иконостас редкой работы. За церковь началась борьба. В Красногвардейск приехали московские искусствоведы и реставраторы. Вслед за ними — знаменитый писатель вместе с дважды героем социалистического труда — уроженцем этих мест. Этот герой доставил много неприятностей городскому и областному коммунистическому начальству. Дело в том, что по положению о дважды героях, нашему герою должны были поставить памятник на родине. Уже и скульптор был назначен, и деньги выделены, и вдруг герой примыкает к протестующим и пишет письмо в ЦК партии, в котором просит сохранить Казанскую церковь, ради чего готов отказаться от установки ему памятника. И хотя тон письма был просительный и вполне приличный, но в верхах сочли это недопустимой дерзостью. Перечить линии партии и выставлять ультиматум. Да это же политика и злобная антисоветская выходка. Скандал получился нешуточный, и в Красногвардейск была направлена комиссия ЦК. Но прежде чем отправить в мятежный град высокую инспекцию, в Красногвардейск послали двух товарищей из компетентных органов для ознакомления с общей политической ситуацией.

Эти товарищи тщетно пытались обнаружить хоть какой-нибудь признак крамолы, но ничего не нашли. Городок тихий. Народ никакой политической

активности себе не позволяет и, вообще, вся история с борьбой за Казанский храм — чистейшая столичная инициатива. Местный люд о ней мало что знает и никакого протеста не выказывает. Верующих в городе — кот наплакал: два десятка старух да немой мужичок лет пятидесяти. Ведут себя они тихо, никакой агитации среди населения не проводят. Местный священник в общественных местах вообще не появляется. Религиозной пропаганды не ведет. Молодежи в храме нет. Детей школьного возраста в храме не бывает, а младенцев крестят и причащают редко и то, украдкой. Делают это старухи втайне от родителей младенцев, боясь, что у родителей будут неприятности на работе.

Так что совершенно очевидно, что победа коммунистического сознания над религиозными предрассудками в данном городе налицо. Население в храме не нуждается. И никакого шума от двадцати старух в случае уничтожения культового здания не предвидится.

Так было написано в отчете. До приезда комиссии оставалось несколько дней и проверяющие товарищи решили использовать их с толком: договорились с районным коллегой о рыбалке с шашлыками и уже поехали на нее на служебном УАЗике, как произошло нечто для неверующего ума необъяснимое. Свернув с главной улицы имени Карла Маркса на улицу Карла Либкнехта, машина чуть не врезалась в огромную толпу, шедшую по улице Клары Цеткин. Пришлось ждать, пока не пройдет народ. Возглавлял шествие высокий сутулый мужик в драном пиджаке и в галошах на босу ногу. Это был отмеченный ими в рапорте немой Терешка. За ним, смеясь и улюлюкая, бежала стайка мальчишек: «Эй немой, песню спой. Давай, немой, про ландыши». Песня «Ландыши» в то время не переставая лилась из радиоприемников. На некотором удалении от мальчишек двигалось человек сто взрослых людей обоего пола. Мужчины время от времени догоняли мальчишек, давали самым шумным подзатыльники, и вскоре улюлюканье и смех прекратились. Поскольку демонстрации в стране советов проходили только в дни коммунистических праздников, проверяющих товарищей вид не разрешенного сборища ошеломил.

Шли без красных знамен, без портретов вождей и транспарантов, без городского руководства. Да еще под предводительством странного субъекта в лохмотьях. За толпой почему-то следовала машина скорой помощи.

Местный коллега шумно вздохнул и выругался.

— Это Терешка, дери его за ногу.

Товарищи, поняв, что с рыбалкой придется повременить, вышли из автомобиля и примкнули к толпе.

Разглядев соседей, они стали расспрашивать их, по какому поводу происходит демонстрация. Им охотно поведали о том, что народ идет за немым Терешкой, чтобы узнать, кто помирает. У этого Терешки был особый дар: он чувствовал ангела смерти. Терешка никогда просто так не ходил по городу, а если появлялся и шел время от времени крестясь и издавая жалобное мычание, это означало, что кто-то умирает или умрет очень скоро.

Услышанное сообщение произвело на товарищей сильное впечатление. Как профессионалы они понимали, что если грамотно раскрутить эту историю, то можно и «дырочку в петлице прокручивать» — то есть получить по ордену. Уж больно давно в СССР не происходило никаких антисоветских выходок со стороны верующих. А тут несанкционированная демонстрация, да еще и с публичным «произведением крестного

знамения», организатором этой демонстрации. И когда!? В самый разгар антирелигиозной компании, когда сам генсек обещал показать по телевизору последнего попа... Да... Тут можно такую политику пришить...

Так они шли, тихо переговариваясь и радуясь перспективе получения наград и продвижения по службе. Но вскоре перестали переговариваться и почувствовали необъяснимую тревогу. Они видели, как в окнах домов, мимо которых они проходили, появлялись испуганные лица. Убедившись, что Терешка идет дальше, хозяева этих жилищ с облегчением и нескрываемой радостью крестились и задергивали занавески. И это выглядывание из окон испуганных людей происходило на всем пути следования толпы.

«Ну и ну. Вот тебе и тотальное безверие. Написали, что никто в Бога не верует, кроме двадцати старушек. А тут мужчины и женщины средних лет, да еще и молодых половина... Старух — раз, два и обчелся. Как это все понимать? А фанатичность, с которой люди крестятся, когда толпа проходит, не останавливаясь мимо их домов...»

Не прошло и пяти минут, как толпа остановилась. Товарищи потихоньку протиснулись вперед и стали наблюдать за Терешкой. Тот стоял словно окаменелый напротив дома с резными наличниками и почерневшим коньком на крыше и пристально смотрел в крайнее левое окно. Лицо Терешки было напряжено. Слипшиеся на лбу волосы лежали широкой загогулиной, напоминавшей вопросительный знак. А на затылке торчал огромный колтун. В его широко расставленных серых глазах замерло выражение мучительного ожидания. Вдруг он открыл рот и издал тревожный громкий звук. Это было не мычание, а некая смесь из утробного рыка и безуспешной попытки произнести что-то вразумительное. Терешка стал быстро креститься и снова издал этот звук. Старший проверяющий почувствовал, как у него от этого звука что-то задрожало в голове и стало страшно.

Толпа загудела. Послышались недоуменные голоса.

— Чего это он у Кругловых остановился?

— Там же дед уже неделю, как померши.

— Верно, ошибся. Он же сюда уже приходил.

— Терешка не ошибается.

— Чо, не ошибается. Там Верка молодая. Сорок годков. Да Ваське сорок пять. Чего ему тут делать?!

— Смерть годов не соблюдает. Васька-то с поминок отцовых не просыхал.

В этот момент в доме послышались крики и стуки падающих тяжелых предметов. Раздался пронзительный женский крик, и на пороге появилась женщина в легком ситцевом халате.

— Помогите, — слабым голосом произнесла она.

В ту же секунду рядом с ней оказался врач с профессиональным чемоданчиком. Он вместе с хозяйкой скрылся в доме. Наступила пугающая тишина. Слышно лишь было мычание Терехи. Он словно пытался петь.

— Труба дело. Помер, коли Терешка свою песню затянул.

— Это он «Со святыми упокой так поет».

Терешка домычал свою песню и, ни на кого не глядя, медленно побрел вверх по улице.

— Это он в церковь идет. Молиться будет. Один Тереха за нас, нехристей, молится.

— Всю ночь будет Псалтирь читать.

— Да по кому читать? Кто помер-то?

— Тереха знает кто. Да и кому, как не Ваське. Верка-то живая выскочила.

Проверяющие не верили своим глазам и ушам. Происходившее напоминало какую-то жуткую постановку. Они были фронтовиками и людьми не робкими, а тут оба почувствовали страх. Главное, не понятно было, отчего им стало страшно. Они и смерти глядели в глаза и сами людей посылали на смерть. И было в их душах нечто вроде крепкой стены с фильтром, редко пропускавшим простые человеческие эмоции, отсекавшим все, что мешало их суровой службе. А еще их поразило то, что давно забытый страх, они оба испытали одновременно.

— Колдун этот немой, — глухо проговорил старший, и оба поплелись в гостиницу.

Местный коллега бибикнул им из своего УАЗика, но им не хотелось ни с кем говорить. Они оба почувствовали сильную слабость, словно целый день таскали пудовые камни. И захотелось поскорее добраться до постели. Они махнули коллеге рукой: «Завтра увидимся».

В гостинице они перечитали свой рапорт и решили, что он никуда не годится. Надо собрать сведения, обдумать все и немного переждать.

Старший товарищ всю ночь не мог уснуть.

«Что делать? Можно было бы описать это сборище как крестный ход и провокацию религиозников... Но ведь выяснится, что это не так. И как сообщить о том, что немой оборванец чувствует приближение ангела смерти и идет молиться за умирающего в сопровождении целой толпы жителей этого проклятого городишки? Какой ангел смерти? Да нас же на смех поднимут и выпрут из органов. Либо в психушку отправят в чувство материалистической реальности приводить. Об орденах размечтались. Тут не орден, а галоперидол в седалище...»

Утром они отправились в районное управление.

Капитан Султанов — грузный с землистым лицом человек предпенсионного возраста — долго вздыхал и мялся, а потом вынул из сейфа литровую бутылку «Столичной» и грустно заявил:

— Тут без напитка не разберешься. Да и с напитком — не очень. Давайте по сто граммов для просветления ума.

Столичные товарищи согласились. Выпили дважды по полстакана, фактически не закусывая. У коллеги из еды была лишь пачка печенья «Красный Октябрь». Выпили, похрустели печеньем, после чего капитан выдал не свойственный марксисту и военнослужащему монолог:

— Мы чего его не трогаем? Думаете, нам охота на эти гулянья смотреть? А вдруг он, коли у него такой контакт с этим ангелом смерти, решит отомстить! Шепнет этому ангелу, чтобы тот маршрут на время изменил, да нашлет его на нас... А кому помирать охота! Если бы враг был видимый, мы бы его давно скрутили, а тут мистика и потусторонние силы... Накладно будет этого Тереху обижать... У него промашки не бывает. При мне уже тридцать смертей отметил. Всякий раз, как выйдет в город — жди покойника. Хотите, увозите его с собой. А мы тут с ним не станем связываться. И партийное начальство решило на это дело глаза закрыть.

— Теперь не закроет. Московская комиссия не даст зажмуриться, — вздохнул старший и устало спросил: — Чего делать будем?

После долгих фантазий в ведомственном ключе, решили, что лучшим выходом будет избавиться от немого, но не грубо, чтобы знакомый его ангел не отомстил, а как-нибудь без посадки и без применения силы.

— Может, его в санаторий какой-нибудь отправить, пока комиссия будет решать, что делать с Казанской церковью. — Предложил капитан Султанов.

Старший товарищ даже плюнул от досады:

— Дожили. Какого-то немого не можем прижать.

Атеизм атеизмом, но услыхав об ангеле смерти, способном вместо намеченного покойника прихватить на тот свет того, кто обидит Терешку, старший товарищ изрядно струхнул. Этот суровый человек, никогда не думавший о Боге, был невероятно суеверным. Он боялся и черной кошки, и сглаза, и еще целого набора примет, суливших несчастье.

Оказалось, что из арсенала мирных решений выбор был невелик. В конце концов, капитан Султанов дал слово, что отправит Терешку к своему куму за пятьдесят верст от города.

— А потом и порыбачим.

Решили на этом остановиться. В тот же вечер капитан отправился в церковную сторожку, где в последнее время обитал немой нарушитель спокойствия. Там его он и нашел.

— Ну что, Терентий Палыч, придется тебе на некоторое время исчезнуть. Отвезу-ка я тебя к куму Лепехину, чтобы не было беды.

И он рассказал Терентию о столичной комиссии и битве за храм и о том, что из-за него эту битву можно проиграть.

Терентий выслушал капитана, кивнул головой и промычал что-то, долженствующее означать то, что он согласен.

— Вот я тебя и отвезу. Завтра утром будь готов.

Терентий был немым, но не глухим. А немым он стал в 5 лет. На его глазах убили отца с матерью и двух старших братьев. До двенадцати лет он жил у бабушки, а после бабушкиной смерти его забрали в интернат для детей-инвалидов. Когда его стали переводить в интернат для взрослых, началась война. Он сбежал, и никто его не стал искать. Жил он в деревнях у одиноких старушек. Помогал им по хозяйству: колол дрова, вскапывал огороды, пас скотину.

Однажды его поймали, как дезертира. Но, слава богу, и командир отряда оказался не без сердца, и женщины, чьих коров он пас, бесстрашно бросились отбивать его. Терешку даже не погнали в район, хотя у него не было никаких документов. По закону военного времени с ним могли сделать, что угодно. Да и после войны жизнь у него была несладкой. Он ходил по святым местам и часто попадал в спецприемники за бродяжничество. Многие милиционеры, видя, что он слышащий, принимали его за симулянта. Коли слышит, то чего мычит. Должен говорить.

Несколько раз Терентия отправляли в психиатрические лечебницы на экспертизу. Чего он только не испытал за свою полную лишений, горемычную жизнь...

А в Красногвардейске он появился за три года до описываемых событий. Это была его родина. Священник Казанского храма приютил его в сторожке, и он с радостью дворничал, делал работу истопника и сторожа. Власти его не беспокоили, потому что начальник всесильного ведомства капитан Султанов был его троюродным братом. О своем родстве с Терешкой капитан не рассказал московскому коллеге.

Сам капитан приехал в Красногвардейск незадолго до Терентия. Тридцать лет его мотало по всему Советскому Союзу. Служил он и в Средней Азии, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Наконец, перед тем, как выйти в отставку, он попросился на родину. Другие добивались пере-

вода в столицу, на Кубань, или в черноморские города, а он — в глухой городишко. Просьбу его удовлетворили, и он с женой (две его дочери остались с мужьями и детьми в Сибири) поселился в доме своего деда. В этом доме когда-то жил и брат его деда — дед немого Терентия. Стоял он на самом въезде в город на улице Розы Люксембург, Дом был просторный — так называемый, «пятистенок»: два сруба, соединенные вместе. С мезонином и большим погребом. Огород и сад занимали 20 соток. Жена капитана — тоже местная уроженка — за годы скитания истосковалась по нормальной деревенской жизни. Она завела корову, кур, возродила сад: спилила старые яблони и сливы и посадила новые. У нее был лучший огород во всем Красногвардейске. И сам капитан все свободное от службы время огородничал вместе с женой. Фасадные окна их дома выходили на улицу, а окна тыльной стороны и пристроенная веранда — в сад. В теплое время года рамы веранды убирались, и закрытая веранда превращалась в открытую. Капитан наслаждался по весне видами цветущих яблонь, вишен и слив, слушая соловья и непрекращающееся незлобное ворчание боевой подруги. Все лето и сентябрь он с удовольствием потреблял плоды совместных с супругой трудов. Гости в их доме были редки, но он регулярно посылал корзинки со свежими фруктами городским начальникам. На сей раз, он решил нарушить привычку к уединенному провождению вечернего досуга и пригласил к себе московских коллег.

Он доложил им о депортации Терехи и тут же устроил «сеанс дегустации» наливок собственного изготовления. Кроме наливок был еще и самогон из слив. Старший начальник, служивший несколько лет в братской Венгрии, где пристрастился к местной палинке, нашел, что продукт капитана Султанова ничуть не хуже изделий модьярских виноделов. Вечер прошел под щебетанье птиц и стуки падающих на землю яблок. Жена предложила селянку в горшочках, множество салатов и шашлык. Хотя приготовила она его не на мангале, а в печи, шашлык получился отменный.

Гости были довольны. Тереха, доставивший им столько волнений, а главное — непонимание того, как с ним поступить, отправлен в ссылку и уже не помешает достойно принять столичную комиссию. Оставались мелкие служебные обязанности, но они никак не могли помешать им выехать на рыбалку. Решили отправиться на следующее утро.

Выходя из капитанского дома, компания столкнулась с аварийной командой, чинившей прорвавшуюся водопроводную трубу. Авария была нешуточной. Работал экскаватор, и уже вырыл яму более метра глубиной.

Капитан подошел к бригадиру узнать, в чем дело, и как скоро закончат ремонт. Всякие нестроения накануне больших проверок были крайне нежелательны. Бригадир заверил, что часа через два закончат и просил не волноваться.

Капитан отвез на своем УАЗике коллег в гостиницу, пообещав быть к шести утра у подъезда со всем необходимым для рыбалки.

Но и на следующий день с рыбалкой не получилось. Не успели товарищи войти в номер, как зазвонил телефон. Капитан Султанов расстроенным голосом сообщил, что только что получил телефонограмму из областной управы. Ему вместе с московскими инспекторами приказано прибыть не позднее 9-ти утра для срочного инструктажа.

Хорошенькое дело, когда до областного центра 180 километров по скверной дороге! Это во сколько же надо встать, чтобы на УАЗике добраться вовремя?!

Делать нечего. Служба. Встали затемно и поехали. Добрались к сроку. Но начальство, как нередко бывает, объявилось лишь через час.

Во время долгого и тягомотного инструктажа старший московский товарищ с трудом сдерживал гнев. Все, что с важным видом говорил областной начальник, он и без него знал, а строгость, с которой тот поведал о том, что в Москве ждут великих событий, воспринял, как блеф и желание показать столичным коллегам, что у них в области об интересах государства пекутся не меньше, чем в Москве, и что они в курсе того, что в ней происходит. В заключение он объявил, что в связи с особыми обстоятельствами, (о них он пока не может сообщить) группу московских коллег приказано усилить областными кадрами. Для этого он выделяет трех своих сотрудников. Прибудут они в Красногвардейск на следующий день. На этом инструктаж закончился, и всех пригласили в столовую. Старший московский товарищ все время поглядывал на часы. Если без промедления рвануть обратно, то они бы еще успели порыбачить на вечерней зорьке. К тому же он знал, что жена капитана Султанова снабдила их корзинкой с остатками вчерашнего шашлыка и пирогами со всякой всячиной, и вкушать казенный обед никак не хотелось. Он поблагодарил областного начальника и с таинственным видом сообщил, что некоторые служебные обстоятельства, о которых он сообщит позже, требуют срочного возвращения в Красногвардейск. Тот настаивать не стал, но приказал капитану Султанову остаться для беседы наедине. Старший товарищ с большим трудом пережил эту задержку.

Обратно УАЗ летел с небывалой для него скоростью, обгоняя служебные «Волги» и личные «Жигули». В одном живописном месте на берегу реки товарищи опустошили содержимое корзинки и продолжили путь. Обратно они ехали на целый час меньше, чем в ту сторону. Было около семнадцати часов, когда УАЗ въехал в городскую черту. Московские товарищи с облегчением вздохнули: «быть рыбалке!» Но свернув с шоссе на улицу Розы Люксембург, все трое охнули. Напротив дома капитана Султанова стояла огромная толпа. Капитан ударил по тормозам и не смог удержать стона.

«Проклятый Терешка. Сбежал. Как же он мог не сдержать слова...»

И вдруг он почувствовал, как екнуло сердце, и холодок страха сковал грудь, так что он не мог вздохнуть. Капитан сунул под язык таблетку валидола.

«Что же это? За мной или за Еленой прилетел ангел смерти? За кем-то из нас. Иначе бы Терешка не сбежал».

Капитану вдруг показалось, что он слышит шум крыльев и видит черную тень.

В это время солнце зашло за тучу. Московские товарищи яростно матерились, но взглянув на капитана, осеклись. Им стало ясно, что они с минуты на минуту могут стать свидетелями смерти своего товарища или его жены. Они с минуту посидели, сочувственно глядя на обомлевшего коллегу, потом вдруг услышали крики: «Да брось ты! Хвост оторвешь!»

— Это не Терешка. При нем тишина, а тут орут, — проговорил капитан, чувствуя, как ослабевает хватка, сжавшая сердце.

Он выпрыгнул из машины и побежал к толпе. Товарищи последовали за ним. Растолкав народ, они увидели торчавшую из земли коровью голову. Капитан узнал в ней свою Зорьку. Зорька увидела хозяина

и жалобно замычала. Сосед капитана держал в руке коровий хвост, а капитанская жена что-то быстро проговаривала и вытирала грязной рукой слезы, размазывая по лицу бурые полосы.

— Стойте! — скомандовал капитан. Не дергайте ее. Я сейчас.

Он прыгнул в УАЗ и помчался к автоколонне. Благо дело, до нее было всего два квартала. Через несколько минут к толпе подъехал подъемный кран — грузовик со стрелой — и капитан подбежал к пленнице, держа в руках петлю стального троса.

— Да как ты его подсунешь? — рассердился сосед. — Может, поднырнешь под нее? А если и подведешь трос, то он ее пополам перережет.

— Что к рогам привяжешь? Так, башку ей оторвешь — послышался другой голос.

Капитан стоял в нерешительности, потом швырнул трос и склонился над головой страдалицы. У коровы уже закатились глаза. Она хрипло втягивала воздух.

— Мужики, она кончается. Ей же дышать не возможно.

Кто-то принес несколько лопат, и мужики стали отбрасывать размякшую землю.

Старший товарищ подошел к жене капитана и попытался успокоить ее.

Та всхлипнула и запричитала: «Когда же этот бардак кончится?! Вчера воду не откачали, засыпали землей кое-как. Сделали болото и уехали. Хоть бы огородили, мерзавцы».

— Ничего, мы их огородим, — пообещал товарищ.

В это время в толпе показался пожилой человек в длинном черном плаще. Он был с бородой и в шляпе.

— Попа пропустите — послышалось в толпе.

— Чего ему тут делать?

— Как чего? Отпевать буренку будет.

Услыхав о попе, старший товарищ встрепенулся и подался вперед. Прямо на него шел человек, в котором без труда можно было узнать служителя культа. За ним продвигались два мужика (тоже с бородами), неся широкие доски и толстые бруски.

Ни слова не говоря, священник поставил своих людей с двух сторон, бросил на землю брусья в полуметре от коровы, и мужики, положив на брусья широкие доски, стали их вдавливать в землю, подводя их под коровье брюхо.

— А теперь навалитесь, — скомандовал батюшка.

Несколько человек присоединились к спасателям, навалились на доски, и из земли сразу же показалась спина бедной буренки. Корова вскинула голову, замычала, дернулась и через несколько секунд с громким чавканьем земля отпустила пленницу.

Жена капитана бросилась благодарить священника, тот поклонился, осторожно перекрестил ее и тут же исчез со своими работниками.

— Ну, батя, дал! Голова! Тут у нас вон сколько инженеров — и ни один не додумался такой рычаг устроить.

— Попам сам Бог помогает!

Толпа стала расходиться, громко обсуждая поповскую мудрость. Зорька, шатаясь и хрипло дыша, побрела к дому в сопровождении хозяйки. Капитан велел отогнать кран и пригласил коллег к себе.

Сидя на веранде, бойцы невидимого фронта молча с усердием опустошали одну за другой бутылки с наливками.

Пили молча. С каждым выпитым стаканом глаза старшего товарища все больше стекленели. Капитан, чувствуя общую неловкость, поднял бокал и произнес: «Слава Богу, не Терешка».

— Кому слава? — угрюмо хмыкнул старший товарищ. — У нас, если слава, то только КПСС!

Капитан не знал, шутит ли старший коллега или говорит серьезно.

— Оно, конечно, только так. Я имею в виду, хорошо, что Терешка сдержал слово.

— Еще бы! А не сдержал бы, быть бы тебе покойником.

— И то правда. И мы живы остались, и корова не сдохла.

— А лучше бы сдохла, — сурово отрезал старший товарищ.

— Это почему же?

— Да потому, что не было бы ее — и не было бы всей этой кутерьмы. Ишь, корововладелец. Чекист-молочник. Из-за твоей коровы поп оказался умнее всех. И ему этого нельзя прощать. Чего-то ты, капитан, не доработал. То у тебя немые с ангелом смерти корешатся, то попы мудрость свою демонстрируют и при всех твою бабу крестят. А нас, между прочим, прислали проверить, что тут у вас по религиозной части творится. А творится у вас бардак. И надо его до приезда комиссии устранить.

— Эх, товарищ подполковник, — только и сказал капитан.

Уже на следующий день священника отправили за штат. Бригадира аварийной команды взяли под стражу. Приехавшие из области товарищи развернули бурную деятельность по поиску врагов советской власти. Они собрали всех стукачей, но выудить что-нибудь серьезное не смогли. Из антисоветчиков в городе оказались лишь рассказчики анекдотов о генсеке-кукурузнике да отставной капитан дальнего плавания, привезший из Канады книжонку трудов Льва Троцкого и имевший неосторожность рассказать о ней своему соседу. Верующих старух шерстить не стали, но одну пятидесятилетнюю гражданку все же допросили. Она давала почитать своим знакомым Библию. С ней провели профилактическую работу, пообещав посадить, если ее просветительская деятельность продолжится. Главным уловом областных коллег было обнаружение в сейфе несколько доносов, на которые не отреагировал капитан Султанов. Доносы были на тех же «анекдотчиков» и на Терешку. Выяснили, что капитан был с Терешкой в родстве. Капитана отстранили от дел, и вскоре пришел приказ об его отставке. Ему пришлось рассказать, где отсиживается Терентий. Прикомандированные оказались ребятами смелыми. Ни в ангела смерти они не верили, ни в страшный дар раба Божьего Терентия. Они поехали за ним, но найти не смогли. Должно быть, Терентий чувствовал не только ангела смерти. За сутки до приезда следователей он отправился в Киев на богомолье. Больше его в Красногвардейске не видели.

Неожиданно московским товарищам было приказано вернуться в столицу. В тот день товарищ Хрущев был отстранен от власти. Инициативная группа по спасению Казанского храма воспользовалась этим и смогла не только отстоять храм, но и придать ему статус охраняемого объекта.

Памятник дважды герою был установлен. Но по просьбе самого героя не напротив райкома партии, а в тихом сквере, из которого была видна шатровая колокольня Казанского храма.

А капитан Султанов зажил тихой жизнью советского пенсионера. Он слыл лучшим рыбаком в городе. Молоко его Зорьки славилось на всю округу, но жена продавала его только одиноким матерям. Некоторым давала бесплатно. Фрукты городскому начальству Султанов посылать перестал.

Вовкино служение

Вовка Терехин — добрейшая душа. И последнюю рубашку отдаст, и деньгами поделится, и, не жалея времени, будет возиться с попавшим в беду. Одним словом — хороший человек. Но с некоторых пор появилась у него странность: он невзлюбил свое имя. Вернее полное его звучание: Владимир. Запретил называть себя Володей и Владимиром. Только Вовкой. Незнакомые и малознакомые, естественно, обращаются к нему, как и положено: по имени-отчеству или просто по полному имени. Этих он еще как-то терпит. Но когда подобное позволяют себе родственники или друзья, гражданин Терехин приходит в ярость и может повести себя очень грубо. Это особенно странно, поскольку он человек стеснительный и скромный. И в Церковь ходит регулярно, и грехи свои исповедует. А гнев он, как и все добрые христиане, почитает за смертный грех. Но вот, поди ж ты, гневается и никак не может избавиться от своей гневливости. Да еще и причина такая нелепая. Друзьям он свою странность объясняет тем, что не соответствует своему имени. Владимир — значит тот, кто владеет или хочет овладеть миром. А он не хочет. Да и куда ему «миром владеть»! Тут бы с собой справиться.

Но, похоже, дело в другом. Отчество у Вовки Терехина — Лукич. А Лука в пятидесятые-шестидесятые годы было именем крайне редким. Можно сказать — небывалым. Если Лука, то либо старик, либо монах. Но монахи в те годы были тайные. И в миру назывались мирскими именами. Лука звучало для столичного человека как-то уж больно провинциально и даже подозрительно. Владимиров — пруд пруди. В иных классах до половины мальчишек были Вовками. А вот Лука...

А назвал дед Вовки Терехина своего сына (отца Вовки) Лукой в честь мало кому известному в советской России человека — епископа Луки (Войно-Ясенецкого). Тот буквально вытащил раненного бойца Терехина с того света. Но это было семейной тайной. Вовка об этом узнал уже будучи школьником. Это было для него первым потрясением в жизни. Для него — советского пионера — иметь отца, названного в честь какого-то попа, было сродни предательству дела коммунизма. Империалисты, поджигатели войны, шпионы, попы — это все было одной сворой врагов. Об их кознях печатали гневные статьи, снабженные карикатурами Кукрыниксов и прочих карикатуристов. Ни один журнал «Крокодил» не выходил без рисунков, изображавших старика в полосатых коротких штанах с кривыми тонкими ножками, с козлиной бородой и в цилиндре. Это был символ капитализма. А попа изображали с необъятным пузом: в одной руке кадило, а в другой куча измятых рублей. Он пытается засунуть их в карман черного халата, но рубли вываливаются из переполненного кармана на глазах изможденных советских граждан, только что расставшихся со своими скудными «кровными». Таким вот толстопузым шарлатаном и представлял себе Вовка служителя алтаря. И вдруг выясняется, что именно в честь такого вот персонажа назван его родной отец.

А Вовка был пламенным пионером. И о коммунизме мечтал, и о смертном бое с теми, кто мешает его скорейшему построению. И в этом бою видел себя героем, ведущим за собой полки единомышленников. А чтобы стать полководцем последнего и решительного боя за счастье народа, нужно быть, по меньшей мере, генералом. Поэтому он с детства знал, кем станет. Только военным.

Одна беда: единомышленников среди одноклассников у Вовки было немного. Хорошо учившиеся уже до перестройки позволяли себе рассказывать анекдоты о советской власти и о великом генсеке Брежневе. То же делали и двоечники с троечниками. Вовкина идейность была предметом постоянных насмешек. Его мечту о борьбе за дело Ленина и о воинском служении приветствовала лишь школьная библиотекарша Лидия Яковлевна. Вовка прибегал к ней после уроков и несколько часов просиживал, прочитывая политические журналы и книги о войне, о героях-пионерах, героях-партизанах и прочих героях. Эти книги стояли на полке с выведенным красной краской лозунгом: «В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ!» И он мечтал о подвиге.

Он мало что понимал из прочитанного в «Крокодиле» и «Огоньке» о кознях империалистов, но, что называется, укреплялся духом: ненависть его к поджигателям войны, попам и шпионам возрастала с каждым посещением заведения Лидии Яковлевны. И вот, когда градус этой ненависти достиг предела, его одноклассник Мишка Эпштейн дал почитать ему книгу рассказов Варлаама Шаламова и «Красное колесо» Солженицына. Это было второе потрясение в жизни. Сначала Вовка не поверил прочитанному. Он стал спорить с Мишкой, яростно повторяя заученные с детства формулы о классовой борьбе, о необходимости жертв в процессе революционного переустройства мира. Но когда Мишка принес в класс журнал «Ньюз» с фотографиями и рассказами о том, как веселятся на сафари в Африке дети главных перестройщиков мира, Вовка понял, что у него нет аргументов.

Наверно, не все дети членов политбюро платят десять тысяч долларов за выстрел в слона и не все их дочки ведут себя распутно на португальских пляжах... Это издержки. Главное — идея! А идея ведь замечательная! Дать счастье трудовому народу — что может быть лучше и благороднее!?

— Мастодонт ты коммунистический, — сказал презрительно Мишка. — Что же это за замечательная идея, ради которой нужно перебить половину своего народа.

— Какую половину? — возмутился Вовка.

— Миллионы убитых, миллионы сирот, миллионы прошли через концлагеря. Миллионы стукачей. А главное: из трудолюбивых, прекрасно знавших свое дело крестьян, готовых ехать в далекую Сибирь, чтобы получить землю и трудиться на ней, сделали пьяниц, не желающих обрабатывать даже огород возле собственного дома. Из народа сделали лагерных придурков, готовых за бутылку продать мать родную.

— Ну, это ты слишком. Посмотри, сколько хороших людей.

— Если наберешь сотню, я тебе компьютер подарю, — закончил Мишка.

Компьютеры вместе с видеомагнитофонами только стали появляться в России. Вовка до сотни не дотянул и компьютера не получил. Разговор с Мишкой потряс его.

Ладно, попы и дворяне, но миллионы расстрелянных и сосланных в Сибирь ученых, инженеров, простых крестьян — как это понять и принять?! Ни понять, не принять этого Вовка не смог. А из книг (из того же источника) он узнал, что и дворяне мало чем провинились перед трудовым народом. В основном это был служивый люд без имений, без крепостных крестьян, живших на «одну зарплату» без возможности где-нибудь подшабашить. И дворянство свое они получали честной

государственной службой или же героическими военными подвигами, о которых он так страстно мечтал. Но больше всего Вовку сразило то, что вожди Белого движения, которых он с детства ненавидел, были далеко не голубых кровей. Дед генерала Корнилова — простой казак-землепашец, а у генералов Деникина и Алексеева деды вообще были крепостными крестьянами.

Вскоре и с высоких трибун заговорили о преступлениях большевиков, а отец сообщил Вовке о том, что его родной дед не умер во время голода на Кубани, а был расстрелян вместе со многими родственниками. Это в его любимых книгах называлось «расказачиванием». Вовка почувствовал себя обманутым и возненавидел обманщиков. Да так сильно, что от одного вида красных знамен и коммунистических транспарантов ему становилось дурно.

Однажды, 7 ноября, в день празднования октябрьского переворота (слово «революция» он уже не мог произносить), Вовка сорвал со своего дома красный флаг и плакат «Слава КПСС!» Его хотели судить, но дело замяли благодаря школьной библиотекарше. Та рассказала следователю о том, что Владимир Терехин был самым идейным молодым человеком во всей школе. В доказательство она показала его читательский формуляр за 5 лет. Когда советский следователь в чине майора, не смогший, будучи курсантом Куйбышевской школы милиции, рассказать на экзамене по истории партии, о чем написано в работе Ленина «Как нам реорганизовать рабкрин» и что означает эта замечательная аббревиатура, увидел документ, свидетельствовавший о том, что не перевелись на Руси чудаки, добровольно читающие подобные произведения, пришел в крайнюю степень смущения. Толстенный библиотечный формуляр, в несколько раз превысивший натуральную толщину от множества вклеек, запечатлел не только 38 томов Владимира Ленина, но еще полторы сотни фолиантов исключительно патриотического содержания. Майор так разволновался, что за 15 минут четыре раза предложил некурящему Терехину сигареты из своего наградного портсигара.

Он сам договорился с главным врачом районного психдиспансера выдать Терехину справку о том, что тот психически болен. И на основании этой справки закрыл дело. А так бы не миновать Вовке посадки за злостную антисоветскую выходку...

С этим майором Вовка встретился через 10 лет в Николо-Угрешском монастыре, куда тот привез жену с больным внуком. А еще через 3 года отставной майор устроился сначала охранником, а вскоре алтарником в одном из подмосковных храмов.

Дружба Вовки с Мишкой была недолгой. Но за те послешкольные 7 лет, когда Вовка учился в педагогическом институте, а Мишка постигал премудрости точных наук, они общались чуть ли не каждый день. Михаил даже позволил называть себя «Мишкой»: «Раз ты Вовка, то я для тебя — Мишка». Но только для Вовки. С остальными одноклассниками он дружбы не вел и был всегда не по-мальчишески корректен и строг. Вовку он выделил из остальной школьной братии за доброту и постоянную готовность выполнить любую просьбу. А просьб у него было немало...

Вовке с ним было очень интересно.

Мишка крестился еще в десятом классе. Он был духовным чадом отца Александра. Меня и Вовку возил с собой в Пушкино на службы.

Перековался Вовка из ненавистника «поповского племени» в «шибко православного» очень быстро. Теперь ему стало понятно, кому он должен служить. Служить верно и в любом качестве: хоть генералом, хоть дворником. Мишка подсмеивался над столь быстрой сменой жизненных ориентиров, но отец Александр даже избрал Вовку героем одной из проповедей. Он говорил о блаженствах и истинной любви: «Вот человек с чистым сердцем. Ему это его чистое сердце много лет заполняли всякой чепухой и ложными идеями. Но, как только он узнал Евангелие и что есть любовь Христова, он с легкостью забыл о навязанных ему симулякрах». Что такое «симулякр», Вовка не знал. А Мишка объяснил ему в свойственной ему шутливой манере: «Ты любишь кроткую Машу, а тебе подсовывают бурно кипящую комсомолку Раю».

Про симулякр он не понял, зато с радостью узнал о смысле слова «подвиг». Подвиг — значит подвигаться к Богу, к совершенству. Теперь его любимый лозунг: «В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ!» обрел иной, духовный смысл.

Бывали они и в общине Георгия Кочеткова. Вовка был благодарен своему другу за то, что тот ввел его в круг интересных людей, но чувствовал он себя в их среде неуютно. Симпатичные, интеллигентные, знают все и судят о сложнейших предметах, обладают информацией и пользуются неведомыми простым гражданам источниками. После службы устраивают агапы — трапезы и называют их «продолжением литургии». Ведут умные беседы и дискутируют о великих предметах так, словно спорят нравственно или безнравственно поднимать цены на бензин. Все хорошо, все интересно, но очень уж напоминало рассказы из книг Вовкиной юности о заседании тайных марксистских кружков. И чем больше говорилось на этих посиделках о любви, тем меньше она ощущалась. Вовка перестал сопровождать Мишку и стал ходить в Елоховский собор. Две остановки от дома — и никакой интеллигентской болтовни на сакральные темы.

Мишка не обиделся и продолжал снабжать его книгами духовного содержания, в основном, издательства «Посев» и Джорданвиля. Вовка был уверен, что Мишка, несмотря на большие успехи в математике, готовит себя к карьере священника, но тот неожиданно объявил, что отбывает на историческую родину. Через несколько лет он объявился на Московском международном математическом конгрессе в составе американской делегации. Но уже не Михаилом Эпштейном, а профессором Майклом Эпстайном. С Вовкой он тогда не встретился, но через полгода позвонил из Москвы и попросил помочь ему похоронить отца.

Элитное кладбище Мишка обеспечил по своим каналам, а договоренности с могильщиками, шоферами, работниками морга и множество хлопот по организации поминок достались Вовке. Он рад был помочь старому другу. Ему пришлось принять участие и в мало приятном деле: разгребании наследства. Именно разгребании. У Мишкиного отца добра оказалось немало. Но добро это было на любителя. Мишка сразу же продал бюро и два кресла красного дерева Александровской эпохи, а Вовка с двумя Мишкиными единокровными сестрами из Бобруйска разгребал и упаковывал кухонную и всяческую хозяйственную утварь, хранившуюся вперемешку со статуэтками 50—60 годов, скатертями, постельным бельем и одеждой.

Сковородок у покойного было 22. Кастрюль — 28. Эмалированных ведер — 7. Скатертей — 23. Пальто зимнее одно. Дубленок — 3. Деми-

сезонных пальто тоже три. Костюмов — 2. Но пиджаков — 15. Брюки считать не стали — половину пришлось выбросить. Всю «мягкую рухлядь» с кухонными предметами сестры увезли в Бобруйск, надеясь продать в комиссионках. В Москве это сделать они не смогли.

Кроме того, кладовка покойного была заполнена мешками с гречкой, сахаром, солью, спичками, стеариновыми свечами — всем тем, что периодически исчезало с советских прилавков.

У Мишкиного отца была прекрасная библиотека. Мишка позволил своему другу взять несколько разрозненных томов Большой Советской Энциклопедии и два десятка книг по философии. Энциклопедию Брокгауза и Эфрона вместе с редкими дореволюционными изданиями он продал книжному маклаку.

Улетел Мишка туда, где он назывался Майклом, не попрощавшись с друзьями. Позвонил из аэропорта и сказал, что его срочно вызвали в университет.

«У нас, в Америке, халявы и прогулов не позволяют!» — это была последняя информационная деталь в Мишкиных трудах по перековке Вовкиного сознания.

К тому времени у Вовки появились новые друзья. Некоторые, кстати, достались от бывшего Мишки. Это были православные люди. Многие из них занимались бизнесом.

Один из них — бывший директор советского ресторана Василий Шматько — пригласил Вовку и еще нескольких православных приятелей в открываемый им суши-бар. Вовка принял предложение без колебаний. Главным принципом нового заведения была честность во всем.

Они покупали рыбу только лучшего качества. Все продукты были свежими. Никаких дешевых добавок в блюда. Меню было экзотическим и разнообразным.

Но главное: у Вовки появилась возможность вернуться к мечте о великом служении. Неожиданно кулинарное поприще предоставило ему возможность для духовно-просветительской деятельности. В отдельном зале суши-бара стараниями Вовки устроили место встреч для православных людей. Здесь показывали видеофильмы православной тематики, устраивались встречи с богословами, политическими деятелями патриотической ориентации, беседы и лекции по катехизации. Народу собиралось много. Пили-ели, а потом переходили к «культурно-просветительской программе». «Сначала брюховное, а потом — духовное!» — шутил хозяин Шматько. Бедных угощали с большими скидками или вообще бесплатно. Доход при такой политике был невелик. Иногда уходили в минус. Аренда была высокой. Но спасло то, что один господин помог им организовать развозку суши на дом. Он же и обеспечил их многочисленной клиентурой. Этот господин был хозяином базы, на которой они закупали рыбу. Его поразило то, что в то время, когда большинство «сушистов» брали товар подешевле, не взирая на качество, Вовка, назначенный главным закупщиком, требовал рыбу только идеального качества. Хозяин базы — большой любитель суши, решил попробовать стряпню столь необычного клиента. А, попробовав, пришел в восторг и вскоре привел в Вовкин суши-бар большую компанию друзей. Эти друзья и стали основными заказчиками блюд на вывоз. За ними потянулись их друзья. Потом друзья друзей, и заведение стало приносить приличный доход.

И тогда Вовка сумел убедить своего хозяина заняться благотворительностью. Поскольку каждый христианин обязан отдавать десятину

на Церковь, они решили отдавать десятину конкретным нуждающимся людям. Это были вдовы и сироты, а потом они стали оказывать финансовую помощь небольшому детскому дому. Его организовала пара пожилых пенсионеров. Они с большим трудом добились разрешения на опекунство над оставленными родителями детьми. Среди них было больше половины детей-инвалидов.

Вовка занялся новым делом с большим рвением. В ста километрах от Москвы они купили большой участок земли с сохранившимся садом и развалиной некогда просторного дома. Дом починили, засадили огород. Дети из опекаемого ими детского дома обрели возможность жить на даче. Они оказались трудолюбивыми ребятами и с радостью огородничали и ухаживали за плодовыми деревьями.

Теперь в баре готовили из овощей, выращенных без химических удобрений и подавали фрукты из собственного сада. Об этом скоро узнал народ, и посетителей прибавилось. Хозяин открыл еще два заведения, а основной бар назвал БРАМИЛом (братство и милосердие) Вовке эта аббревиатура не понравилась. Но его не стали слушать, а отшутились: «Тебе дай волю, так ты и Ленина с Маяковским переименуешь».

Шутка была не актуальной. Вовка уже давно избавился от своей странности. Воцерковившись, имя Владимир он ассоциировал не с вождем пролетариата, а с именами Великого Князя, крестившего Русь, и священномученика — Киевского митрополита — одного из первых жертв творцов народной свободы.

Его больше всего волновало то, что их просветительская затея стала пробуксовывать. На встречи приходило все меньше людей. Даже возможность вкусно поужинать перестала соблазнять. Да и зал, отведенный для встреч, почти никогда не оставался незанятым. Приходили посетители просто поесть — те, кому было не до бесед на духовные темы.

И тогда появился «акустик». Это был Вовкин одноклассник Антон Мартынов. В школе они не были близкими приятелями. Вовка идейно укреплялся в библиотеке, а Антон все время что-то изобретал. Во втором классе он сам сделал радиоприемник в обыкновенной мыльнице. А к концу школы раскатывал на мотороллере, сделанном из подобранных на помойке железяк. Он механизировал кухню, где все резалось, жарилось, парилось не в заграничных кухонных комбайнах, а механизмами, изготовленными его руками. В его комнате все играло, зажигалось и гасло, приводилось в движение от пульта и даже от голосового приказа. Достигнув предельных высот в механике, Антон занялся акустикой.

Несколько вечеров он рассказывал Вовке о своем главном изобретении, которому надлежит совершить революцию в мировом масштабе. Антон соорудил акустический прибор, при прохождении через который, звук преображался и приобретал способности лечить всякого рода болезни. Вовка плохо разбирался в технике, тем более в акустике, но суть он понял: при определенной частоте колебаний, звук (даже не воспринимаемый человеческим ухом) может входить в резонанс с частотой колебаний того или иного органа. От этого орган начинал работать как лучше, так и хуже, в зависимости от желаемого результата и настройки аппарата.

— Значит, можно и лечить, и калечить? — спросил Вовка.

— Именно так. Но мы будем только лечить. Если надо — тело. Но, в основном — душу!

— А душу-то как?

И Антон продемонстрировал. Он достал из сумки фанерный куб, выкрашенный черной краской. Размер его был сантиметров двадцать на двадцать. Подключил его к плееру, вставил диск и включил.

Послышался шум дождя, легкие раскаты грома, потом зажурчал ручей и запел соловей. Гром стал глуше и раскатистей, а соловьиная трель — долгой, разнообразной и на множество колен.

Вовка слушал минут десять, ожидая ощутимого эффекта, но ничего не почувствовал: «Ну и что? Что ты мне лечил соловьем с громами? Душа-то причем?»

— А при том!

И Антон, стараясь избегать неизвестных Вовке научных терминов, поведал о великой силе акустики. Начал он с непререкаемого аргумента — Библии: «Словом был мир создан». А если взять акустический аспект слова, то можно многое понять и многого достичь. Дело это опасное, потому, что, как создан мир словом, так словом мы наш мир и убиваем. Человек должен во всем быть сотворцом и соработником Господу Богу. И, как сказано «за каждое слово ответишь», так и будет. И мы должны к каждому слову и каждому звуку относиться трепетно и со страхом Божиим. Наши звуки должны быть естественными и приятными, взятыми из Богом данной природы. Никаких искусственных скрежетов и механического лязгания и шумов.

Тут последовало рассуждение о том, что матерная брань — это проклятие и что она виновница многих происходящих с нами бед.

А он — Антон — открыл некий звуковой код и определил частоты, на которых Слово Божье воспринимается даже окаменелыми душами. Короче говоря, если использовать его акустический куб, то слова Евангелия проходят в любую душу и человек становится верующим. Даже закоренелые разбойники!

— Ты представляешь, можно всю Россию вновь сделать Святой Русью! Пьяницы перестанут пить, блудницы блудить, матери перестанут бросать своих детей, а жестокие мужики, бросающие жен и детей превратятся в чадолюбивых отцов. И у нас, как до революции, снова появятся крепкие семьи с десятком детей.

Антон говорил горячо. И Вовка вдруг понял, что эта идея, как никакая другая, соответствовала его мечте о великом служении. Но что-то мешало поверить в Антонову затею полностью.

А тот сообщил, что уже провел несколько испытаний. Одно — в колонии для малолетних преступников. Он под звуки, только что прослушанные Вовкой, прочел отрокам, среди которых были не только воры, но и убийцы, Тургеневскую «Муму».

— И что?

— Обрыдались. А потом батюшка, служащий в церкви в этой колонии, сказал, что половина прибежала к нему исповедоваться. Вот как звук чистит душу.

Наконец, Вовка понял, что его смущает. Он вздохнул и тихо произнес:

— Веру нельзя насильственно насаждать.

— Ну, какое же тут насилие: соловья с ручейком послушать. Они же только мат слышат. Только матом друг с другом разговаривают. А тут звуки природы. Сконцентрированные... Кто кого насилует?

— Насилия, конечно, нет, — согласился Вовка. Но может это гипноз. Сейчас душа размякнет, а потом еще большее преступление совершит. Именно потому, что имела слабость расслабиться.

— Вот для этого нужно не одним сеансом довольствоваться, а длительным курсом. Регулярно и подолгу. Больную душу нужно долго лечить.

Вовка вспомнил фильм Стенли Кубрика «Механический апельсин», где преступнику прививали отвращение к насилию показом сцен убийства и пыток.

— Ну, не знаю. Нужно подумать.

Порешили вернуться к этому разговору вместе с хозяином. Антон пообещал усилить свой агрегат, для чего потребовал у Вовки три тысячи на покупку каких-то особых пьезодинамиков, которые изготавливают только в Дании.

— В Дании, так в Дании, — пробормотал на прощание Вовка. Хорошая страна. У нас и принцесса датская Дагмара царицей стала Марией Федоровной.

На том и расстались.

А дальше произошло вот что...

Зал, где проходили православные вечера, с некоторых пор облюбовали молодые люди характерного обличия: плотные, с толстыми короткими шеями и все, как один, бритые наголо. Приходили они каждый вечер. Некоторые стали регулярно обедать. По вечерам с ними было немало хлопот. В их заведении не продавали крепких напитков. Можно было заказать лишь легкое китайское вино, мало чем отличавшееся от компота. И эти молодые люди стали приносить горячительные напитки с собой. Несколько раз, подвыпив, они устраивали драки, угрожали официанткам, не позволявшим им приставать к ним. Дело дошло до вызова милиции. Но увезенные в воронках бузотеры вернулись на следующий вечер и строго поговорили с хозяином. Они объяснили ему, что, вопреки их обычаям, они не только платят за съеденное, но еще и «крышуют» его по приказу некоего Матюхи. А Матюха полюбил их заведение и приказал их опекать за то, что они помогали сиротам. Матюха — сам сирота — помогал тому же детскому дому, что и их заведение.

Что делать в создавшейся ситуации, никто не знал. И тогда Вовка предложил попробовать смягчить разбойничьи нравы с помощью акустического куба. Он подробно пересказал все, о чем узнал от Антона. Хозяин Шматько с радостью разрешил провести эксперимент. Перспектива переделки бандитов в верующих, прилично ведущих себя людей, очень ему понравилась.

Куб установили на китайском столике с перламутровым рисунком заводи с белыми лебедями и цветами лотоса. С двух сторон поставили вазы с хризантемами. Включили звук.

В тот вечер братва обсуждала какое-то важное злодейство. Тот, кто вел толковище (все знали, что это Леха — второй человек после Матюхи), очень скоро стал нервно поводить плечами: поговорит с минуту — и вздрогнет. Потом и другие хлопцы стали повторять его движения. Некоторые отчаянно чесались, словно их кусали блохи.

Антон, следивший за их реакцией, заволновался. Он пробормотал: «надо уменьшить» и стал возиться со своим пультом. Из куба неожиданно раздался сильнейший раскат грома. Двое из братвы резко отбросили стулья и упали на пол, приняв гром из куба за выстрел. А дальше произошло невообразимое. Братва «заняла оборону». Все было, как в кино: достали «стволы», разбежались по углам, прячась за колонны. Крики, грозные приказы, паника среди простых посетителей...

Когда Антон объяснил Лехе в чем дело, тот долго не мог «врубиться» и что это за акустическая терапия для успокоения нервов. А когда «врубился», то «вырубил» бедного Антона. Куб был разбит. Одному из хлопцев было приказано посмотреть нет ли в нем микрофонов и записывающего устройства.

Шматько, Вовка и Антон были допрошены. Леха с большим подозрением выслушал рассказ о том, как великий акустик Антон Мартынов решил с помощью звуков природы помочь браткам расслабиться. Работа у них нервная, а природные звуки успокаивают.

— Успокоил, — процедил Леха и выдал такую тираду, (если верить Антону: пройди она через его куб, то пол-Москвы ушло бы к праотцам).

Удивительно, но Леха лютовать не стал. Успокоился он быстро. Возможно, акустика начала действовать. Он как-то обмяк, повздыхал, пробормотал беззлобно: «На бабки бы вас поставить».

— Успокаиваешь, говоришь. Ты больше не успокаивай. Мы уж постаринке...

Тут он продемонстрировал старый способ: достал из заднего кармана плоскую фляжку с виски и, держа ее в пяти сантиметрах ото рта, пустил темную струю, как всем показалось, не делая глотков, прямо в чрево.

Хозяин заведения Шматько поклялся, что в его заведении тоже все будет по-старому.

И Антон, уволенный, будучи никуда еще не принятым, тоже решил жить по-старому: продолжать доводить свой куб до совершенства и опробовать его на другой, менее нервной публике. А Вовка растерялся и не знал, как воспринять происшедшую историю. Он рассказал о ней духовнику и о том, что не знает, как дальше просвещать народ. Духовника эта история повеселила. Он напомнил Вовке слова апостола Павла «не спешите быть учителями».

— Надо усилить молитву. О Христе нужно не рассказывать, а показывать. Стань таким, чтобы люди видели живущего в тебе Христа.

— Легко сказать, а как это сделать?

— Разве не знаешь?! Соблюдай заповеди и не греши.

— Я стараюсь.

— Старайся усерднее. И не место меняй, а сам меняйся.

— А что конкретно мне теперь делать?

— А что произошло такого, из-за чего столько смущения? Куб не сработал?

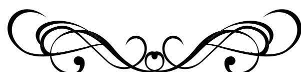
— Еще как сработал!

— Ну и радуйся и смейся. Может разбойники после этой истории перестанут разбойничать. Они, поди, своим дружкам по всей Москве эту историю, как анекдот рассказывают.

— А что же конкретно мне делать?

— Что делать? — духовник даже рукой от досады махнул.

— Продолжай закупать рыбу. И только отличного качества. И смотри внимательно, чтобы жабры были розовыми, а не красными.



Земля, без которой не жить

На территории России живет более 180 народов. В одном только Дагестане, который по площади меньше Беларуси в четыре раза, существует четырнадцать письменных языков, а еще есть и бесписьменные...

Конечно, совершенно невозможно в одной подборке хоть сколько-нибудь полно представить все многообразие поэтического слова народов России (не один том, вероятно, для этого бы понадобился), и все же хоть в какой-то мере мы попытались это сделать.

Эти горы признали нас

АХСАР КОДЗАТИ

Адам

Все дети Адама — члены одного тела.
Саади

Текут века, а ты, Адам, в дороге,
Остановиться ты нигде не смог.
Ты кто? Двуногий иль четвероногий?
Сто у тебя иль миллионы ног?

Все месишь грязь, как глину для самана...
Куда бредешь, в какое бытие?
Ты человек, Адам, иль тень тумана?
Где голова и где лицо твое?

Перед изображением святого Георгия

Будь ты неладен и твое копье —
Все мучаешь чудовище! Доколе?
Все целишь в пасть... Опомнись, хватит боли,
Вонзи же в сердце это острие!

Глядит на схватку, ждет конца ее
Весь этот мир... Ты светел в ореоле,
Но лучше бы сейчас по Божьей воле
Ты уронил оружие свое!..

Веков семнадцать длится эпопея,
Ты, златокрылый всадник, несуров,

О, всепрощенец, не убил ты змея,
И вот семнадцать выросло голов,
И все смеются надо мной с азартом...
Бей наповал, как подобает нартам!

Перевод с осетинского Михаила СИНЕЛЬНИКОВА.

БАГАУТДИН АДЖИЕВ

Из цикла «Колокола тридцатых годов»

Волны Хазарского моря прилежно
Лижут соленым языком прибрежные камни.
Им хорошо, камням этим круглым, —
Им не стреляют в затылок.

Хмурится древний Хазар —
Он единственный, может, свидетель
Того, что здесь было
В тех страшных и скорбных тридцатых.

Сейчас здесь красиво —
Цветут черноглазые маки,
И сладко прохожим
Миндальным дышать ароматом.

Ах, знал бы малыш босоногий,
Беспечно играющий в мячик,
Куда он пришел
И кто ему пятки щекочет!

Художник один,
Убеленный давно сединою,
Приходит сюда
Каждый вечер и каждое утро.

Он ловит тяжелые краски
Зари и заката,
Омытые чисто
Слезами овдовевших горянок.

И кровь проступает
На белом холсте, и какой-то подросток,
Взглянув на картину,
Воскликнет: «Так не бывает!»

«Бывает», — ему отвечает
Неведомый голос —
То ль древнего моря,
То ли погибшего горца.

А мир опять окутывает мгла —
Динь-дон-динь-дон — гудят колокола.

* * *

Музейный сад еще в ночной росе,
А он, угромоздясь на ветке сливы,
Распелся так, что улыбнулись все
И стали все немножечко счастливей.

Благодарю тебя за выбор твой —
Музей ведь этот посвящен поэту.
Он тоже пел, пока он был живой —
О правде пел. Продолжи песню эту.

Пой, соловей, восторженно и всласть —
Такие песни нынче очень редки.
Но я прошу: не улетай во власть,
Чтоб в золотой не оказаться клетке.

Живи на воле, песнею гордясь,
Не посыпая голову золою
Сожженной чести, — и возникнет связь
С историей, народом и с землею.

Перевод с кумыкского Сергея ВАСИЛЬЕВА.

МАГОМЕД АХМЕДОВ

* * *

Заглянув на мгновенье в иные миры,
Сердце катится в пропасть с вершины горы.

Если б строил иначе свое я житье,
Не пропало бы бедное сердце мое.

Только стоило все же отчаянно лезть
На вершину, чтоб слышать небесную весть.

Пусть теперь впереди неизвестность и страх,
Сердце знает: оно побывало в горах!

* * *

Не дается мне в руки слово,
Словно тень от улетающей птицы.
Впрочем, может быть, так и надо —
Пусть хоть птица будет свободной!

Пусть хоть птица! Что до отчизны,
То она меня не замечает.
Что ж, наверно, так тоже надо —
Я ж люблю ее не за это!

И когда живу на чужбине,
Мне она почему-то ближе.
Может быть, потому, что отчизна
Будет жить, когда нас не будет.

Потому-то и не обидно,
Что она не дается в руки.
Важно, чтобы она навеки
Оставалась свободной, как птица.

Перевод с аварского Сергея ВАСИЛЬЕВА.

АХМАТ СОЗАЕВ

Падают листья

Падают листья...
Не в срок листопад!
Жизнь,
Ты седеешь до срока!
Косо друзья
Друг на друга глядят,
Юноши гибнут...
Жестоко!

Падают листья...
За что вы борцы?!
Дружбу народов —
Забудем?!
Братоубийственной бойни
«Творцы»,
Что вы расскажете людям?

Падают листья —
До осени, до...
Падают листья,
Как слезы.
Добрый Кавказ,
Родовое гнездо,
Ныне
Гремят в тебе грозы!

Падают листья
На пламя войны,
Небо чернеет
От крови.
Или не давит вас
Чувство вины?
Или для вас оно
Внове?!

Падают листья...
Уймитесь скорей!

Что же творите
Вы с нами?
Плач матерей,
Потерявших детей,
Злыми уносит ветрами...

Падают листья —
Без осени, вдруг.
Кем срок их жизни
Уменьшен?
Больше и больше
Я вижу вокруг
Облаченных в черное
Женщин!

Падают листья —
В июне, сейчас.
Страшно присесть мне
К экрану...
Скоро ль залечит
Седой Кавказ
Кровоточащую
Рану?

Перевод с балкарского Лазаря ШЕРЕШЕВСКОГО.

МИЯСАТ МУСЛИМОВА

Ангелы во крови

Ахсару

Не знаете ли, что тела ваши
суть храм живущего в вас
Святого Духа, которого имеете вы
от Бога и вы не свои? Ибо вы куплены
дорогою ценою. Посему прославляйте Бога
и в делах ваших и в душах ваших,
которых суть Божии.

*Послание к коринфянам Святого апостола
Павла. Гл. 2*

Поистине, Аллах приказывает
справедливость, благодеяние, и
дары близким; и Он удерживает
от мерзости, гнусного и преступления.
Он увещевает Вас:
может быть, вы опомнитесь!

Коран. Сура 16

Я похоронил затылок сына.
Мои руки еще помнят тепло пеленки,
в которой впервые ты мне протянула его.

Помнишь?..
Я боялся взять его в руки —
они оказались такими грубыми.
Я боялся посмотреть тебе в глаза,
чтобы ты не увидела мою слабость.
Я боялся прижать его к груди,
потому что стук моего сердца мог разбудить его.
Когда ты склонялась над его кроваткой,
я боялся рассказать Богу, как я счастлив,
а когда мы вместе улыбались его веснушкам,
я готов был перевернуть мир...

...А мир перевернулся сам...
В моих руках плачет невесомый холод
воспоминания о сыне.
Я искал его,
я обещал Богу, что сердце мое не дрогнет,
когда я встречу его.
Я проходил мимо сотен черных саванов
и сжимал до хрипа свое обезумевшее сердце.
Но только у одного из них
оно вырывалось и падало.
А я напоминал ему обещание
и снова шел по кругу.

...Прости меня, сын,
за то, что я не хотел верить тебе.
Ведь я искал тело двенадцатилетнего мальчика.
Я люблю тебя
и потому с нежностью несу тебя в своих ладонях.
Я снова боюсь прижать тебя к груди,
чтобы не испугать пустотой своего сердца,
в котором умирает крик.
Я люблю тебя, сын.
И, склонившись над тобой,
благодарю Бога, что нет рядом той женщины,
которая родила тебя.

...Разве я похоронил тебя, сын?..
Если это правда, мы не расскажем ей об этом.
Только обещай мне,
что, когда она посмотрит на меня долгим взглядом,
остывшим от жизни,
ты поможешь мне
разбить солнце на тысячи веснушек,
чтобы она улыбнулась нам...

САЛИМАТ КУРБАНОВА

Ашура из аула Хосрех[1]

(Легенда)

Не солнечный луч отразился от скал,
А огненный ливень на землю упал.

Не черная туча зашторила день,
А черного всадника грозная тень.

Как коршунов стая, на гору Кукма[2]
Напала внезапно монгольская тьма.

И в траур оделись поля и леса,
И смолкли в аулах детей голоса.

Тревожная новость резвее гонца
Летела в селеньях к крыльцу от крыльца.

Затих, точно ветер, в ауле Хосрех
И плач погребальный, и свадебный смех.

А храбрый лазутчик наутро донес,
Что жизни длиннее монгольский обоз.

Что в поле травинок — то в стане врагов.
Что в речке песчинок — то в ножнах клинков.

И старый, и малый сплотились тогда,
А острым кинжалам — беда не беда.
Как волк на пугливое стадо овец,
Напал на десяток один удалец.

А двое — на сотню, а десять — на три:
И бились они от зари до зари.

День бились нещадно и бились другой —
И кровь не ручьями текла, а рекой.

И эхо звенело вдали, как зурна,
Но вдруг наступила кругом тишина...

И вышла из сакли тогда Ашура
И девушкам лакским сказала: «Пора!

Чем ждать терпеливо лихого конца.
Не лучше ль помочь женихам и отцам?!»

Хосрех[1] — старинный лакский аул в Дагестане.
Кукма[2] — название горы в Дагестане.

И с песнею громкой на гору взошла —
От муки прекрасна, от гнева бела...

Столетья минули, а песня жива —
Сверкают во тьме золотые слова:

«О братья-джигиты, в суровом краю
У нас умирает мужчина в бою.
А женщине участь иная дана —
От родов мучительных гибнет она[3].

Рубите ж египетской сталью врагов,
Пусть ржа не коснется бесстрашных клинков.

Пусть стрелы каленые в цели летят —
И в старого коршуна, и в коршунят.

А если клинка не имеет джигит,
Пусть вилы возьмет и врага пригвоздит.

А если нет вил, то и камень простой
Сгодится в бою для руки удалой.

Коль волк режет стадо, не ведая сна,
Не думает он о стреле чабана.

Бросайте в овраги вы вражьи тела,
Чтоб сквозь их глазницы полынь проросла!»

Так пела отважная лакская дочь,
Надеясь хоть песней мужчинам помочь.

И тот, кто услышал призывный напев,
Стал мрачен, как туча, и страшен, как лев.

И снова клинки зазвенели во мгле,
И кони заржали на красной земле.

И красная речка врагов унесла —
Но девичье сердце пронзила стрела...

На той же горе, не дождавшись утра,
Навеки сомкнула уста Ашура.

Столетья минули, а песня жива —
Сверкают из тьмы золотые слова.

Перевод с лакского
Марины АХМЕДОВОЙ-КОЛЮБАКИНОЙ.

[3]Лакская пословица: «Мужчина умирает в бою, а женщина — от родов».

ХАНБИЧЕ ХАМЕТОВА

Может, ты облако...

Может, ты облако
В небе синем...
Я становилась голубем сизым,
Все долететь до тебя хотела.
Как не пыталась —
Не долетела.
Может, потом ты в дождь превратился,
В дождь превратился,
С неба спустился...
Долго бежала я за ручьем.
Ты моего не заметил горя, —
Я добежала до самого моря,
А ты растворился
В нем.
Был ли дождем ты,
Облаком вешним?..
Где ты,
Любимый?
Где ты,
Мой нежный?
Я виновата,
Я не успела,
Не добежала,
Не долетела.

Перевод с лезгинского Льва ДУБАЕВА.

АМИНАТ АБДУЛГАПИЗОВА

* * *

Создал бы нас Аллах с тобой:
Меня — цветущим садом,
Тебя — прилипчивой пчелой,
Чтоб был со мною рядом.
Создал бы нас Аллах с тобой:
Меня — ягненком черным,
Тебя — зеленою травой
На наших склонах горных.
С каким бы наслажденьем я
Резвилась на раздолье...
Но нет — и в том беда моя —
На это Божьей воли.

Перевод с даргинского
Марины АХМЕДОВОЙ-КОЛЮБАКИНОЙ.

РАМАЗАН ЦУРОВ

* * *

Отстраивается Грозный,
И прежде всего центр
С его проспектом длинным,
Что прорезает город
Насквозь и весь раскрашен
В радужные цвета.
И только крыши красные.
Любит новая власть
Крыши красного цвета.
Сверху посмотришь: словно
Через разрушенный город
Красная мчится река.
Блики солнца играют
На багровых волнах.

* * *

Мы всегда высоки и зрячи.
Эти горы признали нас
И от нас ничего не прячут
Ни в тяжелый, ни в легкий час.
Здесь и небо не просто небо,
И глаза не просто глаза...
Тем, кто с нами сегодня не был,
Что сумеем мы рассказать?
День прекрасный всегда так краток...
Солнце тихо прикрыв слегка,
Ярче осени, ярче радуг
Загорятся вдруг облака.
Там сапфир и рубин играли
И вливалась в них бирюза,
И нежнейшим свеченьем рая
Были залиты наши глаза.
Мы меж башен и скал парили,
Чудным светом озарены,
Не нужны человеку крылья,
Если горы ему даны!
Было счастье до крика боли.
И теперь я не знаю сам,
То ли небо я видел, то ли
Сон, приснившийся облакам?

Просто...

Дождь прошел и у обрыва влажного
Мальчик сделал голубя бумажного.

Сделал и в упругость зноя летнего
Бросил, а затем второго, третьего.
Я сижу, а надо мною важные
Летают голуби бумажные.

Перевод с ингушского автора.

АЛЬБЕРТ УЗДЕНОВ

1957. Возвращение

Нежный май... Под луной
Крутосклоны белей молока.
Мой конек вороной
Пьет из звездного родника.

Только радостный всхлест,
Только пена и плеск вгорячах
И качание звезд
В этих конских раскосых очах.

Что до нашей беды
Жеребенку!.. Он счастлив и юн...
Только сладость воды
Знает этот беспечный шалун.

Та песчаная сушь
Будет сниться вернувшимся, где
Столько сгинуло душ
Вот об этой мечтая воде.

Перевод с карачаевского
Михаила СИНЕЛЬНИКОВА.

АРСЕН ДОДУЕВ

Терпение и честь

Саиду Чахкиеву

Из мрака, из мглы и тумана,
Нарушив привычный режим,
Несчастье приходит нежданно —
Оно не бывает чужим:

Вот кто-то споткнулся с размаху,
А кто-то, в бреду даровит, —
Из огненных прядей рубаху
Прилюдно надеть норовит...

Ответь мне, надежный товарищ,
Спасет ли нас образ такой:
Багровые зори пожарищ
Над времени бурной рекой?

Врученная нашим заботам,
Привычная с нами дружить,
Пропитана кровью и потом
Земля, без которой не жить —

Одни призывают бороться
За землю, за горскую честь,
Другие идей благородство
Готовы боям предпочесть:

Чтоб двойственность нас не томила,
Должны мы понять, наконец,
Что лишь в обретении мира
Горение наших сердец!

Перевод с балкарского Глана ОНАНЯНА.

Волга, Илеть, Ока...

РЕНАТ ХАРИС

* * *

Страна моя!
Твой милый сердцу лик
коль не смогу украсить делом,
оставь меня ты там, где я возник,
быть может, ноги пустят корни в землю.
Пусть волосы покроются листвой,
глаза мои распустятся цветами,
а губы станут сочными плодами,
созрев лекарством чудным и едой.
Пусть тень моя для отдыха годна,
пусть дева рвет цветы, чтоб грудь украсить,
пусть рвет плоды малыш.
Порой нужна
боль телу, радость чтоб душе доставить.

Ода Татарстану

На белом свете много дивных стран,
прекрасны в праздник чьи убранства,
но гордость лишь в тебе, мой Татарстан,
полнит души моей пространство.

Твои земля и воды неспроста
источники великой силы,
пока любовь к тебе, мой Татарстан,
цветет в сердцах — мы вечно живы.

Твой дух высок, а цель твоя свята,
к твоим успехам мы причастны,
и лишь твои пути, мой Татарстан,
зовут вперед, ведут нас к Счастью.

В такой момент

Слова ушли,
а чувства распылились...
Я, видно, слишком долго в бурях жил...
Когда душа и почестей добилась,
кого-то звать на праздник нет уж сил.
Но все же я в глазах своих усталых
храню слезу невинных детских лет.
Порой твержу недетскими устами
о том, что вижу через этот свет.
В такой момент
эмоции взлетают,
а в чувствах вновь и искренность, и суть...
Тянувшимися к солнцу вдруг ростками
слова стихам
прокладывают путь...

Перевод с татарского Ирека ГАТИНА.

МУХАММАТ МИРЗА

Слово пожилых

Мешками-мешками щавель приносили,
Мешками-мешками — борщевник, крапиву.
Руками срывали, косою косили,
И ели, и ели — остаться бы живу.
В голодные годы...

Так, с голодом в схватке, прошло наше детство —
Такая неравная битва, что страшно
В то давнее прошлое нынче вглядеться:
Щавель, одуванчик, пустынная пашня...
Тоска безотцовства.

Вы скажете: «Память тревожить больную
Не стоит. Слова только сердце изгложут».
Вы скажете: «Нас эта доля минует —

Сегодня такого случиться не может».
Вы скажете: «Хватит».

Всем кажется — жизнь быть должна справедливой,
Но жизнь иногда по-другому решает —
В тот год опустела деревня большая,
Поля заросли лебедой и крапивой...
Нельзя зарекаться.

Какой вам судьбою удел уготован?
Дорога в густые туманы уводит...
Что там, за туманом? Не скажет никто вам.
Каким этот мир обернется сегодня?
Никто и не знает.

Перевод с татарского Алены КАРИМОВОЙ.

Мгновение осени

Шепчутся листья опалые...
Шепчут себе в утешение:
На высоте побывали.
Помнишь, недавно летали?
Да и сейчас мы в движении...

* * *

Сквозь травы никлые в веках пробилась,
На свет явилась свежая трава.
Подлунная в испуге всполошилась: —
Разбойники, татары, татарва...

Перевод с татарского Сергея МАЛЫШЕВА.

РАВИЛЬ БИКБАЕВ

* * *

Несется время, обжигая высь,
Мое дыханье гарью обжигая,
Напрасно умолять: остановись!
Несется время, времени не зная.

И не проси, безжалостно оно:
Хоть червь, хоть гений —
Всех на место ставит.
Не от удушья пасть мне суждено,
А оттого, что времени не станет.

Я не согнусь под тяготами дней
И в праздный час не отпущу тревогу,
Не уступлю я недругу дорогу,
В застолье буду грустен без друзей...

И коль просить у времени, то вновь
Я попрошу, как нищий подаянья:
— Пока я жив, не отнимай любовь,
Не торопи минуту расставанья.

Нет, не страшит огонь любви меня,
Боюсь один остаться.
Без огня.

* * *

Все в природе степенно, достойно,
Вот, к примеру, простейший урок:
Не гоняясь за солнцем, спокойно
Зреют дыни с арбузами в срок.

Человек ради теплого места
И родне своей спуску не даст,
Рвет и мечет, доходит до зверства,
А коль надо, и душу продаст.

Сколько вертится он, сколько рвется,
Но ему до сих пор невдомек:
Почему, не гоняясь за солнцем,
Зреют дыни с арбузами в срок?

Бурзянская сосна

Бурзянская сосна от нас уходит,
Остались только корни под землей.
Бурзянская сосна от нас уходит,
Смолою истекая, как слезой.

Но сколько слез ни проливай во благо,
Не избежать ей сумрачных цехов,
Где плоть ее под натиском валов
Преобразится в белую бумагу.

Вернется к нам бурзянская сосна
Бумагой гладкой, чистой, белоснежной,
Где будет виза властного невежды:
«Рубить, рубить бурзянские леса».

Перевод с башкирского Юрия АНДРИАНОВА.

ТУРГАЙ ВАЛЕРИ

* * *

О Боже!
Древний мой народ
Твое провозглашает имя
на языке своем давно.
А между тем,
возможно, скоро
ты уловить не сможешь больше
на том наречии призыв.

Народ мой —
что весенний снег,
который тает с каждым днем.
Чем не бездомный пес — Родное Слово:
всяк может камнем запустить.
О Боже правый,
дай ответ:
чем провинился мой народ?
Кого обидел он?
Чьи оборвал надежды?
Кого он грабил или угнетал?
Молчишь?!
Но почему над ним смеются?
Зачем порывам светлым
подрубают корни?
И почему же норовят
Народа Слово закопать?
И... заживо притом?..

О Боже!
Сохрани же
Мой народ!

Ночь-мелодия

небо серебряным гуслям под стать
Бог тронул струны

светит Луна

ей приятна мелодия эта

пара слезинок
блестит у Луны.

Перевод с чувашского Аристарха ДМИТРИЕВА.

РАЗИЛЬ ВАЛЕЕВ

Поезд

Покидая Москву, я вслепую по ней не брожу —
на Татарское кладбище прямо с утра прихожу,
а потом — на вокзал (где людей — словно газа в «нарзане»).
Жду состав до Казани.

Я смотрю на колеса, которые знают давно,
кто когда-то под шпалы в дорожное лег полотно.
Хриплый крик испустив, на восток отправляются скорые.
(Поезда — это многостраничные книги истории...)
Я иду на перрон. Пусть прожжет меня окон глазами
мой состав до Казани.

К башне Сююмбике, где звенят муэдзинов азаны,
мои мысли несутся быстрей,
чем состав до Казани!

Ничего не боюсь. Чем нас можно еще устрашить?
Мы прошли через столько смертей, что осталось — лишь жить.
Только б вместо зеленых вагонов родных «Татарстана»
не прислали к перрону другого — чужого — состава,
что сожмет мое сердце сильней, чем затянутый пояс...
О, мой поезд! Мой поезд!..

Вот идет он к перрону. Теперь не сойти бы с ума!
За спиною — столица сама. Выше — космоса тьма.
Впереди — зебры пестрых шлагбаумов, долы с лесами...
Наконец-то мой поезд пришел!
Мой состав — до Казани.

Любовь

Смотри: вода — не обладает цветом.
Бесцветен воздух и зимой, и летом.
Но как синеют высью небеса!
Как плещет в душу моря бирюза!..

Так и в твоих глазах, что раньше слепо
казались мне бесцветны, как слеза,
теперь сияет синевою небо
и полыхает моря бирюза!..

Перевод с татарского Николая ПЕРЕЯСЛОВА.

МУСТАЙ КАРИМ

* * *

И кровоточит и днем, и в ночи
Сердце, любя и скорбя...
Время, рану мою залечи!
Надежда вся — на тебя...
Хотя не надо: как ни крути,
Останутся раны и швы.
С открытой раной остаток пути
Пройду сквозь чащи и рвы.
Пуля свалить меня не смогла,
Штык одолеть не смог.
...Только низость из-за угла
Сбить меня может с ног.

* * *

Долгая жизнь и короткая старость...
Думалось, этого хватит вполне.
Ведать не ведаю, сколько осталось —
Дольше, чем нужно, не надобно мне.
Мера важна. И бессмыслен избыток,
Коль через край наливаешь вино:
В землю уйдет он, желанный напиток,
В землю уйдет, пропадет все равно...
Жизнь через край... Нет, дожить до мгновенья
Я не хочу, и на этом стою,
Чтоб от своей же шарахаться тени,
Чтобы о тень спотыкаться свою...

Перевод с башкирского Елены НИКОЛАЕВСКОЙ.

ВЯЧЕСЛАВ АР-СЕРГИ

* * *

Одета бедно и опрятно
Она входила в сны мои —
В платочке белом и нарядном
Все пела мне вполголоса песни свои.

Родник удмуртской песни льется,
Найдя себя средь камских вод
И наскоро душа в грусть окунется,
И вынырнет, лишь паводок уйдет.

Ее шаги — на тысячах дорог,
Хоть дальше Казани нигде не была,
Земная ось — ее порог,
Здесь она песни родила.

Все эти песни об одном —
о грусти уходящих лет,
И мы обнявшись пели с ней вдвоем,
Но нынче этих песен нет.

А на погосте, там — удмуртские березы
Чуть слышно «ля минор» дают,
И ноты, ноты будто грезы
О песнях, что на праздниках поют.

АЛЕНА КАРИМОВА

* * *

Все начинается у реки —
или, точней, у рек.
У рубикона любви, тоски —
берег, вернее, брег —
так и стоишь, невесом и пуст,
так и глядишь туда,
где со звездою однажды — пусть! —
заговорит звезда...

А ведь бывало, в воде реки,
тени наискосок,
тыкались в ноги тебе мальки,
воду мутил песок.
Ивы стояли, как в букваре,
звались: ветла, ольха...
И о тоске ты по той поре
мало чего слыхал...

После встречали — у самых ног —
Волга, Илеть, Ока...
Думалось: «Боже, как мир глубок,
в сущности, он — река».

После бурлили, влекли в порог
Лена, Катунь, Юшут...
«Боже, тоски-то еще и впрок
хватит, а я дышу!»

Вдруг, от себя самого устав,
видишь: Нева, Нева...

Сфинксов поутру врасплох застав,
переводить слова.
Вот и мерцанье другой строки,
может, главы другой...
Все начинается у реки —
что же ты, дорогой?

ЛИЛИЯ ГАЗИЗОВА

* * *

Писать о любви безоглядной
В тридцать пять
Почему-то смешно.
Заботы о ближних и хлебе насущном
Безоглядность съедают.
И оглядываешься, оглядываешься...
Но так хочется, черт возьми,
Написать о любви безоглядной
В тридцать пять
Или даже ее испытать!

* * *

Еду в Буа.
Не в предместье Парижа
И не в обитель печали русской.
В Буа, татарскую провинцию,
Родину отца моего.
Там разыщу мое детство...

АЛЕВТИНА МОКЕЕВА

Я — твоя дочь

Я — твоя дочь! Твои помню родные края:
Здесь небеса мне лазоревым светом сияли,
Здесь перелески в дорогу меня провожали.
Дождь — мои слезы, и солнце — улыбка моя.
Камень любой придорожный меня узнает,
Вспомнится школа и милая старая парта.
Просится сердце к проталинам синего марта...
К белым черемухам снова тропинка влечет.
Силу дают мне — в разлуке — родные поля,
Дом материнский и мирные запахи хлеба.
Я — и дожди, и улыбка лазурного неба,
Дочь доброты твоей, Мари, родная земля.

Нет больше матери моей...

Сорвала я белые ромашки
И пришла сегодня на могилу.
И ромашек — целую охапку
Принесла и тихо положила.
Матери моей уж больше нету.
Кто на свете нам бывает ближе?
Голубком замок прижался к двери,
Сиротинкой... А ее уж нету.

На гору взойду — ее не вижу.
И в лугах иду — ее не встречу.
Нет ее... Лишь крест да рядом ива.
А вокруг и поле погрустнело.
Смотрит дом в тумане сиротливо.
У ворот — скамья осиротела.
Я и верю горю — и не верю.
Как мне жить, одной идти
по свету?

Перевод с марийского Нины КАН.

Горит в ночи буддийская лампада

БАИР ДУГАРОВ

Читая «Дхаммападу»

Горит в ночи буддийская лампада.
И путнику сегодня не заснуть.
И говорит сквозь время «Дхаммапада»,
что есть у вечности срединный Путь.

Он есть, тот самый Путь. И спотыкаясь
о будничные камни бытия,
осознаешь таинственную радость,
что Путь благословляет и тебя.

Вновь в суету весь мир ввергает утро.
Но ты обрел свой остров в тишине,
и тайный смысл тысячелетней сутры
тебе откроется окном в окне.

В травинке каждой чую вечный посох,
в дождинке на ладони — третий глаз.
Не гром меня ведет, а тихий шорох
страниц, оживших вновь в полночный час.

Горит в ночи буддийская лампада,
ее ветрам столетий не задуть.
Горит лампада, светит «Дхаммапада»,
и продолжается срединный Путь.

* * *

Тень монаха-бадарчина
скользит над горизонтом.
Горы вздымаются под синим небосводом.
На тропинке круглый след,
может быть, от конского копыта,
серебрится, дождевой водой залитый.
Или это странник-бадарчин,
ушедший во мглу,
на тропе свою оставил пиалу.

* * *

О лани
моих сокровенных печалей!
Вам хорошо ли со мною
на солнечных склонах
гор моей Азии?

КУУЛАР ЧЕРЛИГ-ООЛ

Мечта о долгой жизни

За время жизни — это точно знаю —
Я восемь сотен речек одолел,
Но камешками, что на дне блистают,
Налюбоваться так и не успел.

Я много лет еще прожить мечтаю
И переплыть десяток разных рек.
Извивы их арканами мелькают
Затем, чтоб сердце захлестнуть навек.

На камешках не знаю я гаданья,
Хоть в разных речках набирал их впрок.
Но красоты простое созерцанье
Продлит — я верю —
краткой жизни срок.

На пути домой

Открылась гор высоких панорама —
Там мой аал и материнский дом.

Там ждет, там ждет меня, волнуясь, мама.
Она вовсю хлопочет за столом.

Спешу Саянам в пояс поклониться —
Тень самолета скачет по горам.
В долинах пыль до неба золотится, —
Не табуны ль мои резвятся там?

Зеленый луг покрылся чем-то белым, —
То не отары ль бродят между скал?
Когда бы силу дивную имел я,
Обнял бы землю и родной аал!

* * *

Быт городской
Порою нестерпим —
Я вспоминаю
Прошлую свободу.
Где овцы
Тихо бродят по степи,
Как звезды
По ночному небосводу...

Перевод с тувинского Николая КАРПОВА
и Татьяны ВЕСЕЛОВОЙ.

БОРИС УКАЧИН

Луна-маралуха

Я вышел из аила. Тишина
Лежит в горах, и в этой тишине,
Как маралуха красная, луна.
Пасется в синей, нежной вышине.

И, как детеныш, рядом с ней звезда
Мерцает слабо, робость затая,
Не веря человеку как всегда:
Вдруг выстрелю из черного ружья?

И маралуха-мать свое дитя
Уводит за вершины, далеко,
И на снега, что залегли, блестя,
Струится лунный свет, как молоко...

Пропавшая звезда

Чуть вечер — ищу и никак не найду
Одну голубую на небе звезду.

Других не крупнее была, не ясней —
Но сердцем сдружился я именно с ней.
— С тобой, — повторял, — хорошо нам вдвоем,
Нет фальши ни капли в сиянье твоем!

Полвека глядел на нее я с земли,
Полвека мы наши беседы вели,
И ближе друзей мне бывала она,
И я говорил ей: — Во все времена
Свети над моим одиноким жильем —
Нет фальши ни капли в сиянье твоем!

На небе по-прежнему звезд без числа,
А где же моя? Лишь недавно была!
В знакомых созвездьях я взглядом кружу.
Но эту, желанную, — не нахожу.
Какую ни взять — все не та, все не та!
Мерцает и дразнит меня высота.
Далекая звездочка, сгусток огня,
Да как же ты сгинула — раньше меня?

«Все звезды на месте!» — твердит астроном,
Для сверки приносит пудовый альбом,
А я не пойму: как не видит он ту,
На небе зияющую, пустоту?

Быть может, я все это выдумал? Нет!
Откуда ж во мне тот зароненный свет?
Откуда сегодня тоска и печаль?
Зачем я смотрю в опустевшую даль?
А, может быть, малый мой свет голубой,
Куда-то зовешь ты меня за собой?
А, может быть, попросту все, что могла —
Свой свет без остатка — мне в сердце влила?

Перевод с алтайского Ильи ФОНЯКОВА.

Воцарилась полярная ночь

ИНГА АРТЕЕВА

Колыбельная Нарьян-Мару

Занавесками вьюга задернула
синее небо,
И закаты мне больше не дарят
вполнеба пожар.
Моей песни лишь тот не поймет,
кто на Севере не был,

Спи, мой город, зимой
от забот, Нарьян-Мар!

Спи, мой город, ветрами и стужами
накрепко скован,
Спи, любимый невольник, в объятьях
Зимы — мерзлоты.
Длинной ночью полярною ты
до весны околдован,
В черном небе хрусталятся
звезд ледяные цветы.
Разукрасились белым и синим
родные просторы
И завыла пурга, как прощенная
блудная дочь,
Да плененная льдом молодым,
онемела Печора —
Воцарилась от края до края
полярная ночь.

Сватовство

*(по мотивам старинной
эпической песни)*

День за днем ходит Яхако
К брату старшему в чум,
Мол, отдай мне сестрицу-то,
Мол, возьмись-ка за ум!
Уж дорожку он вытоптал
В непролазном снегу,
Через силу твержу ему:
«Не хочу! Не могу!»
Старший брат говорит мне тут
Вот такие слова:
«Надоело отказывать,
Уж болит голова!
А поскольку мне жалко ведь
Головешку свою,
Тебя этому Яхако
Я, сестра, отдаю.
Тут заплакала горько я,
Знала ведь от людей,
Что у старого Яхако
Семь больших сыновей.



ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА,
ИГОРЬ ЖЕЛТОВ

Противостояние брони и снаряда

Известная российская писательница Лариса Николаевна Васильева, дочь одного из создателей легендарного танка Т-34 Николая Кучеренко и основательница «Музея истории танка Т-34» в подмосковном городе Лобня, в соавторстве с ведущим специалистом по истории отечественного танкостроения Игорем Желтовым к 70-летию грандиозного танкового сражения под Прохоровкой на Курской дуге написали и издали в Белгороде, в издательстве «Константа», двухтомник «В прицеле Прохоровка». Книга эта вызывает самый пристальный интерес историков и всех читателей, кто неравнодушен к теме нашей Победы на «Огненной дуге». Большое достоинство этого труда — в подробной документальности описываемых событий, большом фактическом материале по истории нашей военной техники, собранном авторами. К 70-летию славной победы советского народа в великом сражении под Курском и Белгородом, определившем во многом исход всей Второй мировой войны, мы публикуем главу из этой книги, посвященную описанию советского и немецкого танкового потенциала.

Готовясь к операции «Цитадель», немецкое верховное командование во главе с Гитлером основную ставку делало на новейшие образцы бронетанкового вооружения.

После вероломного нападения на СССР вооруженные силы Германии уже в июне 1941 года были ошеломлены появлением на полях сражений новых советских танков Т-34. «Эти танки, — отмечал член комиссии, изучавшей «тридцатьчетверку» под Москвой в ноябре 1941 года, немецкий инженер фирмы МАЫ Вернер Освальд, — явно превосходили немецкие танки своей прекрасно удавшейся формой, толстой броней, отличной пушкой и своим надежным техническим исполнением. Русские не только сконструировали и разработали этот Т-34 в условиях образцовой секретности, но и сумели изготовить машины в довольно большом количестве! И то же самое касается их великолепной противотанковой 76,2-мм пушки, по сравнению с которой наша противотанковая 37-мм пушка была просто детской игрушкой. Полностью провалилась тогда германская агентурная сеть, и просто невиданным образом германское руководство недооценило русских!»

Перед немецкой промышленностью была поставлена задача: в кратчайшие сроки создать танки, превосходящие советские, в первую очередь, по вооружению и броневой защите. К весне 1942 года фирмами «Порше» и «Хеншель» были изготовлены опытные образцы нового тяжелого танка, получившего наименование «тигр» (T-VI). По результатам испытаний, проведенных в мае 1942 года, фирма «Хеншель» получила заказ на серийное изготовление

танка. В конце августа 1942 года 4 танка прибыли на станцию Мга под Ленинградом, где эпизодически участвовали в боевых действиях. В середине января 1943 года при прорыве блокады Ленинграда в районе Рабочего поселка № 5 войсками Волховского фронта был захвачен немецкий тяжелый танк «тигр» (T-VI). Танк, имевший заводской номер 250 004, и находившаяся в нем техническая документация, были тщательно изучены.

Для борьбы с новейшим немецким танком был предпринят целый комплекс мер. В целях усиления противотанковой обороны на заседании ГКО 15 апреля 1943 года было принято постановление № 3187сс. Согласно постановлению, в апреле 1943 года Народному комиссариату вооружения поручалось изготовить 250 штук 45-мм противотанковых пушек «М-42» вместо 45-мм противотанковых пушек образца 1937 года. В мае число выпускаемых модернизированных противотанковых пушек должно было составить 300 единиц, в июне — 400, июле — 600.

Одновременно с развертыванием производства модернизированной «сорокопятки» постановлением ГКО предусматривалась организация производства на заводе № 92 противотанковых пушек ЗИС-2 и танковых пушек ЗИС-4 калибра 57 мм. Эти пушки конструкции В. Г. Грабина были разработаны еще до начала войны, но серийно не выпускались ввиду отсутствия в первом периоде войны у противника тяжелых танков, для борьбы с которыми они и создавались. В апреле завод должен был изготовить 50 пушек данного калибра, в мае — 150, в июне — 250, июле — 350.

Согласно данному постановлению, Народный комиссариат боеприпасов был обязан поставить на производство 57- и 76-мм бронебойные подкалиберные снаряды. Для 57-мм пушек ЗИС-2 и ЗИС-4 в мае требовалось выпустить 3000 штук, в июне — 10 000, в июле — 10 000. Для 76-мм дивизионной пушки ЗИС-3 программа выпуска была значительно больше: в мае — 15 000, в июне — 30 000 и июле — 35 000 артиллерийских выстрелов.

Проверку стойкости брони тяжелого танка «тигр» и определение дистанции действительного огня по нему из различных артиллерийских систем было решено провести на Научно-испытательном бронетанковом (НИБТ) полигоне. На полигоне предстояло провести стрельбу из 88-мм пушки танка T-VI по броневым корпусам танков Т-34 и КВ-1.

С 25 по 30 апреля 1943 года на НИБТ полигоне были проведены испытания обстрелом захваченного под Ленинградом «тигра». В испытаниях участвовали практически все средства, которые можно было использовать для борьбы с новым танком противника. В заключении по результатам испытаний было отмечено: «Средствами борьбы с немецким тяжелым танком T-VI являются:

По лобовой части — зенитная 85-мм пушка на дистанциях до 1000 метров; по бортам, корме, башне — зенитная 85-мм пушка на дистанциях до 1500 метров, противотанковая и танковая пушка ЗИС-2, английские 57-мм противотанковая и танковая пушки на дистанциях до 1000 метров, американская 75-мм танковая пушка М-3 на дистанциях до 650 метров, противотанковая 45-мм пушка образца 1942 года на дистанциях до 350 метров; по крыше — противотанковая граната направленного действия КБ-30, авиационная 37-мм пушка; по ходовой части — бронебойные и осколочно-фугасные снаряды всех пушек калибра 57 мм и выше на дистанциях 1000—1500 метров, противогусеничная мина ТМД-Б».

Данные результаты 4 мая 1943 года член Военного совета бронетанковых и механизированных войск, генерал-лейтенант танковых войск Красной Армии Бирюков и генерал-лейтенант танковых войск Коробков направили Народному Комиссару Обороны, Маршалу Советского Союза И. В. Сталину. Кроме того, в докладе были изложены и результаты стрельбы из немецкой 88-мм пушки по броневым корпусам и башням танков Т-34 и КВ-1: «Установленная на танке T-VI 88-мм танковая пушка пробивает бронебойным снарядом лобовую броню наших танков с дистанции 1500 метров».

Для обеспечения танковых и механизированных соединений средствами борьбы с тяжелыми танками T-VI Бирюков и Коробков обратились к Верховному Главнокомандующему с просьбой: «Обязать Наркомтанкопром (т. Зальцмана) устанавливать на танках Т-34 пушки 57-мм калибра (ЗИС-4) из расчета 2—3 танка с пушкой 57-мм на каждые десять танков. Одновременно обязать Наркомат боеприпасов и ГАУ КА в кратчайший срок наладить производство 57-мм снарядов осколочно-фугасного действия... Изготовить до 1-го июня с/г на основе СУ-152 образец самоходной установки, вооруженной 122-мм пушкой образца 1931 г<ода>, и в дальнейшем выпускать такие самоходные установки наравне с СУ-152. Дать задание тов. Грабину срочно изготовить для танка «ИС» образец мощной танковой пушки калибра 100 мм, способной пробивать броню 120—130 мм с дистанции 2000 метров... Установить 85-мм пушку на танке «ИС».

На следующий день, 5 мая 1943 года, было принято Постановление ГКО № 3289сс «Об усилении артиллерийского вооружения танков и самоходных установок». На основании данного постановления на заводах НКТП были развернуты работы по установке 85-мм пушек в тяжелые танки ИС и КВ-1с, а также созданию САУ СУ-85 на базе САУ СУ-122. В связи с тем, что в кратчайшие сроки выполнить объем работ, предусмотренных данным постановлением, практически было очень сложно, в качестве временной меры было решено в состав танкового и механизированного корпуса ввести отдельный истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион. 18 мая 1943 года было принято Постановление ГКО № 3392сс «О формировании тридцати отдельных истребительных противотанковых артиллерийских дивизионов для танковых и механизированных корпусов». Постановлением предусматривалось изготовить к 5 июня на заводах НКТП 120 броневых щитов к 85-мм зенитным пушкам, предназначенным для формирующихся истребительных противотанковых артиллерийских дивизионов. До принятия на вооружение САУ СУ-85 эти зенитные пушки являлись эффективным средством борьбы с тяжелыми танками противника, особенно во время битвы под Курском.

Всего к началу проведения операции «Цитадель» немецкому командованию для групп армий «Центр» и «Юг» удалось сосредоточить 147 тяжелых танков «тигр». Группа армий «Юг» к началу операции дополнительно была усилена еще двумя сотнями новейших тяжелых танков «пантера». Этот танк, так же как и танк «тигр», являлся ответом на советский танк Т-34. Но в отличие от «тигра», боевая масса которого достигала 56 тонн, масса «пантеры» не превышала 45 тонн. При проектировании «пантеры» максимально использовались геометрические формы корпуса и башни танка Т-34. Первые два опытных образца танка были изготовлены осенью 1942 года. Одновременно

с испытаниями опытных образцов четыре машиностроительные фирмы (A. N. Daimler-Benz, MNH, Henschel) подготавливали оборудование для серийного выпуска нового тяжелого танка на своих заводах. В общей сложности они должны были к 1 мая 1943 года произвести 262 боевые машины. Однако из-за высокой сложности технологического процесса и необходимости устранения в ходе производства значительного числа конструктивных недостатков к указанному сроку все фирмы смогли изготовить только 174 танка «пантера».

3 мая 1943 года, в Мюнхене, на совещании, посвященном предстоящей операции «Цитадель», генерал-инспектор бронетанковых войск Г. Гудериан указал, что «...у танка «пантера», на который начальник генерального штаба сухопутных войск возлагал большие надежды, обнаружено много недостатков, свойственных каждой новой конструкции, и что трудно надеяться на их устранение до начала наступления». Озабоченность «отца» танковых войск Германии по поводу «детских болезней» новой машины была «услышана» рейхсминистром вооружения и боеприпасов А. Шпеером. Он на совещании заверил Гитлера в том, что к началу летней кампании «болезни роста» будут устранены и новые танки в требуемом количестве будут готовы. Однако спланированная Шпеером на май 1943 года программа по выпуску 250 танков «пантера» так и не была выполнена. В мае четырем фирмам удалось собрать 194 танка. В июне производство сократилось до 132 машин. В вышедшем в Германии, в 1957 году, справочнике «Танки. 1943—1957» Ф. Зенгер-унд-Эттерлин так оценил «пантеру»: «Танк V обладал удачной формой броневой защиты, удовлетворительной подвижностью и высокой огневой мощью благодаря длинноствольной пушке с большой начальной скоростью снаряда». Действительно, 75-мм пушка «пантеры» обеспечивала бронебойному снаряду массой 4,68 кг начальную скорость в 1000 м/с. Такие высокие баллистические параметры позволяли надежно поражать лобовые детали корпуса и башни танка Т-34, начиная с дистанции 800 м. Пробить 76-мм бронебойным снарядом лобовую броню «пантеры» нашей «тридцатьчетверке» не удавалось даже с дистанции 200 м. Однако вследствие резкой дифференциации толщин броневых плит (лобовые листы корпуса имели толщину 85 мм, а бортовые — 45 мм) советские танкисты, атакуя «пантеры» с флангов, уверенно поражали танки врага начиная с дистанции 1300 м. Учитывая такую особенность новой тяжелой машины, Гудериан рекомендовал: «При атаке «пантер» особое внимание уделять прикрытию их флангов. Эту задачу следует решать привлечением других родов войск, участвующих в бою... «Пантеры» должны стараться действовать так, чтобы под огонь противника попадала только их лобовая часть, неуязвимая для снарядов».

Тяжелым танкам «тигр» и «пантера» в операции «Цитадель» предстояло сыграть роль стальных таранов для пробивания брешей в советской обороне, обеспечивая тем самым быстрый выход мобильным соединениям на оперативный простор.

Для развития тактического успеха в большей степени подходили средние танки. Для стремительного окружения советских войск в районе Курского выступа немцы привлекли 919 танков T-III и 949 танков T-IV различных модификаций. Основным оружием большинства танков T-III была 50-мм пушка (KwK38 L/42 или KwK39 L/60), и только 172 танка были оснащены 75-мм короткоствольными орудиями (KwK37 L/24). Орудиями данного типа были оснащены и 54 танка T-IV. Все остальные

танки T-IV в качестве основного оружия имели 75-мм длинноствольную танковую пушку (KwK40 L/48). Эта пушка была самой мощной из устанавливавшихся на немецких танках среднего класса. На дистанциях 700 и менее метров бронебойный снаряд, выпущенный из этой пушки, пробивал лобовую броню танка Т-34. Поскольку броневая защита германских танков T-III и T-IV уступала броневой защите советского танка, то 76-мм длинноствольная пушка (Ф-34) обеспечивала пробивание лобовых частей обоих танков на дистанции свыше километра.

Средний немецкий танк T-IVG имел следующие характеристики: боевая масса — 23,5 т; экипаж — 5 чел.; основное оружие — 75-мм пушка; мощность двигателя — 300 л. с.; максимальная скорость — 40 км/ч. Пытаясь повысить уровень защиты своих танков, немцы в 1942 году стали устанавливать на наиболее поражаемые детали корпуса дополнительные 30-мм броневые плиты. Начиная с апреля 1943 года, на танках T-IV лобовые детали корпуса стали изготовляться из цельных броневых листов толщиной 80 мм. Примененные технические решения привели к повышению боевой массы танков, снижению их проходимости и ненамного улучшили их защищенность — «тридцатьчетверка» продолжала уверенно бороться с этими танками даже на дистанции свыше 900 метров.

При подготовке к операции «Цитадель» для защиты боковых проекций средних танков T-III, T-IV и самоходных артиллерийских установок на их базе от огня 14,5-мм советских противотанковых ружей с апреля 1943 года на них стали устанавливать дополнительные экраны вдоль корпуса и по периметру башни. «Экраны, — поясняет Гудериан, — представляли собой броневые щиты, которые устанавливались на некотором расстоянии от основной брони корпуса танков T-III, T-IV и самоходных орудий для защиты от русских противотанковых ружей и сведения на нет их эффективности. Сравнительно тонкие вертикальные броневые листы бортов корпусов названных типов танков не выдерживали огня русских противотанковых ружей. Это новшество оправдало себя».

В отличие от немецких средних танков, на советских серийных танках данного класса — танках Т-34 — при подготовке к битве под Курском дополнительные мероприятия по усилению броневой защиты не проводились. Опыт боевого применения и анализ поражаемости танков Т-34 показали, что до весны 1943 года основным средством борьбы с нашими танками являлись танковые и противотанковые пушки противника калибра не более 50 мм. Из всех подбитых танков Т-34 около 70 % были поражены снарядами указанного калибра. Причем более половины поражений приходилось на бортовые части корпуса и башни танка. Около 17 % танков Т-34 были выведены из строя 75-мм бронебойными снарядами и около 11 % танков — 88-мм бронебойными снарядами. Количество зафиксированных поражений кумулятивными снарядами не превышало 2 %.

Проведенные в ноябре 1942 года испытания показали, что «броневая защита танка Т-34 от огня немецких 50-мм бронебойных снарядов на дистанции свыше 500 м вполне удовлетворительна». Если учесть, что экипаж танка Т-34 из своей пушки мог эффективно поражать противотанковые расчеты противника с дистанции 1500 м, а танки — с 900 м, то к концу 1942 года уровень защищенности и огневая мощь по-прежнему обеспечивали выполнение возлагавшихся на танк Т-34 задач.

Принимая во внимание эти объективные данные, руководство Наркомата обороны и Наркомата танковой промышленности не предприни-

мало радикальных мер к усилению броневой защиты танка Т-34, так как это приводило к повышению боевой массы машины и, как следствие, к снижению ее подвижности. Повышение защищенности среднего танка осуществлялось путем создания модернизированных вариантов танка Т-34. Работы в этом направлении велись в конструкторском бюро завода № 183 с осени 1940 года.

Результаты полигонных и войсковых испытаний двух опытных образцов танков Т-34 и трех машин установочной серии уже к ноябрю 1940 года выявили большое число недостатков, присущих любой новой конструкции. Опыт войсковых учений, данные разведки о начале работ в Германии над тяжелыми танками требовали внесения дополнительных улучшений конструкции осваиваемого промышленностью и войсками нового танка. Решение возникающих проблем осуществлялось путем малой и большой модернизации танка Т-34. Первый путь позволял, не останавливая выпуска так необходимых Красной Армии танков среднего типа, устранять конструкционные и производственные недостатки, кардинально не меняя облика танка Т-34. Выпуск танков данной модификации предусматривалось осуществлять на харьковском заводе № 183 до осени 1941 года, а на Сталинградском тракторном заводе — до 1 января 1941 года. Большая модернизация танка Т-34 включала увеличение толщины брони башни и переднего лобового листа корпуса с 45 до 60 мм; расширение опоры башни с 1470 до 1600 мм для улучшения условий деятельности командира и заряжающего; установку командирской башенки с круговым обзором для обеспечения лучшей обзорности и замену пружинной системы подрессоривания на более прогрессивную — торсионную. В четвертом квартале 1941 года согласно постановлению правительства от 5 мая 1941 года завод № 183 был обязан перейти на выпуск танков Т-34М вместо танков Т-34 и до конца года изготовить 500 танков данной модификации. Однако вероломное нападение нацистской Германии и ее сателлитов на СССР помешало завершить создание данной модификации танка.

Крайне тяжелая обстановка, сложившаяся летом и осенью 1941 года, потребовала резкого увеличения выпуска танков, включая Т-34. Усилия конструкторского бюро КБ-520 головного завода по танку Т-34 — завода № 183 — были направлены не на дальнейшую модернизацию танка, а на ликвидацию в кратчайшие сроки еще остававшихся у серийно выпускавшихся машин недостатков. Кроме того, часть и без того немногочисленного коллектива КБ-520 с началом войны была задействована для подготовки чертежно-конструкторской документации и оказания помощи при организации производства танка Т-34 на заводе № 112 в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Одновременно с этим до момента начала эвакуации в конструкцию и технологический процесс изготовления танка Т-34 заводом № 183 был внесен ряд улучшений. Прежде всего, была повышена бронестойкость бортовых вертикальных листов корпуса, картеров бортовых передач и передней части днища танка. Защита и обзорность механика-водителя были улучшены за счет установки крышки люка новой конструкции. Улучшение защищенности кормовой части корпуса было достигнуто за счет спрямления нижнего броневого листа. Диски для опорных катков стали штамповать из 10-мм вместо 8-мм стали. Ряд улучшений был внедрен в конструкцию главного фрикциона, коробки передач, бортовых редукторов. Был увеличен на 160 литров объем внутренних топливных баков. Большое число изме-

нений и мероприятий конструкционного и технологического характера было проведено также с целью снижения трудоемкости изготовления машины, сведения к минимуму применения дефицитных материалов и унификации деталей. Выбранное направление деятельности было положено в основу работы КБ-520 и на новом месте — в Нижнем Тагиле, куда из Харькова был эвакуирован завод № 183. В ноябре 1941 года в предельно сжатые сроки под руководством главного конструктора завода № 183 А. А. Морозова была спроектирована более просторная для экипажа и технологичная для производства башня с двумя люками вместо одного. При организации серийного производства на новом месте в целях снижения трудоемкости производства и перевода изготовления большинства деталей со штамповки на литье, в конструкцию танка Т-34 было внесено значительное число изменений. К маю 1942 года на 21 % была сокращена по количеству и по типоразмерам номенклатура нормалей (крепежных изделий). На ряде деталей была максимально возможно уменьшена поверхность мест, подлежащих механической обработке, с одновременным пересмотром степени чистоты обработки поверхностей. Было сокращено число деталей, требовавших термической обработки, различных видов антикоррозийных и декоративных покрытий или специальной обработки поверхностей.

И, наконец, ряд деталей, для которых требовались дефицитные материалы, был переведен на изготовление из материалов-заменителей. К началу массового выпуска танков Т-34 заводом № 183 в Нижнем Тагиле в чертежи деталей боевой машины были внесены изменения по 770 наименованиям. Без замены другими деталями на танке было отменено 1265 наименований (или 5641 деталь), изготовляемых заводом, и 206 наименований покупных изделий. По бронедеталям корпуса танка трудоемкость по механической обработке была снижена с 260 до 80 нормочасов.

Эта значительная по объему работа была проведена в короткие сроки большим коллективом конструкторов КБ-520, начальником которого был Н. А. Кучеренко, а его заместителем — А. В. Колесников. Руководителями конструкторских групп в то время были: корпусной — Б. А. Черняк, башенной — А. А. Малоштанов, силовой установки — А. Я. Митник, трансмиссии — Я. И. Баран, ходовой части — В. Г. Матюхин, электрооборудования — В. Я. Курасов, боеукладки и укладки ЗИП — А. С. Бондаренко.

В результате танк Т-34 без потерь его боевых и технических качеств получился по конструкции более технологичным, а в силу этого стал проще и дешевле в изготовлении.

Весной 1942 года, когда основная работа по организации производства танка Т-34 переместилась из КБ непосредственно в цеха, в конструкторском бюро КБ-520 по инициативе главного конструктора завода № 183 А. А. Морозова была проведена работа по модернизации машины. При проектировании были использованы материалы по созданию танка Т-34М, привезенные из Харькова, но с учетом особенностей новой производственной базы. 5 июня А. А. Морозов на заседании Государственного Комитета Обороны представил проект и деревянный макет танка Т-34М. «Новые танки, — сказал Сталин, — делать пока не будем. Не будем отвлекать конструкторов от задачи улучшать и модернизировать выпускаемые танки. Конечно, конструкторам хочется делать новые машины, каждый конструктор ищет славы. Но надо обождать. К новым машинам вернемся месяца через полтора-два,

когда конструкторы закончат работу по улучшению существующих танков». Последняя часть фразы Сталина касалась улучшения обзорности из танка Т-34 и разработки для этого танка пятиступенчатой коробки передач. Справедливости ради отметим, что если конструкция новой коробки передач была в скором времени разработана и запущена в серийное производство на ЧКЗ и УЗТМ, то разработка командирской башенки, удовлетворявшей предъявляемым требованиям, затянулась на год. Только во второй половине июля 1943 года на заводе № 183 стали выпускать танки Т-34 с командирской башенкой. Что касается работы по модернизированному танку, то в октябре 1942 года КБ-520 окончательно завершило проектирование машины, получившей заводское обозначение Т-43. К концу года был изготовлен опытный образец. За счет более плотной компоновки узлов и агрегатов и применения торсионной подвески конструкторам удалось при незначительном повышении боевой массы по отношению к танку Т-34 существенно повысить его защищенность. Толщина лобовых броневых листов вместо 45 мм стала составлять 75 мм. Существенным недостатком этого танка был малый диаметр опоры башни: он остался таким же, как и у серийного танка Т-34. По требованию Главного бронетанкового управления Красной Армии в конструкцию танка Т-43 был внесен ряд изменений, и к концу мая 1943 года были изготовлены еще два опытных образца.

Второй вариант среднего танка Т-43: боевая масса — 34,1 т; экипаж — 4 чел.; основное оружие — 76,2-мм пушка; мощность дизеля — 500 л. с.; максимальная скорость — 48 км/ч. Диаметр опоры башни был увеличен до 1600 мм, толщина лобовой части литой башни стала составлять 90 мм. Увеличение размеров боевого отделения позволило разместить в башне еще одного члена экипажа — наводчика, освободив тем самым командира танка от возложенной на него в танке Т-34 дополнительной обязанности. В мае-июне 1943 года танки прошли заводские испытания, а в августе — полигонные. Удачная конструкция башни танка была использована при проведении работ по усилению вооружения танка Т-34, особенно по результатам боев под Курском. В сентябре-октябре 1943 года на заводе № 183 был изготовлен опытный образец танка Т-34 с 85-мм пушкой Д-5Т-85, установленной в башне, которая ранее была разработана для танка Т-43. По результатам полигонных испытаний будет принято решение о серийном производстве танков Т-34-85, начиная с января 1944 года.

Средний танк Т-34-85: боевая масса — 32 т; экипаж — 5 чел.; основное оружие — 85-мм пушка; мощность дизеля — 500 л. с.; максимальная скорость — 55 км/ч. Установленная в «тридцатьчетверке» 85-мм пушка позволяла поражать лобовую броню немецких тяжелых танков «пантера» и «тигр» на дистанции до 700 м. Но такую возможность наши танки Т-34 получат только в 1944 году, а летом 1943 года, как уже отмечалось раньше, для борьбы с тяжелыми машинами врага танкам Т-34 с 76-мм пушкой приходилось атаковать их с флангов или вести огонь по бортам из засад. Аналогичным способом летом 1943 года приходилось действовать и экипажам тяжелых танков КВ-1С, основным оружием которых являлась такая же 76-мм танковая пушка, что была установлена в Т-34.

Тяжелый танк КВ-1С (С — скоростной) являлся дальнейшим развитием танка КВ-1 и отличался от него уменьшенной толщиной бортовых листов и листов днища корпуса, литой башней измененной формы,

а также размещением членов экипажа в башне и установкой более совершенной трансмиссии конструкции Н. Ф. Шашмурина.

Характеристики тяжелого танка КВ-1С: боевая масса — 42,5 т; экипаж — 5 чел.; основное оружие — 76,2-мм пушка; мощность дизеля — 600 л. с.; максимальная скорость — 43 км/ч. Танк КВ-1С был разработан летом 1942 года на ЧКЗ конструкторским бюро СКБ-2 под руководством Н. Л. Духова. Общее руководство по созданию танка осуществлял Ж. Я. Котин. Уменьшение с 47,5 т до 42,5 т боевой массы танка с точки зрения броневой защиты было вынужденным шагом назад. Для снижения боевой массы танка на 5 т пришлось отказаться от дополнительных накладных 25-мм броневых листов и уменьшить с 75 мм до 60 мм толщину бортовых и нижних носового и кормового броневых листов корпуса. Максимальная скорость облегченного танка с более совершенной трансмиссией возросла с 35 до 43 км/ч. Танк КВ-1С был принят на вооружение РККА 20 августа 1942 года и серийно выпускался на ЧКЗ до сентября 1943 года. Всего на 1 июля 1943 года в действующей армии имелся 691 исправный танк КВ и 253 танка требовали проведения среднего или капитального ремонта. Что касается Воронежского фронта, то к началу битвы под Курском в его составе имелось 43 исправных танка КВ и еще 6 требовали ремонта. Вторая половина имевшихся в составе фронта тяжелых танков состояла из танков «Черчилль», полученных СССР от Великобритании. Все тяжелые танки организационно входили в состав тяжелых танковых полков прорыва. Каждый полк, согласно штату, имел 21 танк.

В составе танковых бригад, танковых и механизированных корпусов, тяжелые танки штатом не предусматривались. Большую часть танкового парка этих соединений составляли средние танки Т-34, которых в составе Воронежского фронта на 1 июля 1943 года имелось 1150 единиц. Причем только 14 танков требовали ремонта. От 20 до 40 процентов в бригадах и корпусах приходилось на легкие танки Т-70. В составе фронта на 1 июля имелся 361 исправный танк и 12 танков находились в ремонте.

Легкий танк Т-70 был разработан в КБ Горьковского автозавода под руководством главного конструктора Н. А. Астрова в конце 1941 года и в январе 1942 года был принят на вооружение РККА. Серийное производство танка продолжалось до конца 1943 года. Основным оружием танка являлась 45-мм танковая пушка. Бронебойно-подкалиберным снарядом можно было с дистанции 350 м поражать цели, защищенные броней толщиной до 50 мм. Толщина лобового листа, располагавшегося под углом 60 градусов к вертикали, составляла 35 мм. К середине 1943 года по уровню защищенности и огневой мощи данный танк перестал отвечать предъявляемым требованиям, в связи с чем постановлением ГКО от 28 августа 1943 года его производство с 1 октября 1943 года должно было быть прекращено. Горьковский же автозавод полностью переходил на выпуск самоходных установок СУ-76М, созданных на базе танка Т-70.

Завершая технический обзор советских и германских танковых сил, противостоящих друг другу к лету 1943 года, заметим, что за немецкими танками стояли мощные европейские корпорации, вставшие на службу Третьему рейху для захвата неохватного мира нетронутых богатств, всегда манивших всех завоевателей с Запада.

За советскими же танками стояло Отечество. То наше русское Отечество, что в страданиях и потерях черпало силы для грядущей Победы. Для возрождения из пепла, как и бывало всегда.

«Сябрына»: Беларусь — Россия

На крючке позолоченном

Беседа Виктора Кожемяко с Виктором Розовым, которая состоялась в 1998 году

Он признан как один из крупнейших драматургов XX века. Событием советской театральной жизни стала постановка уже самой первой пьесы Виктора Розова «Ее друзья» на сцене Центрального детского театра в 1949 году. Спектаклем «Вечно живые» по его пьесе открылся в 1957-м театр «Современник». А фильм «Летят журавли», снятый по его сценарию, был удостоен в 1958 году высшего приза Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» и теперь значится среди лучших фильмов мирового кинематографа.

Но Виктор Сергеевич был не только выдающимся русским советским писателем. Он был и настоящим гражданином своего Отечества, великим патриотом. Особенно ярко это проявилось в последние годы его жизни — самое трагическое время для нашей страны. Когда в конце 80-х годов прошлого века он, доброволец Великой Отечественной, понял, какая опасность вновь нависла над Советским Союзом, честный писатель и отважный солдат мужественно встал на его защиту. А потом начинается борьба за Россию — за справедливую власть в стране, за ее независимость, за самобытную и великую русскую культуру. Несмотря на преклонный возраст, Виктор Розов остается в первых рядах бойцов.

Его страстный публицистический голос, обращенный к соотечественникам, больше всего звучал в эти годы со страниц «Правды», которая стала для него самой главной газетой. Розов и «Правда» — большая тема. Ей и посвятил свою новую книгу Виктор Кожемяко, много общавшийся тогда с Виктором Сергеевичем и опубликовавший целый ряд бесед с ним.

Книга под авторским названием «А Розов сказал: «Холуяж!» недавно сдана в издательство «Алгоритм». В нынешнем году 21 августа исполнится 100 лет со дня рождения В. С. Розова, и мы надеемся, что к этой знаменательной дате она выйдет. А пока публикуем фрагменты из книги, чтобы читатели по достоинству оценили подвиг писателя-патриота, совершенный им в конце жизни. Сегодня Виктор Розов необходим нам так же, как тогда.

Эта наша беседа с Виктором Сергеевичем, наиболее пространная и многоплановая, состоялась в августе 1998 года, накануне его 85-летия. Близился к завершению и XX век, значительную часть которого он своей жизнью «захватил». Мы находились у порога нового, третьего тысячелетия. Все это требовало осмысления и подведения каких-то итогов, настраивало на философский лад.

Я к нему всегда шел с вопросами «самыми-самыми». О том, что в жизни острее всего тревожит и более всего заставляет думать. А теперь вот сошлись, совпали такой почтенный его юбилей и завершение века, свидетелем которого он стал.

Поражают люди, плюющие в свое прошлое

Виктор КОЖЕМЯКО: Действительно, Виктор Сергеевич, вас вполне можно назвать свидетелем века. Давайте с этого и начнем сегодня наш разговор. Какие воспоминания и мысли приходят «под занавес» XX столетия?

Виктор РОЗОВ: Да, этот век почти целиком я прожил. Изобиловал он разными разностями. Были и хорошие времена, и невыносимо тяжелые...

Дело еще в том, что человек о каком-либо времени судит по собственной судьбе. Моя судьба была очень суровой до 36 лет. Крайне суровой. Но... счастливой. Вот что поразительно! Скажем, сейчас я более обеспечен, чем тогда, гораздо более обеспечен, но я, как это ни странным может показаться, — более несчастен. Да что там, я просто несчастен по сравнению с теми временами, когда было мне и холодно, и голодно, и припев в доме был: «Мама, нет ли чего укусить? Дай какой-нибудь кусочек хлебца!»

Ну, когда маленький был, можно сказать, многое воспринималось бессознательно. Голод тех лет, беспризорщина после гражданской войны... И многое потом стало понятно, во всяком случае, объяснимо. Произошел ведь великий слом — революция. Но почему же тогда, в те времена и позднее, я чувствовал себя счастливым, а теперь — нет?

Вот сейчас мы сидим с вами в теплой комнате, чистой и уютной, и не видно вроде бы вокруг той разрухи, но боли в сердце неизмеримо больше, чем тогда! И это не только потому, что тогда я был очень молод, и молодость сама по себе кипела и радовала. Нет, суть в другом. Не может же меня оставить, допустим, сознание того, что если в гражданскую войну было два миллиона беспризорных детей, то сейчас — тоже два миллиона. Или даже еще больше! Казалось бы, без войны...

Вот это для меня совершенно необъяснимо. Вернее, я могу объяснить это лишь как следствие неслыханного и невиданного ограбления народа частью общества. Ну, как назвать эту часть? Их называют иногда почему-то «новыми русскими», называют нуворишами. А надо говорить прямо: воры! Называть вещи своими именами. Впрочем, и воры — это для них, пожалуй, слабовато. Вор — он на чем-то себя останавливает. А эти... хищники! Хищнику надо все больше, больше, больше. Он ненасытен! И чем это кончится, какая будет развязка, предугадать не могу. Но тревожусь, скажу вам, очень. Потому что может произойти какой-то ужасный взрыв в обществе. Такой взрыв, что только щепки полетят от всего этого!..

Но, с другой стороны, как же теперь может измениться жизнь, чтобы снова пойти по нашему православному, русскому руслу, — я даже не знаю как. Слишком далеко зашло, слишком все серьезно! И, наверное, должны те политические фигуры, которые действительно болеют за судьбу государства и каждого человека в нем, как-то объединиться. Все лучшие силы должны объединиться и сплотиться! Во имя спасения Отечества.

Сейчас разделение общества на супербогатых и сверхбедных настолько велико, пропасть между ними так глубока и широка, что да — не знаешь, как разрешится этот вопрос. Тут нужна какая-то

величайшая мудрость, чтобы обошлось без миллионных человеческих жертв.

Вот это — первое, пожалуй, что больше всего сегодня меня волнует. Второе, о чем хочу сказать: государство наше приобрело уголовный облик. Поразительно это происшедшее буквально на глазах перерождение значительной части нашего общества — неслыханная, массовая уголовщина! И тоже не видишь тут ни конца, ни края. Порой возникает чувство, что уголовные элементы захватили уже буквально всю страну, начиная, конечно, с самого верха. И не знаешь, что же против этого делать...

В. К.: Однако вы, Виктор Сергеевич, все же поднялись на борьбу против этого. Несмотря на свой возраст, нездоровье. Вы поднялись и делаете, по-моему, все, что только в ваших силах.

В. Р.: Может быть, это потому, что я никогда не был в шорах. Что я понимаю под шорами? Они могут быть надеты добровольно, могут — хозяином: «По сторонам ты не смотри, а смотри лишь прямо».

Так вот, на мне этих шор никогда не было, и всегда я видел жизнь такой, какая она есть, без всяких прикрас. Видел плохое, что было раньше, и видел хорошее, что тоже тогда было. Меня поражают люди (я уже не раз об этом говорил), которые зачеркивают свое собственное прошлое, клянут его. Несмотря на то, что именно тогда эти люди сделались известными, знаменитыми, прославленными. Это все равно, что плевать на родного отца и родную мать!

В. К.: Увы, среди так называемой творческой интеллигенции подобных немало.

В. Р.: Мне это непонятно. Учились бесплатно, начиная с детского садика и до вуза. Выдвинуты на сцену, если о нашем театральном деле говорить. Стали народными артистами СССР или РСФСР, лауреатами Государственных и Ленинских премий, Героями Социалистического Труда. Все это в то время! Стали знамениты на весь мир и теперь плюют в свое прошлое...

Считаю это аморальным, безнравственным и очень некрасивым. На этой почве у меня с достаточно значительной частью нашей интеллигенции негласное, но явственное расхождение. Они сердятся на меня, что я придерживаюсь каких-то старомодных взглядов, приписывают мне, что я оправдываю все беды, которые были в прошлом, винят в том, что не принимаю происходящего сейчас.

Да, не принимаю! И не понимаю, как это можно принимать. Как может у них не болеть душа, если они знают, сколько миллионов людей оказались у нас сегодня за чертой бедности, что больше двух миллионов детей в невоенное время — беспризорники...

Невольно все это обращаешь в адрес власти, которая неправильно правит государством. Наверное, мои понятия и представления во многом, что называется, доморощенные, возможно, в чем-то даже наивные. Но я считаю, что нам надо было идти сейчас по пути ленинского нэпа. И тогда все-таки страна вышла бы на социалистический путь развития. Без иллюзий общества коммунистического, ибо в моем представлении это больше литература, а социалистический путь — реально наиболее справедливый. И если бы мы пошли в нынешнее время по пути нэпа, мы бы, как мне кажется, вернули все наши социалистические завоевания.

Сегодня я все чаще думаю об этом, возвращаюсь мысленно к периоду нэпа, вспоминаю, сопоставляю. Даже статью об этом хочу напи-

сать. Конечно, мои личные впечатления того времени — полудетские. Мне хочется кое-что почитать, поглубже разобраться, как разрабатывал Ленин свой экономический план. Ведь за короткий срок тогда удалось при экономической многоукладности, но сохраняя Советскую власть, достигнуть очень многого. Не знаю, может быть, в Китае за последние годы сделано нечто подобное...

В. К.: Словом, насколько я понимаю, Виктор Сергеевич, вы не за капитализм, а за социализм.

В. Р.: Одни люди живут более богато, другие — менее, но бедных нет! Вот это, по-моему, справедливо. Всех абсолютно уравнять, наверное, нельзя, да и не нужно. Я всегда с пониманием относился, например, к тому, что академик получал более высокую, чем другие, зарплату. Имел дачу, особенно хорошую квартиру. На то он и академик — у него голова какая! Мозговые клетки стоят всего дороже. Или гениальный актер, талантливый писатель...

В. К.: А теперь академики объявляют голодовку, стреляются или выходят с протестом, чтобы отстоять институты, которые душат и уничтожают.

В. Р.: Я всегда понимал разделение по степени таланта и по той пользе, которую люди приносят обществу.

В. К.: Но не по талантливости прохиндейства, верно я понимаю?

В. Р.: Да, да, конечно... А сейчас в «новой культуре» просто глаз по-хорошему не на ком остановить. Посмотрите, ведь уже целая эпоха, больше десяти лет прошло, как все это у нас началось. Но это десятилетие в нашей сфере — в сфере искусства — ничего не дало! Или почти ничего.

После Октябрьской революции хлынули (буквально хлынули!) таланты во всех видах литературы и искусства. Вспомните первое десятилетие Советской власти: Маяковский, Есенин, Шолохов, Вахтангов, Мейерхольд, Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин, Шостакович... Всех не перечислишь. И в живописи, и в архитектуре — да везде! Очень ярко рождались тогда и новые формы, и новое содержание. А сейчас — ничего. Просто поразительно! Вот открыли на телевидении канал «Культура» — и он кормится только прошлым. Ибо нынешнее состояние культуры, я уж не знаю, как точнее сказать... Убого.

В. К.: И если на том же канале «Культура» показывают что-либо из нынешнего, особенно очевидно, как в сравнении проигрывает...

В. Р.: Я давно уже понял, что вступили мы, вернее — поставили нас не на тот путь, который нам нужен. Я поначалу был сторонником горбачевской реформы. Когда объявили плюрализм мнений. Но... эта свобода была подавлена односторонней распущенностью! И чем обернулось? Словоблудием.

Чувство Родины хотят истребить

В. К.: Когда вы говорите о резком упадке нашей культуры, я думаю, что немалую роль в этом сыграло и обезьянничанье многих деятелей, носителей культуры, перед Западом.

В. Р.: У меня тут свое мнение. Когда Хрущев впервые посетил Америку, он пришел от нее в восторг. Потом отправился туда Ельцин. Он облетел два раза вокруг статуи Свободы и почувствовал себя свободным...

А я вот частенько вспоминаю, как вскоре после окончания Карибского кризиса послали туда, в Америку, нашу маленькую писательскую делегацию. Для налаживания отношений. И нас принимал не кто-нибудь, а госдепартамент. Совалось нам в нос самое великолепное, что только можно было найти в США! Начиная от самых шикарных гостиниц, где нас поселяли, до встреч с богачами, вплоть до сенатора, который вскоре стал вице-президентом. И везде — самый роскошный прием.

Когда полетели обратно, Катаев лукаво смотрит на меня и спрашивает: «Виктор Сергеевич, ну, как?» Я говорю: «Потрясающе!» А он в ответ: «Нас пытали роскошью».

Да, действительно, нас пытали роскошью, но ничего из этого не вышло! Мы вернулись такими же советскими людьми. А Хрущев испытания роскошью не выдержал. Сразу: «Догоним и перегоним Америку!» Какие-то пустые и нелепые слова.

Ельцин дважды облетел статую Свободы и переродился. Ну, лазили мы на эту статую. На плечах у нее — смотровая площадка, виден океан, видны Манхэттен и все эти небоскребы. Все это действительно очень красиво и очень хорошо. Но ничего не изменилось у нас внутри по отношению к нашей родной стране!

А у этих... Произошла какая-то аберрация: «Давайте и мы сделаем вот так!» Слушайте, ничего более глупого не придумаешь. Как будто игрушку какую-то сделать: давайте и мы выточим.

В. К.: Нелепо. Страна скроена на свой манер. Люди иные, культура совершенно иная...

В. Р.: Россия — особая цивилизация. Да к тому же многонациональная страна. Причем я не беру то, что сегодня Россией называют. Я беру Советский Союз. Великий, единый и неделимый многонациональный Советский Союз! Это было устройство очень хорошее.

В. К.: И жилось в нем, прямо скажем, хорошо...

В. Р.: В целом — очень хорошо. Я бывал во всех республиках. Хотя бы на свои премьеры ездил. Везде приветливо, везде дружно, везде весело. Были, конечно, свои проблемы, без этого в жизни не бывает — у каждого и дома свои проблемы.

Но сейчас наряду со всеми этими казино (в Москве, по крайней мере), сверкающими вывесками, всякими ресторанами, гостиницами роскошными — какая-то серость. Как ни странно — серость и унылость!

В. К.: Вы ее ощущаете?

В. Р.: Я ее ощущаю. Очень. И тут понятно: у государства нет идеи. Оно не знает, что оно делает, к чему стремится.

В. К.: Неизвестно, куда мы идем. То есть куда ведут. Хотя догадаться можно — отнюдь не к хорошему, не к лучшему...

В. Р.: Получается для многих, даже для большинства, бессмысленность жизни. Очень остро ощущаю эту бессмысленность!

Я бы еще и поэтому предложил обратиться сейчас к периоду нэпа, изучить как следует все документы того времени. Была частная собственность, была государственная. Но у общества была также идея, большая советская, социалистическая идея, которая его объединяла и вела. Вообще, на протяжении всей нашей советской истории благороднейшие идеи человечества — идеи добра, справедливости, равенства и братства — играли очень большую роль. В том числе во время самой Великой войны — Отечественной. Идея Родины, которую нельзя

не защищать, даже ценой собственной жизни. Потому что она, Родина, — выше и дороже.

В. К.: Я хотел о вашей малой родине спросить. О Костроме. Вот вам исполняется 85 лет, и многое ведь за эти годы с Костромой связано. Что она для вас? Тянет ли туда? Что при встрече в душе возникает?

В. Р.: Ну, это возникает, наверное, у каждого человека. Там, где ты рос, где духовно родился, а Кострома — именно моя духовная родина, потому что физически я родился в Ярославле, но жил там совсем немного.

В Костроме я впитал все лучшее, что мне внушалось, начиная с матери и отца. Друзья мои дворовые, школа, книги, которые читал, Волга, Молочная гора... Этот охватывающий душу простор!

В. К.: Вы давно были там последний раз?

В. Р.: Да нет, совсем недавно, с Надей, с женой, были. Не упускаем ни малейшей возможности побывать. Знаете, это душу питает. Это — родное, особенно родное и близкое. Без этого, наверное, русскому человеку нельзя. Трудно.

В. К.: Чувство Родины в большом и даже великом смысле начинается, видимо, все же с так называемой малой родины?

В. Р.: У меня — да. А за всех говорить не берусь. Очевидно, для других наций их родина — это тоже Родина. И тоже есть любовь к Родине, какое бы государство ни было. Я-то считаю: у англичан, французов, японцев, китайцев, вьетнамцев, испанцев, да кого ни возьми — у всех свои корни. Единственная страна, которая не имеет своих корней, — это Соединенные Штаты Америки. Вот она, по-моему, не может быть в полном смысле Родиной. Там родиться, конечно, можно и всю жизнь можно находиться там, но...

Я много раз бывал в Америке. И встречали меня там хорошо. Но я всегда чувствовал, что для людей это — просто место жительства. Именно так: место жительства, а не Родина. Потому что Родина это — для индейцев, но их уже нет фактически, я видел их только, так сказать, штучно — они в своих резервациях.

Да, у американцев, в моем понимании, нет Родины. И американская психология — очевидная государственная психология, она игнорирует чувство Родины. Думаю, что и наши разногласия больше всего на этой почве. Мы цепляемся за свою Родину, и мы не хотим быть Америкой, то есть страной без Родины. Это, на мой взгляд, вопрос очень важный! Ведь испанцы не отдают свою Испанию, и англичане не отдают свою Англию, французы — свою Францию, и даже какая-нибудь маленькая Голландия, или Дания, или Бельгия... Во всех этих странах я бывал, и везде чувствуется дух Родины.

В. К.: А у нас? Что же происходит у нас? Раствориться хотим?..

В. Р.: Идет атака, чтобы истребить в нас чувство Родины. Уже территорию разбили, военный приоритет Америки безусловен — им только сейчас не хватает убить этот наш русский дух. Вот и идет разложение русского духа всеми способами. С одной стороны — жвачкой, рекламами всякими, пропагандой всего заграничного, а с другой — искусством западным, то есть, в основном, американским кино. Всегда с погонями, всегда с убийствами и часто с безнравственностью. Это — самое главное!

В. К.: Да, убийство русского духа...

В. Р.: Покушение на русский дух. Его растлевают всяко. В том числе материально. Смотри, дескать, вон тот человек получает сколько! И ты можешь, если будешь делать то-то и то-то. Пусть и грязное, под-

лое, мерзкое. Я даже говорить об этом не хочу... Выброшен же лозунг: каждый отвечает за себя сам и живет в одиночку, а государство вроде вообще ни за что не отвечает.

Наше общество в этом отношении было гораздо справедливее. Хотя мы жили всегда скромно, но, во всяком случае, обеспеченно. Мы знали, что 14-го зарплата, и она была 14-го, а не 5-го.

В. К.: Не искушали нас «золотым тельцом». А теперь он воздвигнут в полный рост.

В. Р.: Брошен «позолоченный крючок», на который клюют люди. И все делается, чтобы они поглубже его заглотили.

В. К.: Погубят нас этим вконец, как вы думаете?

В. Р.: Испытание нам выпало суровое. Очень суровое! Испытание на сытость.

В. К.: Пожалуй, в чем-то оно еще пострашнее, нежели испытание голодом.

В. Р.: Бесспорно, бесспорно.

В. К.: Дух или заплывает салом, или разлагается, растлевается.

Вот оно, лицо поколения

В. Р.: Я до 36 лет жил бедной жизнью, иногда очень бедной, голодал и одеться не во что было. Но, как уже говорил, я был счастливым. Это парадокс, однако это — реальность.

В. К.: Вы мне рассказывали о счастье, испытанном тогда после МХАТовских спектаклей...

В. Р.: Великое было счастье и радость — любимые театры. Книги, конечно. Музыка, выставки, да и все окружение... Свое представление о ценностях было. Идет нарядно одетый человек — ты смотришь: ах, как красиво! Но, кроме этого ощущения, что идет красиво одетый человек, ничего и нет. Не то что: вот мне бы так!..

В. К.: То есть зависти не возникало?

В. Р.: Никогда.

В. К.: Вот это — свойство души.

В. Р.: Конечно, душа так должна быть устроена. Но это еще и следствие воспитания. Потому все мои друзья-костромичи, они были такие. Сейчас осталось нас только двое: Катя Шелина и я.

В. К.: А она кто?

В. Р.: Она окончила пищевой институт и стала крупным специалистом по этой части. Другая девочка, ее подружка, — тоже...

В. К.: Это ваши одноклассники?

В. Р.: Да.

В. К.: И вы с одноклассниками все время поддерживали отношения?

В. Р.: Постоянно. Собирались у нас дома, накрывали стол, говорили, пели...

В. К.: И кто были эти люди?

В. Р.: Порядочные все люди. Во-первых, трудящиеся. И потом, надо сказать, многие вышли в крупные государственные фигуры. Вон Игорь Волнухин заведовал какими-то очень ответственными приборами на военных кораблях. Изобретал. Его хоронили с воинским салютом. Федя Никитин в подмосковном Калининграде работал главным инженером, занимался металлом, который делали для спутников и кос-

мических кораблей. Тоже не шутка! Кирилл Воскресенский окончил военную академию и стал преподавателем высшего артиллерийского училища. Наталья Воскресенская, его сестра, — текстильщица, работала на фабрике в Костроме, потом ее перевели в Иваново, а потом — в Смоленск, где она заведовала огромным текстильным комбинатом. И затем — в Министерство текстильной промышленности, на какую-то очень высокую должность.

Причем, я подчеркну, никто никогда не добивался этих высоких должностей, а просто своим трудом, своими способностями выделялись — и их выдвигали. Ну, многие погибли во время войны.

В. К.: Да, это — поколение. Лицо поколения. Вы в каком году окончили школу?

В. Р.: В 31-м.

В. К.: Какая это была школа?

В. Р.: 4-я девятилетка имени Энгельса.

В. К.: И что бы вы отметили как наиболее характерное для этого поколения, для своего поколения?

В. Р.: Дружбу. Отсутствие пьянки. Мы водку попробовали, я уж и не помню когда, взрослыми... Верность слову. Трудолюбие. Честность. Полное отсутствие карьеризма! Полное... И — никакой погони за деньгами.

В. К.: То есть деньги нужны просто для жизни, но никакой специальной погони за ними, поглощающей душу?

В. Р.: Именно.

В. К.: Отсюда, наверное, и такое настроение ваших пьес — светлое.

В. Р.: Я оказался в Костроме в самой обычной школьной и дворовой среде, но — идеальной.

В. К.: А чувство Родины тогда уже было?

В. Р.: Вы знаете, слов-то этих высоких не было.

В. К.: Это я понимаю. Но дело не в словах. А ощущение... Ведь вот началась война — и вы же пошли воевать. Добровольно. И сколько пошло...

В. Р.: Я в книжке об этом написал. Когда решался вопрос, идти мне на войну или не идти, я мог не идти, я был белобилетник, меня и из военкомата отправили: «Чего ты пришел? У тебя белый билет!» А я пошел. Понимаете, как-то нехорошо иначе... В пьесе «Вечно живые» я вставил фразу: «Борис отвечает: “Я должен быть там, где всего труднее”». А всего труднее было на фронте.

В. К.: Как вы думаете, сейчас совсем это утрачено?

В. Р.: Нет, и сейчас есть увлеченные люди. Не хищники. Я уж не говорю о старшем поколении, которое держится в целом очень достойно. Однако и молодое поколение в чем-то меня радует, хотя оно разное. Многие, к сожалению, сворачивают с пути истинного. И тут общая обстановка, которая у нас создана, конечно, сказывается.

В государстве сейчас ведь по всем статьям плохо. Бюджет... Дома разваливаются. То и дело стреляют. А что такое с самолетами, которые постоянно падают?

В. К.: Вы знаете кого-нибудь близко из молодого поколения?

В. Р.: В основном это дети и товарищи детей.

В. К.: Но какие-то отрадные впечатления, наверное, бывают, раз вы так небезнадежно говорите о молодых?

В. Р.: Конечно! Я иногда и в школах выступаю. Вижу молодых зрителей на спектаклях по моей пьесе в театре Татьяны Дорониной.

У меня такое впечатление: несмотря ни на что, хорошей молодежи сейчас много.

В. К.: Действительно, ведь на вашем спектакле всегда молодежь. Что-то же их тянет сюда!

В. Р.: Меня подчас это даже удивляет. Однажды был 35-градусный мороз, когда мой спектакль шел. И представьте себе: было в зрительном зале 900 человек!

В. К.: Видимо, на этих людей — наша надежда...

В. Р.: И потом: иногда встречаешься, говоришь, смотришь в глаза молодых людей, как они реагируют, — хорошо глядят! Думаю, испоганить русского человека все-таки трудно.

В. К.: До конца...

В. Р.: Да, да.

Снова должен быть наш Сталинград!

В. К.: Ваша общественная деятельность последних лет, которая уже не только как литератора выдвинула вас пред очи народные, но и как радетеля за Родину, за Россию, она требует большой самоотдачи. Все время надо что-то отстаивать, за что-то бороться, куда-то спешить. Это дает вам удовлетворение?

В. Р.: Это дает мне жизнь. Значит, я кому-то нужен. И надо, очень надо что-то говорить и повторять. Повторенье — мать ученья. А не так: сказал — и ладно, и не важно, что будет...

Где-то мои слова отклик находят. Я в этом не раз убедился. Люди благодарят. Меня не очень популяризируют, но где удается сказать свое слово, я стараюсь сказать.

В. К.: И конкретно удается кому-то помочь? Помню, вы рассказывали о хождениях по разным просьбам...

В. Р.: Вот и сейчас на столе два таких дела лежат. Жду, когда встречусь с мэром нашим или его заместителем Шанцевым.

В. К.: А что за дела?

В. Р.: Один из племянников моих, по линии жены, занимается полезным для государства делом. Такая фирма у них — по сбору металлолома, которая очищает Москву от ржавых автомобилей, стоящих по дворам, и прочих таких предметов. Но у них мал круг, где они могут действовать, — просят расширить территорию. Доброе дело, я считаю, они работают хорошо.

А другой вопрос вроде бы частный, но для человека, который обратился ко мне, — весьма серьезный. Жизненный. Простой работяга... Тоже надо помочь.

В. К.: Я недавно читал в газете вашу статью о новом спектакле в Театре имени Ермоловой. Значит, находите время, чтобы смотреть?

В. Р.: Стараюсь. Сейчас на очереди спектакль в «Современнике». Борис Галин — для меня интересный драматург...

В. К.: А кого-нибудь из молодых драматургов выделяете?

В. Р.: Сейчас, к сожалению, не очень. Читаю пьес много, но... не хватает в них чего-то главного. А не хватает потому (вернусь к уже сказанному), что у государства нет идеи.

В. К.: Вы счастливы в семье? Жена, с которой прожили в любви и согласии более полувека, сын и дочь — по-моему, замечатель-

ные, внучка и внук — достойные своего дедушки. В этом ведь тоже счастье?

В. Р.: Еще бы! Семья — это дом. Я часто думаю, что нашему обществу нужно вернуть семью. Сейчас все больше замечаешь: семьи-то нет!

В. К.: Колоссальная проблема. И это, по-моему, тоже влияние Запада, что семья разрушается. Прививают молодежи отношение к семье пренебрежительное. Принесли оттуда: не жених, а бойфренд, то есть временный какой-то сожитель. Все переводится на контрактную основу: в семье не любовь, а контракт, брачный контракт...

В. Р.: Да, но я старомоден.

В. К.: Как бы вот эту хорошую старомодность по возможности восстановить и укоренить! Русская семья, наверное, тоже поддерживала всегда русский дух, о котором вы говорили. Что для вас это понятие — «русский дух»?

В. Р.: Очень большое. Очень глубинное. Многие столетия ведь складывался он, этот дух, который мне так мил. Люди бездуховные часто говорят: вот вы превозносите свой национальный дух, русский дух, вы националисты, шовинисты... Но я не считаю, что, если, скажем, татарин исповедует свою религию и следует своим татарским обычаям, он обязательно националист или шовинист. А почему же обвиняют нас?

Мне иногда кажется, что во многом от тех же американцев такое идет. Потому что вот там этого нет. Ведь не скажешь: «американская духовность».

В. К.: В самом деле, не звучит.

В. Р.: «Американский дух» — так можно сказать, но — полуиронически. Потому что американский дух — это как раз бездуховность. А у нас... В каком веке духовность наша возникла, в каком тысячелетии и как — на это я ответить не берусь, тут ученые пусть отвечают. Но это не только уклад жизни.

Русский дух для меня — это Чехов, это Достоевский; понятно, всех, даже очень ярких выразителей русского духа в великой русской литературе не перечислишь. Вот говорят о загадочности русской души, и она действительно в чем-то загадочная, и для меня загадочная, удивительная, эта русская душа...

В. К.: А в чем, Виктор Сергеевич?

В. Р.: А в том, что не до конца она мне понятна. Вот хотя бы один случай недавний. Сидит возле Ермоловского театра инвалид: без ноги или без обеих ног, перед ним — кепка, в которую денежки бросают. Я иду и тоже наклоняюсь, чтобы бумажку какую-то положить. А мне трудно наклониться, у меня нога, как вы знаете, на фронте подбита. И вдруг он посмотрел на меня так удивленно и воскликнул: «Да ты же сам инвалид!»

В. К.: Характерный случай, ничего не скажешь...

В. Р.: Целая поэма! Или пьеса, новелла. Я, знаете, по привычке сразу начал домысливать и досочинять...

Чтобы глубже понять русскую душу, надо читать и изучать Достоевского. Я с огромным увлечением это делал всю жизнь, а особенно — когда работал над своей инсценировкой по «Братьям Карамазовым».

В. К.: «Брат Алеша»?

В. Р.: Да. Достоевский в этом романе берет все аспекты русской души. Он берет святость Алеши (и ведь не случайно намерен был именно его сделать дальше главным своим героем!); берет разум Ивана — разум, мучающий человека, доводящий его буквально до сумасшествия;

страсть Дмитрия, безудержную русскую страсть. Тут, в этих трех братьях, — многое о русской душе!

В. К.: Есть и еще один брат, сводный: Смердяков. Не находите, Виктор Сергеевич, что сегодня он вышел чуть ли не на самый первый план?

В. Р.: Ну, если и не на первый, то достаточно наглядно себя проявил...

Так вот, читая Достоевского, Чехова, других наших великих писателей, можно понять, что такое русский дух. Примитивизирую: это все нравственные и духовные ценности человека. Русский дух не продается! А если продается, он перестает быть русским духом. Он становится тогда духом инородным.

Вот сегодня говорят: «новые русские». Да простят они мне, но эти, «новые», потеряли русский дух. Они взяли американскую бездуховность за образец. А русский дух не продается — ни за какие деньги...

В. К.: Когда вы говорите о предпринимаемой попытке убийства русского духа, вы имеете в виду и попытку его купить?

В. Р.: Так, так, совершенно верно. Слишком сильна власть денег. Деньги — изобретение дьявола!

В. К.: И как вы все же думаете, Виктор Сергеевич, выдюжим? Удастся ли врагам убить последнее, чем еще держимся, — русский дух? Недавно Татьяна Васильевна Доронина очень точно, по-моему, сказала: «Утратить дух — значит, утратить силу...»

В. Р.: Я уже говорил: мы действительно сдали очень многое. Как в первый период Великой Отечественной. Мы сдали тогда Брест, сдали Минск, сдали Киев, Одессу, Смоленск — до Сталинграда. Но что было потом? Был Сталинград.

Вот и сейчас. Страна разбита на куски. Фабрики и заводы стоят. Поля не убираются. Мы сдаем, можно сказать, город за городом. Приезжают с Запада какие-то дряхлые «роллинг стоунзы» — и вокруг них устраивается странный ажиотаж...

Да, мы отступаем пока на всех направлениях. Но я верю: наступит наш Сталинград!

В. К.: Все-таки верите?

В. Р.: Верю. Очень трудно, конечно, будет поправлять все, что с нами сделали. Но все вернется на круги своя. И русская культура, и наука, и экономика наша с мощнейшим ее потенциалом. И Союз наш вернется — Союз, разрушенный этим ужасным событием — Беловежской пущей. Потому что мы были и есть интернационалисты.

Вот это слово сейчас почти не употребляется. Между тем я считаю себя интернационалистом. Я — русский патриот и интернационалист. И это ведь одна из особенностей русского духа: умение понимать другие народы и жить с другими народами.

В. К.: Белоруссия внушает вам какие-то надежды? Ее стремление быть с нами...

В. Р.: Безусловно. Я невероятно обрадовался, когда стало известно, что Белоруссия снова хочет создать с нами Союз, воссоединиться с Россией. И был страшно огорчен, когда начались яростные попытки всячески помешать этому, не допустить, сорвать, когда принялись лить грязь на Лукашенко, — очевидно, очень хорошего человека.

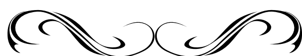
Это все они, наши враги! Враги русского духа! Ну и, конечно, окрик из-за океана: что это, вздумали опять соединяться?! Они-то столько денег потратили, чтобы нас разъединить, небось уже посчитали, сколько истратили на это.

Однако история показывает: многим народам вместе лучше, чем порознь. Многие ведь по доброй воле соединились в свое время с Россией, хотя нынче стараются это позабыть. Та же Грузия. Она же добровольно вошла в состав России еще в самом начале прошлого века. Это и у Лермонтова поэтически запечатлено. Помните первые строки «Мцыри»? В грузинском монастыре:

...Старик седой
...Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь в такой-то год
Вручал России свой народ.
И Божья благодать сошла
На Грузию! — она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов
За гранью дружеских штыков.

В. К.: Да, удивительно злободневно звучит это сегодня!

В. Р.: Не говорите. Поразительные бывают воспоминания, поучительные переклички времен. Не правда ли, стоит оглядываться в прошлое, думая о будущем?



ТАТЬЯНА МИРОНОВА

Русская душа — сплав язычества и христианства

Принято считать, что русское мировоззрение, русские устои жизни, наша национальная картина мира сложились лишь с принятием Русью христианства в 988 году, когда князь Владимир Святославич круто свернул с языческой тропы на торную дорогу мировой христианской цивилизации.

Что всегда удивляло историков и богословов в летописной легенде о Крещении Руси, — та легкость, с какой вчерашние славяне-язычники восприняли новое учение. О восстаниях против христианских миссионеров, о расправах над монахами и священством бунтующего языческого люда упоминания в источниках крайне редки.

В течение всего одного столетия, начиная с 988 года, на Руси учредили несколько епархий, построили множество храмов, основали ряд монастырей, создали книгописные школы и мастерские в Киеве, Новгороде и Ростове. В чем же кроется причина столь безоглядного отказа от отеческой традиции сильного, упорного в достижении своих целей народа? Рискну утверждать, что никто не навязывал нашим предкам тогда, в 988 году, коренного отрицания языческой традиции. Напротив, при выборе веры русичи восприняли именно ту религию, которая показалась им созвучной той картине мира, что была выработана в языческой древности их праотцами.

Основу всякой религии составляют миросозерцание, нравственные нормы, комплекс обрядов и священнодействий, называемый культом, и главное — объект поклонения: Бог и божественные силы или сонмище богов. При изучении русского христианства открывается, что многие его ключевые понятия во всех сферах религиозного познания ведут свое происхождение из славянского язычества, где они формировались на протяжении тысяч лет.

Религиозное миросозерцание включает в себя познание сверхъестественного, духовного мира и способов взаимодействия с ним человека. Ключевыми понятиями такого рода в русском христианстве являются Бог, душа, святость, чудо, рай, воскресение, крест, молитва. Но эти слова пришли в христианство из языческой древности, и реконструкция их исконных значений является, по сути, воскрешением мировоззрения славян-язычников. Религиозные представления славян в дохристианское время реконструировать сложно, поскольку достоверных письменных источников славянского язычества не сохранилось. Единственные исторически значимые факты можно извлечь лишь из истории русского языка и старинных сказок, примет, поверий, удерживающих дремучую древность. К ним мы и обратимся.

Истоки русской душевности

Душа человеческая — первое, что заставляло и заставляет всякого человека задуматься об инобытии, о мире сверхъестественном, не поддающемся осязанию и не доступном зрению. Древний славянин представлял душу в облике ветра, огня и птицы. Само слово *душа* происходит от глагола *дуть*, и это сближает ее с образом ветра, особенно при расставании: человек мог испустить дух, из-дох-нуть, за-дох-нуться, его могли за-душ-ить. О возвращении к жизни говорили в старину: от-дох-нул, от-дыш-ался.

Душа в славянских воззрениях сближалась также с огнем, поскольку она, пребывая в человеке, давала телу внутреннюю теплоту и жизнь. Человек умирал, становился холоден и неподвижен — так гас внутренний огонь души. И древнее выражение *погасла жизнь* говорит нам, что душа в образе горящего в человеке огня — исконно русское представление. Во многих наших приметах течение жизни сравнивается с горением свечи. Даже в православных христианских храмах многие невольно следят за горением поставленной ими свечи, боясь, что она погаснет, не догорев, видя в том примету скорого ухода из жизни. Слово *гасить* издревле употребляется в значении убивать, истреблять, слово *гаснуть* — в значении истощаться, худеть, клониться к смерти. Или вот еще одна языковая цепочка смыслов: *потухнуть* — говорят обычно о свече, огне, а *протухнуть*, *затухнуть* — о падали, о мертвом, бездушном теле.

И птицей *душа* представлялась славянам, что унаследовано в языке выражением «душа отлетела в иной мир». Душа виделась человеку птицей не только потому, что казалась стремительно летящей, способной покинуть тело и вернуться в него, как птица в гнездо. Главное в древних представлениях о душе-птице то, что, оставив свою телесную оболочку, душа принимала новую форму и попадала в иной мир. Подобное преображение в живой природе происходит только с птицей, и это удивляло и восхищало древнего человека, заставляя его задуматься о преображениях души. Птица, рождаемая вначале в виде яйца, вылупливается из него птенцом, как бы рождаясь вторично. Русские загадки донесли до нас подобное сближение: «Дважды родится, а раз помирает». В отгадках — и птица, и душа.

О душе-птице до сих пор свидетельствуют сохранившиеся в русском христианском быту языческие обряды, основанные на убеждении древних славян, что душа умершего после разлуки своей с телом до шести недель (сравните: в русском христианстве — до сорокового дня) остается в этом мире. Родственники и по сей день оставляют для души умершего на окне или на столе чашку со святой водой и вешают полотенце, чтобы исшедшая душа омылась, отерлась полотенцем и предстала пред Богом чистой. В поминальные дни для души до сих пор ставят на стол рюмку с водкой, покрывая ее хлебом, — этим заменили с течением времени поминальный блин и чашку воды, предназначенные умершей душе перед ее «полетом» в дальний путь.

Именно представлением о душе-птице объясняется обрядовое значение яиц, известное не только христианству, но и всем языческим народам древности. Яйцо служило язычникам-славянам знаком возрождения к новой жизни, скрытой в его зародыше. И как у индийцев до сих пор

празднование возрождения природы, именуемое Холи, сопровождается приготовлением крашенных красной краской яиц, так и в нашей христианской обрядности сохранилась славянская языческая традиция на Пасху и на Радоницу, в день поминовения усопших, ходить с крашеными яйцами на могилы умерших предков «христосоваться с покойными родителями», а потом оставлять на могилах яйца или зарывать их в землю.

Так что славянин-язычник разделял свою природу на духовную и телесную, имел четкое, укорененное в языке и поверьях понятие о душе, которое христианство укрепило и развило. При этом русский язык свидетельствует, что душа для нас искони составляла большую и главную часть нашего естества. Это видно в выражениях, которыми мы описываем самих себя.

Русские называли *душой* всякого человека в казенном, государственном смысле: это и крепостной в царской России, где помещики владели «душами», и любой человек, платящий подати государству, так называемый «подушный налог», расчет бюджетных средств до сих пор идет в России «на душу населения». Детей в семьях считали на души, так и говорили: «десять душ детей», едоков и работников на селе тоже числили по душам. Но не это самое главное в русской любви к слову *душа*. Вся человеческая жизнь по-русски — это жизнь души. Мы ведь этим словом можем описать все, что способны пережить: радостно или муторно бывает именно на душе, дело может быть не по душе или по душе, душа частенько к чему-то не лежит. А еще душа не принимает, душа меру знает, от страха душа в пятки уходит, делают что-либо от всей души, с дорогой душой и за милую душу, а бывает, что с души воротит или прет. Душа у русского человека часто нараспашку, иногда душа болит, частенько душа просит, душа надрывается, порой душа не на месте, подчас человек берет на душу грех, случается, что он отводит душу. И это еще не все. Мы, русские, общаясь друг с другом, с точки зрения нашего языка соприкасаемся именно душами: русские живут душа в душу, говорят по душам, стоят над душой, влезают кому-нибудь в душу, тянут за душу, души не чают, беду душою чуют... В русском должно быть очень много души, отчего, по его представлениям, великодушный человек — непременно хорош, а малодушный — безоговорочно плох. Душа — добрая или низкая, широкая или подлая, правда она тогда не душа, а душонка, — определяет в русском человеке все его существо. И это представление, безусловно, имеет дохристианские, языческие истоки. Но христианство впервые заговорило с русским человеком о *спасении* его души. Оно пообещало ему сохранить, благодаря Вере в Бога, то, что русский любит в себе и в других больше всего на свете — бессмертную человеческую душу. Вот что навек покорило нас в христианстве, вот что делает русское православное христианство особенно теплым и радостным, потому что оно отвечает глубинным народным представлениям о смысле жизни. И до сих пор для нас высшая похвала — душевный человек. А бездушие для нас равно бесчеловечности. Ведь именно душа является средоточием человеческой совести, она чувствует добро и зло, она проникает в хорошее и плохое.

Изъятие душевности из русского человека является ампутацией его совести, и, что прискорбно, эту хирургическую операцию пытаются проводить ныне с нашими душами. Насколько успешно можно уда-

лить у русского народа совесть, да так, чтобы не осталось ни корешка, ни дольки, ни крохотного обрубка, который бы все равно кровоточил и болел, радовался и тревожился?

Об этом мы можем судить по разросшемуся в нашем обществе спруту коррупции, воровства и подкупа. Это мы можем видеть в заимствуемом русскими у других народов прежде осуждаемом обычае рабства. Об этом свидетельствуют перенятые у инородцев обман в торговле, подделки в производстве товаров, продуктов, лекарств, такие, что влекут за собой смерть соплеменников. Русские люди, что творят подобное, вырезали из собственной души свою совесть, как удаляют больной орган, чтобы не тревожил человека постоянно ноющими или резкими приступами боли. Но ведь каждый орган для чего-то организму необходим. Вот и совесть в душе есть коренной признак нашей русскости. Ампутация совести ведет к омертвению русской души. Взгляните на наших правителей, что чередой гоголевских персонажей ежедневно заполняют телеэкраны в выпусках новостей. Живая душа, плещущаяся в глазах, — где она в этих физиономиях?

Потеряет ли душа окончательно способность болеть и радоваться, тревожиться и сострадать? На мой взгляд, это невозможно, пока жив наш язык, в котором *душа* — на первом месте. Наша русская картина мира заставляет нас быть душевными людьми, изъятие души у человека мы всегда будем рассматривать как тяжкую болезнь, пусть сегодня она и приобретает характер эпидемии. Но ведь все эпидемии когда-нибудь кончаются, забирая с собой самых слабых, самых негодных для народа особей. Все эпидемии на то и даны, чтобы очищать народы от плевел и сорняков, от выродков и извергов. Вот и сегодня народ разделяется на все еще огромную массу сохраняющих свою душу и совесть и на негодных называться русскими: по ничтожному духу, по подлому характеру, по сожженной совести и омертвению души. Зерна от плевел отделены, разве это плохо?

Насколько успешно можно удалить у русского народа совесть? Это зависит от того, как дороги останутся русскому человеку слова и выражения, говорящие ему о душе. Они пробуждают в русском исконно заложенные языковые архетипы, напоминающие, что самое дорогое для человека — это спасение его души и душ его ближних, и заставляющие оживать иссохшее древо совести.

Дохристианские корни русской святости

Слово *святой*, ставшее основой понятия христианской святости, имеет дохристианский языческий смысл. В эпоху славянского язычества оно прилагалось ко всякого рода сверхъестественным силам и явлениям, а также обозначало людей, обладавших незаурядными, сверхчеловеческими способностями. Святой, согласно реконструкции языческого значения этого слова, — некто сильный, крепкий, могучий, непоколебимый, сверхъестественное существо, стоящее на границе двух миров: мира действительного и мира магии. Из числа таких существ — былинный Святогор. Такому существу язычники поклонялись и совершали жертвоприношения из опасения перед его мощью. Обломки этих представлений мы встречаем в русских народных говорах, где святыми могут называть и русалок, и водяных, и домовых, и прочие силы, имену-

емые христианством нечистью. В этом же значении — сильный, крепкий, могучий — использовался корень *свят-* в славянских языческих именах: Святовид, Святополк, Святослав, Святомир, Святозар.

Эта научная гипотеза удостоверяется данными Словаря русских народных говоров: «*Святой* — отличающийся здоровьем, жизненной силой, придающий здоровье, силу» (СРНГ. Вып. 37. С. 6). Среди примеров *святой ключ* — естественный колодец, колодец нерукотворный, вышедший из земли, дарованный людям свыше и потому имеющий *святую* — живительную силу; *святой огонь* — огонь, добытый трением из дерева для ритуальных действий: окуривания, такой огонь представлялся людям чудом, даром богов и, по представлениям язычников, обладал чудодейственной силой очищения; *святой разум* — здоровый ум, благоразумие и проницательность, которыми наделены особо одаренные люди; *святой дождь* — дождь, посланный свыше по прошению земледельцев, необходимый для хорошего урожая; *в святой час* — в добрый час: пожелание счастливого пути, помощи высших сил; *вот и свято* — о благополучном завершении, окончании дела, которому дана помощь свыше; *дать святым кулаком* — ударить кулаком за правое дело; *святодух* — женщина, владеющая даром прорицания, доводящая до людей волю божества — отголосок древнего волхования. Во всех этих выражениях перед нами явно дохристианские значения слова *святой*, свидетельствующие об особой живящей, укрепляющей человека высшей силе, нисходящей на него через воду, огонь, людей и обстоятельства жизни. Важным здесь было и исконное родство корней *свят* и *свет*, так как богоданная сила представлялась людям излучающейся подобно свету.

Такое же значение было у латинского слова *sanctus*, когда оно употреблялось в римских языческих культах. Из-за большой употребительности этого слова у язычников римские христиане стали величать им святых лишь с IV века. А вот христианские миссионеры славян сразу же приняли слово *святой*, воспользовавшись его исконным языческим значением для убеждения славянской паствы в могуществе и силе христианской веры. Христианство внесло в смысл этого языческого слова новые черты. Святость стала пониматься как проявление Божественной силы Пресвятой Троицы. Святым именовалось все, в чем христиане видели проявление Божьей силы и воли. Это легко разъяснялось славянам, обращаемым в истинную веру, поскольку они уже имели понятие о том, что *свят* — это обозначение сверхъестественных, нечеловеческих, высших сил. Переворот в понятиях, совершенный христианством, состоял в том, что теперь словом *свят* обозначалось лишь проявление силы Пресвятой Троицы, в чем бы она ни сказывалась: в людях — святых и священниках, в освященных вещах и пище (их освящали на христианские праздники), в святой воде и святых источниках, в святых местах, куда совершались паломничества, в святом огне, сходящем на Гроб Господень в Пасху, и в святом огне кадильниц, благоуханным дымом очищающем храмы от нечисти. Теперь все это стали называть святынями и проявлять благоговение. Но в народных поверьях, устойчиво сохраняющих древнее языческое словоупотребление, *святыми* по-прежнему могли именовать домовых и водяных, и даже заговоры и заклинания, в том числе известный посыл «Поди ко святым!» И

само понятие *святой* в народном восприятии было более приземленным, утилитарным. «Святое дело», — говорят у нас обо всяком добром деле. И вещи, и воду, и священников, да и собственно *святых* народное сознание воспринимает как помощников в мирских делах и в избавлении от невзгод и болезней. И здесь произошло естественное замещение языческой магии благотворной и действенной помощью Божьей, которая выражается в том, что русский народ с языческих времен называет чудесами.

Само слово *чудо* — языческого происхождения. *Чудо* — сверхъестественное явление, которое невозможно объяснить действием законов природы или человеческим произволением. Именно чудо православное христианство полагает очевидным доказательством бытия Божия. Но вера в чудеса присуща не одному христианству — это устойчивый знак религиозности человека, понимающего, что над ним есть Некто Высший. В языке славян в дохристианскую эпоху слово *чудо* было языковым символом, выражающим действия высших, *святых* в языческом понимании сил. В данном слове лингвистами прочитывается древний корень *куд-*, исконно обозначавший сверхъестественные действия. *Куд* — это всемогущий дух, *кудесить* — значит волхвовать, колдовать, заниматься ворожбой, *кудесник* — волшебник, колдун. Корень *куд-* происходит из индоевропейского GhwDh, который имеет значение уничтожать, запрещать и, согласно исследованию Н. Д. Андреева, характеризует состояние бытия или небытия, сохранения или уничтожения в зависимости от того, к чему склоняется изволение Высших Сил. *Куд* — это знак действия сверхъестественных существ, способных продлить или прекратить бытие человека, могущих сохранить человеческую жизнь или уничтожить ее. Отсюда возникло и слово *чудо* с его главным смыслом — знамения высших сил для блага или кары людей. Смысл этот, безусловно, был выработан в языческой древности. Христианство приняло слово *чудо* вместе с его значением, но отринуло другие слова данного корня, обозначавшие духов, творящих языческие чудеса.

Слово *куд*, согласно словарю В. И. Даля, в русских народных говорах стало обозначать злого духа, беса, сатану. Оно породило множество однокоренных речений зловещего смысла. *Кудесить* значило заниматься ворожбой и чернокнижием, уничтожать, наводить порчу. Тот же смысл и в слове *колдовать*. *Кудесами* назывались чудеса, производимые нечистой силой. Образовалось слово *прокудить* со значением «дурить, творить паскости, наносить кому-нибудь вред». Сюда же прилепилось и ругательство *паскуда*, то бишь скверность, мерзость, человек, творящий пакости.

Поразительно, что именно этот древний индоевропейский корень GhwDh, который произвел на свет столь зловещие русские слова, в английском и немецком языках породил слово, обозначающее Всеблагого Бога — God и Got. Бог, воспринимаемый как карающая грозная сила, во всевластии которой находится человек, — таков образ Вседержителя в картине мира германских народов. Славянские же народы имели собственное исконное наименование для божественных сил — слово Бог, произошедшее от индоевропейского BhX. Данный корень имел особый смысл, он значил изначально «блеск, сияние, красу», и производные от него слова во множестве языков разумеют именно благо, добро, красоту, истину, что в славянских языках было осмысле-

но как Божество, Высший разум. Божественные силы в видении нашего народа представали и источником добра, красоты и истины, и того, что у нас принято именовать Любовью. Светлое, любовное восприятие Бога, однокоренного понятию *благо*, тысячелетиями сохраняемое нашими языческими предками, в русском православном христианстве логично и просто соединилось с евангельскими словами Господа нашего Иисуса Христа: «Азъ есмь путь, истина, и животъ» (Иоанн, 14, 6), «Свет есмь миру» (Иоанн, 9, 5).

Разделяя слова по принципу злое и доброе, русский язык с языческих времен сохранил благой смысл слова *чудо*. Оно стало исключительно знаком божественных сил, Божьей воли, выраженной в сверхъестественных действиях. Вера в чудеса явилась отличительной особенностью русского православного христианства, в отличие от трезвенного католичества и рационалистического протестантизма. И это хорошо видно в почитании на Руси святителя Николая Мирликийского, которого у нас величают Чудотворцем, а в Италии, где почивают его мощи, он не в особой чести у католиков. Чудесами пронизана вся русская христианская культура. Иконы Пресвятой Богородицы почитают именно за великие творимые от них чудеса исцеления, помощи, умилостивления Бога. В сказаниях об иконах, а это любимейший жанр древнерусской литературы, свидетельства о чудесах составляли самую обширную часть текстов. Жития святых наполнены чудесами, и новопрославленные святые, такие как блаженная Матрона Московская, почитаемы именно за великие чудесные дары, приносимые ими молящемуся народу. В этом всеобщем ожидании чудес, в этой постоянной готовности узреть чудо таится древняя языческая традиция: получать блага для тела и быта, а не для души и духа. Именно поэтому так разнится скептическое порой отношение к чудесам образованного духовенства, понимающего некоторую неловкость постоянного народного клянченья: «Дай, Боже, дай, дай!», — и горячность безграничной веры простолюдина в любое чудо, если об этом очень сильно попросить в присутствии христианской святыни. Горячая русская вера в святыню, заложенная в нас языческими предками и укрепленная мистическим тысячелетним опытом христианства, никогда не бывала посрамленной. Вспомним военную историю России. Нам всегда было свойственно надеяться на чудо там, где другие народы складывали оружие и прекращали сопротивление. А мы верили в Божью помощь в самых безнадежных случаях, и надежда на чудо, на то, что, в конце концов, будет Божья подмога, заставляла русских держаться до последнего — до последнего живого, кто может сражаться. Вот и ныне, при всей безысходности жизни при оккупационной власти, во всех русских — язычниках, христианах, атеистах — жива надежда на чудо — на помощь высшую, как бы кто ее ни называл. Но при этом мы твердо знаем, что чудесная помощь дается лишь тем, кто не отступает, не сдается, не падает духом, кто держится до последнего.

Языческий прообраз христианского рая

Ныне лингвистами доказаны языческие истоки слова *рай*. Христианское понимание его — место загробного пребывания душ праведников — не было первоначальным значением этого слова. Академик

О. Н. Трубачев установил родство слова *рай* со славянскими корнями слов *рой* и *река*, имевшими общий корень *рой-/рей-/рай-*. Слово *рай* исконно связано с проточной водой, с рекой, образующей преграду, которой в языческих представлениях отделяется мир мертвых от мира живых. *Рай* буквально означает «заречный». Сама река у славян, как, впрочем, у многих других народов, представляется не только водной артерией земли, но и путем в иной мир или границей между двумя мирами, разделяющей мертвых и живых.

Эти древние языческие представления довольно стойко сохранялись в поверьях русского народа. Во Владимирской губернии люди говорили, что умерший грудной ребенок три дня тоскует по матери, а потом ангелы несут его на «забытную реку» и дают испить ее воды, после чего младенец забывает о матери. В понимании русских на Вологодчине *этот* свет отделен от *того* Забыть-рекой, перейдя через которую на сороковой день после смерти, человек забывал все, что с ним было на земле.

Слово *рай* известно в русском языке и в иных огласовках: *вырей*, *ирий*, *вырай*. Именно в сказочный *вырей*, согласно архаичным славянским представлениям, улетают зимовать птицы, путь же их пролегает через реку, омут или водоворот.

Связь загробного мира с образом реки и заречного пространства наблюдается у многих древних народов: река Стикс и перевозчик через нее душ умерших Харон в древнегреческой мифологии; египетский бог Озирис, путь умершего человека к которому пролегал по водной глади на погребальной лодке: индийский обычай кремации умершего и развеивания его праха над рекой — все это «заречные» представления древних о царстве мертвых. Такие далекие друг от друга народы, как майори и кельты, одинаково мыслили царство мертвых находящимся под водой. Древние славяне не были исключением. Русские летописи донесли до нас обычай хоронить покойника в лодке, которая стала прообразом гроба, самого же умершего в некоторых русских народных говорах до сих пор именуют *райником*. Кстати, слово *радуга*, часто встречающееся в русском языке в огласовке *райдуга*, указывает на ее связь с заречным раем: загадочность игры радужных цветов и явление радуги именно над рекой навевали образ светлой заречной страны без страданий и болезней. Русское выражение «потусторонний мир» отчетливо указывает на представление о пребывании душ умерших не вверху или внизу по отношению к живущим, а по ту сторону — за речной границей.

Если реконструировать, как понятие *рай* превратилось в часть языческого мировоззрения славян, то сначала это было видение рая как места, находящегося где-то за рекой. Именно там находился потусторонний мир, оттуда являлась людям загадочная райдуга. Со словом *рай* было соотнесено в сознании язычников местопребывание душ усопших предков, и возникли обряды погребения или трупосожжения в лодке, связанные с представлением о посмертном обитании умерших в заречье. В этом виде понятие о рае тысячелетиями укоренялось в сознании славян-язычников. Заметим, что в языческий рай переселялись *все* умершие: в мировоззрении славян не существовало посмертного разграничения. Все уходили на тот свет, все имели равную участь, на что указывало выражение *тот свет* — мир, куда попадают все умершие. Христианское мировоззрение — иное, в нем нераскаянные грешники и добрые христиане имеют разную посмертную судьбу. Христианским

«Сябрына»: Беларусь — Россия

миссионерам требовалось доступно объяснить это новокрещеным славянам. Вот тогда-то и пригодилось привычное и понятное слово *рай*, которое обнимало собой у язычников весь *тот свет*, а у христиан стало обозначением места лишь для душ спасенных христиан. Грешным же уготован был *ад*, — заимствованное из греческого языка, это слово означает «пропасть». Обратим же внимание: христианские просветители славян не оборвали преемственности между крещеными славянами и их язычниками-предками. Закрепив слово *рай* в славянском христианском богословии и удержав за ним значение места вечного блаженства для спасенных душ, миссионеры сохранили у славян убеждение, что души их языческих отцов и дедов спасены и обитают в раю.

Совсем иначе сложились христианские представления о загробном мире у большинства неславянских языческих народов Европы, что нашло отражение в их языках. Латинское *infernum* и его переогласовки во всех романских языках, а также немецкое *holle*, английское *hell* — все эти наименования языческого *мира мертвых* исконно обозначали «нижний, пещерный мир», «пропасть» и были приспособлены миссионерами при крещении европейцев для именования *ада*. На Западе народными и сугубо языческими были как раз названия *ада* — преисподней. Понятие и название *paradise* — «рай», заимствованное из греческого языка, и укоренилось-то лишь вместе с христианством. То есть на Западе миссионерство загоняло предков языческих народов в преисподнюю, четко разграничивая посмертную судьбу христиан и язычников. В этом коренится глубокое различие между светлостью и свободным оптимизмом Православной веры и сумрачным аскетизмом, дисциплинарной строгостью католичества. Русское Православие донесло до нас всеобщую надежду на спасение, основанную на мироощущении наших языческих предков, не боявшихся посмертного возмездия и смело смотревших смерти в лицо.

Христианский *рай* — продолжение славянского языческого *рая*, в представление о котором христианские миссионеры внесли мировоззренческие изменения. Но что очень важно подчеркнуть: эти изменения не разрывали преемственности новообращенных христиан-славян с их предками-язычниками, давали надежду на непременную встречу с ними в раю, а, следовательно, один из важнейших древних народных устоев — культ предков — сохранялся нерушимо и даже принес с собой в христианство такие языческие праздники, как Радоница — поминовение усопших на Светлой неделе (его название звучало в древности как Райдоница) и родительские дни, когда христианам полагается ходить на могилы предков, поминать их в храмах и за трапезой.

Мироощущение, в котором *рай* представлялся естественным завершением земной жизни человека, — непременно светлое, потому и характер русского народа, уповавшего на благой исход своего бытия, — неунывающий, терпеливо-стойкий, как бы ни были трудны перипетии русской истории. Нам свойственно верить, что, *не узнав горя, не узнаешь и радости*, что *все перемелется — мука будет* и что *хорошего — понемножку*. Неслучайно формулой нашей стойкости стало упорное и одновременно насмешливое *ничего*! Этим словом, как колом или дубиной, мы отмахиваемся от всякой напасти: болезнь ли одолела — ничего! — перетерпим, враг ли подступил — ничего! — отобьемся, друг ли предал — ничего! — переможем. Мы детей своих, когда упадут

и расшибутся, успокаиваем все тем же — ничего, пройдет! Мы в ответ на всякое участливое отношение к нашему горю, чтобы не раскваситься, не расклеиться в жалости к себе, отвечаем: «Да ничего! Переживем!» Этим поражающим всякого нерусского человека, бессмысленным на первый взгляд *ничего*! — а еще залихватскими: *ништо! ништяк! ничо!* — мы смеемся над горькой судьбиной, превозмогаем, стиснув зубы, беду, сами себя убеждаем в пустячности боли, в преодолении горя, в неизбежности победы. Удалое русское *ничего*! во все времена делало нас самым терпеливым, самым стойким, а потому непобедимым народом, ведающим искони, что за нашу стойкость, упорство и терпение нас непременно ожидает светлый рай. Вот россыпь поговорок, приучающих русского человека не бояться смерти: *«Живи — не тужи, помрешь — не заплачешь»; «Жить надейся, а умирать готовься»; «Не на живот рождаемся, а на смерть. Умел пожить, умей и умереть»*.

Но если всех ожидал, по представлению язычников, *светлый рай*, а люди на земле совершали зло, то где и в чем, согласно языческому мировоззрению, осуществлялся высший суд их деяний? Ведь без идеи воздаяния за добро и зло не живет ни одна религия! Для славянского язычества *Высшим Судом являлась человеческая судьба*. Вот почему издревле знают русские люди: *«От судьбы не уйдешь. Чему быть, того не миновать»*. *Судьба* — достоверно установлено этимологами — это *суд Бога*, в земной жизни отмщающего грешнику несчастьями и бедами и вознаграждающего праведника благами и радостью. Такое восприятие судьбы — чисто языческое, но оно прочно утвердилось в русском христианском мировоззрении. И когда постигает нас болезнь или несчастье, мы язычески всматриваемся в прожитое, там ищем ответ: в чем наш грех, за который пришла расплата? Когда приходит беда, люди причитают: «За что?!» Когда наши враги и ненавистники терпят несчастья и нужду, мы язычески утверждаем: «Бог наказал!» Хотя вроде бы должны их христиански пожалеть. Русские христиане подспудно хранят эти древние языческие убеждения, и такое внимание к своей судьбине, как к Божьему суду здесь, на земле, заставляет нас вдумываться в свои слова и поступки, стараться избегать явного зла, чтобы не испытывать судьбу и не гневить Бога.

Языческая русская светлость представлений о загробной жизни унаследована христианским мировосприятием, не склонным пугаться пекла и адского ненасытного чрева. Не страх перед адом становился причиной русского христианского подвижничества, а врожденная склонность к добру и тяготение к свету. В идее же посмертного воздаяния грешникам за содеянное на земле зло христианство созерцало столь любимую нами мысль о справедливости, без которой русскому народу жизнь не мила.

О языческом значении слов воскресение и крест

Языческими по происхождению являются слова, обозначающие главные христианские символы — *крест* и *воскресение*. Слово *воскресение* происходит от древнего глагола в двух формах, несущих два смысла: *кресити* — «высекать, добывать огонь», *кресати* — «вос-

крешать, оживлять». Первичным является здесь значение оживления, воскрешения по отношению к огню, безусловно, бывшему для древнего человека объектом священного поклонения. Славяне-язычники словом *воскресение* могли именовать священнодействие — возжигание жертвенного огня, за что боги, по языческим поверьям, даровали им жизнь и благоденствие. Об этом свидетельствуют однокоренные *воскресению* слова *краса* и *крес*. *Краса* означала в древности расцвет жизни, ее благополучие и довольство. Вот почему мы именуем красой, красоткой молодую девушку и привычно восклицаем в радости и благоденствии: «Красота!» Старинное славянское слово *крес* донесло до нас языческие представления о жизнетворной силе природы. *Крес* — это древнерусский солнцеворот, а также высшая точка, расцвет жизненной силы, которую славяне связывали с летним солнцестоянием и огнем языческого жертвоприношения. В русских говорах это слово до сих пор сохранило значение «жизнь»: *быть на кресу* — быть живу, *не быть на кресу* — умереть, не оправиться от недуга, *кресу нет* — нет житья. Сохранилась поговорка: *«Смерть на носу, а все будь на кресу»*, означающая примерно то же, что и наше извечное «Помирать собирайся, а рожь сей». *Кресом* называли обряд умилостивления сил природы ради получения *красы* — благоденствия, расцвета и довольства в жизни. В таком случае и *воскресение* в славянском язычестве могло означать возжигание жертвенного огня для совершения языческого *кpeca*. Подтверждением этому являются упоминания о праздновании славянами еженедельных праздников света по *воскресеньям*. Этот день недели означал то же, что у европейцев *Sunday/Sontag* — день солнца, день света. У нас *воскресенье* было днем *креса*.

С принятием славянами христианства оказалось, что слово *воскресение* весьма точно передает смысл события, совершившегося после смерти Господа Иисуса Христа. Выражение «воскреснуть из мертвых» значило буквально «ожить в животворящем пламени». Эта картина была язычникам абсолютно понятна, и выглядела она величественно, и потрясала душу божественной мощью. Греческое слово *anastasia* — «восстание» — гораздо менее подходило к наименованию евангельского события Христова Воскресения, потому что слово это бытовое, а не сакральное. *Воскресение* же являлось священным для славянина-язычника, и оно легко приняло на себя значение великого христианского события, стало символом и сутью русского православного христианства, неся на себе отпечаток древнейшего благоговения славян перед животворящим божественным светом и огнем.

Схожее преображение пережило и древнее славянское слово *крест*, которое вовсе не было заимствовано, как это принято ныне полагать, из древненемецкого неправильно истолкованного имени Иисуса Христа — *Kristos*. *Крест* и производные от него слова *окрест*, *окрестность* существовали и в дохристианские времена. Но что же тогда означало слово *крест* у славян-язычников?

Слово это так же, как и *воскресение*, происходит от глагола *креситu/кресати* со значением «оживать» и «воспламеняться»; образовалось оно присоединением к корню *крес*- другого значимого корня — *ст*- со значением «стоять, устанавливать». Подобным образом сформированы многие русские слова: *перст, пест, шест, хвост* (пучок), *рост* (росток), *руст* (струя, фонтан). Все эти слова обозначают предметы вертикаль-

ной конфигурации, устойчивые в пространстве, все они образованы от глаголов: *перст* — от переть, *пест* — от пихать, *шест* — от ходить и шествовать, *хвост* — от хватать, *рост* — от орать (пахать), *руст* — от рыть и рвать. Славянский *крест* мы можем реконструировать по той же модели. Образованное от глаголов *кресить* и *кресать* со значением «оживать» и «воспламеняться», данное слово имело сакральный смысл: *крест* — столб пламени, охвативший вертикально установленный языческий жертвенник. Такова исконная семантика слова *крест*, которому после принятия славянами христианства отдано равно священное значение. В христианстве *крест* стал обозначать распятие, на котором Господь Иисус Христос принес искупительную жертву за погибающее в грехах человечество.

Языческие отголоски древнейших смыслов слова *крест* сохранились в понятиях *окрест* и *окрестный* — так, вероятнее всего, называли древние славяне священное место вокруг жертвенника. Но сколь продумана и логична была смена значения у слова *крест* с языческого на христианское! Крест — прежде языческий огненный жертвенник — стал крестом, на котором был распят Христос и обрел смысл священного символа христиан, стал оружием духовной силы. В чем суть преображения слова? Господь Иисус Христос принес Себя в жертву за всех людей, и именно Его распятие явилось логическим замещением языческого жертвенника жертвенником христианским.

Христианские миссионеры IX века втолковывали на капищах славянам-идолопоклонникам, приготовлявшим свои огненные «алтари», что Истинный Бог — Иисус Христос, а истинный крест — крест Христов, истинная же жертва — жертва крестного Христова страдания, смерти и воскресения. До сих пор у нас сохранилось это миссионерское выражение в форме клятвы «Вот тебе истинный крест!» Древнее языческое слово *крест* обрело новое христианское значение. Глубинное тождество прежнего и нового понятий — обозначение жертвенника — помогло миссионеру-христианину объяснить славянам, пребывавшим в язычестве, сущность Веры Христовой. Ведь в евангельских чтениях говорится о несении креста как о жертвенном служении человека Богу, в истории о Симеоне Богоприимце упоминается о грядущем явлении ему креста Господня, жертвы самого Бога ради спасения человечества.

Вот так представления о мире и человеке славян-язычников врастали и вживались в христианское мировоззрение, которое благодаря этому не вызывало враждебного отпора и необходимости насаждения Веры огнем и мечом.

Совесть как врожденное русское чувство

Можем ли мы считать, что одно лишь христианство принесло славянам и, прежде всего, русским те нравственные устои, на которых и поныне держимся? Наш язык во всей его истории свидетельствует о том, что в русском христианстве произошло уникальное соединение нравственных понятий язычества с нормами христианской морали. Мерилом добра и зла в русском понимании является *совесть*.

«Совесть, — определяет это слово В. И. Даль, — нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке... внутреннее

«Сябрына»: Беларусь — Россия

сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка, способность распознавать качество поступка, чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее от лжи и зла, невольная любовь к добру и истине, прирожденная правда...» Особенно важна в определении В. И. Даля формула «прирожденная правда», ибо в ней хранится свидетельство того, что славянам было присуще совестное чувство еще в дохристианскую эпоху.

В первых славянских переводах греческих христианских книг авторы называли осознанием или пониманием хорошего или плохого поступка, доброго или злого помысла то, что славяне изначально именовали *совестью*, которая у нас в языке вовсе не означает интеллектуальной работы, производимой рассудком, как у греков. Славянская *совесть* — категория не ума, а чувства, именно поэтому В. И. Даль называет ее «прирожденной правдой» и «невольной любовью» к правде, настолько невольной, что совесть имеет власть над человеком; она, по слову русского языка, отражающему архетипы нашего мышления, способна заставить страдать: совесть спать не дает, мучает, снедает, томит, грызет и даже может убить человека, ведь по русской поговорке, «злая совесть хуже палача».

Само слово *съвесть* содержит два древних корня: корень *съ-* восходит к понятию *свой* и исконно означает «родной, врожденный, данный от Бога», а слово *весть* — это глагол, выражающий высшее, божественное ведение в отличие от глагола *знать*, который обозначал познание внешнего, зримого мира. Так что древнерусское языческое слово *съ-весть* свидетельствовало о врожденном ведении добра и зла, данном человеку свыше, что так точно передано в христианской формуле «совесть — глаз Божий в душе человеческой».

Совесть, с языческих времен данная славянину и закрепленнная в его языке, и в христианстве оказалась идеальным русским мерилом добра и зла. Христианским проповедникам не надо было ни переписывать, ни перетолковывать нравственные законы славянской языческой традиции: христианство легко соединилось с исконной славянской психологией.

В отличие от греческого *sineidesis* и латинского *conscientia*, которые буквально означали «внутреннее знание», работу рассудка, русская *совесть* никогда не определялась умственной деятельностью. Совесть воспринималась русским человеком как нечто цельное, как самостоятельный и притом главный орган души, наделенной чувством доброго и злого. По-русски следует поступать и жить только по совести, сообразуясь с ней, как с индикатором добра и зла. По-русски делать дело на совесть значит — самым наилучшим образом. Преступление, грех, подлость ложатся на совесть русского человека тяжким грузом, давят, как камень истерзанную грудь. Русский человек всегда «знает совесть» — и доныне жив и действует упрек «совесть надо иметь!», а самым что ни на есть обидным укором звучит: «Совести у тебя нет!» Самым жестким и позорным приговором впечатывается в человека брошенное ему в лицо обвинение: «Бессовестный!» По-русски допускается даже брать на свою совесть чужую вину, желая спасти человека, разделять его ответственность перед Богом. Каждому русскому наперед известно, что ему *с совестью не разминуться*.

Совестливость подразумевает непременную искренность. Это слово происходит от понятия *искренний*, то есть ближний, родной, а потому

прямой и честный. Именно совестливость и искренность положили начало нашему обычаю улыбаться только тому, что радует душу, в отличие от американцев, которые улыбаются всегда и напоказ, чтобы продемонстрировать, что у них все блестяще, все о'кей, что они процветают и преуспевают. Искренне улыбаться русские люди способны только по зову души, им *совесть не позволяет* щериться напоказ. Всякому русскому, вздумавшему перенять фальшивую американскую привычку улыбаться, достается от своих: «Чего лыбишься, зубы жмут?» Вот и получается, что от нашей редкой искренней улыбчивости мы кажемся тем же американцам мрачными, хмурыми, вечно недовольными, неудачниками, а они нам представляются лицемерными притворщиками.

Русскому человеку *совесть не позволяет* многое. Разумеется, помимо запрещенных заповедями Закона Божьего убийства, прелюбодеяния, лжесвидетельства, *совесть не позволяет* русскому человеку врать, то есть говорить неправду ради собственной выгоды, еще совесть не позволяет обманывать, обещать несбыточное ради собственной выгоды, наконец, впрямую совесть запрещает воровать, присваивать чужое, а еще — самовозноситься, непотребствовать, насмехаться. За это все мы неизменно чувствуем невольные, нам не подвластные *угрызения совести*! И еще важно: совесть не позволяет русским выгадывать! И даже поговорка-предостережение существует на этот счет: *«Не хочешь прогадать — не выгадывай»*. Получать выгоду, прибыток путем обкрадывания других нашей совестью запрещено!

Множество русских людей, что христиан, что язычников, поддались ныне соблазнам выгоды, оказались бессовестными, утратив долю русскости, когда сожгли, заглушили в себе совесть, заменив ее жаждой наживы. Легко ли им это далось? Попробуйте пожить без легких — задохнетесь: вам будет нечем дышать. Попытайтесь просуществовать без глаз — затоскуете: вам так захочется взглянуть на мир. А совесть — это наши русские легкие, это наше русское зрение, ибо мы по-русски благостно существуем и легко дышим лишь благодаря *чистой совести*, мы по-русски созерцаем мир именно совестными глазами.

Великое горе видеть, как слепнут без глаз совести наши соотечественники, как задыхаются без дыхания совести наши единокровные братья, но они сделали свой выбор, а мы — свой. Совесть и бессовестность разделили нас, развели по сторонам добра и зла, причем разделили независимо от веры, ибо бывает и так, что *совесть — христианская, а душа — цыганская*.

Напомню, что у греков и латинян издревле не было славянского понятия *совести*, у греков и римлян было *внутреннее знание*, которое по-славянски очень точно передавалось словом «сознание», и это различие между западной картиной мира и русской продолжало развиваться и в Средневековье, и в новейшие времена. Русская *совесть* и по сей день не имеет параллелей в западноевропейских языках. Чрезвычайно трудно объяснить англичанам, французам, немцам, что такое «совесть», ибо в этих языках вообще отсутствует подобное понятие. У западноевропейца ключевым для самооценки словом является *honor*, то есть «честь». Честь и бесчестие — суть внешнее мерило человеческих деяний, они произрастают из рассудочного «сознания», которое только и интересовало греко-римскую и западноевропейскую культуру. Для

русского же человека честь была не слишком в чести. Русские дворяне XVIII и XIX веков, воспитанные на европейский манер, вскормленные французской и английской литературой, наученные французскому и английскому языкам, еще могли заботиться более о чести, чем о совести, но коренной, природный русский человек жил, сверяясь с совестью, а не с честью. И живет так доныне. Это глубинное различие между русским и западными народами породило множество других расхождений в нашей национальной психологии и наших нравственных законах. Многих русских удивляет врожденное корыстолюбие и стремление к наживе у современных немцев, англичан, французов, итальянцев, а их, в свою очередь, потрясает неразумная щедрость, порой даже безумное бескорыстие русских, и в нищете готовых снять с себя последнюю рубаху и поделиться последним куском. Очевидно, что дело в коренном расхождении взгляда на существо жизни у западных народов и у русского. Западноевропейцу престижность богатства и наживы необходима для возвеличивания его чести, ибо деньги обеспечивали внешние атрибуты чести — уважение окружающих и власть. Поэтому европейская знать охотно предавалась поклонению золотым кумирам роскоши и денег. А вот с русским понятием *совести* богатство часто входило в противоречие, ибо деньги далеко не всегда приходят праведным путем.

И даже наше русское слово *честный*, вроде бы происходящее от слова *честь*, теснейшим образом связано именно с совестью, ибо *честный*, с точки зрения русского человека, и это твердят нам все русские словари, есть добросовестный человек, поступающий по совести!

Для русского богатство никогда не было самоцелью, ибо честью он сильно не дорожил, а совесть богатство отягощало. Вот отчего русские поговорки не хвалят богатства, заменяя его понятием *достаток*, вписывая в законы русской жизни правила: «Богатым быть трудно, а сытым — не мудрено»; «Будь деньги за богачом, оставался бы хлеб за нами»; «Богатый совести не купит, а свою погубит». Вот почему русские так легко расставались с богатством — ведь на этом жизнь не кончалась, а совести дышалось легче: «Есть деньги, так в свайку, нет денег, так в схиму». Служение деньгам у нас, русских, всегда осуждалось: «Не деньги нас, а мы их нажили»; «Лишние деньги — лишняя забота». Трата денег не считалась у нас зазорной, ведь «ста рублей нету, а рубль — не деньги», горевать о финансовых потерях у русских вообще не принято: «Деньги не голова — наживное дело».

Русской нескаредностью, щедростью, легкостью расставания с деньгами корыстно пользуются другие, живущие рядом с нами народы. Ограбление народного хозяйства России, мошенническая чубайсовская ваучерная приватизация, обесценивание рубля и акций, гайдаровское обнуление банковских счетов, дефолт 1998 года, сегодняшние нищенские пенсии и зарплаты, которые несоразмерны затраченному труду, — все эти спецоперации по изъятию у населения денежных средств оказываются безнаказанными в том числе и благодаря врожденному бескорыстию русских, их неспособности отвоевывать деньги, отсуживать украденное, бунтовать из-за похищенного у них богатства. Там, где немец или француз будет кропотливо и методично засыпать суды исками о возвращении нажитого, русский брезгливо отмахнется от суеты: «Деньги не голова — дело наживное».

Русский народ редко бунтовал ради своего живота и благополучия, и причиной этого является врожденная любовь к правде, именуемая *совестью*, с которой плохо сопрягаются понятия богатства и наживы. Этим множество раз пользовались наши властители, не понимая, что отложенный в дальний ящик народный гнев, оскорбленность ограбленного и поруганного народа накапливаются в русской душе подобно вулканической лаве, ищущей трещины или скважины, чтобы сжечь всех обидчиков разом, но уже не за копейку или краюшку хлеба, а за поруганную справедливость — величайшую святыню русского народа.

Русская совесть как чувство высшей правды, зародившаяся в нас с языческих времен, камертоном звеневшая в наших душах во времена христианского тысячелетия, упорно сохранявшаяся в сердцах в век богоборчества, жива в нас до сих пор. Ее носители в России расцениваются как национальное достояние всеми, кто хоть в малости хранит в себе русское чувство. Мы жаждем видеть совесть в искренних писателях, в верующих священниках, в непродавшихся политиках. И свято верим, что рано или поздно в России будет совестливая власть. А во что мы верим свято, того обязательно добиваемся.

Своеобразие русского покаяния

Русское понятие о *грехе*, имеющее сегодня исключительно христианскую подоплеку, первоначально развивалось в языческой среде. Само слово *грех* происходит от глагола *греть*. Грехи — это деяния и поступки, которые жгли, испепеляли душу и совесть человека, вот отчего так трудно русскому человеку *взять грех на душу* — ведь ее недолго тогда и вовсе сжечь! Представление о том, что вина, проступок жгут человеческую душу, свойственно не одному только русскому народу. В латинской языковой культуре *грех* — *peccatum* — выводят из глагола *pecco* с корнем, родственным нашему русскому глаголу *печь*, родившему понятие о *печали*, которая печет, жжет совесть.

Видимо, то, что мы понимаем под грехом в религиозном, христианском смысле как поступок, противный Закону Божию, как вину перед Господом — это вторичное значение данного слова. Первоначально, в язычестве, *грех* — это вина или преступление, приведшие к беде, напасти, несчастью: «Грех да беда на кого не живет!» За вину следовало отвечать, платить: «Не бойся кнута, а бойся греха», «Чья душа в грехе, та и в ответе». Такая расплата с языческих времен у славян именовалась *покаянием*.

Славянский христианский термин *покаяние* имеет новозаветное греческое соответствие *metanoja*, что в греческом буквально означает перемена мышления, духовный переворот. В русском же языке идея слова *покаяние* совершенно иная. Индоевропейский корень *koj/kaj* отражал физические и нравственные перемены в человеческом существе, и это было не только состояние перехода от сна к бодрствованию, выраженное в словах *покой-почить*, но и все преображения, переживания человеческой души также рассматривались в языке как переход от горя к утешению, от тревоги к успокоению, от погибели к спасению, от беды к радости. Эти состояния переходов выражены в русских поговорках: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»; «Нет худа без добра».

В русском языке до принятия нами христианства подобные трансформации душевных состояний отражались в словах *покаяние*, *каяться*, *окаянный*... Славянский корень *ка-* в таких словах выражал понятия, под которыми славянское языческое племя, род, семья разумели очищение члена племени, рода или семьи от нравственного груза совершенного им преступления — от греха. Глаголы с корнем *kai-* описывали ритуальные действия, совершаемые над преступником. Грешника *окаивали* — обвиняли в совершенном преступлении, оглашали его прилюдно, затем его *прикаивали* — принуждали к ритуалу покаяния; сам ритуал покаяния, вероятно, включал исповедь о совершенном зле, прошение о прощении и наказание. Так преступник раскаивался, очищался от лежавшей на его совести вины. Сохранившиеся в русском языке слова отражали древний ритуал, или *каятины*: *каета* — это порядок ритуальных действий, *кая* или *кайка* — оглашение перед народом своей вины, *кайна* или *цена* — принесение провинившимся выкупа за совершенное зло, *каязнь* или *казнь* — кара за преступление. Существующие у нас в языке слова *окаянный* и *неприкаянный* как нельзя лучше свидетельствуют о дохристианских ритуалах, через которые проводили окаянных, то есть оглашенных преступниками, и неприкаянных, то есть преступников, избегших ритуала покаяния, но мучимых совестью. Вот откуда древнее выражение «ходить, как неприкаянный», оно свидетельствует о том, что издревле не покаявшийся русский человек не находит себе места, мучимый угрызениями совести, ибо *совесть без зубов, а загрызет*.

Подобные ритуалы очищения от преступления, вплоть до казни, в древности звучавшей по-славянски как *каязнь*, существовали у многих индоевропейских народов. Пропасть в Спарте, в которую низвергали государственных преступников, именовалась *кай-адас*. Интересна перекличка реконструированных понятий славянского язычества с индуистской и буддистской традицией очищения от грехов, связанной с горой *Кайлас* в Тибете: «Как Земля совершает круг вокруг светила, дающего ей жизнь, так тибетские паломники совершают обход вокруг священной горы Кайлас. Паломники верят, что прошедший 108 кругов вокруг Кайласа гарантированно возродится в Чистых Землях на небесах. Эта гора считается священной многие тысячелетия у всех народностей, проживающих в близлежащих странах». В названии горы в Тибете и в названии пропасти в Спарте присутствует один и тот же индоевропейский корень *kai-*, несущий идею покаяния и казни с целью очищения души, совести от грехов.

Ритуал очищения от грехов существовал в дохристианскую эпоху у многих народов, но само очищение понималось разными племенами и расами по-разному. Древние евреи, к примеру, ежегодно возлагали свои прегрешения на козла и отпускали его в пустыню, полагая, что теперь именно этот козел отпущения является носителем всех их зол. Так сформировалась психология народа, который перекладывал свои вины и преступления на других, не испытывая ни мук совести, ни чувства раскаянья. У славян было иначе: здесь каждый человек сам давал ответ за свои преступления, искупал вину, внося выкуп — *цену*, или получал наказание — *казнь*. Этот древний ритуал определил психологический тип русского человека, который понимал необходимость покаяния и ответа за все, что он совершил злого в жизни. На этом основывается наше русское убеждение, что «за все в жизни нужно платить».

Мы полагаем, что обряд покаяния совершался славянами-язычниками ежегодно, время его исполнения приходилось на начало весны и связано было с обновлением всего живого, пробуждением от смерти к жизни, очищением от всех накопленных за год грехов. Возможно, сроки проведения *каятин* зависели от лунного календаря. Эти наши предположения основаны на том, что языческие представления о ритуале покаяния впитала в себя и сохранила в отдельных фрагментах бытовая обрядность последней, Страстной седмицы Великого поста. Дни Страстной недели, в особенности ее четверг, именуются чистыми, и именно чистый четверг у русских считается днем обновления всего крестьянского хозяйства на предстоящий год. По поверьям, в этот день в полночь приходит на землю настоящая весна, тогда же годовалым детям первый раз в жизни подстригают волосы, а каждый, кто утром в чистый четверг легко и рано встал, будет вставать легко весь год. В чистый четверг сохраняется в русском народе множество водных и огненных ритуалов очищения, которые, как мы полагаем, восходят к обряду ежегодных языческих *каятин*.

Водные ритуалы проводились и ради жертвоприношения, и ради очищения. Рыболовные артели в России еще в XIX веке именно в чистый четверг топили в реке старую лошадь, задабривая водяного. В тот же день, в четверг, в крестьянских семьях большуха обязана была опустить в колодец или в только что вынутое из него ведро воды серебряную монету — древний выкуп здоровья, чистоты и прибыли в доме. Водный ритуал совершался также с целью омовения, очищения от всего дурного, исцеления от болезней. В народе полагали, что каждый, кто искупался в этот день как можно раньше, «прежде ворона», будет здоров. Это поверье в виде требования вымыться в чистый четверг перед празднованием Светлого Христова Воскресения и убрать дом живо по сей день в каждой христианской семье. Девки с бабами для красоты и долголетия ходили в чистый четверг окачиваться под куриной насестью, девушки спешили умыться в чистый четверг, пока ворона не закаркала, чтобы «любили добрые люди».

Огненные ритуалы, сохраненные в обрядах чистого четверга, не в меньшей степени свидетельствуют о некогда существовавших у славян языческих каятинах. Здесь просматриваются осколки обряда жертвоприношения или принесения выкупа — цены за грехи людей. Именно с этим связана вера в языческие «четверговую соль» и «четверговую свечу». Четверговой солью называют соль, которую калят с квасной гущей только в чистый четверг, она считается целебной и применяется при снятии призоров и колдовства. Соль и квасная гуща (хлебная закваска) — ритуальные *хлеб да соль*, приносимые когда-то язычниками своим божествам как жертвоприношение, как выкуп за совершенное в течение года зло. Остатки сожженной жертвы — «четверговая соль» — сохранялись как благословение языческих божеств на весь грядущий год. Такова же роль «четверговой свечи», в образе которой совместились языческие и христианские представления о жертвоприношении. Свеча, поставленная в православном храме как образ молитвы к Богу и символ покаяния, в народном представлении сохранила значение оберега от бед и болезней, которую присваивали, по всей видимости, остаткам жертвоприношений в языческом ритуале каятин, приуроченных после принятия христианства к чистому четвергу Великого поста.

Свечу от четверговой всенощной давали в руки больным или мучающимся родильницам, четверговыми свечами выжигали кресты на потолках и притолоках для изгнания нечисти, а зажженная четверговая свеча, согласно поверьям, предохраняла в грозу от грома и молнии, которые традиционно считались символами кары небесных сил.

В описанных здесь обрядах мы почти не находим того, что можно было бы обозначить древним термином *каязнь*, видимо, умерщвление преступников не было свойственно славянам-язычникам. В нашем языке сохранились свидетельства, что преступник обычно изгонялся, извергался из рода и семьи, но не подвергался уничтожению. Таковы слова *изгой*, *изверг* и *враг*, обозначающие людей извергнутых, изгнанных из общины и племени, лишенных помощи рода и средств к существованию. Следы обряда изгнания — казнь преступников в русской общине — сохранялись вплоть до XIX века.

Согласно поверьям, парни и девушки в чистый четверг с зажженными лучинами, с метлами и кнутами скакали на лошадях по улицам с шумом и гиканьем, чтобы отвадить от селения *нечисть*, потом в полях ставили две жерди и строили вокруг них тесную изгородь, чтобы нечисть сквозь изгородь не прошла. Мы полагаем, что слово *нечисть* в древности обозначало тех, кто не прошел обряд покаяния, не очистился от грехов. Осужденные на *каязнь* обществом и изгнанные из семьи, рода и племени — они-то и ходили *неприкаянными*. Их *охаивали* — так изменилось в огласовке слово *окаять* — ругали и проклинали.

Таковы, на наш взгляд, остатки древнего языческого обряда покаяния, имевшего, по-видимому, ритуальное название *каятины*. Обряд этот после принятия славянами христианства стал вытесняться христианским Таинством покаяния, которое состоит в том, что «христианин, искренно и сердечно раскаиваясь в своих грехах и намереваясь исправить свою жизнь, с верою во Христа и надеждою на его милости, излагает устно свои грехи перед священником, который также устно разрешает ему его грехи. При видимом изъявлении прощения священником, кающийся невидимо разрешается самим Христом и снова становится невинным и освященным, как после крещения».

Языческое покаяние у славян сменилось христианским взглядом на очищение от зла и греха, в результате слова, связанные с покаянием, приняли на себя новые богословско-христианские смыслы. Но в архетипах нашего мышления стойко сохраняется представление о том, что покаяния на исповеди мало для очищения человека от тяжких грехов. Мысль о расплате за большое зло всегда присутствует в русской душе. Эта расплата или искупление вины в нашем представлении если не совершается добровольно исправлением совершенного зла, то приходит через судьбу, исконно понимаемую как суд Бога.

Психологический склад русского человека, обязанного искупать свои прегрешения, часто оборачивается надрывным самобичеванием: «Сам виноват!» Мы, в отличие от евреев, не склонны перекладывать свою вину на других. Но в противоположность западноевропейцам, доведшим языческую идею выкупа грехов до формальных индульгенций, соединяем древнюю традицию искупления вины с духовной исповедью, что породило русское *христианское понятие покаяния*: исправление совершенного зла волей и силами самого виновного.

Языческие обряды в русском христианстве

Принято считать, что языческие обряды на Руси были жестоко уничтожены христианской церковью. Это не так. Купальские и масленичные игрища, святочные и троицкие народные празднества, сохранившие языческую древность, сожжение соломенных чучел Масленицы, прыжки через огонь на Ивана Купала, хождение ряжеными на святочной неделе по домам и колядование сохранились на Руси почти в нетронутом виде. Причем христианские великие праздники соединились с языческими ритуальными игрищами, которые не имели ничего общего с богословием Православия, а были терпимы Церковью и сохранялись как милые русскому сердцу забавы и развлечения. В то же время многие языческие ритуалы вошли в официальную христианскую обрядность.

Сакральные обязанности волхвов взяли на себя христианские священники, обращавшиеся к Богу с молебнами об урожае, дожде и прекращении засухи, об исцелении болящих и помощи бедствующим. К ним же перешли и ритуалы освящения дома и хлева, скотины и полученного урожая. О последнем свидетельствуют три августовских Спаса: медовый, яблочный и хлебный, когда в церковь приносится для освящения часть собранного меда, яблок, мука и хлеб. По сути, это чисто языческое благодарение Бога. Три Спаса в церковном календаре отмечают разные события церковной истории: в Спас медовый — 14 августа — празднуют изнесение Животворящего Креста Господня, в Спас яблочный — 19 августа — величается Преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор, а 29 августа, в Спас хлебный и ореховый, поминается перенесение в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Но в народной памяти эти дни соединяются с жертвоприношением плодов земных Всемилостивому Богу за его помощь и покровительство в земледелии — истинно языческий ритуал. К языческой традиции восходит и украшение христианских храмов елями на Рождество и березами на Троицу. Отголоскам древних культов поклонения природе и древу жизни радуются равно сердца христиан и язычников. Причем мы с детских лет привыкаем смотреть на убранство деревьев в эти праздники как на священнодействие и, будучи взрослыми, ждем чуда и воспитываем в этой прекрасной традиции своих детей.

В христианские обряды вошли и языческие ритуалы погребения покойных. Языческое причитание заменилось отпеванием, но плаканье сохранилось в народной среде практически повсеместно. Христианская церковь узаконила и *тризну* — языческую обрядовую поминальную трапезу, на которой для покойного ставились чаша с водой и поминальный блин, замененные в новое время рюмкой водки, накрытой краюшкой хлеба. Церковь сохранила обычай выноса тела вперед ногами, чтобы, по поверьям язычников, покойный заметал свой след волосами и дух его не мог потом найти дорогу назад. Для этой же, языческой по сути, цели родные покойного должны бросать комья земли в могилу на гроб — как окончательное, без возврата, прощание с ним. Даже завешивание зеркал в доме, чтобы дух покойного не зацепился за свое отражение, — это сохраненный доныне языческий обычай, с которым никто из христианских миссионеров и не думал бороться.

В современном свадебном ритуале присутствуют языческие обычаи осыпания молодых хмелем и деньгами и хождение жениха и невесты по расстеленному полотенцу — символической дороге жизни. До сих пор на русском свадебном пиру молодых сажают на вывернутую мехом наружу медвежью шубу для богатой и обильной жизни, а это — остаток древней веры славян в покровительство языческого тотема — медведя. Вкушение молодыми ритуальных хлеба-соли, подносимых старшим в роду, — тоже наследие язычества. Христианское в свадебном обряде — только венчание. Языческая народная традиция беспрепятственно бытовала и по сию пору сохраняется в среде русских христиан и составляет красивейшую часть свадьбы.

В христианской обрядности обрели свое место языческие культы огня и воды, древняя вера в их очищающую силу. Культ огня вошел в церковные ритуалы в виде обычая возжигания свечей и лампад, освящающих всякое действие христиан в храмах и предохраняющих от нечистой силы. Культ воды преобразился в христианские ритуалы водосвятия, паломничества к святым источникам, лечения святой водой.

Празднования святым соединились с днями особого поклонения языческим богам. Так, день Ивана Купала (Купало — это не языческое божество, как сегодня нас убеждают, а буквальный славянский перевод греческого наименования Иоанна Крестителя) совпал с ритуалом очищения огнем в честь солнечного божества Даждьбога. Празднования громовику Перуну преобразились в день Святого Ильи Пророка, по убеждению народному, ездившему на колеснице по небу и пускавшему громы и молнии. Христианское почитание святых икон удивительным образом заместило собой обычай поклонения языческим божествам. Культ богинь-рожаниц заместился поклонением Богородице, молитвами которой обеспечивался благополучный исход родов, к Матери Божьей обращались также с просьбой о даровании урожая и приплода скота. Многочисленность чудотворных богородичных икон, которым поклоняются на Руси, архетипически заместила собой сонмище рожаниц, бывших, по представлениям русичей, покровительницами материнства и жизненного изобилия. Именно этим, на наш взгляд, объясняется необъяснимый с точки зрения рационализма факт разнообразного почитания различных типов икон Богородицы — Иверской, Державной, Владимирской, Федоровской, Толгской, Казанской, Троеручицы, Утоли моя печали, Всецарицы, Всех скорбящих радости и множества других, к каждой из которых христиане обращаются с особыми прошениями: исцелить от слепоты — к Казанской, помочь в родах — к Федоровской, спасти от рака — к Всецарице... Божия Матерь представала в различных спасительных образах и тем самым являла зримое всемогущество, укрепляемое священной полуязыческой верой русского народа в чудо и помощь Божию по молитвам Богородицы.

Языческое поклонение сезонным переменам природы было включено в христианский народный календарь, где уже христианские святые, а не языческие божества покровительствовали хозяйственным делам и урожаю, где они же становились наблюдателями за доброй и худой для урожая и скота погодой. Именинами лошадей считался день святых Фрола и Лавра, скот освящался в день Святого Власия, которого прозывали «скотий бог» — за ним таятся отголоски культа языческо-

го божества Волоса. Домашняя птица освящалась на Благовещенье, а пчелы — в день святых Зосимы и Савватия. Освящение деревьев было приурочено к Великому посту — вербосвятие. За иными святыми закрепились погодные приметы: Василий-капельник — 13 марта, Авдотья-замочи подол — 14 марта, Федул-ветреник — 18 апреля, Спиридон-солнцеворот — 25 декабря. Со святыми связывали дни сельскохозяйственных работ: Семен-ранопашец — 10 мая, Федор-житник — 29 мая, Федот-овсяник — 31 мая, Фалалей-огуречник — 2 июня, Акулина-гречишница — 26 июня...

Великую мудрость проявили христианские вероучители, не отталкивая от церкви все, что было близко-дорого и привычно народу, в жизнь которого входила новая религия. В русском народе остались жить такие факты язычества, как вера в приметы, стремление отчураться: «Чур меня!» — или оградиться от сглаза и нечистой силы: «Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить», — и привычное нам «постучим по дереву»...

О том, как преобразились языческие обрядовые названия в христианской культуре, могут свидетельствовать слова *чаровать* и *молить*. Слово *чаровать* выдает свой исходный смысл корнем, восходящим к *чаре*. Древние скульптурные изваяния, находимые археологами в курганах и могильниках, в языческих городищах и на капищах, часто имеют облик женщины, сидящей над чарой — чашкой. Наговор на воду до сих пор является живой практикой колдовства. Ритуал языческого священнодействия с водой, по-видимому, именовался словом *чаровать* — священнодействовать над чарой. Этот смысл слова в осколках сохранился в языке, обозначая действие сверхъестественных сил, применяемых чародеем для воздействия на других людей.

Совсем иначе сложилась судьба слов *молить* и *молитва*. Согласно словарю русских народных говоров, *молить* значит «резать, убивать, приносить в жертву», а слова *молина*, *моленник* обозначают ритуальные кушанья, пироги: они пеклись на святые праздники, и над ними читались молитвы. В свадебных обрядах *моленник* — это пшеничный хлеб с украшениями, которым благословляли новобрачных. *Молить* в русских народных говорах означало «устраивать совместную обрядовую трапезу»: молить кашу, молить пасху, молить корову. *Молитвой* именовалась поминальная пища: кутья, печеный ягненок на домашнем празднике в честь святого покровителя. По всей вероятности, у слов с корнем *мол* — *молить* и *молоть* — изначально был общий смысл разделять, измельчать — это слова одного исконного корня. Значит, *молитва* — это нечто, *отделенное от целого* — урожая, приплода скота — ради жертвы божествам при совершении обрядовых действий в языческие времена. По-видимому, и существование у слова *молить* значения убивать, резать жертвенное животное является наследием язычества.

Так что у современных христианских слов *молить*, *молитва* прежде существовало древнее исходное значение — языческое жертвоприношение. Затем и слова, произносимые при жертвоприношении и обращенные к божествам, тоже стали именоваться глаголом *молить*. Именно в этом смысле слово перешло к христианам для именования богообщения, для произнесения христианской молитвы, в которой отсутствовали всякие следы древних языческих жертвоприношений.

Вот такая получается цепочка: сначала *молить* — это отделять нечто от своих богатств для жертвы языческому божеству, затем — ритуальные действия, связанные с подобным жертвоприношением, и, наконец, *молитва* — это слова, обращенные к божеству при совершении жертвы. Таков окончательный смысл слова *молитва*. Молитва вошла в христианский богослужебный чин как особое название богообщения.

Соединение славянской языческой картины мира с христианским мировоззрением породило удивительное явление, именуемое *Русским Православием*. Своеобразие русского православного взгляда на мир, в отличие от других христианских культур, составляют совестливость и душевность, вера в благой промысел судьбы и отсутствие страха смерти, истовое поклонение святыням и терпеливое ожидание чуда, спрос за прегрешения с самих себя и готовность покаянно искупить содеянное зло. И главное, чем восхищает иные народы Русское Православие, — радостная устремленность к Богу, созерцаемому русскими как Источник света, истины и любви, а не как грозного Судию и Отмстителя. Все это дал нам сплав смыслов нашего родного наречия, хранящего языческую древность в своих корнях, и христианских догматов, что на протяжении тысячи минувших лет были усвоены русским народом из богослужений и Евангелия.



«Очень жду твоего письма...»

Из переписки Ивана Шамякина с русскими переводчиками

В первые послевоенные годы в белорусскую литературу пришла целая плеяда молодых талантливых писателей, исполненных энтузиазма и радости от Великой Победы: Иван Мележ, Иван Шамякин, Андрей Макаенок, Иван Науменко, Василь Быков, Петро Приходько, Владимир Карпов, Алесь Савицкий и многие другие. При поддержке своих старших коллег Якуба Коласа, Петруся Бровки, Петра Глебки, Михася Лынькова, Ильи Гурского, Кондрата Крапивы они начали активно печататься в периодике, издавать книги.

На произведения Ивана Шамякина, как и других молодых писателей, начали обращать внимание русские переводчики. Одним из первых произведений И. Шамякина, переведенным на русский язык, был роман «Глубокое течение», законченный в 1948 году и опубликованный в журнале «Полымя». Готовилось отдельное его издание на белорусском языке. На роман обратила внимание московская переводчица София Григорьева, у которой были белорусские корни. В следующем, 1949, году он вышел на белорусском языке в Минске и на русском — в Москве. С. Григорьева потом признавалась, что очень увлеклась романом и перевела его за два месяца. К произведениям И. Шамякина С. Григорьева обратилась еще раз через одиннадцать лет: в 1960 году перевела на русский язык пьесу «Не верьте тишине».

Кроме С. Григорьевой произведения И. Шамякина на русский язык переводили Михаил Горбачев, Арсений Островский, Павел Кобзаревский, Валентина Щедрина и другие. Но наиболее плодотворные творческие и дружеские отношения сложились у И. Шамякина с питерскими переводчиками Павлом Кобзаревским и Арсением Островским. Последний начал творческие отношения с И. Шамякиным в конце 1940-х — начале 1950-х годов, перевел на русский язык такие рассказы, как «Две силы», «Крестьянка», «Ходоки», «Первое свидание» и другие. Потом были романы: «В добрый час», «Криницы», «Сердце на ладони», «Снежные зимы», «Атланты и кариатиды», пенталогия «Тревожное счастье» (вместе с П. Кобзаревским). Эти переводчики совместно работали и над повестью «Первый генерал».

Сохранилась переписка И. Шамякина с питерскими переводчиками, которая шла на белорусском и русском языках. Переписка с П. Кобзаревским и А. Островским началась в 1950-е годы и продолжалась до смерти переводчиков (до 1970 г.с П. Кобзаревским и до 1989 г. с А. Островским). Письма на белорусском языке к П. Кобзаревскому печатались в журнале «Полымя», 2013, № 7. Предлагаем читателям журнала «Нёман» письма И. Шамякина, П. Кобзаревского и А. Островского на русском языке. Многие письма И. Шамякина к А. Островскому хранятся в Санкт-Петербурге; представляемые — в БГАМЛИ и личном архиве наследников Ивана Шамякина (ЛАНИШ).

1

И. Шамякин — П. Кобзаревскому
10 ноября 1951 года

10.XI.51 г.

Дорогой Павел Семенович!

Ты должен меня извинить. Твое письмо пролежало более м[еся]ца в редакции худож.[ественной] литературы. Дело в том, что с 5 октября по 5 ноября я был в творческом отпуске — ездил в творческую командировку на Полесье. А потом — праздники, и я только вчера появился в редакции и нашел твое письмо. От души благодарю тебя за поздравления и пожелания. Живу на новой квартире, как бог, — просторно, светло, тепло, уютно. Словом, начал богатеть. Особенно разбогател и одновременно разорился сегодня — купил «Победу».

О заявлении твоем узнаю и приму участие, если его не разобрали без меня. А если и разобрали, все равно выскажу свое мнение, да я его уже и высказал. Ваши товарищи из «Совет[ского] писателя» меня тоже немного обидели. Вернули мне сборник с «редакционным заключением», в котором, между прочим, напечатанные на машинке выражения «я думаю», «мне кажется» исправлены на «мы думаем», «нам кажется». Значит, «редакционное заключение» — решение одного человека. Я знаю, как иногда в издательствах делается, и я не обижаюсь на издательство, бог с ними. Но меня удивляет, почему так несправедливо и так пристрастно поступил рецензент. Он охаил все рассказы, кроме «Крестьянки» и «Двух сил». Просто странно. Но однако все это пройденный этап, а кто старое вспомянет, тому... Я иду вперед.

Большой привет жене от меня и моей жены. М. Ф. передает горячий привет лично тебе.

Жму руку.

Иван Шамякин

Печатается по автографу, который хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 436, л. 1.

Кобзаревский Павел Семенович (наст. Гордон Фавий Залманович; 1909—1970) — русский советский писатель-переводчик.

А потом — праздники... — годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

Живу на новой квартире... — на проспекте Независимости, 19 (до 1961 г. проспект имени Сталина).

...из «Совет[ского] писателя»... — советское и российское издательство, основанное в Москве в 1934 г. С 1938 г. — издательство Союза советских писателей. С 1992 года работало на коммерческой основе. С 2009 года книг практически не издает.

...кроме «Крестьянки» и «Двух сил». — Рассказы И. Шамякина, написанные соответственно в 1950 и 1951 гг.

М. Ф. — Шамякина Мария Филатовна (1921—1998), жена И. Шамякина.

2

И. Шамякин — П. Кобзаревскому
24 ноября 1952 года

24/XI 52 г.

Дорогой Павел!

Прости, что мы не написали тебе раньше. Надеялись, что ты приедешь. Очень жалко, что тебя не было. Очень мне хотелось, чтобы тебя пригласили, но — увы! — в этом вопросе я был беспомощен. Мария Филатовна от души благодарит тебя за посылку. А я ругаю. Не удивляйся. Ругаю потому, что по твоей вине я не смог съесть эту замечательную закусь под добрую выпивку 7 и 8 ноября. Посылку мы получили только 11, ибо на сообщении ты вместо моего адреса написал свой: Проспект имени Сталина, 51, кв. 27. Шамякину и т. д. И сообщение это блуждало. Но я шучу, что ругаю. Наоборот,

такой обжора, как я, доволен, ибо на праздники съели б гости, а так я съел сам. Колбаса была замечательная. И съел я ее не сам. 12 ноября было обсуждение моего романа на секции прозы. После обсуждения мы устроили у меня хороший сабантуй, выпили ведро гарэлкі и закусили колбаской. Роман получил хорошую оценку, хоть вызвал ожесточенные споры.

С 7 по 17 пил ежедневно. Ни разу в жизни не напивался так, как на банкете у Коласа. Юбилей прошел пышно.

С 18 сидел на умном совещании по детской литературе. Совещание было хорошее, деловое. Бабы — Прилежаева, Белохова, Каровщикова, Кардашова — оказались на высоте своего положения. Умные женщины! Были б это мужчины — вряд ли провели б так совещание — спились бы.

Как твое здоровье? Как работа? Как здоровье Таси? Напиши или позвони. Жду. Привет тебе от Марии Филатовны и Лины, которая ждет карандаши.

С приветом.
Твой Иван

P. S. Еще раз спасибо за посылку. У Маши есть желание попросить тебя повторить этот эксперимент.

Павел, дорогой! Выполни очень важную для меня просьбу: узнай в Гослите, что там с «Глубоким течением». Помнишь, мы спрашивали с тобой, и они тогда ответили, что книга подведена к печати, но нет бумаги (?). Неужели и сейчас все еще нет бумаги в таком издательстве?

И. Ш.

Печатается по автографу, который хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 436, л. 2.

12 ноября было обсуждение моего романа на секции прозы. — Романа «В добрый час».

...как на банкете у Коласа. Юбилей прошел пышно. — 70-летие со дня рождения народного поэта БССР Якуба Коласа (наст. Мицкевич Константин Михайлович; 1882—1956).

С 18-го сидел на умном совещании по детской литературе. — С 17 по 20 ноября 1952 года в Минске проходило совещание по белорусской детской литературе, организованное по решению секретариата Союза писателей СССР. Были приглашены писатели Москвы, Ленинграда (с 1991 года — Санкт-Петербург), Украины и Латвии.

Прилежаева Мария Павловна (1903—1989) — русская советская писательница.

Белохова, Каровщикова — на сегодняшний день биографических сведений не выявлено.

Кардашова Анна Алексеевна (1918—2013) — русская советская детская писательница.

Тася — жена П. Кобзаревского.

Лина — Шамякина Лина Ивановна (род. 1941), дочь И. Шамякина.

...узнай в Гослите, что там с «Глубоким течением». — В 1952 году роман «Глубокое течение» вышел в Москве (4-е и 5-е изд.). *Гослит* — «Художественная литература» (Худлит, ранее Государственное издательство художественной литературы, Гослитиздат) — советское, впоследствии российское книжное издательство.

3

И. Шамякин — П. Кобзаревскому
24 ноября 1956 года

Дорогой Павел!

Получил твое письмо. Дома у меня, Павел, дела неважные: Маша в больнице и болеет Лина, о чем Маша не знает. Мотаюсь день и ночь. А тут еще записали на 2-х недельный семинар молодых прозаиков — и все это на моей шее.

Повесть я сдал в «Полымя», идет в первом номере. Есть кое-какие поправки, которые я обязательно пришлю тебе до того, как ты предложишь повесть какому-либо журналу. Какому? Каково твое личное мнение о повести? У нас ее встретили очень хорошо, даже товарищи, которым мое творчество не нравилось, отзываются восторженно.

Есакову я сказал о письмах и проверю. Бровка, конечно, забыл все сделать после праздника. Я напомнил ему.

Как движется работа у Арсения? Думает ли он предложить роман журналу? Вновь-таки — какому? Как это тяжело напечататься в русском журнале! Кроме как с рассказами, я ни разу не попал туда.

Я уже и не спрашиваю о твоих домашних делах. Сейчас я особенно понимаю, как тебе тяжело. Мой большой привет Тасе.

Жду твоих вестей.

Твой Иван

24/XI 56 г.

Печатается по автографу, который хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 436, л. 5.

Маша — М. Ф. Шамякина, см. комментарий к письму № 1.

Повесть я сдал в «Полымя», идет в первом номере. — Повесть «Неповторимая весна» из пенталогии «Тревожное счастье». Опубликована в журнале «Полымя», 1957, № 1.

Есаков Алесь (Александр Александрович; 1911—1985) — белорусский писатель, критик.

Бровка Петрусь (Петр Устинович; 1905—1980) — белорусский поэт, прозаик, общественный деятель. Народный поэт БССР (1962). Герой Социалистического труда (1972). Лауреат Ленинской премии 1962). Лауреат Сталинской премии (1947, 1951). Лауреат государственной премии БССР (1970, 1976).

Арсений — Островский Арсений Георгиевич (1897—1989), русский литературовед и переводчик.

Думает ли он предложить роман журналу? — Роман И. Шамякина «В добрый час», который переводил А. Островский на русский язык. Опубликован в альманахе «Советская отчизна», 1952, № 2, 6; 1953, № 2. Отдельным изданием вышел в Ленинграде в 1955 году.

4

И. Шамякин — П. Кобзаревскому 23 июля 1957 года

Дорогой Павел!

Ты меня очень ругаешь? Но, знаешь, я не очень виноват. Я вернулся из Терюхи 15. Мне передали рукопись, оставленную тобой. Но одновременно меня ждала телеграмма с вызовом в Москву. Я немедленно полетел. Я взял повесть с собой, думал: прочитаю в Москве и вышлю тебе. Где там! Я работал над романом и задыхался от дикой жары. Вернулся я из Москвы позавчера. Прочитал повесть. И знаешь, что я тебе скажу? Очень хорошая повесть. Честное слово. Автору и то приятно читать. Но одно место мне не очень нравится: вступление, запев. Ты знаешь, я переписывал его много раз и сейчас вновь исчеркал. У меня даже явилась крамольная мысль: снять совсем. Жалко. Правок немного, но ты их перенеси, пожалуйста. Я ведь дотошный. Сейчас сижу в Минске, работаю в Союзе. Уже появилось желание писать. Это хорошо. Его долго не было, такого желания.

Не спрашиваю, как твои дела.

От души желаю, чтобы все было благополучно дома и успешно в работе.

Привет Тасе.

Твой Иван

23/VII 57 г.

Печатается по автографу, который хранится В БГАМЛМ. Ф. 31, оп. 2, ед хр. 436, л. 9.

Терюха — деревня Гомельского района Гомельской области, родина жены И. Шамякина — Марии Филатовны.

Мне передали рукопись, оставленную тобой. — Перевод повести И. Шамякина «Неповторимая весна» (1956) на русский язык, сделанный П. Кобзаревским.

Я взял повесть с собой... — повесть «Неповторимая весна» (1956).

Я работал над романом... — над романом «Криницы» (1953—1955).

Прочитал повесть. — «Неповторимая весна» (1956).

5

П. Кобзаревский — И. Шамякину
24 апреля 1960 года

Ленинград, 1960, IV, 24

Дорогой Ваня, добрый мой друг!

Прочитал твое письмо и огорчился, прочитал вторично и огорчился еще больше. Разве ты мог подумать, что я и Арсений Георгиевич, сердечно любя тебя, чудесного человека, отличного настоящего писателя, могли не заботиться о публикации «Тревожного счастья» в журнале. Я еще в конце прошлого года неоднократно беседовал с С. Н. Ворониным, заручился его принципиальным согласием, а когда русский текст повестей был готов, Воронин ушел в трехмесячный отпуск. Без него (его заместитель человек с противоположными литературными вкусами), делалось в журнале наоборот. Я все время ждал возвращения Воронина, а его все еще нет, хотя пошел уже шестой месяц со дня его ухода в отпуск. Теперь нам говорят, что, возможно, он вернется после Мая.

Я с тобой, Ваня, вполне согласен, что толстый журнал представляет интерес для самого замечательного писателя и вполне разделяю твое недовольство.

Был бы сердечно рад, если бы «Огонь и снег» удалось опубликовать в «Неве» или в одном из толстых журналов. Думаю, что Арсений будет также доволен этим, как ты и я. Он завтра вернется из Москвы и я, посоветовавшись с ним, напишу тебе еще раз.

Тебе, вероятно, Арсений говорил, что я болею и что болезнь прогрессирует. Чувствую себя плохо, однако стараюсь работать много. В этом моя радость. Других радостей пока еще нет. Болезнь сложная, трудно поддающаяся лечению. Я стараюсь, как только боли несколько утихают, забыть о них и работать. Работа сохраняет мое душевное равновесие. А это самое главное.

Сердечно приветствую тебя, Ваня, Машу и детей с наступлением праздников радости, весны, солнца, света, счастья. Пусть это будет всегда с тобою и со всеми твоими близкими. Желаю новых писательских успехов.

Я всегда от всего моего сердца радуюсь каждому твоему успеху, каждой твоей радости. Так пусть же они всегда будут с тобой.

Желаю тебе и всем твоим близким всего самого доброго.

С весенним приветом, душевно всегда твой
Павел.

Печатается по машинописи, которая хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 269, л. 2.

Арсений Георгиевич — А. Г. Островский, см. комментарий к письму № 3.

...могли не заботиться о публикации «Тревожного счастья» в журнале. — Повести из пенталогии «Тревожное счастье» в переводе на русский язык печатались в газетах «Знамя юности», «Советская Белоруссия» и др.

С. Н. Воронин — нужно Воронин Сергей Алексеевич (1913—2002), русский прозаик, в 1957—1964 гг. — главный редактор журнала «Нева».

...«Огонь и снег» удалось опубликовать в «Неве» или в одном из толстых журналов. — В журнале «Нева» и в других журналах на русском языке не публиковалась. *«Нева»* — русский ежемесячный журнал, издается в Ленинграде (Санкт-Петербурге) с апреля 1955. Основан на базе «Ленинградского альманаха».

6

П. Кобзаревский — И. Шамякину
23 февраля 1961 года

Ленинград, 1961, 02, 23

Дорогой Ваня,

Я с большой радостью и удовольствием прочитал твои рассказы, переведенные Арсением. Хорошие рассказы. Как все твои рассказы — душевные и тонко-психологические.

Я с удовольствием принимал участие в переговорах с редакциями «Звезды» и «Невы» по поводу их публикации. Я очень рад, что два рассказа будут напечатаны в 5-ом номере «Звезды».

О «Чудаке-человеке» и «Моднице» я разговаривал в «Неве». Мне сказали, что в связи с тем, что «Звезда» печатает твои рассказы в 5-ом номере, «Нева» к вопросу о публикации других твоих рассказов вернется позже — в летние месяцы. Я убежден, что в этом году и «Нева» опубликует твои рассказы. Мы будем об этом заботиться.

Арсений мне сказал, что «Чудака-человека» и «Модницу» хочет напечатать «Неман» и просил переслать тебе рукописи. Я выполняю его просьбу.

Я сейчас болен. Не встаю с кровати около трех недель. Пролежу, вероятно, еще неделю. Как только поправлюсь, приеду в Минск по вопросам издания книг белорусских писателей в 1962—63 гг.

Если силы позволят, приеду в первой половине марта.

Буду очень рад видеть тебя, мой дорогой друг, твою семью и других моих добрых друзей.

Желаю тебе здоровья и радостей.

Дружески тебя приветствую и обнимаю.

Душевно всегда твой.

Маше, детям, друзьям самый сердечный привет.

Печатается по машинописи, которая хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 269, л. 3.

Я с большой радостью и удовольствием прочитал твои рассказы, переведенные Арсением. — Рассказы «Вечерний сеанс» (журнал «Дружба народов», 1961, № 1), «Некрасивая» (журнал «Огонек», 1961, № 23), переведенные А. Г. Островским на русский язык.

«Звезда» — старейший ежемесячный «толстый» журнал России. Издается в Петрограде — Ленинграде — Санкт-Петербурге с января 1924 года.

О «Чудаке-человеке» и «Моднице» я разговаривал в «Неве». — Рассказы И. Шамякина, написанные в 1960 году. В журнале «Нева» не были опубликованы.

...что «Звезда» печатает твои рассказы в 5-ом номере...; ...«Нева» к вопросу о публикации других твоих рассказов вернется позже — в летние месяцы.; ...что «Чудака-человека» и «Модницу» хочет напечатать «Неман»... — сведения о публикации не выявлены.

7

П. Кобзаревский — И. Шамякину
21 апреля 1965 года

Ленинград, 1965, 21, IV,

Дорогой Иван Петрович,

будучи в Москве 16 апреля, я заходил в Гослитиздат. Ни А. И. Пузикова, ни Лебедевой не было. Я разговаривал с Марусичем. Рассказал ему все о трилогии Мих. Климковича «Георгий Скорина». Просил его включить в план издания на 1967 год. Я рассказал ему и о том, что перевод этой трилогии выполнен Вс. Ал. Рождественским. Просил я Марусича и о том, чтобы включили в план редподготовки роман М. Зарецкого «Стежки-дорожки».

Марусич сказал мне, чтобы я сообщил в СП Белоруссии о том, что если эти книги будут рекомендованы Союзом писателей Белоруссии к изданию на русском языке, то пусть они будут включены в рекомендательный список, который СП Белоруссии должен прислать Гослиту. На этом моя беседа с Марусичем закончилась.

Очень бы хотелось, чтоб эти две книги вошли в Ваш рекомендательный список.

Всеволод Александрович выправит все недостатки перевода, которые были замечены в рецензиях на эту книгу.

Роман «Стежки-дорожки» я хотел бы перевести. Заявка моя уже с 1964 г. лежит в издательстве.

В ближайшие дни я встречусь с Островским. Мы сделаем расклейку «Тревожного счастья» и отправим в издательство.

Я чувствую себя средне. Начал работать сразу же после возвращения домой.

Печатается по машинописи, которая хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 269, л. 4.

Пузиков Александр Иванович (1911—1996) — русский издатель, писатель, литературовед. С 1945 г. в издательстве «Художественная литература», где проработал 42 года, из них 38 лет — главным редактором.

Лебедева, Марусич — сотрудники издательства «Художественная литература».

...о трилогии Мих. Климковича «Георгий Скорина». — Трилогия белорусского писателя Михаила Николаевича Климковича (1899—1954) «Георгий Скорина» (1946, 1947, 1955).

...перевод этой трилогии выполнен Вс. Ал. Рождественским. — Трилогия М. Климковича «Георгий Скорина» в переводе русского поэта Всеволода Александровича Рождественского (1895—1977) выходила в 1958 году. Более поздних изданий на русском языке на сегодняшний день не выявлено.

...роман М. Зарецкого «Стежки-дорожки». — Роман белорусского писателя Михася Зарецкого (Михаил Ефимович Косенков; 1901—1937) «Стежки-дорожки» (1928).

Роман «Стежки-дорожки» я хотел бы перевести. — Скорее всего перевод романа П. Кобзаревским не был сделан. На сегодняшний день сведений о переводе не выявлено.

Островский — см. комментарий к письму № 3.

Мы сделаем расклейку «Тревожного счастья» и отправим в издательство. — Пенталогия «Тревожное счастье» в переводе на русский язык П. Кобзаревским и А. Островским вышла в Москве в 1966 году.

8

П. Кобзаревский — И. Шамякину 22 июня 1966 года

22 июня 1966 г.

Дорогой Иван Петрович!

Хотим сообщить Вам о том неприятном положении, которое создалось после нашего возвращения со съезда.

Как Вы знаете, нам надо согласовать с Ленинградским Союзом ряд дел к 50-летию Советской Белоруссии. Однако выяснилось, что некоторые товарищи из секретариата расценивают то, что приглашения на белорусский съезд были посланы нам, минуя Союз, как игнорирование нового ленинградского секретариата. Вряд ли это благоприятно повлияет на продвижение наших общих дел.

Мы перед съездом звонили Вам домой о том, что такую бумажку на имя ленсекретариата от белорусского Союза надо направить, и рассчитывали, что Вам это было передано. В горячке съездовских дней мы в Минске не справились, было ли такое письмо послано. Оказывается, в Ленинграде его не получили (очевидно, по оплошности канцелярии или почты). Очень бы хотелось это недоразумение уладить.

На одном из ближайших заседаний нашего секретариата будет обсуждаться план Лениздата и, в частности, вопрос о двух белорусских сборниках к 50-летию. Было бы очень желательно, как мы поняли, чтобы белорусский Союз направил в адрес М. А. Дудина (нашего первого секретаря Л. О. Союза) письмо с просьбой поддержать эти сборники.

Один из этих сборников — «Белорусская басня» уже по предварительным переговорам встречает в Лениздате положительное отношение.

Что же касается намеченного нами сборника избранных белорусских повестей за 50 лет, то издательство считает такие сборники слишком громоздкими и малорентабельными. Надо как-то сузить тему сборника. Мы ждем Ваших предложений. Со своей стороны хотели предложить на Ваше обсуждение идею создания сборника небольших военный повестей (старых и новых), показывающих большой вклад белорусского народа в дело победы над фашизмом. Нам кажется, что такой сборник будет иметь шанс на издание.

О сборнике «Белорусские рассказы» в принципе вопрос можно считать решенным, поскольку Н. В. Лесючевский относится к его изданию положительно. Директор Леноттделения Г. В. Кондрашов обещает осенью поставить все это на деловые рельсы.

Относительно дальнейших наших дел будем держать Вас в курсе.

Ждем от Вас сообщения: что Вы по этому поводу думаете и предполагаете предпринять.

Желаем Вам всего наилучшего
Ваши

Печатается по машинописи, которая хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп.. 2, ед. хр. 269, л. 5.

...после нашего возвращения со съезда. — Речь идет о Vсъезде писателей Беларуси, который проходил 12—14 мая 1966 года.

...ряд дел к 50-летию Советской Белоруссии. — Имеется в виду издание на русском языке ряда книг белорусских авторов к 50-летию образования БССР, которое отмечалось 1 января 1969 года.

Лениздат — советское и российское многопрофильное универсальное издательство. Образовано в 1938 году на базе Ленокогиза (Ленинградского отделения КОГИЗ) как издательство Ленинградского обкома ВКП. В 2009 г. преобразовано в «Ленинградское издательство».

...вопрос о двух белорусских сборниках к 50-летию. — Речь идет об издании сборников поэзии и прозы к 50-летию образования БССР.

Дудин Михаил Александрович (1916—1993) — русский советский поэт, переводчик, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1976). Лауреат Государственной премии СССР (1981). Возглавлял Ленинградское отделение СП СССР.

Один из этих сборников — «Белорусская басня»... — год издания на сегодняшний день выяснить не удалось.

...сборника избранных белорусских повестей за 50 лет... — вышел в Ленинграде в 1971 г.

О сборнике «Белорусские рассказы»... — вышел в Москве в 1971 г.

Лесючевский Николай Васильевич (1908—1978) — литературный деятель, критик и публицист. Директор издательства «Советский писатель».

9

П. Кобзаревский — И. Шамякину
12 июня 1969 года

Ленинград, 1969, VI, 12,

Дорогой Иван Петрович,

Я завершил работу над вторым вариантом сборника «Белорусские рассказы». Прочитай, пожалуйста, его содержание и если есть возможность, сообщи мне свое мнение.

Сергей Леонидович просил, чтобы ты и Иван Павлович подписали письмо в издательство «Советский писатель», как члены редколлегии сборника. Проект письма посылаю тебе. Если Вы его примите, пожалуйста, отправьте его Кирьянову. Хорошо будет, если он письмо получит.

Не дожидаясь ответа от тебя, рукопись сборника я пошлю в издательство. Если будут замечания и пожелания по составу сборника, я прошу тебя, как можно скорее, сообщить мне об этом. Очень жду твоего письма, мой милый друг!

О том, в каком состоянии находится издание сборника «Белорусские повести», тебе рассказывали Нил Гилевич и Микола Ткачев. Мы очень надеемся, что повесть, которую хотят видеть в сборнике руководители Лениздата, Вы нам поможете найти. Мы ее быстро переведем и сможем завершить всю работу над сборником. Все оформление сборника готово: переплет, шмуцтитул, фотографии авторов.

Я очень ждал и жду твою новую повесть. Ты обещал представить мне возможность перевести ее для одного из ленинградских журналов. Если это осуществится — ты мне сделаешь самый дорогой подарок к моему 60-летию.

Дошли ли до тебя мои письма? Я несколько раз писал тебе, но к моему очень большому огорчению, не получал от тебя ответа. Я писал тебе и на адрес Союза и по новому адресу твоей квартиры.

Пожалуйста, мой дорогой Иван Петрович, на сей раз ответь мне на мое письмо. Я очень жду твоего ответа.

Я работаю по-прежнему. Здоровье мое — как положено человеку в шестьдесят лет. Сердце подстегиваю, оно работает с перебоями, все же работает... и не думаю, не хочу знать на какой из дорог остановится сердце мое!

Сейчас я работаю над книгой своих рассказов и перевожу книгу Алены Василевич.

Твое письмо гл. редактору Лениздата Д. Т. Хренкову возымело свое действие. Повесть Ивана Громовича «Сын Вишневых» Лениздат выпустит в свет. Я очень рад этому, зная состояние Ивана Ивановича.

Мои домочадцы в прежнем состоянии. Молодое растет, старое старится.

Как поживают твои домочадцы? Всем — Марии Филатовне, детям, внуку от меня и моих домочадцев сердечный привет с самыми добрыми пожеланиями здоровья и радостей.

Очень жду твоего письма.

Сердечно приветствую, дружески.

Всегда
Твой Павел

Печатается по машинописи, которая хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 269, л. 6.

Сергей Леонидович — Кирьянов Сергей Леонидович (1907—1982), в то время заведующий редакцией прозы народов СССР издательства «Советский писатель».

Иван Павлович — Мележ Иван Павлович (1921—1976), белорусский писатель. Народный писатель БССР (1972). Лауреат Ленинской премии (1972). Лауреат Государственной премии БССР (1976).

Гилевич Нил Семенович (род. 1931) — белорусский поэт, литературовед, критик, переводчик, фольклорист, общественный деятель. Народный поэт БССР (1991). Лауреат Государственной премии БССР (1980). Заслуженный деятель науки БССР (1980).

Ткачев Микола (Николай Гаврилович; 1918—1979) — белорусский писатель.

Я очень ждал и жду твою новую повесть. — Повесть «Первый генерал».

Ты обещал представить мне возможность перевести ее для одного из ленинградских журналов. — Повесть «Первый генерал» в переводе П. Кобзаревского и А. Островского на русский язык опубликована в журнале «Октябрь», 1970, № 11.

...ты мне сделаешь самый дорогой подарок к моему 60-летию. – 60-летие П. Кобзаревского отмечалось 14 августа 1969 г.

...и по новому адресу твоей квартиры. — По улице Янки Купалы.

Сейчас я работаю над книгой своих рассказов и перевожу книгу Алены Василевич. — Имеются в виду книга П. Кобзаревского «Говорят мои друзья» (Минск, 1971) и перевод повести на русский язык белорусской писательницы Алены Василевич (род. 1922) «Доля тебя найдет» (опубликована в журн. «Неман», 1970, № 3).

Хренков Дмитрий Терентьевич (1918—2002) — главный редактор «Лениздата», затем журнала «Нева», автор книг и статей о творчестве А. Гитовича, М. Дудина, С. Орлова, О. Берггольц, Б. Лихарева, А. Межирова.

Повесть Ивана Громовича «Сын Вишневых» Лениздат выпустит в свет. — сборник белорусского писателя И. Громовича (1918—1986) «Семья Вишневых» (Рассказы и повесть) вышел в Москве в 1977 г.

10

И. Шамякин — П. Кобзаревскому
Конец декабря 1969 года

Дорогой Павел!

Благодарю за план, за библиографическую справку. Такой план я имею — во «Всеобщей истории». Я хотел более детальное пособие по изучению Петрограда 1917 г. Говорят, когда-то печатался тот план, по которому работал ВРК и Ленин.

Пришли мне туристический план Ленинграда. Пометь на нем, как назывались мосты через Неву, тогда как назывались — в 1917 г. Если сможешь выяснить (позвони в музей!), пометь, где помещалось Владимирское юнкерское училище. Как назывались прилегающие к нему улицы? Где было Михайловское училище? Если я буду чувствовать провалы, я приеду в Ленинград, чтобы проверить все на месте. Может, мне и не надо будут в повести все эти названия, но для меня надо полная ясность, где это было, как и то — как это было.

Работа затягивается. Но встречу с Лениным я написал. Кажется, получилось.

Хочется мне сдать вещь в юбилейный номер. Но меня начали выбивать из строя болезни.

Как ты? Как самочувствие? Сегодня передали печальную для нас весть: умер Е. С. Мозольков. Так неожиданно. Мы в Союзе все очень расстроились.

А на второй день — Петр Федорович Глебка. Это меня так ошеломило, что я не отправил тебе письма. Вот как оно бывает!

Но что сделаешь! Надо жить и работать!

Наступает Новый год!

Поздравляю с годом 1970!

Пусть он будет для всех нас счастливым.

Наилучшие пожелания тебе лично, семье твоей от меня и Марии Филатовны.

Жму руку.

Иван Шамякин

Печатается по автографу, который хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 436, л. 54.

Датируется декабрем 1969 года по содержанию письма.

Благодарю за план, за библиографическую справку. — За план Петрограда и библиографическую справку по периоду 1917 г.

«Всеобщая история» — имеется в виду многотомная энциклопедия «Всеобщая история».

ВРК — Петроградский военно-революционный комитет, орган Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, созданный 12 (25) октября 1917 г., как заявлялось, для защиты революции от «открыто подготавливающейся атаки военных и штатских корниловцев» по инициативе председателя Петросовета Л. Д. Троцкого, а фактически подготавливавший и руководивший Октябрьским вооруженным восстанием в Петрограде.

Владимирское юнкерское училище — Владимирское военное училище (1910—6 (19) ноября 1917), военно-учебное заведение Российской императорской армии, готовившее офицеров пехоты, до 1910 года: 1.12.1869—1.09.1908 — Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище; 1.09.1908—1910 — Санкт-Петербургское военное училище.

Михайловское училище — Михайловское артиллерийское училище, специальное военно-учебное заведение Российской империи. Открыто в Санкт-Петербурге 25 ноября 1820 г. по инициативе генерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Павловича.

...и не надо будут в повести... — повесть «Первый генерал», первое название «Судьба моего земляка».

Хочется мне сдать вещь в юбилейный номер. — Опубликована повесть «Первый генерал» под названием «Судьба моего земляка» в журнале «Полымя», 1970, № 4 к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

...умер Е. С. Мозольков. — 15 декабря 1969 г.

А на второй день — Петр Федорович Глебка. — 18 декабря 1969 г.

11

И. Шамякин — П. Кобзаревскому
Начало января 1970 года

Дорогой Павел!

Устрой, если можно, этих двух путешественниц в гостиницу. У них богатые отцы, оплатят любой номер. Если нельзя устроить в гостиницу, сделай, чтобы они где-либо ночевали. И дай им наставления, как вести себя в славном граде Ленинграде и что посмотреть в первую очередь.

Обнимаю тебя
Иван

Ленинград
Московский просп. 51, кв. 29
т. 2-07-07
Павел Семенович

Печатается по автографу, который хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 436, л. 58.

12

П. Кобзаревский — И. Шамякину
26 мая 1970 года

Ленинград, 1970, 05, 26,

Дорогой Иван Петрович,

сегодня, получив твою телеграмму, отправил в «Молодую гвардию» Зое Николаевне Яхонтовой рукопись нашего перевода твоей повести «Судьба моего земляка».

Перевод давно завершен. Задержала машинистка.

Арсений Георгиевич, уезжая 4 мая в Ялту, взял с собою только что полученную от машинистки свою часть перевода — 5 а.л. Мою часть машинистка сделала только к 12 мая.

Арсений Георгиевич 17 мая прислал мне свою часть, а я отправил ему прочитать мою часть перевода, тоже 5 а.л.

Мы решили так сделать для того, чтобы все было стилистически однотипно. Мне кажется, что так и получилось. Пожалуйста, прочитай и сообщи свое мнение.

Арсений Георгиевич мне еще не вернул мою часть рукописи перевода, а я ее ждал со дня на день.

Сегодня, после твоей телеграммы, послал в издательство. Если и будет кое-какая правка, сделаю в корректуре.

Рукопись в издательстве будет к 1 июня.

Посылаю один экземпляр тебе. Пожалуйста, прочитай и сообщи в издательство, что перевод тобою авторизован. Надеюсь, что у тебя будут замечания, пожалуйста, сразу сообщи нам.

Беседовал в «Звезде» и в «Неве» о возможности публикации повести.

И в «Звезде» и в «Неве» сказали, что можно только говорить о 4—5 номерах 1971 года.

«Молодая гвардия» твою книгу намерена выпустить к твоему 50-летию, к февралю 1971 года...

Что же нам делать? Пожалуйста, посоветуй в какой журнал послать рукопись в Москву.

Жду твоего письма.

В Ленинграде я буду до 15 мая (скорее всего до 15 июня, в письме П. Кобзаревского к З. Н. Яхонтовой от 26.V насчет повести И. Шамякина «Судьба моего земляка» речь идет о 15 июня: До 15 июня я буду в Ленинграде — О. Ш.). Потом еду в Дом творчества писателей в Дубулты.

Когда будет Ваш съезд? Если не трудно, пожалуйста, напиши мне.

Желаю тебе и всем твоим домочадцам здоровья и благополучия.

Дружески твой

Сердечный привет из дома в дом!

Печатается по машинописи, которая хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 269, л. 7.

«Молодая гвардия» — одно из старейших советских, а затем российских издательств.

Яхонтова Зоя Николаевна — заведующая редакцией современной прозы в издательстве «Молодая гвардия».

...повести «Судьба моего земляка». — Окончательное название повести «Первый генерал».

Арсений Георгиевич — А. Г. Островский, см. комментарий к письму № 3.

Беседовал в «Звезде» и «Неве» о возможности публикации повести. — В этих журналах повесть не была опубликована. *«Звезда»* — см. комментарий к письму № 6. *«Нева»* — см. комментарий к письму № 5.

«Молодая гвардия» твою книгу намерена выпустить к твоему 50-летию, к февралю 1971 года... — 50-летие И. Шамякина отмечалось 30 января 1971 года, в Москве в 1971 году вышла книга «Первый генерал: Повести, рассказы».

...в какой журнал послать рукопись в Москву. — Повесть «Первый генерал» опубликована в журнале «Октябрь», 1970, № 11.

Дом творчества писателей в Дубулты. — Один из пансионатов для писателей. Носит имя Яниса Райниса. Основан в 1946 г. *Дубулты* — часть города Юрмала в 22 км от Риги (Латвия).

13

П. Кобзаревский — И. Шамякину
23 июня 1970 года

Юрмала, 1970, VI, 23,

Дорогой Иван Петрович,

твое письмо меня очень огорчило и расстроило. Я, безусловно, подавлю в себе горечь и приложу все свои силы и возможности, чтобы моя часть перевода твоей повести удовлетворила тебя, издательство и читателей.

Я понимаю твое неудовольствие, раздражение. Я все понимаю!

Многие огрехи моего перевода уже исправлены. В чем, хочу думать, ты сможешь убедиться — новый экземпляр рукописи.

Сейчас рукописи у меня нет.

Несколько дней назад, получив от Арсения Георгиевича телеграмму срочно выслать М. В. Горбачеву рукопись для «Нового мира», я послал ее ему. Еще раньше, когда Михаил Васильевич был в Ленинграде, я обстоятельно разговаривал с ним по телефону и просил его сказать З. Н. Яхонтовой, что в мою часть перевода будут внесены значительные исправления.

Не имея возможности переписать рукопись здесь, я просил Мих. Вас., чтоб он мою часть перевода отдал в Москве на переписку. Просил, чтоб один экземпляр прислал мне. Я же намереваюсь один экземпляр потом снова отправить тебе.

Твое право относиться к моему переводу так, как ты считаешь нужным.

Отныне и до конца моей жизни я останусь только твоим верным другом, читателем и почитателем.

Ты кое в чем не прав. Ты не прав, упрекая нас в неумении продвинуть наш перевод твоей повести в русские журналы. Но это частность, не в этом главное... Обо всем мы побеседуем при встрече. Я надеюсь, что ты меня поймешь, как положено большому другу.

Я не ссылаюсь ни на что, что не дало мне возможности выполнить перевод твоей повести на таком уровне, какой бы полностью удовлетворил тебя.

Очень прошу тебя поверить тому, что я не собирался «?украшать тебя». В чем ты очень раздраженно упрекаешь меня. Но и об этом побеседуем при встрече.

Сейчас я очень плохо себя чувствую. Приехал сюда с явлениями нарушения мозгового кровообращения. Это в дополнение к хроническому нарушению сердечной деятельности, к тяжелым приступам стенокардии. Говорю тебе об этом, не жалуясь на свои недуги. Моя болезнь ни в чем не служит оправданием. Пойми меня, пожалуйста, правильно.

Будучи здесь я в меру своих сил и возможностей поработаю над улучшением своей части перевода твоей повести.

Надеюсь, что в самом ближайшем времени пришлю тебе рукопись.

При встрече с А. Г. я ему расскажу о твоем неудовольствии моей частью перевода. Попрошу его еще раз прочитать мой перевод и если будет надобность, помочь улучшить его. Желаю тебе и всем твоим домочадцам всего самого доброго, очень дружески приветствую.

Душевно твой

Печатается по машинописи, которая хранится в БГАМЛМ, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 269, л. 8—9.

...моя часть перевода твоей повести удовлетворила тебя... — И. Шамякина не удовлетворила часть перевода повести «Первый генерал», которую сделал П. Кобзаревский. Писатель не знал о том, что переводчик серьезно болен, и в письме высказал критические замечания по поводу перевода. Впоследствии все спорные вопросы были улажены.

Горбачев Михаил Васильевич (1921—1981) — русский переводчик. Заслуженный деятель культуры БССР (1971). Консультант по белорусской литературе в СП СССР.

...рукопись для «Нового мира»... — имеется в виду повесть «Бронепоезд «Товарищ Ленин», которую на русский язык перевел М. В. Горбачев. В журнале «Новый мир» не публиковалась. Была напечатана в журнале «Огонек», 1970, №№ 45, 46.

14

А. Островский — И. Шамякину 15 мая 1957 года

15 мая 1957 г.

Дорогой Иван Петрович!

Очень рад, что Вы все таки вырвались и отдыхаете в Крыму. Для Марии Филатовны тоже не плохо набраться сил перед экзаменами.

Дела у нас такие. Вчера звонила А. И. Чеснокова, сказала, что выслала мне гранки романа, а что Вам будет посылать уже верстку, т. к. второго экземпляра гранок у них нет. Гранки пройдут порциями, во всяком случае трудно рассчитывать на корректуру верстки в мае, очевидно это — первая половина июня, когда Вы будете уже дома.

В «Молодую гвардию» я звонил на днях. Сказали, что книга включена в план редподготовки, который сейчас находится на утверждении. Рассчитывают, что до конца июня план будет утвержден. Тогда окончательно согласуем вопрос о составе. «Што ен страціў», конечно, включим, а «Бывший» в зависимости от того, как они отнесутся к циклу «Портретов», который мы дали в книгу.

Название «Неповторимая весна» — хорошее, но если выйдет под таким названием фильм, то придется, очевидно, подумать о другом.

Павел Вам кланяется. Обещает перевод «Помсты» вычитать внимательно.

Я уже отлежал все положенные мне сроки и считаю себя здоровым.

У нас в Ленинграде уже тепло, но часто дождит, боюсь, как бы лето не было дождливым.

Надеюсь, что в Крыму погода установилась, и вы наслаждаетесь теплом и солнцем.

Зинаида Владимировна Вам кланяется.

Сердечный привет Марии Филатовне от нас обоих.

Ваш А. Островский

Печатается по автографу, который хранится в ЛАНИШ.

...набраться сил перед экзаменами. — М. Ф. Шамякина в это время училась на вечернем отделении филологического факультета Минского пединститута.

Чеснокова Александра Ивановна (1908—?) — редактор издательства «Молодая гвардия», затем старший редактор издательства «Советский писатель».

...выслала мне гранки романа... — имеется ввиду роман И. Шамякина «Криницы», который вышел на русском языке в переводе А. Островского в 1957 году в «Роман-газете» и отдельным изданием в Москве.

«Молодая гвардия» — см. комментарий к письму № 12.

...книга включена в план редподготовки... — речь идет о книге И. Шамякина «Неповторимая весна: Повесть и рассказы», которая вышла в Москве в 1958 году.

«Што ен страціў», «Бывший» — рассказы И. Шамякина, написанные соответственно в 1957 и 1956 гг.

...к циклу «Портретов»... — в цикл «Портреты» вошли следующие рассказы И. Шамякина: «Критикун», «Наташа», «Председатель», «Подмоченный», «Главный инженер».

«Неповторимая весна» — первая повесть (1956) пенталогии «Тревожное счастье» (1956—1964).

...но если выйдет под таким названием фильм... — фильм по повести «Неповторимая весна» не был снят. Только в 1968 году по всему «Тревожному счастью» был сделан 4-серийный телеспектакль (режиссер — А. Гуткович).

Павел — П. С. Кобзаревский, см. комментарий к письму № 1.

...перевод «Помсты»... — сведений о переводе «Помсты» в 1950-е гг. на сегодняшний день не выявлено.

Зинаида Владимировна — жена А. Г. Островского.

15

А. Островский — И. Шамякину
4 января 1974 года

4-го янв. 1974 г.

Дорогой Иван Петрович!

Спасибо за новогодние поздравления и теплые пожелания. Желаю Вам тоже всего самого наилучшего.

За перевод Вашего романа уже взялся. Буду стремиться, чтобы перевод не уступил оригиналу.

Ваш новый роман мне понравился. В нем много жизненных наблюдений и коллизий. Он современен — и по постановке актуальных проблем и по многим точно подмеченным деталям быта, обихода, манер и т. п. В нем кроме общего сквозного сюжета, который сразу интересно и остро завязывается, автор приготовил целый ряд неожиданных поворотов, сюжетных ходов, которые держат в напряжении читателя. Особенно удачна в этом отношении, мне кажется, вторая половина романа.

Жизнь и работа партийного руководства города, современный стиль ее, сочетающий идейность с деловитостью, показан конкретно, зримо, — а ведь эта сторона жизни, конечно, интересует читателя.

Думаю, что и архитектурные проблемы — а это, в конечном счете, проблемы красоты города, удобства жилья, чистоты воздуха — тоже не оставят читателя равнодушным.

Потребительское, мещанское отношение к жизни персонифицировано в нескольких острых современных образах.

Герои в большинстве показаны в действии — они думают, чувствуют, борятся за поставленные цели. Хорош Карнач, хорош колоритный образ Сосновского. Карнач противоречив, не всегда последователен, может быть излишне эмоционален, но эти черты органически входят в его образ. Хороша чета Шугачевых, в особенности Поля. Обаятельна Галина Владимировна. Игнатович несколько суховат и отношение к нему на протяжении романа как-то меняется, но видимо так задуман автором образ.

В целом мне кажется несомненным, что роман будет иметь у читателя успех.

Название мне нравится. Атланты и кариатиды — символ архитектуры. Опора здания. Вместе с тем и органы партии можно рассматривать как опору нашего общества.

Дней через пять-шесть поеду в Москву: с «Дружбой» я договарился по телефону, но надо уточнить некоторые деловые детали. В «Молодую гвардию» много раз пытался звонить, но не мог прорваться через их коммутатор. 15-го янв. уеду в Комарово, чтоб ничто не отрывало от работы.

Будьте здоровы. Сердечный привет Марии Филатовне. Большой поклон Вам и ей от Зинаиды Владимировны.

Ваш А. Островский

Печатается по автографу, который хранится в ЛАНИШ.

За перевод Вашего романа уже взялся. — Роман «Атланты и кариатиды».

Карнач, Сосновский, чета Шугачевых, в особенности Поля, Галина Владимировна, Игнатович — герои романа «Атланты и кариатиды».

«Дружба» — «Дружба народов», литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал.

«Молодая гвардия» — см. комментарий к письму № 12.

Комарово — поселок в России, муниципальное образование в составе курортного района города федерального значения Санкт-Петербурга.

16

А. Островский — И. Шамякину
29 сентября 1975 года

29 сентября 1975 г.

Дорогой Иван Петрович!

Давно не писал Вам и от Вас давно не имею вестей. Как Вы живете, что у Вас слышно?

На днях я говорил с главным редактором Ленгослита. Вы, вероятно, знаете, что Гослит (в Москве) включил Ваш двухтомник в перспективный пятилетний план. Ленгослит считает эту книгу «своей» и решил включить двухтомник в план выпуска 77-го года.

Они хотели бы знать состав двухтомника, с тем чтобы пораньше заняться им и выпустить его в начале 77 года. С Москвой у них договоренность на этот счет есть. Я обещал им, что сообщу Вам о положении дел и попрошу прислать Ваши предложения по составу.

По перспективному плану объем Вашего двухтомника — 50 листов. Кроме «Сердца на ладони» и «Атлантов и кариатид», конечно, очень хотелось бы включить «Первый генерал». Но тогда объем будет превышен на 3—4 листа (еще предполагается статья). Если основательно мотивировать необходимость включения «Первого генерала», то есть шансы, что издательство пойдет на увеличение объема. А мотивировать, я думаю, можно и важностью ленинской темы, и тем, что повесть дополняет включаемые романы и бесспорно принадлежит к числу наиболее значительных Ваших вещей, и потому должна войти в состав Вашего избранного. Словом, Иван Петрович, Вы будете писать Римме Петровне Игошиной, исполняющей сейчас обязанности директора Ленгослита (директор болеет) и, не сомневаюсь, найдете эмоциональные слова, которые тронут сердце женщины.

В разговоре Римма Петровна проявила благожелательность к автору и заинтересованность в издании, но в конце прибавила: «Конечно, мы исходим из того, что Иван Петрович в 77-м году никаких других книг не будет выпускать и книга не встретит возражений в Комиздате», так что хорошо было бы, если б в письме Вы упомянули, что это условие будет соблюдено. Если надо, сошлитель на мое письмо и разговор с Игошиной.

О делах в «Роман-газете» я знаю: очень жалко, что пришлось сократить роман еще и по бумажным соображениям, что и говорить, такое сокращение не пойдет на пользу вещи.

От А. Ф. Гремицкой давно не имею известий, недавно написал ей. Вероятно Вы, будучи в Москве, заглянули в «Молодую гвардию». А я собираюсь в Москву в конце октября, сейчас работаю над переводом повести П. У. Бровки.

Зинаида Владимировна передает Марии Филатовне и Вам свой сердечный привет, я к ней присоединяюсь.

Всего доброго!

Ваш А. Островский

P. S. Когда напишете в Ленгослит, черкните и мне пару строк.

Печатается по машинописи, которая хранится в ЛАНИШ.

...Гослит (в Москве) включил Ваш двухтомник в перспективный пятилетний план. — В 1977 г. двухтомник И. Шамякина вышел не в Москве, а в Ленинграде. В Москве двухтомник И. Шамякина вышел в 1980 г. (в первый том вошли роман «Снежные зимы» и повесть «Торговка и поэт»; во второй том — роман «Атланты и кариатиды» и повесть «Брачная ночь»). *Гослит* — см. комментарий к письму № 2.

Ленгослит считает эту книгу «своей» и решил включить двухтомник в план выпуска 77-го года. — Двухтомник вышел в 1977 году. В первый том вошли роман «Сердце на ладони» и повесть «Бронепоезд «“Товарищ Ленин”». Во второй том — роман «Атланты и кариатиды» и повесть «Ах, Михалина, Михалина...»

«Сердце на ладони», «Атланты и кариатиды» — романы И. Шамякина, написанные соответственно в 1963 и 1973 гг.

«Первый генерал» — см. письмо № 13 и комментарий к нему.

Игошина Римма Петровна (род. 1929) — сотрудник Ленгослита.

Комиздат — имеется в виду Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли СССР (сокр. Госкомиздат), государственный орган СССР.

«Роман-газета» — советский и российский литературный журнал, выходящий ежемесячно с 1927 года.

Гремицкая Агнесса Федоровна — сотрудник редакции прозы издательства «Молодая гвардия».

«Молодая гвардия» — см. комментарий к письму № 12.

...сейчас работаю над переводом повести П. У. Бровки. — Скорее всего имеется в виду рассказ народного поэта БССР Петруся Бровки (1905—1980) «Вечное клеймо». Опубликован в журнале «Дружба народов», 1976, № 12 в переводе А. Островского.

17

А. Островский — И. Шамякину
25 ноября 1975 года

25.XI.75.

Дорогой Иван Петрович!

В Ленгослите пока удовольствовались одной моей заявкой. «Брачную ночь» сейчас будут читать. Еще раз попробуют поставить перед Сомовым вопрос об увеличении листажа для включения «Первого генерала». О результатах обещают нас известить в ближайшее время.

На днях еду в Москву. Постараюсь выяснить, когда же будет корректура в «Молодой гвардии» — книга пошла в набор еще летом.

Будьте здоровы. Сердечный привет Вам и Марии Филатовне от всей нашей семьи.

Ваш А. Островский

Печатается по автографу, который хранится в ЛАНИШ.

«Брачную ночь» сейчас будут читать. — В Ленгослите.

Сомов — сотрудник Ленгослита.

«Первый генерал» — см. письмо № 13 и комментарий к нему.

...когда же будет корректура в «Молодой гвардии» — книга пошла в набор еще летом. — Книга «Атланты и кариатиды; Снежные зимы: Романы» (Москва: Молодая гвардия, 1976).

18

А. Островский — И. Шамякину
23 февраля 1976 года

23. II.76

Дорогой Иван Петрович!

Только что вернулся из Москвы, как всегда там набирается куча дел.

В «Молодой гвардии» говорил с Зоей Николаевной и Агнессой Гремицкой о тираже. Обе сказали, что если говорить с Ганичевым, то только Вам, любому «посреднику» он легко откажет, с автором, может, и посчитается. Поэтому я к нему не пошел. Печатать Вашу книгу они будут во втором квартале, так что время еще есть. Сейчас книга пошла на сверку.

В свой экземпляр верстки я внес Вашу правку и правку редактора, в Ленинграде уже передал Н. Булгаковой — редактору Вашей книги. Она хочет проделать всю редакторскую работу (подозреваю, что ее будет очень немного) к тому времени, когда появится издание «Молодой гвардии», останется только заменить экземпляр, который я привез, расклейкой. Она (Наталья Васильевна) сказала мне, что договорилась с Вами отно-

сительно того, что пойдет из переводов Михаила Васильевича, которого они известят и попросят прислать расклейку.

В приложениях к «Дружбе» (как сообщила мне Е. А. Мовчан) уже получен из Комитета план на 77-ой год, Ваша книга в план включена.

Сделали ли Вы заказ на дополнительное количество экземпляров? Я уже оставил такое заявление у А. Ф. Гремицкой.

Как прошел Ваш общегородской вечер? Не сомневаюсь, что все было хорошо.

С удовольствием прочел Вашу «Гандлярку». Понравилось. Свежо. В особенности — первая половина.

На всякий случай сообщаю телефон (служебный) Валерия Николаевича Ганичева: 251-11-45.

Сердечный привет Вам от Зинаиды Владимировны и Галины, а также от всей семьи — Марии Филатовне.

Ваш А. Островский

Печатается по машинописи, которая хранится в ЛАНИШ.

Зоя Николаевна — З. Н. Яхонтова, см. комментарий к письму № 12.

Агнесса Гремицкая — см. комментарий к письму № 16.

Ганичев Валерий Николаевич (род. 1933) — прозаик, доктор исторических наук. В 1968—1978 гг. — директор издательства «Молодая гвардия» (Москва).

Печатать Вашу книгу они будут во втором квартале... — см. комментарий к письму № 17.

В свой экземпляр верстки я внес Вашу правку и правку редактора, в Ленинграде уже передал Н. Булгаковой — редактору Вашей книги. — Имеются в виду «Избранные произведения» И. Шамякина в 2-х томах (Ленинград, 1977). См. также комментарий к письму № 16. *Ленинград,* см. комментарий к письму № 10; *Булгакова Наталья* — редактор ленинградского отделения издательства «Художественная литература».

...появится издание «Молодой гвардии»... — см. комментарий к письму № 17.

...что пойдет из переводов Михаила Васильевича... — имеются в виду повести «Бронепоезд «“Товарищ Ленин”» и «Ах, Михалина, Михалина...», которые вошли в Избранные произведения» И. Шамякина в 2-х томах (Ленинград, 1977).

В приложениях к «Дружбе»... — библиотека «Дружбы народов», приложение к журналу «Дружба народов», своеобразная книжная серия, выпуском которой занималось московское издательство «Известия».

Мовчан Е. А. — редактор книг библиотеки журнала «Дружба народов».

...получен из Комитета план на 77-ой год, Ваша книга в план включена. — В библиотеке к журналу «Дружба народов» роман И. Шамякина «Атланты и кариатиды» вышел в 1978 году.

С удовольствием прочел Вашу «Гандлярку». — Повесть «Торговка и поэт» (1975).

Галина — дочь А. Г. Островского.

19

А. Островский — И. Шамякину
4 июня 1977 года

4.VI.77

Дорогой Иван Петрович!

Сердечное спасибо Вам и Марии Филатовне за поздравление и добрые пожелания в связи с 80-летием, а также за все то, что Вы для меня сделали в смысле награды.

Юбилейный вечер прошел хорошо, все шло в дружеских тонах, без официальщины. Всем понравилось выступление Галины Василевской и то, что она говорила по-белорусски.

Спасибо Белорусскому союзу за подарки.

Мы с Наташей Булгаковой закончили просмотр Ваших обоих томов. Все типографские пропуски и неувязки удалось ликвидировать без нарушения Вашего текста.

На днях еду в Москву (разумеется, побываю в «Приложениях»), оттуда — в Киев, обещал Е. Г. Смолич помочь ей разобраться с лит.[ературным] наследием Юрия Корнеевича.

Сердечный привет Марии Филатовне и Вам от всего нашего семейства.

Ваш А. Островский

Печатается по автографу, который хранится в ЛАНИШ.

...в связи с 80-летием... — А. Г. Островского.
Юбилейный вечер... — А. Г. Островского.
Василевская Галина Онуфриевна (род. 1927) — белорусская писательница.
...в «Приложениях»)... — см. комментарий к письму № 18.
Смолич Елена Григорьевна — жена Ю. К. Смолича.
Смолич Юрий Корнеевич (1900—1976) — украинский советский писатель, журналист, театральный критик и публицист. Герой Социалистического Труда (1970).

20

А. Островский — И. Шамякину 23 сентября 1977 года

23 сент. 1977 г.

Дорогой Иван Петрович!

Поздравляю Вас с выходом 2-томника. Как он Вам понравился? По-моему, — вполне прилично, если б не разнооттеночная бумага в одном из томов, было бы и вовсе хорошо.

Теперь относительно Вашего однотомника в «Приложениях». Я сообщил Е. А. Мовчан, что в «Атлантах» всего 20 листов (так насчитал Гослит) и таким образом вместе с повестью «Торговка и поэт» получается 32 листа. По ее мнению, такое небольшое превышение не вызовет возражений у руководства журналом.

Как прошло Ваше лето? Вероятно, в работе?

У меня — довольно пестро: был под Москвой, затем в Киеве: надо было помочь Е. Г. Смолич разобраться в архиве покойного Ю. К. Смолича. А август — в Дубултах.

Теперь вернулся и занимаюсь вплотную сборником «Белорусские повести». В основном он почти готов. Не хватает только повести А. Жука. Не знаете ли Вы, окончил ли он ее, какова тематика и каков объем. Был бы очень благодарен Вам за сообщение.

Вопрос о переводчике Вашего «Бронепоезда» пересмотрен: пойдет перевод М. В. Горбачева.

Будьте здоровы. Сердечный привет Вам и Марии Филатовне от Зинаиды Владимировны и от меня.

Ваш А. Островский

Печатается по машинописи, которая хранится в ЛАНИШ.

Поздравляю Вас с выходом 2-томника. — См. комментарий к письму № 18.
...Вашего однотомника в «Приложениях». — См. комментарий к письму № 18.
Мовчан Е. А. — См. комментарий к письму № 18.
Смолич Е. Г., Смолич Ю. К. — см. комментарий к письму № 19.
...сборником «Белорусские повести». — Сборник «Белорусские повести» вышел в Ленинграде в 1981 году.
Не хватает только повести А. Жука. — В сб. «Белорусские повести» вошла повесть белорусского писателя Алеся (Александр Александрович) Жука (род. 1947) «Холодное поле».
Вопрос о переводчике Вашего «Бронепоезда» пересмотрен: пойдет перевод М. В. Горбачева. — В сб. «Белорусские повести» вошла повесть И. Шамякина «Брачная ночь» в переводе М. В. Горбачева.

21

А. Островский — И. Шамякину 8 ноября 1977 года

8-е ноября 1977 г.

Дорогой Иван Петрович!

Спасибо за праздничные поздравления и теплые пожелания.

По поводу книги для «Советского писателя» в связи с Вашим юбилеем мне приходит в голову одна мысль, а именно, что надо предложить им издать однотомник Ваших



Иван Шамякин с писателями. Ленинград, 1966 г.

повестей. Если включить «Первый генерал», «Бронепоезд», «Эшелон прошел», «Брачная ночь», «Торговка и поэт», «Мост», «Михалину» — то получится весьма привлекательный томик на 45 листов.

Детгизу я однажды предлагал Ваш «Первый генерал», но они сказали, что это типично «молодогвардейская книжка». Но это было года четыре назад. Времена другие и люди другие. Может быть, Вам, будучи в Москве, зайти поговорить с директором Галиной Кузьминичной Пешеходовой относительно издания «Первого генерала» и пяти листов рассказов — для старшего возраста (15 листов их лимит)? «Первый генерал» едва ли не лучшая Ваша вещь (из небольших повестей) и абсолютно доступна их читателю.

«Белорусские повести» заканчиваем. Алесь Жук прислал повесть «Халодная птушка» — вещь талантливо и поэтически написанная. (Я ее перевел). Это — реквием старой, практически уже не существующей, старой деревне, на фоне деревни наших дней. В духе повестей Распутина.

Будьте здоровы. Сердечный привет Марии Филатовне. Не очень она замучилась за праздники? От Зинаиды Владимировны всей Вашей семье — привет.

Ваш А. Островский

Печатается по машинописи, которая хранится в ЛАНИШ.

По поводу книги для «Советского писателя» в связи с Вашим юбилеем... — речь идет об издании книги на русском языке к 60-летию Ивана Шамякина, которое отмечалось 30 января 1981 года.

...издать однотомник Ваших повестей. — В 1981 г. в «Роман-газете» вышел роман «Возьму твою боль».

«Первый генерал», «Бронепоезд», «Эшелон прошел», «Брачная ночь», «Торговка и поэт», «Мост», «Михалина» — повести Ивана Шамякина, написанные соответственно в 1969, 1970, 1974, 1975, 1964, 1965 гг. «Бронепоезд» — полное название «Бронепоезд «“Товарищ Ленин”»; «Мост» — пятая повесть из пенталогии «Тревожное счастье»; «Михалина» — полное название «Ах, Михалина, Михалина...»; «Эшелон прошел» — киноповесть.

Детгиз — издательство «Детская литература» (первоначально «Детгиз» — Детское государственное издательство) — советское и российское издательство.

Пешеходова Галина Кузьминична — директор издательства «Детская литература».

«Белорусские повести» заканчиваем. — См. комментарий к письму № 20.

Алесь Жук прислал повесть «Халодная птушка»... — см. комментарий к письму № 20.

В духе повестей Распутина. — В духе повестей русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (род. 1937), представителя так называемой деревенской прозы.

22

А. Островский — И. Шамякину 24 апреля 1980 года

24.IV.80

Дорогие Мария Филатовна и Иван Петрович!

Поздравляю Вас и всех детей с праздниками Весны и Победы и желаю Вам всем здоровья и счастья.

Вчера в Лениздате в отделе Художественной литературы было совещание по сборнику.

Дела обстоят так. А. Н. Чепуров снова говорил с гл. редактором об увеличении листажа, они на это не пошли, оставили 25 авт. листов.

Окончательно вошли:

1. И. Шамякин. Брачная ночь
2. И. Науменко. Прощание в Ковальцах
3. В. Карамазов. Верховик
4. Я. Радкевич. Месяц метель
5. А. Жук. Холодное поле

От Быкова пришлось за неимением места отказаться. Они выпускают отдельно его книжку.

Теперь вопрос о редколлегии. Просьба к Вам, Иван Петрович, поставить этот вопрос на правлении или секретариате.

Мы думаем, что из участвующих в сборнике надо, чтобы были указаны Вы и И. Науменко. Плюс один или два из неучаствующих. Одновременно считаю желательным, чтобы от ленинградцев вошел А. Чепуров.

К одному из членов редколлегии (я думаю, что лучше всего было бы, если б это сделали Вы или И. Науменко) наша большая просьба: написать коротенькое предисловие, обращенное к читателю, страниц на 5, на машинке.

К сожалению, оказалось, что изд-во не запланировало для этого средств, значит оплатить его не может.

Все это, в качестве решения направить гл. секретарю «Лениздата», что так было в 1-м сборнике, и с просьбой переговорить с А. Чепуровым относительно его включения. Можно сослаться на составителей — Островского и А. Тонкеля.

Сделать это надо за лето, т. к. в августе они собираются сдавать в набор. Гл. секретаря зовут Леонид Николаевич Плющиков. Адрес: Набережная р. Фонтанки, 58, «Лениздат».

Будьте здоровы, друг Иван Петрович. Все же ждем Вас в Ленинграде.

Ваш А. Островский

Печатается по автографу, который хранится в ЛАНИШ.

Лениздат — см. комментарий к письму № 8.

...было совещание по сборнику. — По сб. «Белорусские повести», см. также комментарий к письму № 20.

Чепуров Анатолий Николаевич (1922—1990) — русский советский поэт. Много лет возглавлял Ленинградскую писательскую организацию.

Окончательно вошли: 1. И. Шамякин. Брачная ночь ~ 5. А. Жук. Холодное поле — В сб. «Белорусские повести» вошли: И. Шамякин «Брачная ночь»; И. Науменко «Прощание в Ковальцах»; В. Карамазов «Погонник»; Я. Радкевич «Месяц межень»; А. Жук «Холодное лето»; Б. Саченко «Подгалая».

От Быкова пришлось за неимением места отказаться. Они выпускают отдельно его книжку. — В 1976 г. в Москве вышли книги В. Быкова «Дожить до рассвета; Обелиск:

Повести», «Его батальон» («Роман-газета»), «Его батальон: Повести». Какая книга вышла в Лениздате на сегодняшний день выяснить не удалось.

Теперь вопрос о редколлегии. — В редколлегию вошли: И. Науменко, А. Чепуров, И. Чигринов, И. Шамякин.

К одному из членов редколлегии ~ написать коротенькое предисловие... — в сборник вошло предисловие И. Чигринова «О белорусской советской повести».

Можно сослаться на составителей — Островского и А. Тонкеля. — Составителем указан только А. Тонкель. А. Островский — как переводчик.

23

А. Островский — И. Шамякину
30 апреля 1980 года

30.IV.80

Дорогой Иван Петрович!

Несколько слов о наших делах. После совещания в редакции Лениздата я говорил (по телефону) с редактором сб-ка Александром Александровичем Девелем.

Они хотят, чтобы предисловие (пусть оно будет и несколько меньше) было написано поскорее (о конкретных сроках пока разговора не было).

Мое предложение, чтобы его написали Вы или И. Я. Науменко, не очень нравится Девелю, так как нужно сказать, хоть и кратко, обо всех участниках сборника, в том числе и о себе, что всегда затруднительно.

Если Вы разделяете эту позицию редактора, может быть, Вы сообщите мне, кто бы мог его написать (все же из людей с именем), указав фамилию, имя-отчество и адрес (и телефон). Если возможно — двух-трех человек, на всякий случай. Я передам Девелю и они сговорятся или спишутся с будущим автором предисловия.

Кстати вопрос о гонораре (за предисловие) как будто бы решается положительно.

Говорил я и с Чепуровым относительно включения его в редколлегию. Он сказал: «Если надо — не откажусь». Так что, если Белорусский союз выскажет такое пожелание, Чепуров согласится.

Извините, что наваливаю на Вас какие-то дела. Вероятно, Вам своих хватает.

От души поздравляю Вас и всех Ваших с двумя майскими праздниками. Желаю Вам отдохнуть хоть немного и повеселиться.

Ваш А. Островский

Печатается по автографу, который хранится в ЛАНИШ.

Девель Александр Александрович — сотрудник Лениздата, редактор сб. «Белорусские повести».

24

А. Островский — И. Шамякину
13 ноября 1981 года

13.XI.81

Дорогой Иван Петрович!

Сборник «Белорусские повести», наконец, вышел. Конечно, могли бы его дать и побогаче — и по оформлению, и по бумаге. Но изд-во говорит, что им оформление нравится, а с бумагой трудно, другой у них нет.

В последнем номере «Литобозрения» увидел Ваше имя уже в новой ипостаси — «главный редактор — И. П. Шамякин». Вероятно, и последний том Тлумачальнага слоўніка тоже выйдет под вашей редакцией? Первые четыре я добыл всякими правдами и неправдами и теперь жажду не пропустить пятый. По правде говоря, очень нужен примерно такого же объема словарь диалектов, то есть народных говоров, особенно

всем людям, соприкасающимся с литературой, так как диалектизмы очень сильны в белорусском языке, в особенности у «деревенских» писателей. А пока приходится пользоваться несколькими книжками по областям.

Очевидно, работа в белорусской Академии наук здорово Вас загружает: первую часть Вашего нового романа я читал чуть ли не год назад, мне показалось интересным, в особенности Ленинская часть.

Как Ваше здоровье? Что у Вас дома? Большой привет Марии Филатовне и Вам от Зинаиды Владимировны и меня. Желаем всем быть здоровыми.

Ваш А. Островский

Печатается по машинописи, которая хранится в ЛАНИШ.

Сборник «Белорусские повести», наконец, вышел. — См. комментарий к письму № 20.

«Литобозрение» — «Литературное обозрение», еженедельная газета литературы, критики и библиографии, выходит в СПб с 1895 года.

...«главный редактор — И. П. Шамякин»... — с лета 1980 г. И. Шамякин — главный редактор БелСЭ имени Петруся Бровки.

...последний том Тлумачальнага слоўніка... — Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, последний, пятый, том вышел в 2-х книгах: 1-ая книга в 1983 году; 2-ая — в 1984 году.

...первую часть Вашего нового романа... — романа «Петроград-Брест».

25

И. Шамякин — А. Островскому
21 ноября 1981 года

Дорогой Арсений Георгиевич!

Большое спасибо за книгу. Книга для нашего времени хорошая, оформление мне нравится. Передайте мою благодарность издательству. Они молодцы, истинные друзья белорусской литературы. Привет и благодарность А. Л. Тонкелю.

Живу я по-прежнему. Работы не стало меньше, хоть, правда, работа спокойнейшая, нервы никто не трепет: я как в вакууме — начальство трогать меня боится, подчиненным кажется, что я высоко, и они редко обращаются со своими болями, одни лишь избиратели нашли меня и в БелСЭ, как находили в СП, каждый день несколько человек просится на прием.

Пятый том Тлумачальнага задерживается не по вине нашей — не сдал Институт языка АН, они поставили нас в сложное положение перед подписчиками.

В ближ. время у нас будет сенсация! Факсимильное издание словаря Носовича. Тираж всего 3 тыс. Постараюсь обязательно прислать Вам.

Вторую и третью часть романа сдал в «Полымя», сегодня читал корр[ектуру]. Кажется, получилась серьезная вещь.

Собираюсь в Ленинград и никак не вырвусь. Сейчас занимаюсь реконструкцией дачи.

Я и М. Ф. часто и с благодарностью вспоминаем Вас.

Рад буду в ближ[айшее] время встретиться с Вами. Низкий поклон Зинаиде Владимировне. Привет Галине Арсеньевне от меня и М. Ф.

Рад был услышать Ваш бодрый голос, прозвучавший из письма, — голос книголюба. О словаре диалектов думаем. Выходило несколько маленьких. Есть они у Вас?

Всего-всего Вам хорошего.

Ваш Иван Шамякин

21.XI.81 г.

Печатается по автографу, который хранится в ЛАНИШ. А. Островскому послана машинопись.

Большое спасибо за книгу. — Сб. «Белорусские повести», см. также комментарий к письму № 20.

Тонкель А. Л. — см. письмо № 22 и комментарий к нему.

Пятый том Тлумачальнага... — см. комментарий к письму № 24.

Факсимильное издание словаря Носовича. — Вышло в 1983 году.

Вторую и третью часть романа сдал в «Полымя». — Романа «Петроград-Брест» («Полымя», 1983, № 1, 2).

26

А. Островский — И. Шамякину
27 февраля 1982 года

27. II. 82

Дорогой Иван Петрович!

Книгу Ваших пьес я получил, но передать ее И. Дворецкому не смог, не мог его нигде обнаружить. Думаю, что он скрылся куда-нибудь в глушь и там без помех работает. Время от времени позванивал ему домой, но никто не подходил. Позвонил сегодня — подошел Дворецкий. Оказывается, он с женой был за границей, недавно вернулись.

Дело обстоит так: он имеет доступ к экспериментальной площадке (как он выразился), но берут они в работу только совершенно новые пьесы. Он просит, если у Вас будет таковая, прислать ему, я обещал прочитать ему ее по-русски, то есть сделать устный подстрочник, он решит сможет ли ее взять. Постановка в одном театре и, как он сказал, безденежная, но для Вас это может представить интерес, т. к. он человек талантливый и они доводят пьесы до известной степени сценичности. Поэтому наши молодые драматурги стремятся к нему попасть. Значит, какой-то разговор может начаться только после того как у Вас будет новая пьеса, а если будет и перевод, то тем лучше, но это не обязательно. Пришлите ее, пожалуйста, мне, чтоб я мог предварительно ее прочитать, до того, как идти с ней к Дворецкому.

Все это в том случае, если Вы в этом заинтересованы.

Мы с 7-го февраля в Комарово. Здесь много снега, бывает иногда и солнышко. Народ — обычный, так что всех знаешь. Немного работаю, много читаю. Перечитал «Мастера и Маргариту» и... разочаровался. В памяти было нечто феерическое и остроумное, но оказалась страшная перегрузка чертовщиной и непонятно к чему весь этот «перехват». Хороша только история Понтия Пилата.

Вышел сб-к изд. «Книга» — «Памятные даты» 1981 года — издание энциклопедического характера и довольно много интересного. Мою статейку о «Библиотеке поэта» (к 50-летию) они сильно сократили. А вот сборник воспоминаний о Тынянове Каверин никак не может «пробить». Там есть и моя статья. Тынянов был блестящим человеком, в особенности блестящим собеседником, мне доводилось с ним часто встречаться.

Как у Вас с новым большим романом? Наверное — закончили. Как успехи на поприще словарном? Очень жду факсимильного Носовича. У меня был его сб-к бел. пословиц, который я подарил И. Мележу. В белорусской лингвистике, также, как в русской, много «белых пятен», так что работы непочатый край.

Вам и Марии Филатовне сердечный поклон от Зинаиды Владимировны и Галины, к-ая тоже в Комарово. Я к ним полностью присоединяюсь. Пробудем здесь весь март. Привет всем детям.

Ваш А. Островский

Печатается по автографу, который хранится в ЛАНИШ.

Книгу Ваших пьес я получил... — сб. «Экзамен на осень» (Москва: Советский писатель, 1978).

Дворецкий Игнатий (Израиль) Моисеевич (1919—1987) — русский очеркист, прозаик, драматург. В 1975 году организовал Драматургическую студию при Ленинградском ВТО, которой руководил до своей смерти.

Комарово — см. комментарий к письму № 15.

...сборник воспоминаний о Тынянове... — Воспоминания о Ю.Тынянове (Москва: Советский писатель, 1983).

Каверин Вениамин Александрович (1902—1989) — русский советский писатель и сценарист. Лауреат Сталинской премии (1946).

Как у Вас с новым большим романом? — С романом «Петроград-Брест».

Очень жду факсимильного Носовича. — см. комментарий к письму № 25.

Галина — см. комментарий к письму № 18.

27

А. Островский — И. Шамякину
2 декабря 1984 года

2-ое дек. 1984 г.

Дорогой Иван Петрович!

Я думаю, что лучше всего взять «Отдых». Первые девять страниц совершенно «беллетристичны» и «новеллистичны», годятся. Дальше — сложнее. Для рассказа, по-моему, слишком серьезно, сюжетно неоформлено и тяжеловесно. Типичные страницы серьезного романа. Нас сразу разоблачат. И... удалят из книги, в этом смысле редактора в «Лениздате» имеют определенную репутацию. Что делать? Все же очень было бы привлекательно дать в сборник свежий материал.

Здесь еще вот какое обстоятельство: получается, что «ноги» во много раз тяжелее «головы» и «туловища», что вполне допустимо в романе, но нарушает канон рассказа, превращает его в какой-то отрывок из большой вещи.

Я попытался всю вторую половину этой главы превратить в рассказ, то есть максимально сократить, оставив лишь общие очертания и концовку со снегирями, которая дает подобие сюжетного завершения. Не знаю, в какой степени мне это удалось. Судить об этом — Вам.

Если Вы сочтете возможным мое самоуправство, — дадим в сокращении, если нет, — «Некрасивую».

Очень бы хотелось получить от Вас второй экземпляр того, что мы дадим: в любом виде, но, конечно, по-русски. Нужно для художника, а я не знаю даже сохранился ли у меня экземпляр Вашей книги рассказов. Пожалуйста, напишите или телеграфируйте мне Ваше решение.

Еще раз извините, что я так беспардонно расправился с Вашей главой. Но что было делать?

С искренним уважением Ваш А. Островский

Печатается по машинописи, которая хранится в личном архиве наследников Ивана Шамякина (ЛАНИШ).

...взять «Отдых». — Имеется ввиду отрывок из романа «Петроград-Брест».

...«Некрасивую». — Рассказ (1960) И. Шамякина.

Вступительная статья, подготовка текстов и комментарий
Олеси ШАМЯКИНОЙ.



ВИССАРИОН ГОРБУК

*Военные дневники**

4 марта.

После завтрака в 11 часов мой хозяин становится разговорчивым, а так как я из-за болезни ни читать, ни писать не мог, то слушал его рассказы о жизни в деревне, о днях оккупации.

— Ночи не было, чтобы у меня не были в гостях партизаны. А сейчас брешут про меня, что я подлизывался к немцам. А у нас хлопец погиб в деревне. И за что? За моток ниток.

И Ив. Ив. обстоятельно рассказывает, как одна баба у другой уворовала моток ниток с изгороди, и как одного парня староста послал делать обыск. В это время в деревню приехали немцы-каратели. Баба, чтобы не попасться, выскочила и стала кричать:

— Спасите, ко мне партизан пришел и грабит меня!

Немцы схватили парня и, избив, повели. Насилу староста разъяснил, что парень невиновен. Его отпустили. Парень, пошатываясь, пошел по улице. Баба, снова увидев его, закричала:

— Сейчас он мне жить не даст, убьет, как бил немцев.

И его схватили и за деревней расстреляли. Сейчас мать ходит на могилу и плачет.

Во время нашего разговора с плачем вбегает хозяйка:

— Ванечка, убили меня! Ая-яй!

— Кто, за что?

Оказывается, председатель с/с и колхоза пришли к соседу моего хозяина, чтобы отрыть спрятанное зерно и часть взять для засыпки семян в колхоз. Соседка спросила:

— А кто вам сказал, что у нас есть яма?

Председатель ответил:

— Иваниха. Вот она сказала, где у вас яма, а теперь вы скажите, где у нее.

Но так как у Иванихи ямы не было, то соседка при всем желании отомстить была бессильна. Но зато, когда моя хозяйка, ничего не зная, зашла к ней, соседка просто избила ее и, не дав опомниться, выбросила из избы.

Весь день изливался поток озлобленных ругательств, бушевала месть, пока не выяснилась истина.

<...>

Теплушка. На нарах тесно. Мы лежим, плотно прижав тело к телу. Рядом со мной женщина 45 лет. Ее влажная рука берет мою руку и ложит к себе под рубаху на голую грудь. Приподнявшееся одеяло пахнуло тяжелой и душной волной пота. Мягкая липкая грудь расплылась под жесткой рубашкой.

— Я хочу тебя <...>, — шепчет мне женщина, и душащий табачный запах задерживает мое дыхание. Я лежу не шевелясь. Гадливость и возмущение заставляют меня содрогнуться.

— Ну, что же ты?

Я молча убираю руку, сдерживая себя.

— Сейчас же война, — уговаривает она. — Надо брать от жизни все, пока не поздно. Для чего ты себя бережешь? Кому? С этого никакого толку.

Я молчу, не возражая.

---

* Окончание. Начало в №3, 4 2014 г.

Женщина рассказывает о своей жизни, тяжелой, безрадостной. Муж-матрос, распутник, пьяница. Уходила от него, возвращалась, любила, ненавидела. Единственная радость — дочь — доставляет одни огорчения, перестала слушаться.

Дочь — тоненькая, высокая, красивая девочка 13 лет с пытливыми карими глазами. Смотришь на нее и возникает желание сберечь ее, развить, воспитать.

— Моя мама скоро умрет, — говорит она. — Что ж, она уже старая. Приехал врач Ликапов. Она стала за ним ухаживать. Ведь ей хочется жить! А врач бросил маму, когда приехала Нина, и начал ухаживать за Ниной. Она же молоденькая, а мать старая.

Хитрость.

1.

Глубокий снег засыпал деревни. Январская стужа 1942 года заставляла всех сидеть в избах. Но война продолжалась и в метель, и в морозную темную ночь. Ничто не задерживало перешедших в наступление бойцов Красной армии: ни погода, ни бездорожье, ни неимоверная тяжесть борьбы в лютые морозы.

Немецким солдатам не удавалось отлеживаться в теплых избах русских сел и городов. Плохо одетые, они вынуждены были принимать навязанные сражения и отступать, отнимая у населения любую одежду, которая тут же напяливалась и одевалась на иззябшие тела. Одеяла, полотенца, юбки, платья, белье — все годилось. И русские люди, встречая немецких солдат с ненавистью, радовались, вспоминая зиму 1812 года.

— Ага, сволочи, достанется вам! Скоро, теперь уж скоро конец!

Население прятало имущество, хлеб, одежду, и не всегда гитлеровцам удавалось награбить нужное для себя и для посылок.

Офицер немецкой армии, замерзавший под Можайском в деревне... со своей частью, долго одумывал план, как одеться. Ему в мыслях рисовались добротные русские валенки, шуба, теплая меховая шапка, шарф, перчатки... А он вместе со своими солдатами сидел в дрянной шинелишке, холодных сапогах. Наконец он придумал.

2.

В селе стояла забытая церковь. Многие годы прошли с тех пор, когда в ней служили, и выросло целое поколение, не помнившее колокольного звона.

Но вот прошел слух, что немцы привезли священника, и в воскресенье в церкви будет служба.

А в пятницу староста специально обошел несколько деревень, объявляя, что послезавтра церковь будет открыта.

Тяжелые испытания войны заставили многих вспомнить о вере в бога, могущего защитить от смерти, грабежа и голода их любимых, близких. И многие горячо молились, прося у далекого доброго боженьки защиты, прося божью матерь заступиться за русскую землю и окончить страшную и непонятную кару за грехи — войну.

Пелагея Морозова, тихая скромная старушка, мать четырех бойцов, ушедших на фронт защищать родину, особенно горячо молилась своему богу, чтобы он прогнал немцев, окончил войну и вернул ее сыновей домой. Услыхав, что немцы открывают церковь, она обрадовалась.

— Немцы, а все же в бога верят. Господи, образумь их, грешных.

И в воскресенье — морозный солнечный день — с окрестных деревень пришли в церковь матери бойцов, отцы-старики, молодежь, чтобы во вспыхнувшей надежде послать богу свою горячую просьбу. Все оделись получше и теплее. Ведь никогда никто в церковь не ходил в будничной одежде.

В забытой церкви подымались столбы белого пара. Казалось, удивленно смотрели скорбные лики икон. Люди стояли тесной толпой, и таял в церкви леденящий холод. Под пенье древнего, седого старика-священника люди вспоминали многое из ушедших лет жизни, вспоминали, как они растили своих сыновей и дочерей, ушедших на фронт, угнанных в Германию, вспоминали, какая счастливая жизнь налаживалась в их колхозе, дома и горячо молились. И все здесь казалось и неожиданно странным и древним, вернувшимся из столетней старины. Никто из немцев не тронул пришедших в церковь. Даже многие заметили, что немецкие солдаты одобрительно улыбались, оглядывая идущих. И думалось Пелагее Морозовой, что внял бог ее просьбам, что придет она домой и увидит здоровыми и целыми своих сыновей, увидит свою коровку и овец, зарезанных немцами.

А когда из церкви вышла толпа молившихся, размеренным маршем подошел отряд немцев, стал у ограды и при входе. Первых подошедших женщин схватили здоровые солдаты-верзилы и начали раздевать. Сначала сорвали теплые платки, потом, вывер-

нув руки, сняли полушубки и, наконец, подняв на руки, сняли валенки. Все ахнули, заметались. Ошеломленные раздеванием, женщины упали на снег. Один из грабителей похабно оскалился, отпустив остроту.

— А ну, кто следующий? По очереди, — крикнул он, и солдаты засмеялись.

У Пелагеи сорвали платок и полушубок. Она сопротивлялась. В борьбе расстегнулась кофточка, и на груди матери блеснул золотой крестик. Немец заметил блеск, рука инстинктивно схватила крестик и рванула. Крепкий шнурок врезался в тело, не разорвавшись. Солдат выхватил финку и полоснул по шнурку, царапнув тело. Брызнула кровь.

— Боже! Боже! — молилось о помощи сознание матери, и вдруг она вспомнила слова своего любимого сынка Паши:

— Мама, если бы был бог, он не допустил бы таких страданий, которые ты пережила, пока не пришла советская власть. Значит нет бога.

— Значит нет бога, — повторило сознание матери слова сына. — Нет.

Шатаясь, она пошла домой, стала на колени перед фотографиями сыновей и слабым голосом проговорила:

— Сынки, мои сыночки! Простите мне, что я поверила им... Бейте их, как только можете... Вот вам мое благословение.

Лебедянь. 24. VI. 42

Синенькие. II. 43.

Памяці Янкі Купалы.

У трывожную і цяжкую гадзіну прышла вестка аб смерці Янкі Купалы. Адышла ў гісторыю цэлая эпоха ў жыцці і свядомасці беларускага народа.

На скрыжаванні ўсходне-заходніх дарог і інтарэсаў народаў пачаў сваю трагічную гісторыю народ Беларусі. Ніколі, па суці справы, не ведаў ён росквіту сваёй культуры, не ведаў на працягу амаль усіх вякоў сваёй самастойнасці. Падаўлены цяжкай барацьбой з беднай прыродай, задушаны сацыяльным прыгнётам пануючых класаў, сціснуты нацыянальнай нецярпімасцю іншых народаў, ён да XX стагоддзя не змог у скарбніцу сусветнай чалавечай культуры ўнесці адпаведны свайму дараванню скарб. Сотні і сотні пакаленняў беларускага народа аддалі ўсе свае фізічныя і інтэлектуальныя сілы, каб здабыць кавалак хлеба (хай сабе ён будзе і напалавіну з мякінай!) і мець свой невялікі кавалак зямлі і родны кут. Толькі ў сумных песнях, у якіх столькі нуды, што пачуўшы іх «уцякаў бы, бег, здаецца, сам не ведаеш куды», беларускі народ адлюстраваў жудасаную беспрасветнасць стагоддзяў свайго жыцця.

Меў беларускі народ братоў, з якімі блізка і назаўсёды звязаў яго лёс гісторыі: рускі і ўкраінскі народы. Але іх дзяржаўныя дзеячы рашалі свае пытанні, а народы мелі свае ланцугі.

Гісторыя Беларусі не ведала сентыментальнасцей. Усе войны Захада і Усхода адбываліся на яе тэрыторыі, кроўю і папялішчамі, пустэчай і голадам азначаючы свой шлях.

Разрозненыя і нешматлікія спробы нацыянальнага культурнага абуджэння беларускага народа не выліваліся ў працяглы і магутны росквіт культуры. І толькі ў канцы XIX стагоддзя ў выніку агульнага прагрэса культуры Расіі, пад уплывам рускага народа, пачалі абуджацца культурныя сілы беларускага народа. Праз лепшых сваіх прадстаўнікоў, ён задумаўся над сваім лёсам, над сваім становішчам, падаў свой голас. І найбольш поўна адлюстраваў душу народа, яго думкі, яго жаданні паэт і грамадскі дзеяч беларускага народа Янка Купала. Ён з’явіўся асновапаложнікам беларускай класічнай літаратуры і стаў яе самай яркай асобай.

Купала не стварыў агульначалавечых тыпаў, у яго няма сусветна вядомых твораў. Але ўся яго творчасць ад першага да апошняга радка прысвечана беларускаму народу. Яго паэзія адлюстравала і слабыя і моцныя бакі жыцця народа, яго і дадатныя і адмоўныя рысы. Яго паэтычная і асабістая біяграфія, яе перабудовы і пераломы — гэта адбітак гісторыі народа, радасць і першае шчасце народа, знойдзеная на новых шляхах жыцця. <...>

Колькі думак, колькі пачуццяў вызвала ў душы чутка аб заўчаснай смерці Купалы. Яшчэ раз да болі ў сэрцы адчулася, як блізак і дораг нам паэт! Хочацца пра многае сказаць. Але няма часу. Лютуе вайна. Над родным краем пануе злейшы вораг. І няхай сны, якія разам з паэтам сняцца аб Беларусі, будзяць нашы сілы на святую барацьбу з фашызмам. Няхай лепшым вянком, лепшым ушанаваннем памяці дарагога паэта будзе нашае намаганне перамагчы ворага.

Будзе час: заквітнеюць палеткі радзімы, паўстануць з руін нашы гарады і вёскі. У ногу з сваімі братамі, у ногу з іншымі народамі мы разам пакрочым да сапраўднага шчасця чалавечага жыцця на зямлі. І тады мы паставім вялікаму выразніку дум народа — паэту — Купалу заслужаны помнік. А сёння, раз пакутуе народ, раз у нашым доме вораг, — панясём у сэрцы яго апошнія радкі — заклік да бязлітаснай барацьбы з ворагам!

<...>

Рассказ, претендующий на долговечность, должен быть рассчитан на принцип круговой обороны.

<...>

27 января 44.

Выезд в Кутно. Впечатление: разграбленные магазины, квартиры, хлам. Поляки с нацистскими значками.

29 января.

Выезд в Гнезин. Проезд через Лович, остановка, ночлег. Приветливые хозяева-поляки. Семья интеллигента-поляка, учитель, желает выехать в Россию. Сила в единстве славян.

<...>

26 августа 44.

Час ночи.

Я все еще не осмыслил постигшего меня горя...

Я все еще не понимаю происшедшего...

Еще ни одна слеза не уронена, ни один вздох не вырвался из груди...

А этого я ожидал. Об этом думал. Долго. Мучительно. Изо дня в день. Все три года.

И вот оно: письмо.

Виссарион Степанович!

Мне сильно не хотелось бы первой сообщить Вам столь неприятную новость, но так как на мою долю выпало первой встретить Ваши письма и, учитывая то, что Вы мужчина, я решила сообщить Вам про судьбу Ваших родителей. Родителей Ваших больше нет. Гитлеровские изверги сожгли вишенских жителей и вместе с ними Ваших родных. Осталась в живых только Ия, она до этого случая и уехала. Произошло это в марте месяце 44.

Странно. Я выражаюсь «случай». Да ведь для них это самое нормальное явление. Мать Ваша до этого жила в д. Дворец, по некоторым обстоятельствам ее заставили переехать к брату в д. Вишенки, где она со всей Вашей семьей погибла. Домá Ваших родных в Вишенках, а так же и в Дворце стоят целые.

Всего описать, что произошло за эти три года, все мученья, которые пришлось перенести Вашим родным на протяжении всего этого времени, никак невозможно. Если есть возможность, приедьте, здесь узнаете больше.

Пока. Желаю Вам всего хорошего.

С приветом Ващенко.

13 сентября.

Из Седлеца в Дачи. Острувск. Через Минск-Мозовецкий во время артобстрела. Дачи в лесу. Следы боя. Братские могилы: «Здесь похоронены неизвестные солдаты».

Семьи поляков на дачах, худые, чахоточные. Дачи захламлены. Старушка-аристократка. Сын — жуткий призрак. Она целует собачку.

— Если бы американские консервы...<...>

22 сентября.

Напряженная работа по схеме немецкого оборонительного рубежа внешн. обвода г. Варшавы. Сегодня Рембертув обстреливался из дальнобойных. Вечером канонада. Два снаряда упали рядом. Вылетели стекла.

12. XI. 44.

Бывают в жизни человека целые месяцы, когда он разрывает связь со всеми близкими и дорогими, замыкается и мучительно переживает свое одиночество, каждый раз вспоминает о тех, с кем прервал общение, устремляясь к ним, лаская их, живя их согревающей близостью и любовью. Так было со мной в 1941-м и 1942-ом. Два трагических года я не писал никому ни строчки. О чем писать? Задавать вопросы? Усиливать мучительность раздумий? Зачем? У каждого из друзей и так было много горя. Добавлять свое не мог.

Прости меня, Любинька, что не смог и сейчас делиться страданием.

Три года я был разлучен с семьей. Три года тревоги и ожиданий. В июле родина была освобождена. Но мои родные не дождались дней свободы. В марте их сожгли фашисты.

Я ожидал это. Я знал: только случайность спасет семью. Фашистам есть за что мстить советской интеллигенции. Я получил трагическое письмо, как знакомую весть. Слеза не уронена мною. Я отмучился ранее.

Вот и все.

<...>

3 января, 44.

Умер Роллан. Как меня волновал когда-то Кристоф. Любил я образ мятежного музыканта. В нем была часть моего «я».

Все в прошлом. Оторвался от всех знакомых, любимых героев, отвык от мыслей. Хочется что-либо написать, вспомнить. Но во всем пустота, тишина, ни чувств, ни мыслей.

4 января.

Вчера впервые ощутил наслаждение от чтения книг на польском языке. Читал грустную сказку Андерсена «Сирена» с прекрасными иллюстрациями Эдмунда Дуласа.

Милое детство. В воспоминаиях взрослого оно встает, как жизнь в голубой стране с яркой расцветкой всех красок. Вот такое ощущение внести в книгу о детстве. Это нашел Пришвин.

—

Привисленский край. Сосновый лес. <...> У перекрестка фронтовых дорог могильный холмик. Наша землянка на опушке леса. У входа сосенка. Нас — 8. Стены из мохнатых тел сосен. Капельки смолы. Сыплется, шуршит песок.

—

Тщебень. Имение графа. Рога лосей, коз, чучела кабанов.

Разлив водки и разрыв снарядов.

16. XII. 44—14. I. 45.

На голову капают слезинки смолы. Пахучие, с приятной желтизной. Кажется, собери их вместе, нанижи на нитку, встряхни, и они зазвенят нежной мелодией лесных слез. Сквозь щели между мохнатыми бревнами потолка и стен лились тоненькие струйки с тихим шуршанием. У входа в землянку стояла сосна. Вокруг сосновый бор, вперемежку с березами. Выйдешь утром в туман или в солнце, ночью при луне, станешь очарованный и боишься шевельнуться: явь или сон. Вдруг от движения или от прикосновения мыслей исчезнет волшебная сказка.

14 февраля 45.

Наконец сбылась моя давняя мечта, моя цель, мое устремление... Да одного ли меня?! Всех нас, всей армии, всего народа. Я у пограничного фольварка Биккен по шоссе Бирибаум-Шверин. У дороги, на полосатом столбе — огромная, нарисованная на фанере рука, указующая на запад. Под нею надпись: «Вот она — проклятая Германия!», а немного поодаль: «Трепещи, Германия, гвардейцы идут!»

Жадно всматриваюсь во все. Чувства напряжены и обострены.

Красивый пейзаж, освещенный зимним солнцем, но в душе весна и все воспринимаешь по-весеннему. Машина за машиной идут вперед мимо живописных холмов, покрытых посеянным и заботливо взращенным молодым лесом. В лесу словно выметено: ни сломанной ветки, ни листьев. Дорога и шоссе — аллея. Каменные, аккуратно отесанные столбики-указатели; на деревьях, столбах — белые полоски. Засеянные поля. Ровными засеянными рядами убегают, сливаясь вдали в массив, широкие участки озимых.

Вот они — ее дороги, поля, леса, ее земли. Дошли! Даже не верится, что это явь. Так долго, так напряженно ждали, боролись, побеждали.

Проехали лес, и открылся простор. На ясном голубом горизонте поднялся от земли и встал до середины неба вихревой столб черного дыма. Что-то знакомое. Где я это видел? Июль сорок первого. Так горел наш город Невель. Подавленный, с горечью в сердце, медленно шагал я мимо потрясающего зрелища. Радость вспыхнула сейчас в моей груди.

Деревня у шоссе. Руины и пепел. В поле бродит корова, поодаль, у леса, коза. На шоссе и по сторонам разбитые повозки с разбросанным домашним скарбом, разноцветными тряпками, белым пухом перин...

Три с лишним года болью и упреком, горечью и ненавистью жгли мое сердце эти картины на родине. Радостью отмщения забилось мое сердце сейчас.

— Хорошо, хорошо! Переживите и вы все то, что пережито, выстрадано нами из-за вас.

Город Шверин. Красивое зрелище пожара. Огонь бушует над двумя громадными домами и рвется вверх.

— В моей деревне было тридцать пять домов. Немцы их сожгли. Я дал себе слово сжечь столько же домов немцев, — говорит старший сержант, спутник по машине. Он любуется пожаром, и губы шепчут:

— Хорошо, хорошо.

И вдруг, словно видение. Среди руин, схватившись за каменную ограду, стояла старая женщина, одетая в черное. Ее глаза с ужасом и упреком неподвижно смотрели на колонну мчащихся машин. На фоне развалин и пожара, олицетворением страдающей матери стояла она, поднявшись над сегодняшним днем.

Что-то дрогнуло в моей груди. Сколько взглядов — родных взглядов — и в последний раз так смотрели перед собой... Может, так смотрели глаза моей матери? А, может, если бы я видел ее глаза перед тем, как их захлестнуло пламя, я радовался бы безмерному горю этой старушки?.. Но нет. Нет в таких страданиях пищи для радости человеческому сердцу. Мы не воспитывались в школе Гитлера.

Города и деревни у шоссе обезлюдели. Лишь непрерывным потоком идут наши машины одна за другой, а навстречу нам спешат девушки, женщины, семьи, освобожденные из плена. Пристально всматриваюсь в каждое лицо. Может, среди них есть моя сестричка?

Контрольно-пропускной пункт, сокращенно «кпп». Дальше мой путь — девять километров в сторону.

Наши бойцы учатся кататься на велосипеде. Один их них наехал на столб и упал.

— Черт возьми! Два сломал уже сегодня. Это третий.

Машины в Кенигсвальде не ходят. Идти лесом. Минута раздумья. Рисуются сценки нападения рассеянных групп немецких солдат, борьбы с ними.

— Черт с ними! Рискну. Отобьюсь. Иду вначале с нервной настороженностью, но полная тишина и красота вечернего леса, полянок с дикими козами, холмов, сосен, облитых лучами солнца, заставляют забыть войну. Я иду, а в памяти мелодия Штрауса. И наивный вопрос чувств: «Зачем воевать, когда так красиво кругом?»

Повозка, длинная, как русская, в которой возят сено, стоит у края шоссе. Вокруг пух, лежит изящный помятый термос, втоптанная в песок кофточка, разбросаны книги. Справочник Хютте, чьи-то новеллы. Две дикие козочки остановились и смотрят с полянки на меня. Я махнул руками. Одна дрогнула ножкой, немного отбежала и снова с любопытством глядит на меня.

Тишина. Никого из людей. Только стройные, каждая с черной каймой, сосны безмолвно окружают меня. А лес убран, словно городской парк.

Надоест такой лес скоро — ощутил я и подумал: «Вот что значит милая привычка с детства к родным лесам Белоруссии. Густые кусты орешника, старые трупы мохнатых великанов, беспорядочно разбросанный валежник с уродливыми корнями; хворост, угли пастушьих костров, выжженные детьми дупла. Дико и мило! Вот где бескрайний простор фантазии... А здесь? Не отсюда ли бессознательная привычка к порядку, бездушному немецкому порядку?»

Прошел километров шесть. Захотелось есть. Присел у края шоссе. Осмотрелся. То же безлюдье и тишина. С аппетитом перекусил, выпил из фляги сладкого чаю и стал наслаждаться картиной леса. Так прошло минут десять. «Довольно!» — требует сознание. «Еще минуточку!» — просит мое существо. «Ну, и ребенок же ты», — говорю себе и, забрасывая рюкзак, встаю и иду. Вспомнился «Птицелов» Багрицкого:

Так идет веселый Дидель
Через Гарц, поросший лесом...
И пред ним зеленый снизу,
Голубой и синий сверху
Мир встает огромной птицей
Свищет, щелкает, звенит...

Лес кончился. Вспыхнул красивый солнечный вечер. Показались поля, шпиль кирхи. Облегченно вздохнул.

В честь окончания путешествия прилег на прошлогодней траве у шоссе и мечтал, созерцая глубину высокого холодного неба, игру весенних красок, бездумно наслаждаясь родной мне сельской тишиной.

— Скоро кончится война. Останутся позади руины, пожары, разметенные уюты и очаги. Снова мирный труд, но тяжелый-тяжелый. А потом что? Опять война?.. Эх! Как не забывайся, не отрешиться от грустных мыслей.

Кенигсвальде. Просторные каменные дома с черепичными крышами, увитые плющом. Много деревьев, декоративной зелени. К самому городку подходит лес. В лесу крики и гиканье. Мчится мальчик на лошади.

— Чей?

— Черниговский.

— Здесь живешь?

— Нет.

В лесу целый обоз с семьями. Дети, узлы, чемоданы, коровы, куры. Громкие голоса.

Городку посчастливилось: совершенно сохранилось все. Вывешены белые и красные флаги. На крыльце сидят старые женщины, занятые вязаньем. Играют дети.

Встретился старый толстый немец в шляпе и поздоровался со мной по-ротфронтовски. Я растерялся, не зная, чем ответить. Со смешанными, противоречивыми чувствами прохожу по улице, чувствуя, как ненависть обезоруживается мирными картинами быта: играющие дети, красивые домики, нетронутые войной и пожаром. Разбежался мальчик с золотистыми локонами, изящно одетый. Добежал до меня и, вопросительно взглянув в лицо, спокойно остановился. Его невинное личико заставило меня улыбнуться.

По указателям дошел до своего штаба. Громадный, готического стиля замок, увитый плющом. Парк. Лес. Вид на цепь озер, уходящих за горизонт. Скульптуры. В стены вделаны памятники старой материальной культуры: обломки плиток с иероглифами, барельефы. У стен старинные вазы, скульптуры.

У входа мохнатая медвежья шкура, щетки для чистки обуви. Массивные двойные двери. Вестибюль. На первой стене фамильные гербы, более двух десятков. Они вызывают ироническую улыбку. Гобелен со сценой из рыцарских времен. Дальше — картины, портреты. Окна из цветных стекол с мозаикой на темы старой немецкой живописи. Гольбейн, Ван Эйк.

Ковровые дорожки. Лестница на второй этаж. Поднимаюсь. Стены коридора второго этажа увешаны гравюрами из жизни Карла, Фридриха. Стеклянные шкафы с орудиями первобытной культуры человека, с коллекциями редкого фарфора. Вот и первый отдел. Радостный, вхожу. Приветствия. Восклицания. Сидят уже разодетые девушки. Мягкие диваны, кресла, ковры. Вид на озера и лес.

— А мы здесь в вине утопаем.

— Неужели! Где? Вино я пью! А кто здесь жил?

— Барон фон Вальдов. Он здесь, а рядом еще замок дочери. Его убили поляки перед нашим приходом.

— А книги здесь есть?

— Целая библиотека.

Я обрадовался.

— Ну, тогда — все в порядке.

Наша комната на третьем этаже. На кроватях перины, шелковые пуховые одеяла, покрывала с баронскими инициалами. Полный ящик вина. Выбираю постарше. Наливаю бокал, пробую. Кислое. Стоят мешки с сахарным песком. Насыпаю сахару.

— Что ты делаешь? Зачем портишь вино?

— А мне так приятнее.

Выпиваю бутылочку. Божественное опьянение. Бытие — безмятежное счастье. Снимаю обувь и утопаю в пуховиках. Вечерняя заря в зеркале озера. Розовая дымка. Ни вопросов, ни грусти... Хорошо.

15 февраля 45.

Каждый день осматриваю замок. Библиотека. Дорогие фолианты на всех языках, даже японском. Русских книг нет: взяты ранее побывавшими здесь нашими офицерами. Гейне, Гете, Шиллер, Шекспир, Байрон... Много военных книг: кичливой прусской военщины и торжества Гитлера.

Мягкая стильная мебель. Ковры. Драпировка из тяжелого малинового бархата. Высокохудожественные картины. Вазы. Статуэтки из мрамора. Изящный телефон-автомат. А за окном вид на лес и озеро. И так обставлена каждая комната трех этажей. Свыше сорока комнат. Жил один старик-барон. Его кабинет и спальня внизу, на первом этаже. Стены обиты шелком с пробковой прокладкой. Звуконепроницаемый мир.

С чувством любопытства и гордости хожу по комнатам. Мысли, ассоциации, ироническая улыбка. Все служит украшению бытия человека. Чужой красивый мир. А все-таки, к чему должен стремиться человек? Не к пробковым стенкам, конечно. Для каждой семьи — средоточие культурных ценностей. Будущая культура быта — здоровые условия труда, жилищ, без позорного разврата рабских услуг одного человека другому. Техника — слуга человека. А он — свободен и счастлив. Нет войн. Все время — для познания себя и мира, для творчества, для развития эстетических чувств и наслаждения бытием... Да здравствует свобода и счастье, о которых никто уже не пишет, никто не грустит, за которые никому не нужно жертвовать жизнью. Они как воздух, как вода. Ими научились пользоваться не во вред себе и другим. А многие ли умеют сегодня пользоваться своей свободой, личной жизнью? О, как далеко уносит меня мечта... Фолиант искусства Италии. Мюнхен. Позор Мюнхена. Надо победить. Нет другого исхода. Взять сиюминутного человека и принудить его идти к свободе и счастью, найти соединительный мостик и поднять его сознание и привычки, развить до желания обрести себя. О, сколько жертв еще нужно! Сколько десятилетий уйдет! Увидеть ли нам новый мир?..

Дни назад доживал свой век барон. Думал ли он о том, что мы придем? Законное возмездие. Замок будет разграблен... Останутся стены. Жалко? Конечно, жалко. Ведь эти богатства можно сделать достоянием народа. Но война не умеет беречь чужой культуры. А разве культура может быть чужой? Что за вопросы? Отвык я от них.

Пустые шкафы. Вешалки. Обрывки покрывал. Запах нафталина.

Роскошные фотоальбомы: семейные, военных походов. Шкаф карт земельных угодий. Карты генеалогии баронского рода. Ветвистое дерево! С иронической улыбкой сын белорусской батрачки небрежно развертывает эти священные реликвии.

Сметенный мир. Ни зависти, ни сожаления. Вот так ворвались чужие люди в мой интимный мир и, с сознанием правоты своего дела, уничтожили его. Надо изменить воспитание людей и изменить лик земли. Из ребенка вырастает фашист. Ребенок становится коммунистом. Первый сражается, чтобы угнетать и уничтожать. Второй разрушает мир фашизма, чтобы навсегда для всех народов упрочить право на счастье.

Подвал. Отбитые горлышки бутылок с вареньями, соусами. Открывать некогда, а надписи непонятны. Разорванный мешок с сахарным песком. Хруст. Разбитые тарелки. Все с лихорадочной поспешностью перевернуто, разбросано.

24 апреля.

Сегодня я в Берлине! 24 апреля 1945 года... Сколько долгих дней я ожидал этого дня! Но верил в этот день. Вчера я перечитал страницы своего дневника августа 1942-го. Тяжелые страницы. А и тогда не покидала мысль о возмездии, о пути в Берлин. И вот я сегодня из Кенигсвальде приехал в Фридрихвельде, проехал через Кюстрин, напомнивший отдельными своими уголками Сталинград.

— Еду к своим, в Берлин!

И каждый спешит скорее попасть в Берлин. Сколько радости у каждого, кто едет туда! Быть в Берлине! Многолетняя мечта, омытая кровью, потом, бравшаяся с боем, шаг за шагом.

Картины пути вызывают воспоминания, одно за другим...

В сердце, в душе ликование, торжество.

По всем дорогам идут освобожденные, большинство — молодые девушки. Идут французы, поляки, улыбаясь, приветствуя нас. Немецкого населения нет. Проехал от Кенигсвальде до Берлина — и никого. Встречаются только пленные. Остальные прячутся, отсиживаются. Заслуженная трагедия, позор, который не смыть этому поколению немцев и не спрятаться от него.

Торжествует весна. Цветут сады. Домики пригорода Берлина утопают в цветах. Все, что не разрушено, чистенькое, нарядное, красивое.

Много бытовой техники. Бетонированные дорожки, скульптурные украшения, декоративные огородики.

Следы ожесточенных боев. Танковые бои. Много подбитой техники. В одном месте подбито около двадцати наших танков. Их демонтируют.

Часть улиц Фридрихсвельде разрушена, но много и целых домов. Над Берлином облако дыма. Канонада. У дома, где наша опергруппа, стоят «Катюши», методически посылающие снаряды в центр Берлина.

Движение — непрерывный поток машин, людей.

Мы уже получили задание: взять на учет все объекты техники и охранять их от диверсионных актов. Наша задача: сохранить Берлин и взять от него все, до последнего винтика. Снимаем баррикады.

Ночью выехали в Хохвальде.

25 апреля.

Был в районе Хохвальде на подземном авиационном заводе. Мирное крестьянское поле, вспаханное, засеянное. На двух холмах, расположенных в полукилометре один от другого, стоят по три металлических колпака в 30 см толщиной. У подножия холма вход в точку и дальше спуск в авиазавод на глубину 30—40 м. Величина его колоссальная: до 30 км. Подземное общежитие.

26 апреля.

Берлин окружен! То, о чем мечтали гитлеровцы в отношении Москвы, свершилось в отношении их собственной столицы. Какая весть!

Сегодня 26-е апреля 1945 года. В юности я загадывал себе числа, сравнивая: а что будет через год, десять лет в этот день? Мечтал ли я в 1935-ом о сегодняшнем событии? О том, что я буду здесь? Да... Неужели я донесу свое бытие до 1955-го? И что я буду?

Родина. О тебе мои мысли, мои чувства в часы просветления разума и сердца. Тебе посвящена моя работа, за которой ухожу в интересы будней.

1935-ый год. Хотела дотянуться гитлеровская змея до нашего сердца, вырвать лучших сынов родины; провокацией, изменой, шпионажем ослабить, раздробить нас. Не вышло. Сегодня идет неумолимое возмездие. Весна человечества наступает: мировая, просторная. Воздух становится чище, дышать легче, солнце светит ярче. Бойцы, офицеры — все спешат вперед, просветленные, радостные в своей внешней суровости, обветренности, опаленности.

27 апреля.

Германия разрезана! Волнующие исторические дни. Как их будут изучать! А мы — их участники, их свидетели.

Нет моей семьи, нет моего дяди. Как он хотел жить!

— Мне хочется знать, а что будет дальше, — часто говорил он.

28 апреля.

Жаль, что я не могу носить нашивки, хоть бы меня ранили в какое-нибудь мягкое место.

— Как на новом месте?

— Благодарю вас, плохо.

27. V. 45.

Дорогая Люба!

Роскошная зелень. Солнечные зайчики в тени. Небо — высокое, чистое. И нет фронта. Отгремели девятого, уже играя, последние залпы. Чувства не задают вопроса: надолго ли? Им мало надо:

Краюху хлеба,
Каплю молока,
Да это небо,
Да эти облака.

А вокруг по-прежнему редкие прозревают. Не замечают ни игры света и цветов, ни милой тишины мира — ласки бытия, наступившей после стольких лет предельной напряженности нервов...

Озабоченность, спешка. Я наблюдаю, а мечта мне рисует наше будущее, когда человек будет очищен от буден, выпрямится для горнего полета.

Я свое земное не дожил,
На земле свое не долюбил...
Где оно
... глупое счастье
С белыми окнами в сад?

Последний боевой выстрел грянул не в меня. Я вступил в поверженную столицу врага. Руины освещались заревом. Десятки километров улиц, большинство кварталов — мертвые груды обломков.

Чувства радовались. Сколько лет мы видели руины своих городов, и путь в Берлин казался длиннее земного.

Разум молчал. Слишком много увидено, пережито без осмысливания, продумывания. Эти годы мы жили в буднях борьбы. Разум исчерпывался разрешением боевых вопросов...

А сейчас к радости все сильнее прибавляется горечь. И чем явственнее осознаешь размеры пережитой катастрофы, тем крепче она. Как случилось, что человечество допустило такое самоистребление? Бедные расточители! Ведь и без этого на Земле так мало уголков, доставляющих радость бытия.

Не погасли еще угли руин, а сознание ставит вопрос: неужели это не последняя война? Сколько снова грязных интриг и политического шантажа в Европе и вокруг проблем Сан-Франциско.

Как редки мои письма к тебе, так редко мое пробуждение от буден, мой горний полет. Ты меня осудила. Права. Каждый день думать о тебе — не значит общаться с тобою.

Ты вот скоро будешь творцом на нашей родине. Ты долго и серьезно овладевала благороднейшей и самой гуманной профессий на Земле. Как мне хочется, чтобы ты своей работою оставила светлый след человечеству, чтобы ты из цепей страданий, данных человеку природой, вырвала какое-либо звено. Честное слово, я искренне верю в это. И где-то, глубоко в своей душе сравниваю тебя с собою, но не в пользу себя.

Не хочется признаваться, но крадется «страшнейшая из амортизаций — амортизация сердца и души».

Нет у меня светлых огоньков, будящих мысль. Ты не пишешь. Друзей разбросала военная судьба. А здесь, на чужбине:

устал я жить
в тоске по гречневым просторам...

Одна война окончена. Мертвые не встанут. Мой родной очаг не возродится из пепла. Не прильну сыновьей головой к родной груди...

Надо забыться в радости творчества. А оно для меня в школе, среди детей. Их мир проще, искреннее взрослого.

Шлю тебе несколько фото. Это — дороги войны. Этими дорогами шли мы, побеждая ночь фашизма. Ведь какой яркий солнечный день должен наступить сейчас! Но его вполне ощутят потомки.

А у нас пока слишком много будничной работы, слишком много насущных забот. Нам вновь и вновь вырывать радость у грядущих дней.

Пиши.

22 июня 45.

Четыре года.

Что они для времени и что для человеческой жизни?

И с чем сравнить горение этих лет? Напряжение 1941 и 1942 годов?

Вчера был у товарища. Уют немецкой квартиры. На диване кукла. Красивая, с мигающими голубыми глазами. Говорит «мама». На голове — красивые вьющиеся локоны. Стал с нею играть. И вдруг, как ток, мысль: «А ее волосы с Майданека».

Ночью ехали через Берлин. Сияла полная луна. Одна за другой менялись величественные картины мертвого города.

Если бы не эти четыре года, они бы потрясли мой разум и чувства: остовы зданий, коробки домов, груды обломков, исковерканный металл перекрытий. Все безжизненное, опаленное, улица за улицей, десятки километров пустынной тишины, фантастических призраков-теней, созданных руинами и луной.

На перекрестке встало многоэтажное красивое здание с пустыми окнами. И на миг оно ожило в каждом окне огнями, весельем юности, цветами. Но я вспомнил: это Берлин. Видение исчезло.

Мы молчали. И вдруг незаметно у всех зазвучала мелодия песни:

— Ах, ты степь широкая, степь раздольная...

Тихо лилась она милым дорогим потоком воспоминаний о своей родине и, будто бы странная среди мертвого города, она так хорошо гармонировала с нашими чувствами. Мы смотрели на руины, и бесконечно повторялся дорогой мотив. И каждый чувствовал в сердце гордость. Но она не была злорадством. Нет. Песня без слов лилась чистой и тихой человеческой гордостью, омытой многолетней горечью, страданиями, пережитыми за эти страшные героические годы. Это песня звала к новому творчеству, к новому счастью.

Встанут из руин прекрасные города, вырастут новые поколения, которым не будет ведом мир Майданеков.

—

Улыбки берлинцев — жалкие улыбки людей, переживших кошмарные годы. Но они прошли. Пришли те, кому этот кошмар был предназначен. И стала тишина.

Радостно, что живым трупам можно вылезти из могил. Странно, что пришло возмездие, и никто не простит за содеянное.

Киноповесть улыбок, выражений: просящих, заискивающих, испуганных, со скрытой злобой, неуверенно, искоса глядящих на тебя. И все лица голодные, измученные...

Они бросают недоверчивый взгляд в весеннее небо и, с еще не прошедшим ужасом, смотрят в его чистую голубизну, не веря, что оно надолго перестало извергать на них смерть.

Вот она, «высшая раса», завоеватели мира, которым вбили мечту о тех днях, когда их Гитлер объявит 25-летний праздник. Они сейчас уныло разбирают баррикады, и я, не выдержав, кричу им:

— Дойчланд, дойчланд, юбер аллес.

Некоторые жалко улыбаются, иные еще ниже опускают головы.

«Берлин работает, борется и стоит» — надпись на стене.

И всюду наклонившаяся черная тень и «Nem... Pst»...

Ненависть и жалость, злость и смех перемешиваются, когда смотришь на этот людской чужой калейдоскоп.

— Когда люди перестанут быть чужими?

И когда исчезнет возможность вбивать народу лживые идеи, а потом бросать его в бойню, развязывая зверские инстинкты?

Жалко детей и старух-матерей да стариков. Дети — цветы жизни. И странным кажется, как из ребенка вырастает шпион, провокатор, убийца, палач. Старики из поколения Либкнехта может быть и мечтали о честном человеческом общежитии... Но эти мечты угасли.

3. VII. 45

Оле Сцяпанаўне Гладкіх
Цяжкі час адзіноты,
чужыя агні, берагі.
І адна толькі памяць і боль
аб усім, што было дарагім...
Толькі могілкі, попел,
нязбыўныя горач і сум.
Неаплаканым гора сваё
я ў сэрцы цяжарам нясу.
Нас, як брата з сястрою,
злучоных няшчасцем адным,
Скрыжаванне дарог
парадніла за гэтыя дні.

Толькі стрэча з табою
мільгнула як зорка, як сон.
І ў сэрцы пакінула след
незабыўнай і сумнай красой.
Боль суціхла, каб зноў
успыхнуць новым пякельным агнём
І не даць супакою
ні ноччу,
ні днём.
Берлін.

6. VII. 45

<...>

На крышу вагона, где сидел я, любуясь пейзажем Померании, взобрались пять мальчиков, по виду — беспризорников.

— Откуда вы?

— Из Витебска.

— А как сюда попали?

— За трофеями.

Руки и ноги в черных чешуйках грязи. Ни вещей, ни сумок.

Разговор — отборные ругательства. Замечая, что я их с интересом слушаю и наблюдаю, они наперебой рассказывают друг другу свои красочные похождения: пьянство, драку с польскими мальчиками, обманывание полицейских; то, как их угощали спиртом и папиросами наши офицеры.

Один из них сел на край крыши, выдвинув вперед ноги. Вдруг он неожиданно мелькнул в воздухе, как большая лягушка и, ударившись о щебень насыпи, закувыркался. Вагоны закрыли место падения.

— Дурак, дорисовался, — с презрением отпустил ему вслед один из товарищей. — Так ему и надо.

На остановке они слезли, решив разыскать товарища.

—

Штудгарт. Пустой вокзал. Бетон, пути, щебень. Вагоны с демонтированным оборудованием. Опустошенные сады. Пыль, вонь. На вокзале люди с вещами. Старухи, худые женщины, старики. И дети. Голодные, грязные. Сидят, вяло передвигаются. Утро. Холодно. Суровое лицо разрухи. Что-то гневно-обличительное и величественное.

<...>

— Товарищи, по радио предупредили о передаче важного правительственного сообщения.

— Это — новое обращение к народу. Война с Турцией.

— Нет. С Японией.

— С Японией, конечно, с Турцией смешно воевать.

— А с Финляндией в свое время не смешно было?

— Ну, тогда другая обстановка была.

— Что же может быть?

— Конечно, в таких случаях обращение к народу.

Разговор окончен. Ловим Москву. Напряженное ожидание.

— С Японией! — вздох. — Прощай дом, опять мобилизация.

Снова сразу же лица стали сосредоточенно-серьезными. Молчание.

— Как думаешь, долго?

— Если союзники будут стремиться воевать нашими руками, то, конечно, долго.

— Все на нашем брате выезжают.

— О сроках договорятся.

— Разве войну можно планировать? <...>

—

Мой водблеск змучанай душы,
Мая сястра на раздарожжы,
Якім нам словам варажыць,
Каб сны хоць шчасцем упрыгожыць?
Разбуран дом, няма сям'і,
Разносіць вецер папялішча.

Хоць частку болі адымі,
Хоць на хвіліну гора знішчы.
Здаецца, узлётам маладым
Ніколі шчасця ўжо не песціць.
Няма ўжо сілы быць адным,
Жыццё, як крык пакуты несці.
Дай прытуліцца да грудзей,
Дай сінь вачэй тваіх убачыць.
Мо, у іх крыніца для надзей,
Няма ўжо чым шляхі мне значыць.
Скрозь годы смерці я прайшоў,
Не пахіснуўшыся ні разу,
А зараз, зранены душой,
Хоць бы ў міраж дзіцячых казак.
Пытаеш сінь маіх вачэй,
Як я, шукаеш ператулку.
Як я — у бяссоннасці начэй
Трывожыш сэрца цяжкай думкай.

13 июля 45

<...>

Сижу в комнате и слушаю разговор товарищей.

— Война сплотила наш народ, все слои. И если сейчас дадут нашему народу одеться, поесть, передохнуть немного — никакая сила его не сломит.

— Неинтересной стала жизнь после войны.

— Исчезла целеустремленность.

— Сейчас новому поколению жить, а нам, все видевшим и пережившим...

— Только пить осталось да вспоминать.

— Ждали, жили, боролись, надеялись...

— Бросьте вы ныть. Делать нечего, так и лезут разные мысли.

— Не умеем мы веселиться. Отвыкли.

Вышел к парку. Иду по дорожке. Навстречу две женщины: худенькая, симпатичная, белокурая, лет 23 и лет 40. С корзинками.

— У вас что есть?

Смеются.

Разговариваю, упражняясь в языке.

— Она тебя любит, — говорит мне пожилая, — только стыдится.

Я взглянул в лицо молодой. Бледное худое лицо. Тоненькие сеточки преждевременных морщин. Смущаясь, с улыбкой опустила глаза.

Жгучее любопытство овладело мною. Я понял. Пойти, не пойти?

Пожилая оставила нас вдвоем.

— Одну минутку, — говорю и ухожу к себе на квартиру. Взял белых сухариков и вернулся.

— Возьми, пожалуйста.

<...> повеселевшими глазами поблагодарила <...>

—

Раненый на носилках обнял чемодан руками.

—

В развалинах: боец застегивается, немка держит его автомат.

—

Подвал с вином. Наши, союзные, немцы, пленные. Шум, давка, крик.

—

Лагерь репатриированных девушек. Нары. Гулянье. Комната. Выпивка. Дети. Надписи на бараках: Нина, Валя. Работа с восьми лет. Упрек девушки: «А вы их теперь жалеете. Хлеб даете. А когда мы голодали, они нам ничего не давали».

<...>

К машине подошла старушка. Хлеба.

— Старушку надо пожалеть.

Она — хлеб сразу в рот.

—

На заводе. Ребята сразу по квартирам.

— Вы только не берите. Стыдно будет приезжать сюда снова.

В подвалах корпусов военное обмундирование. Переодевались.

<...>

Надпись на дверях завода: «Через эту дверь русским проход воспрещен».

Французские военнопленные написали на воротах: «Немцам и собакам вход воспрещен».

<...>

Здание водонасосной станции.

— У нас здесь до вашего прихода ковры были.

— А не отравите вы воду?

— Что вы, разве мы население умерщвлять будем.

— Вы верили, что победите?

— Конечно, как патриоты родины, мы желали победы.

— Вы нацист?

— Если служишь, значит должен быть нацистом. Иначе служить нельзя. Прогонят, то есть заставят уйти.

<...>

13 июля 45.

После обеда ездил с Никифоровским в лагерь бывших военнопленных за пополнением для части. Хорошо проехать на машине. По-детски радостно, словно на крыльях летишь. Утопающие в зелени дороги, особнячки. Широкие поля зреющих хлебов и всюду у домов цветы, цветы и цветы. Забываешь даже, что находишься в Германии.

По дорогам по-прежнему плетутся усталые грязные женщины с детьми и убогим скарбом на ручных тележках. Мы останавливаемся у одной группы. Спрашиваю:

— Откуда? Русские?

На меня вопросительно глядят две измученные женщины.

— Вы немки?

— Я! — отвечает одна. — Хлеба. Дайте хлеба.

В памяти мелькнули сцены на орловском шоссе, и я с неожиданно вспыхнувшим ожесточением сказал по-немецки:

— Русские женщины четыре года так скитались по дорогам.

— Четыре года, — повторила женщина, как эхо, глядя перед собою.

Недалеко от населенного пункта Мееров, в 30 км от Берлина, у автострады, в сосновом лесу расположен лагерь б. военнопленных, так назыв. репатриированных граждан СССР. Лагерь обнесен в один ряд колючей проволокой. Вышки. У ворот — будки с часовыми. На арке, нарисованный от руки портрет Сталина и транспарант «Наше дело правое — мы победили!» Вошли в лагерь. На песке, между соснами выкопаны землянки, человек на сто каждая. У землянок, на песке, скатах крыш из шишек выложены силуэты Кремля, герб, звездочки.

Идем по лагерю. Нас провожают сотни глаз лагерников. Молодые, очень здоровые мужчины, полуголые, загорелые стояли и сидели у землянок и под деревьями. Многие покрыты почти сплошной татуировкой.

Это лагерь непроверенных контрразведкой. Их около 13 тысяч. По договоренности мы приехали отобрать для своей части специалистов, и пока нам выстраивают батальон и идет подготовка к опросу, мы наблюдаем.

Пестрая одежда. Преобладает американская военная форма: удобная и красивая. Зашли в землянку. Двухскатный настил бревен. В середине проход, по сторонам возвышение из грунта для постельных нар, застланное досками. На досках пряные ветки, трава, чемоданы, кошелки, и все удивительно разбросано. На нарах, у входа сидят на корточках и играют в карты. Нас они недовольно и бегло оглядывают и продолжают игру. Ни книг, ни газет.

И везде — изощренная, непрерывная ругань. Сколько пропадает человеческой энергии, как она уродуется!

Откормленный ленивый парень.

— В каком году попал в плен?

— В сорок первом.

На груди вытатуирован орел, несущий на фоне скал обнаженную девушку.

Самодовольные жесты.

В груди поднялось враждебное чувство к нему.

— Сдался в плен, — мелькнуло в мыслях.

— Возьмите нас скорее отсюда. Надоело. Четыре года за проволокой, без прав, — просит человек с интеллигентным лицом и нервной худобой.

Непрерывные рассказы про ужасы немецких лагерей; про то, что этот непостижимый для человека, не пережившего их, фантастический режим зверств создавался сами-ми же предателями из среды военнопленных.

— Как же выживали? — спрашиваю я.

— Выживали те, кто умел воровать, быть нахальным, кто быстрее других приспосабливался, то есть — терял человеческий облик. Мог есть человеческое мясо, воровать последний кусок хлеба, отнимать... или, кто становился предателем.

— У нас ели человеческое мясо, — говорит один черный вертлявый паренек. — Понесут хоронить умерших и у всех вырежут вот здесь — икры и на руках. Как человек ни худ, здесь всегда остается немного мякоты... Тихонько продают.

— Русских девушек мы не видели. Они с нами не знались. Что мы им могли дать? Голод заставлял их идти на все. А что мы им? Да мы и не думали о бабах. Думали те, кто получали посылки с родины: французы, американцы, англичане, а потом поляки. Красный Крест выдавал посылки. Концентраты, шоколад, сигары... А мы от всех брали — полный интернационал.

Привлек внимание шум.

— Полицая узнали.

Спешу на крик.

Два парня окружены подбежавшими напарниками.

— Ты, гад, бил меня. Думаешь, не узнал?

— Да чего ты кричишь? Не бил я тебя.

— Пойдем в штаб.

— Ну, пойдем.

Высокий худощавый парень. Прямо в глаза не смотрит. Держится спокойно. Видимо, давно к этому моменту был готов. Боится только, что будут бить.

— Ну, что ты кричишь? — повторяет он.

— Я тебя... Убить тебя... Пошли в штаб.

— Ну, я иду... Идем.

— Чего шумят?

— Полицая нашли.

— Ну, чего орать! Их каждый день находят. Мало их здесь что ли!..

В штабе старичок-начштаба требует написать заявление с подписями двух свидетелей.

Через час перед отъездом я увидел, как спокойно под винтовкой с узлом на спине шагал опознанный предатель. С любопытством наблюдаю за ним.

Уцелел один еврей. Его в лагере скрывали товарищи, выдавая за украинца. С нервными бегающими глазами и, по-прежнему, с предупредительно-услужливыми манерами.

— Возьмите меня к себе. Кем мне лучше у вас устроиться? Я могу быть парикмахером, слесарем и по торговой части. Совторгслужащий.

— Как же вы уцелели?

— Сам не знаю. Если свои не выдадут, то немцы, конечно, не узнают, кто ты: еврей или другой. А меня не выдали.

— Хорошие друзья у вас были.

— Очень хорошие.

22 июля.

Ехали на хорхе через Мальсдорф. На перекрестке немец-регулировщик в форме. Он прозевал, и мы чуть не столкнулись с легковой. Шофер Селецкий, высокий, здоровый, остановился, выскочил и подозвал к себе немца. Пожилой, выбритый, худой, он по-военному подошел и замер. По-немецки, сердито шофер стал кричать и неожиданно ударил немца по щеке. Раздался сухой треск, каска качнулась на бок, но удержалась. Второй удар...

— Довольно! — закричали мы: врач, я и даже Никифоров.

Чувство омерзения и причастности к в совершении гадкого поднялось в моей груди. Нахмурившись, мы отворачивались друг от друга и всю дорогу молчали.

<...>

У дерева, на тротуаре, остановился еще один немец и смотрел на нас.

Случай, когда мы чуть не столкнулись, произошел на днях из-за оплошности постового.

Тогда это возмутило меня так, что я готов был ударить виноватого и, быть может, в секунды гнева, ударил бы. Но сейчас это сделал не я, а другой, и во мне поднялся протест и ощущение виноватости. Гадко, мерзко бить человека, виновного ли, врага. Это не поле боя, не расстрел... Как нравственно низко падает человек, когда он поднимает руку на другого.

Мне вспомнились сцены, когда Никифоров показывал свою ненависть к пленным тем, что на ходу он открывал дверь легковой машины, и она сбивала идущих. Но сейчас и он ощутил гадость совершенного. Норматив гуманности поднимается в гражданское время и резко падает в войну.

27 июля.

Перед обедом ком. части подполковник Буравцев подписал мне отпускной билет, и я, не дожидаясь обеда, спешно простившись с сослуживцами по отделу, сел на трамвай и начал путешествие в сторону Бервальде, разыскивая сестренку.

Мои познания в немецком языке против желания привели меня на Штеттинский вокзал, хотя я собрался ехать попутными машинами.

На Штеттинском вокзале пестрая толпа немецких женщин, детей, стариков с вещами. И ни одного нашего командира или бойца. Я почувствовал себя неприятно одиноким среди этой толпы, готовых тебе улыбнуться, вежливых, предупредительных, так внимательно смотрящих на тебя со всех углов разрушенного вокзала. Скрытая ненависть измученных глаз нищеты, бездомности, голода, страдания, страдания чужого, заслуженного, не вызывающего жгучей жалости и сострадания. В первый раз я, как победитель, ощутил себя на секунды не по себе, но в ответ вспыхнула реакция недовольства собой... Нет — хорошо. Переживайте и вы хоть часть того, что мы пережили!

Я вышел и встретился, как с родными, с двумя медсестрами и старшиной. Оказались попутчиками до Штеттина из группы в пять человек. Командир — капитан 45 лет, белорус, в прошлом работник НКВД, страстный охотник, знает все местечки Белоруссии. Второй, старшина, преподаватель химии, лет 40, худой, тихоня. Две девушки-медсестры, до войны ученицы, лет 20—22, без девического овала, лица с сеткой морщинок, усталым и наглым взглядом, опавшей грудью, привыкшей к чужим рукам. Третья — некрасивая, здоровая, с гоготом во все горло вместо смеха и улыбки. Я сразу же, по-дорожному, сдружился с капитаном, и весь путь до Штеттина проехал с ним.

— Я битый человек. Всю жизнь свою проездил. Людей знаю. К ним подойти умею... Без аттестатов и талонов сам и своих спутников накормлю и напою. На станции ждать? Никогда! Мое правило — всегда вперед.

22 апреля 46.

Вчера объявили о проведении в части показательного процесса. Я пришел в отдел. Майор Прийма спросил меня:

— Вы слушали процесс?

— Нет, а что?

— Я хотел бы, чтобы все мои сотрудники прослушали его.

— Разве это так необходимо?

— Я думаю, не повредит.

Я пошел в клуб. В переполненном людьми помещении на сцене сидел майор Военного трибунала — толстый флегматичный мужчина с крупными чертами лица — и два наших офицера. Шел допрос подсудимого. Высокий, полный и могучий детина с отсутствием мысли и чувств в выражении лица сидел перед сценой, впереди зрителей, и чувствовал себя, как волк в клетке. Я пытался проникнуть во внутренние переживания парня. Он улыбался, садился на стул и разваливался, рисовался бесшабашностью человека, которому все нипочем.

Обвинялся парень в самовольных отлучках, ограблении немецкой квартиры в ночное время и в ограблении табачного немецкого магазина. Виновным себя признал.

По бокам стояли два бойца. Горело электричество. Объявили перерыв. Парень оглядывался на лица сидящих в зале. Одного узнал. По-хулигански подмигнул, улыбнулся.

— С чем вы ходили на ограбление квартиры?

— Ни с чем.

— Оружие было?

— Нет.

— А финский нож, что вы брали у товарища?

— Его у меня не было.

— А как вы магазин открывали?

— У меня был перочинный нож. Ведь без него не вымешь стекол.

— А я думал, без ножика можно. Ладно. Теперь будем знать. Если в следующий раз пойдем за табаком, захватим ножик.

Парень недоуменно смотрит и молчит.

Судья задает вопросы, выслушивает ответы как уже давно известное, очень надоевшее. Люди, пришедшие послушать показательный процесс, смотрят на него, как на новое зрелище, привлекшее на час-другой их внимание. Необычна обстановка только для подсудимого. Он не подготовился к ней, и сейчас тут решает, что делать. От запирательства он бросается к признанию, от грубой развалки на стуле с улыбочкой к беспомощному поиску глазами, полными страха, поддержки хотя бы одного человека. Но люди улыбаются, читают в перерыве газеты, разговаривают, разглядывают подсудимого, не проявляя никакого участия.

— Ваше последнее слово. Что вы хотите сказать?

— Мне сказать нечего. Что советский суд мне присудит, пусть то и будет.

— Вот тем и лучше, — спокойно отвечает судья.

— Десять пополам, — с жестикуляцией, весело предсказывает себе срок подсудимый.

Когда после перерыва майор объявил семь лет исправительно-трудовых лагерей без права кассации, парень воспринял приговор молча. Он два раза расписался у секретаря суда и, уходя из зала, на ходу крикнул:

— Ну, теперь булка хлеба, ать-два — и ваших нет.

— Дурак, сам на себя наговорил. Он мог бы меньше получить.

— Вообще он дурак. Был бы умный, не делал бы этого.

А я стоял и думал: когда человечество перестанет воспитывать таких уродов, ведь вряд ли он исправится — этот тупой, неразвитый лентяй, привыкший пить, курить, ходить к женщинам. Ведь не повлиял на него ни период заключения, ни допросы: здоровый, полный, он не волнуется, не стыдится, не имеет никаких нравственных нормативов и руководствуется только рефлекторной жизнью. Он не раскаялся, не признался, ему нечего было сказать в последнем слове просто потому, что он не знал и не умел ничего сказать. Ему 23 года. Почему он не стал Гастелло, Олегом или умным инженером?

— Жалко парня. Подумать: семь лет!

Мне не жалко лично его. Изолировать его необходимо. Особенно здесь. Меня волнует другое. Как устранить уродование прекрасного человеческого материала?

—

Вчера праздновали немцы пасху. Я проехал на велосипеде километров 40, выехав далеко за город. На огородных участках работали немцы, сажая флянцы, разравнивая грядки, подстригая деревья. Вечером для наблюдений посетил два ресторана. В одном было так накурено, что я поспешно ушел, едва переступив порог. Во втором сел за свободный столик. Сидели парами немцы, главным образом пожилые, за бокалами черного пива, флегматично беседуя. За два свободных столика сели мужчина лет 40 и женщина 45, заказали по бокалу пива и после совещания тихонько попросили принести по сигарете.

— Сколько стоит сигаретка?

— Американская — 10, немецкая — 6 марок.

Они сидели, наслаждаясь дымом и дрянным напитком. Одетая по моде женщина, забывая годы, кокетливо щурила глаза и морщила улыбкой рот, а мужчина, худой и усталый, тихо и медленно о чем-то говорил.

День был теплый, солнечный.

Подготовил к публикации
Александр ВАЩЕНКО.



СВЕТЛАНА МАХЛИНА

Личность художника в современной культуре

Художник — понятие многозначное. В данной статье под словом «художник» понимается автор, создающий художественные произведения в любых видах искусства. Когда мы говорим о личности художника, имеются в виду не только представители живописи, скульптуры, но и творцы всех видов искусства: писатели и архитекторы, артисты и режиссеры, танцовщики и хореографы, музыканты и композиторы и т. п. Многие виды искусства не могут обойтись без исполнителя. И они также относятся к великому объединению художников.

Посвящая статью личности художника сегодня, в современной культуре, мы должны помнить, что существуют некие общие черты, роднящие художников всех времен и народов. Во все времена личность художника обладает некоторыми важными особенностями. Это, во-первых, — талант, без которого художник не может состояться. Во-вторых, профессиональная подготовленность, наличие специального художественного образования. И, наконец, глубокое и тонкое постижение окружающего, умение, по словам Уистана Хью Одена, «видеть материальные вещи как священные знаки, как вестников незримого»[1]. Вот почему художник многое провидит, опережая своих современников. И вот почему его понимают намного позже, чем созданы его произведения. Как правило, художественная критика отстает лет на 25, а уж публика воспринимает истинное явление искусства через 50 лет. Иосиф Бродский это объясняет так: «Искусство, например, отличается от жизни или от реальности тем, что оно не откатывается назад, как пушка, которая, выстрелив, откатывается назад, а продолжает двигаться дальше... Иными словами, искусство старается всеми возможными ему средствами предотвратить или предупредить откатывание, повторение им уже совершенного... И таким образом искусство оказывается, как это ни странно, действительно в некотором роде впереди жизни»[2]. Из истории мы хорошо знаем трагические коллизии, когда только после смерти автора его произведения оказывались оцененными и широко воспринимаемыми. Так происходило и происходит всегда. Оден писал: «Человек, который чего-то стоит, по-моему, всегда одинок. Настоящие художники не являются приятными людьми; все их чувства уходят в работу, и жизнь получает остаток»[3]. Да, часто художники — это люди неприятные в быту, с большим количеством недостатков. Но талант и трудолюбие способствуют созданию шедевров. Итак, мы можем констатировать, что испокон веку художники обладают некими одинаковыми чертами. Естественно, каждый отрезок времени налагает на личность определенные особенности. Но для того, чтобы понять, что же представляет собой личность художника на данном этапе, мы должны согласиться с Жаком Ле Гоффом: «День сегодняшний начался вчера. Будущее всегда обусловлено прошлым»[4].

Художником не рождаются. Художником становятся. Но для этого необходимы определенные предпосылки. Сегодня поступить в учебные заведения, готовящие художников, ока-

[1] Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском /Бенгт Янгфельдт; Астрель: CORPUS, 2012. — 368 с., с. 111.

[2] Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском /Бенгт Янгфельдт; Астрель: CORPUS, 2012. — 368 с., с.310, 311.

[3] Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском /Бенгт Янгфельдт; Астрель: CORPUS, 2012. — 368 с., с.194.

[4] Ле Гофф, Жак. Становление Европы //Эко, Умберто. Поиски совершенного языка в европейской культуре — СПб: «Александрия», 2009. — 423 с., с. 5.

зывается довольно сложно. Если в советское время, особенно после войны, преподаватели ездили в глухие уголки, чтобы выявить таланты, то сегодня, как правило, никто об этом не заботится. Существовали специальные школы при высших учебных заведениях, как ЦМШ при консерватории, художественная школа при Академии Художеств и т. п. При этом была разветвленная сеть школ искусств (бесплатная). «Советское государство выступало в роли доминантного спонсора культуры»[1]. То же было характерно для высшего художественного образования. Нельзя не согласиться с Соломоном Волковым: «Культурное образование в СССР с профессиональной точки зрения было весьма эффективным, несмотря на засилье курсов по марксизму-ленинизму, которые, правда, способным студентам разрешали более-менее игнорировать. На особенной высоте стояли консерватории, опиравшиеся на достойные, еще дореволюционные традиции. Они выпускали высокопрофессиональных исполнителей, лучшие из которых легко побеждали на самых престижных международных конкурсах. Композиторов тоже готовили очень тщательно. Если студент демонстрировал талант, то дорога в Союз композиторов, членство в котором сулило существенные привилегии, была ему открыта. Приблизительно та же ситуация сложилась и в московском Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК). В московском Литературном институте, готовившем (как он это делает и до сих пор) дипломированных писателей, поэтов и переводчиков, обстановка была более официозной»[2].

Сегодня же практически все такие школы в России становятся платными. В то время попасть в них было сложно. Для поступления надо было сдать экзамен, и комиссия должна была определить, талантлив ребенок или нет. Конечно, встречались смешные ошибки. Например, Валерия Гергиева посчитали непригодным для обучения музыке и лишь под давлением знакомого его приняли в специальную музыкальную школу для одаренных детей (так тогда назывались музыкальные школы). Конкурс в такие школы был большой, и часто в советское время он выливался не в конкурс способных детей, а конкурс их родителей. Конечно, очень талантливые, без именитых родителей все же прорываются в сферу искусства. Венечка Ерофеев вырос в очень далеком медвежьем углу. И книг в семье не было, и библиотека была куцая, а он все что читал — запоминал. В доме был отрывной календарь, и Венечка помнил на память все его тексты, вплоть до времени восхода и захода солнца и луны. Но ведь как было трудно пробиться в литературу?

Часто поступают в школы для одаренных детей те, у кого родители каким-то образом связаны с тем или иным видом искусства. При этом, заканчивая такие учебные заведения, дети деятелей искусства выходят на общественную арену с облегченными условиями существования. Часто мы видим династии художников в разных видах искусства — в кино, театре, музыке и т. д. В июне 2013 года на канале «Культура» известную пианистку Екатерину Мечетину спросили, будет ли она учить своих детей музыке, и она откровенно ответила: «Конечно. У меня родители музыканты, у мужа родители и он сам музыканты». Ведущий ей возразил: «Но ведь в искусстве такая большая конкуренция. Вы не боитесь?» Она честно ответила: «Так как я профессионал, я увижу, способен ребенок или нет. А в конкуренции моим детям будет легче, чем другим».

Увы, при этом, если родители достаточно известны, к детям отношение чаще всего предвзятое. И дети страдают от славы своих родителей. Считается, что природа отдыхает на детях гениев. Не всегда это так. Примеров тому — огромное количество. Вспомним хотя бы Арсения Тарковского и его сына Андрея. Оба в своей сфере — в поэзии и киноискусстве были первоклассными мастерами, и сегодня это ни у кого не вызывает сомнения. И примеры такого рода можно продолжить. Однако очень часто под сенью славы родителей талантливым детям приходится из-за предвзятого отношения страдать и испытывать несправедливое неприятие. Так было, например, с очень талантливым сыном прославленного Томаса Манна. Роман его сына Клауса «Мефисто» был встречен довольно холодно. Между тем фильм Иштвана Сабо по этому роману вызвал всеобщий восторг. Все считали, что это заслуга кинорежиссера. И только те, кто перед просмотром фильма прочитали роман, знали, что это очень глубокое и яркое произведение, показывающее, как талант гибнет в тоталитарном обществе. Но даже

---

[1] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с.74.

[2] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с. 258.

и теперь о Клаусе Манне знают очень немногие. Ибо, как считает Умберто Эко, «все истинное неизвестно большинству и предназначено для немногих»[1].

Итак, с одной стороны, известность родителей может помочь в становлении художника, с другой — слава родителей может покрыть тенью талант его ребенка.

Кроме того, сегодня художник не может быть «властителем дум», как это было раньше. Прошли те времена, когда «в России большой писатель — это как бы второе правительство»[2]. Впрочем, Иосиф Бродский писал: «По большому счету, поэт не должен играть такую роль в обществе, какую он играет в России»[3]. Но в то же время утверждал: «Искусство выше общества — и самого художника»[4].

Если раньше художник, родившийся отнюдь не в привилегированной среде, мог стать известным и оказаться вровень с представителями верхушки общества, то сейчас это не так. Вспомним, что Моцарт, родившийся в семье отнюдь не аристократической, был принят в самых высоких слоях общества. Сегодня художник, особенно серьезный и глубокий, отнюдь не воспринимается как тот, чье имя значимо. И если раньше бедные люди старались дать именно художественное образование своим детям, чтобы они могли вырваться из пут нищеты и недостатка, то сегодня стать художником, оказывается, довольно сложно. Из истории известно, что художники нередко были приняты при дворе и в высших эшелонах власти их ценили. Несмотря на разные, в том числе сложные условия, мы видим, что художники продолжают создавать настоящие произведения искусства, которые будут волновать следующие поколения.

Сегодня уже нет того стремления непременно сделать ребенка художником. Связано это с тем, что обучение любому виду искусства требует не только от учащегося, но и его родителей, огромных усилий: материальных, физических, духовных. Но стоит ли игра свеч? Все видят, что стать знаменитым и получать почести — трудно. Да и средств оказывается не так много. И родители чаще решают, лучше пусть их чадо станет экономистом или юристом. Ему будет обеспечена безбедная жизнь, даже если он не прорвется в ведущие специалисты. Экономист — ближе к деньгам, юрист в современном мире, насквозь пронизанном юридическим сложностями, всегда будет востребован, и, значит, вознагражден. На худой конец — пусть ребенок станет врачом — хотя и дольше учиться, да и денег поменьше, зато даже в тюрьме условия будут более легкими. А ведь в нашей стране все знают пословицу: «От тюрьмы и от сумы — не зарекайся!» И затрат для таких профессиональных направлений меньше, как материальных, так и физических, и духовных, и результат эффективней.

И все же. «В высокой культуре роль личности верховна»[5]. Правда, важно иметь в виду, что сегодня высокий профессионализм не так уж и ценится. Да, стать профессионалом очень и очень сложно. А вот в легких, развлекательных жанрах достичь успеха легче. Выучил человек три аккорда на гитаре — и вот уже он стал кумиром таких же неподготовленных фанатов, как и он сам. А их много. Или выбежал в экспозиционный зал голышом с криком «Почему меня не выставляют?!», а еще лучше — наложил кучу экскрементов в центре выставочной площади — и вот уже несутся со всех сторон восклицания: «Как интересно, как ново, как смело!» Все же, если мы обратимся к творчеству ведущих авангардистов или современных постмодернистов, мы увидим, что все они имеют профессиональную подготовку не только в академическом рисунке, но и в композиции, технике и технологии своего вида искусства и т. п.

Понятно, что перестройка во многом изменила положение художника в нашей стране. «Многие и в России, и на Западе были уверены, что за крушением коммунистического режима немедленно последует невиданный культурный расцвет. Случилось нечто противоположное»[6]. Многое она принесла отрицательного, несмотря на восторг интеллиген-

---

[1] Эко, Умберто. Поиски совершенного языка в европейской культуре — СПб: «Александрия», 2009. — 423 с., с. 198.

[2] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с. 6.

[3] Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском /Бенгт Янгфельдт; Астрель: CORPUS, 2012. — 368 с., с. 75.

[4] Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском /Бенгт Янгфельдт; Астрель: CORPUS, 2012. — 368 с., с. 90.

[5] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с. 57.

[6] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с.311.

ции. Уехали новые российские звезды: певцы Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, пианист Евгений Кисин, скрипач Максим Венгеров. Список этот можно продолжить — и в области литературы, и в области балета и всех остальных. «Теперь в Россию хлынул поток дешевых американских фильмов, халтурной поп-музыки, криминального чтива. Одновременно, отказавшись от тотального контроля за культурой, государство резко сократило финансирование национальных драматических театров, серьезных кинофильмов, оперы, балета и симфонических оркестров. Особенно заметным образом сдала свои позиции литература, сыгравшая столь заметную роль во время перестройки... Кумирами публики являются не писатели и поэты, как это было раньше, а поп-музыканты, киноартисты и модные телеведущие»[1]. Все же многие понимали: «Империя кончилась, история кончилась, жизнь кончилась — дальше все равно что. Все равно, в какой последовательности будут разлетаться головешки и обломки и с какой скоростью» (Андрей Битов)»[2].

В современной культуре изменились параметры существования художника в обществе. Нарастающая коммерциализация предъявляет к художнику новые требования. Он должен быть развлекателем. Как пишет в своем новом романе Валерий Попов, «нынче издается — да и пишется — только то, что хорошо продается»[3]. Сегодня представители легких жанров становятся кумирами. Имеют огромное количество поклонников. И если в советское время «власти стремись искусственно изолировать от влияния западной массовой культуры»[4], то сегодня таких препонов уже нет.

Почему это происходит? Нарастающий информационный бум мешает человеку остановиться, призадуматься. Ему надо вписаться в ускоряющийся ритм жизни. Накопление информации создает массу трудностей для понимания. Поэтому развлекательность в искусстве становится предпочтительнее. При таком быстром прогрессивном движении нарастает варваризация общества. Не случайно Умберто Эко выпустил книгу под названием «Полный назад!», в которой собраны статьи с 2000 по 2005 год. Автор показывает, почему происходят эти непоправимые изменения: падает мораль, нарастают суеверия, войны остаются средством осуществления политики и т. п.

Многое изменилось и в положительную сторону. Именно свобода, наступившая после перестройки, позволила выдвинуться таким женщинам в центр общественной жизни, как «писательницы Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая и Людмила Улицкая, поэтессы Елена Шварц и Ольга Седакова, кинорежиссер Кира Муратова, художницы Наталья Нестерова и Татьяна Назаренко, композиторы Галина Уствольская и София Губайдулина»[5].

Впрочем, для настоящего художника его положение в обществе не столь важно. «Поэт дожжен быть аутсайдером, но заинтересованным аутсайдером — «молящимся стоиком» по меткому определению Бродского»[6].

Да и в любой период времени художники всегда есть, ибо «они должны выразить и что в ином случае останется невыразимым»[7]. Эта потребность культуры способствует тому, что, какими бы сложными ни были времена в том или ином регионе, художники всегда есть и будут, правда, в разных видах искусства это будет по-разному. И зависеть это будет от особенностей данной национальной культуры. Но сама культура нуждается в художниках, ибо искусство, по словам Иосифа Бродского, в Нобелевской лекции «это единственная имеющаяся у нас страховка против пошлости человеческой души»[8].

---

[1] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с. 324.

[2] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с. 309.

[3] Валерий Попов, Александр Шмуклер. Тетрада Фалло //Попов В.Г. Евангелие от Магдалины: Романы. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. — 526 с., с. 319.

[4] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с. 307.

[5] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с. 308.

[6] Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском /Бенгт Янгфельдт; Астрель: CORPUS, 2012. — 368 с., с. 114.

[7] Эко, Умберто. Поиски совершенного языка в европейской культуре — СПб: «Александрия», 2009. — 423 с., с. 54.

[8] Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском /Бенгт Янгфельдт; Астрель: CORPUS, 2012. — 368 с., с. 146.

В современной культуре, помимо того, что художник должен обладать качествами, необходимыми для того, чтобы быть заметным — талантом, яркостью, неожиданностью осмысления обычного, обыденного, — надо еще уметь преподнести себя публике, уметь выстраивать свой имидж, нередко занимаясь самомифологизацией. Увы, часто очень хорошие художники этого не умеют. А вот представители легких жанров делают это с легкостью, нередко с помощью разного рода менеджеров и продюсеров. Поэтому знают и ценят подчас отнюдь не самых интересных и глубоких авторов, а тех, кто сумел громко о себе заявить. Соломон Волков в качестве примера приводит имена скульптора Зураба Церетели, живописцев Александра Шилова и Ильи Глазунова, которые уже в советские времена сделали себе имя, «умело балансируя на грани дозволенного и недозволенного и привлекая на свои выставки толпы зрителей»[1]. С другой стороны и неофициальные художники приобретали известность. «Кабаков и его друзья по концептуальному крылу неофициального искусства — поэты Пригов и Лев Рубинштейн, прозаик Владимир Сорокин — склонялись к нетрадиционной для русского искусства идее о том, что художник может не участвовать в социальной жизни, «ничего не защищать, ни против чего не выступать»...

«Кульминацией этого процесса стал сенсационный аукцион фирмы «Сотбис» 1988 года в Москве, на котором... «Фундаментальный лексикон» Брускина ушел за 412 тысяч долларов»[2].

Литература на глазах стала утрачивать свою центральную роль в духовной жизни: «разрушилась не только советская, но и постсоветская иерархия ценностей»[3]. Столь же неутешительна и ситуация во всех других видах искусства, хотя при этом мы знаем имена великолепных режиссеров, музыкантов, танцовщиков, хореографов и т. п.

Помимо сложностей, существующих в общественной жизни, на самореализацию художника влияют особенности его характера. Часто у художников трудный характер. Так, например, было с Никой Турбиной (1974—2001), художественная одаренность которой проявилась очень рано. Девочка-первоклассница с подачи Юлиана Семенова опубликовала свои стихи в «Комсомольской правде», через год вышла книга ее стихов с предисловием Евгения Евтушенко, затем участвовала в Международном поэтическом фестивале «Поэты и Земля» в Италии, где была награждена «Большим Золотым Львом Венеции». В Италии в издательстве Фабрицио Зилло «Via del Vento» вышла массовым тиражом книга стихов в переводах Федерико Федериси. Потом была поездка в США. Здесь она встречалась с Иосифом Бродским. Автор вступительной статьи ее посмертного сборника писал: «Она была как бы проводником между небесами и землей, между Всевышним и людьми»[4].

Он утверждает: «В судьбе Ники Турбиной отразились все «добрые традиции» отношения нашего общества к таланту: при жизни — если не травля, то забвение, после смерти — если не запоздалое восхищение, то спекуляция причастностью к судьбе творца»[5]. О себе в своих заметках она писала: «была изначально больна непониманием временем, людьми, не разбиралась в себе сама»[6]. Нику убивали «долго и молча, пулями невнимания, равнодушия, зависти к ее таланту, молодости, внешности»[7]. И все же. Если в детстве у нее вышли две книги стихов, она выступала по Центральному телевидению, о ней писали, ее брали в поездки и т. п., то вдруг все это резко прекратилось. Между тем, человеком она была глубоким и тонким. Очень многое понимала и верно оценивала. «Нельзя заставить добрым быть. С богатством этим суждено родиться»[8]. О своем времени она писала: «Мечте моей присло-

---

[1] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с. 289.

[2] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с. 294, 295.

[3] Волков С. История русской культуры XX века от Льва Толстого до Александра Солженицына. — М.: Эксмо, 2011. — 352 с., с. 326.

[4] Ратнер Александра. «Успела я костер разжечь в сердцах людей...» // Турбина Ника. Стала рисовать свою судьбу. Стихотворения, записки /Ника Турбина — М.: Зебра, 2011. — 480 с., с. 9.

[5] Там же, с. 11.

[6] Там же, с. 10.

[7] Там же, с. 12.

[8] Турбина Ника. Стала рисовать свою судьбу. Стихотворения, записки /Ника Турбина — М.: Зебра, 2011. — 480 с., с. 424.

ниться некуда. Мечта, она хрупка, обидчива, недолговечна. Ее сломать легко. Пытается она пробиться, но циники висят вокруг, без денег никуда не ступишь»[1].

Часто в современном искусстве используется прием «двойного кодирования». «Двойное кодирование» есть одновременное использование интертекстуальной иронии и скрытого метанарративного обращения. Термин этот был введен в обращение архитектором Чарльзом Дженксом, по выражению которого архитектура постмодерна «одновременно изъясняется по крайней мере на двух уровнях: с одной стороны, она обращается к архитекторам и к заинтересованному меньшинству, которое волнуют специфические архитектурные значения, с другой — к публике, вообще или к местным жителям, которых заботят другие вопросы, связанные с комфортом, традициями строительства и образом жизни»[2]. Далее поясняется: «Неискушенный, массовый читатель (читай — любой воспринимающий — *С. М.*) не сможет в полной мере оценить последующий нарратив. Не осознав этой игры в матрешку, этой многоуровневой отсылки от одного из источников повествования к другому, распространяющей ауру двусмысленности на произведение в целом»[3]. Таким образом, «Постмодернистское здание или произведение искусства одновременно обращается к меньшинству, к избранным, используя для этого «высокие» коды, и к широким массам при помощи общедоступных кодов»[4]. В книге Умберто Эко «Откровения молодого романиста» раскрываются тонкости художественного процесса и он пишет: «в любой творческой деятельности без ограничений не обойтись; живописец решает, писать ему маслом или темперой, на холсте или на стене, поэт — выражать свои чувства шестистопным ямбом, хореем или дактилем, композитор выбирает тональность для будущей пьесы... Каждый из них устанавливает для себя некую систему ограничений. Не ушли от этого и представители авангарда, для которых, казалось, ограничений нет; они просто создали собственные, которые мало кто замечает»[5].

О том, как влияет творчество художника на воспринимающих, очень ярко писал Лев Шестов — любого, не только поэта, хотя в данном случае речь идет о поэте: «Поэт примиряет нас с жизнью, выясняя осмысленность всего того, что нам кажется случайным, бессмысленным, возмутительным, ненужным»[6]. И далее Лев Шестов пишет о задаче художника: «Найти там закон, где все видят нелепость, отыскать там смысл, где, по общему мнению, не может не быть бессмыслицы, и не прибегнуть ко лжи. К метафорам, к натяжкам, а держаться все время правдивого воспроизведения действительности — это важный подвиг человеческого гения»[7]. Важным элементом творчества Лев Шестов считает искренность. В случае неискренности, по его мнению, наступает паралич таланта. При этом сам художник может быть отнюдь не добродетельным[8]. Создавая произведение, художник испытывает отнюдь не восторг творчества, а «...непрерывный переход от одной неудачи к другой. Общее состояние творящего: неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне, издерганность. И чем серьезнее, значительнее и оригинальнее взятая на себя человеком задача, тем мучительнее его самочувствие»[9]. Мысли эти, высказанные более 100 лет тому назад, остаются актуальными и сегодня.

---

[1] Там же, с. 441.

[2] Charles A. Jencks, The Language of Post-Modern Architecture (Wisbech, U.K.: Balding and Mansell, 1978), 6/ Цит. по: Эко, Умберто. Откровения молодого романиста /Умберто Эко. — М.: АСТ:CORPUS, 2013. — 320 с., с. 48.

[3] Эко, Умберто. Откровения молодого романиста /Умберто Эко. — М.: АСТ:CORPUS, 2013. — 320 с., с. 49.

[4] Charles A. Jencks, What Is Post-Modernism? (London: Art and Design, 1986), 14—15. См. также: Charles A. Jencks, ed., The Post-Modern Reader (New York: St. Martin's, 1992/ Цит. по: Эко, Умберто. Откровения молодого романиста /Умберто Эко. — М.: АСТ:CORPUS, 2013. — 320 с. 48.

[5] Эко, Умберто. Откровения молодого романиста /Умберто Эко. — М.: АСТ:CORPUS, 2013. — 320 с., с. 41.

[6] Шестов Л. Собр. Соч. Т. 1, — СПб, 1911, Шиповник, с. 93. Цит. по: Ерофеев В. В. Остается одно: произвол (Философия одиночества и литературно-эстетическое кредо Льва Шестова) //Ерофеев В. В. В лабиринте проклятых вопросов. — М.: Союз фотохудожников России., 1996. — 624 с., с. 83

[7] Там же.

[8] Шестов Л. Собр. Соч. Т. 4. — СПб., 1911, Шиповник, с. 143 Цит. по Ерофееву, с. 91—92.

[9] Там же. Шестов — с. 68, Ерофеев — с. 95.

Лишь дилетанты толкуют о радостях творчества. Конечно, они присутствуют, но весьма редко. А вот муки творчества сопровождают художника постоянно. Умберто Эко пишет, что «вдохновение» — это непристойное словечко, которым пользуются хитрые писатели, пытаясь добавить себе художественной значимости. Старая поговорка гласит: гений на десять процентов состоит из вдохновения и на девяносто — из потения»[1]. Сам он признается, что 8 лет ушло на создание романа «Маятник Фуко», 6 — на «Остров накануне» и на «Баудолино», 4 — на «Таинственное пламя царицы Лоаны». При этом он проводит «годы подготовительной работы внутри некоего зачарованного замка, полностью абстрагировавшись от окружающей действительности»[2].

Любой художник хочет в своем произведении показать нечто важное и сущностное. Вот что пишет Умберто Эко: «Автор любого ученого труда, как правило, представляет некий конкретный тезис или предлагает решение некой проблемы, тогда как в стихотворении или романе писатель стремится показать жизнь во всем ее противоречивом многообразии. Он намеренно вытаскивает противоречия на передний план, делает их явными, очевидными. Автор художественного произведения не предлагает читателю готовый рецепт, но просит найти решение самостоятельно (исключение составляют авторы бульварных и сентиментальных романов, чья продукция — способ дешевого отдыха и развлечения)»[3].

О великой ответственности художника, о сталинских годах уже в 1942 году Мария Петровых писала:

А нас еще ведь спросят — как могли вы
Терпеть такое, как молчать могли[4].

О предназначении художника Мария Петровых писала:

Не зря, не даром все прошло.
Не зря, не даром ты сгорела,
Коль сердца твоего тепло
Чужую боль превозмогло[5].

Мария Петровых была великим поэтом, остро воспринимающим все нюансы жизни, даже тогда, когда это было совсем не в стиле времени:

Ахматовой и Пастернаком,
Цветаевой и Мандельштамом
Неразличимы имена.
Четыре путеводных знака —
Их горний свет горит упрямо.
....
Здесь крыть, как говорится, нечем
Вам, нагоняющие страх[6].

Сегодня многое нагоняет страх в нашей жизни. Но истинные художники, которые никогда не переводятся, какими бы сложными ни были условия существования, как и всегда, помогают нам понять пути движения вперед, найти дорогу к лучшему будущему. Наша задача — суметь это увидеть, услышать, вычитать. А для этого необходимо готовить публику. Но это уже другая тема.

---

[1] Эко, Умберто. Откровения молодого романиста /Умберто Эко. — М.: АСТ:CORPUS, 2013. — 320 с., с. 20.

[2] Эко, Умберто. Откровения молодого романиста /Умберто Эко. — М.: АСТ:CORPUS, 2013. — 320 с., с. 24.

[3] Эко, Умберто. Откровения молодого романиста /Умберто Эко. — М.: АСТ:CORPUS, 2013. — 320 с., с. 15—16.

[4] Петровых М. С. Великие поэты мира: поэзия /Мария Петровых. — М.: Эксмо, 2012. — 352 с., с. 23.

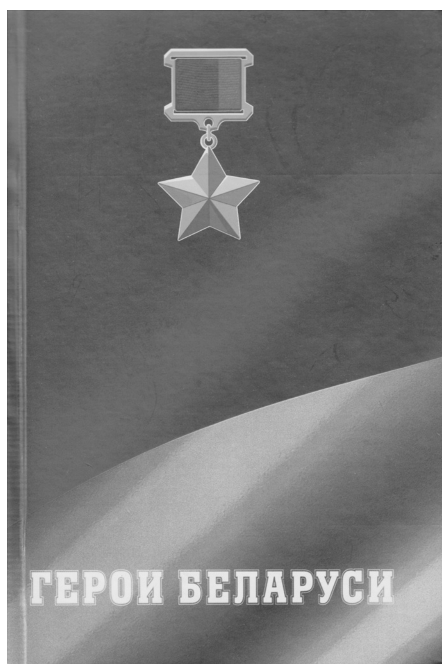
[5] Там же, с. 149.

[6] Там же, с. 133.

С точки зрения рецензента

Как много в этих словах — герой Беларуси

Как известно, в СССР существовали два почетных звания, которые являлись наивысшей степенью отличия: «Герой Советского Союза» — за героические подвиги и «Герой Социалистического Труда» — за выдающиеся достижения в хозяйственном и культурном строительстве. Никто и не обращал особого внимания на то, что, по сути, получалась некоторая нестыковка. Если хорошо поразмыслить, то получается, что Герой Социалистического Труда — тоже Герой Советского Союза, только удостоенный этого звания за мирные деяния. В нашей стране эта «несправедливость» устранена. Законом «О государственных наградах Республики Беларусь» от 15 января 1996 года было введено почетное звание «Герой Беларуси», являющееся высшей степенью отличия и государственной наградой. Присуждается оно Указом Президента Республики Беларусь за исключительные заслуги перед государством и обществом, связанные с подвигом, осуществленным во имя свободы и процветания Республики Беларусь, а также с достижениями в мирном труде. На сегодняшний день Героями Беларуси являются одиннадцать человек. О десяти из них и рассказывается в книге, выпущенной издательством «Мастацкая літаратура», которая так и называется — «Герои Беларуси» (составитель Игорь Осинский). О десяти, ибо в то время, когда этого звания была удостоена Дарья Домрачева, книга уже находилась в печати.



Первый герой ее, извините за тавтологию, первый Герой Беларуси — Владимир Карват. Этого высокого и почетного звания он был удостоен посмертно Указом Президента Республики Беларусь от 21 ноября 1996 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Очерк Николая Качука «Последний полет» — лаконичен, но, вместе с тем, дает полное представление, как о жизни Карвата, так и о его подвиге: подполковник Карват увел падающий самолет от деревни Большое Гатище. Сам погиб, а жителей спас. Произошло, по сути, то, о чем поется в песне «Огромное небо», столь популярной в 60—70 годы прошлого столетия: «Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, а город спасем!» Кстати, по просьбе жителей, спасенных Владимиром Николаевичем, Большое Гатище переименовано в Карватичи.

Содержательны очерки Тамары Пральь-Гуль «Свет доброй надежды» о председателе агрокомбината «Снов» Несвижского района Михаиле Карчмите, Михаила Шелехова «Генеральный конструктор» о Михаиле Высоцком, Романа Ерохина «Кнутом иссеченная муза...» о народном художнике СССР Михаиле Савицком, Леонида Екеля «Чистый голос сердца» о Митрополите Минском и Слуцком,

Патриаршем Экзархе всея Беларуси Филарете. Ушел на заслуженный отдых герой Л. Екеля, а герои других названных очерков ушли в лучший мир, но портреты их получились яркими, живыми. Из книги видно, как много сделали они на своем жизненном поприще. Лишний раз убеждаешься в том, что звание Герой Беларуси им присуждено заслуженно.

Немало потрудился для этой книги известный белорусский писатель и журналист, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Василий Ширко, являющийся сегодня одним из лучших белорусских очеркистов.

Один из его очерков — «На скрещении дорог и ветров» — посвящен Александру Дубко, человеку уникальному уже хотя бы потому, что он, прежде чем удостоиться звания Героя Беларуси, имел звание Героя Социалистического Труда, был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, в свое время являлся народным депутатом СССР. Очень к месту эпиграф, взятый В. Ширко к этому очерку: «Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами выше и выше, чем дальше мы от них отходим». Так сказал английский ученый-гуманист Френсис Бекон. Правильность этих слов подтверждает жизнь Дубко, которая продолжается в его делах и после его преждевременной смерти. Александр Иосифович принадлежал к тем специалистам сельского хозяйства, которые работают не столько ради высоких показателей, сколько во имя того, чтобы эти показатели помогали людям лучше жить.

Такого принципа придерживался и председатель колхоза «Октябрь» Гродненского района, а с июля 2003 года сельскохозяйственного производственного кооператива «Октябрь-Гродно» Виталий Кремко, увы, также уже ушедший в вечность. Очерк В. Ширко «Его хлебов держава» — это даже и не очерк в его традиционном понимании, а небольшая документально-художественная повесть. Впрочем, что значит небольшая? Мне никогда не приходилось встречаться с Виталием Кремко, но после прочтения очерка ощущение такое, что знал его лично.

Не менее талантливо рассказал В. Ширко и о ныне здравствующих Героях Беларуси: Павле Мариеве («Предводитель великанов») и Василии Ревяко («Кавалер Золотой Звезды»). Первый из них ранее был генеральным директором Белорусского автомобильного завода, ныне он — директор Научно-технического центра карьерной техники и технологий государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси», член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, депутат Парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России; второй — председатель СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района, депутат Гродненского областного Совета депутатов, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь.

В очерке Лилии Ламсадзе («Главный банкир») рассказывается о Петре Прокоповиче. Петр Петрович звания Герой Беларуси, как известно, был удостоен, когда работал Председателем Правления Национального банка Республики Беларусь.

Известно, правда, и иное: Прокопович по профессии строитель. Поэтому после того, как стал главным банкиром страны, появилось немало скептиков, сомневающихся в том, справится ли он с такой ответственной работой. Вскоре всем пришлось приумолкнуть: он оказался на своем месте. Самое время было разобраться в феномене Прокоповича. Не тут-то было. Петр Петрович оказался фигурой закрытой не только по долгу своей службы, но и по характеру. Поэтому после присвоения ему звания Героя Беларуси журналисты, как ни пытались, никак не могли договориться с ним о встрече.

Не удалось это и самому В. Ширко, который должен был писать о Прокоповиче очерк для журнала Администрации Президента Республики Беларусь «Беларуская думка», в котором я тогда работал первым заместителем главного редактора, а Василий Александрович возглавлял отдел государственного строительства. Не помогли даже письма за подписью высокопоставленных лиц, отправленные на имя главного банкира страны по просьбе главного редактора Владимира Величко. Л. Ламсадзе же сделала, казалось бы, невозможное, в результате чего и появился рассказ о Петре Прокоповиче. Он ответил на ряд различных вопросов. Сколь красноречив один этот факт: «В тридцать лет возглавил строительное управление «Целиноградпромстрой», в котором трудилось шестьсот... заключенных. Разнообразие кровей в этой многонациональной команде создавало взрывчатый «коктейль». Прокоповичу совсем не хотелось, чтобы за ним ходили с заточкой. Но других рабочих рук просто не было. Понимал, что к этим

озлобленным людям нужно найти особый подход. Смог же Антон Макаренко из хулиганов и беспризорной шпаны организовать коммуну, почему же у него не получится?» И получилось, когда предложил самим заключенным «выбрать начальство из своих авторитетных людей, которые за работу спросят, но притеснять и унижать не будут».

Последняя страница в книге «Герои Беларуси» еще не написана. И не только потому, что нужно уже рассказывать о Дарье Домрачевой. Пройдет время — появятся люди, которые также будут удостоены этого высокого и почетного звания. Несомненно, они также станут героями очерков журналистов и писателей. Верится, что через некоторое время появится новая книга под таким же названием, как эта, а может быть, эта будет переиздана, значительно дополненная. Можно пойти и другимм путем: о ком-либо из Героев Беларуси рассказать более обстоятельно, посвятив ему отдельную книгу. Благо начало этому «Мастацкай літаратурай» было положено несколько лет назад размышлениями о пройденных путях-дорогах Михаила Высоцкого в книге «Главный конструктор», которая открыла серию «Наши герои».

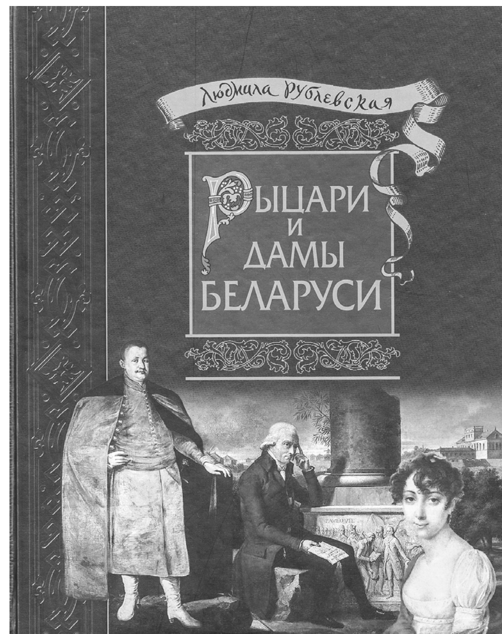
Алесь МАРТИНОВИЧ

С точки зрения рецензента

«Рыцари и дамы» Людмилы Рублевской

Не перестаю удивляться многогранности литературного таланта Людмилы Рублевской. Поэтесса, детская писательница, автор многочисленных приключенческих романов, где причудливо переплетаются детектив, мистика, фантастика (фантасмагория, даже)... и тут же «Беседы о философах: от античности до эпохи Возрождения» (2004 г.). А потом «Время и бремя архивов и имен» — сборник архивных исследований, написанный в соавторстве с историком Виталием Скалабаном и увидевший свет в 2009 г. Впрочем, Людмила Рублевская является еще и автором интересной исследовательской работы «Беларускі міф і яго трансфармацыя ў маладой паэзіі 10—20-х і 80—90-х гг. XX ст.»

И каждое новое произведение Людмилы Рублевской, будь то исторический детектив, фэнтези, готический роман или, скажем, литературоведческие исследования жизни и творчества белорусских писателей... все это с интересом встречается и воспринимается читающей аудиторией.



В новую книгу Людмилы Рублевской «Рыцари и дамы Беларуси», увидевшую свет в 2013 году в издательстве «Мастацкая літаратура», вошли ее исторические эссе, до этого публиковавшиеся в авторской

рубрике на страницах газеты «СБ-Беларусь сегодня». В них Людмила Рублевская рассказывает об исторических персонажах отечественной истории, как широко известных, так и малоизвестных.

Одно из любимых моих произведений — трилогия польского писателя Генриха Сенкевича «Потоп». Любимый герой этого романа, конечно же, — Анджей Кмициц, отважный воин, преданный и оклеветанный и отчаянно пытающийся вернуть свое доброе имя.

Людмила Рублевская сравнивает Анджея Кмицица с Тарасом Бульбой Гоголя. Наверное, между ними и в самом деле немало общего, но мне почему-то образ Кмицица больше напоминает другого мятущегося героя — Григория Мелехова из «Тихого Дона». Несколько столетий между ними, но ситуация, которая сложилась в Речи Посполитой в середине XVII столетия, на удивление схожа с положением Российской державы в начале XX века. Та же кровавая смута, неразбериха, безвластие, когда человеческая жизнь не стоит и гроша ломаного, и непонятно вообще, кто с кем и за что воюет...

Но я отвлекся, а посему возвращаюсь вновь к книге Людмилы Рублевской, точнее, к одной из ее глав под названием «Судьба белорусского рыцаря». Как здорово, что мой любимый литературный герой имел реального прототипа — которым является Самуль Кмитич, оршанский шляхтич, а значит, наш с вами земляк. И подвигов этот реальный Кмитич совершил ничуть не меньше, чем его литературный «собрат».

Самуль Кмитич — лишь один из многих знаменитых белорусов, о которых рассказывает Людмила Рублевская. Непростая судьба у Михаила Глинского, который за долгую бурную жизнь успел побывать и спасителем своей страны от татар, и ее главным разорителем и предателем. Или взять рассказ об одном из основоположников артиллерийской науки, авторе книги-учебника «Великое искусство артиллерии», Казимире Семеновиче, вся жизнь которого окутана тайнами и загадками, начиная от рождения и заканчивая смертью. То ли погиб во время одного из своих довольно опасных опытов, то ли и в самом деле был убит ревнивыми собратьями по артиллерийскому ремеслу за то, что посмел разгласить их профессиональные тайны. И таинственным образом исчезнувший второй том книги «Великое искусство артиллерии»...

Вполне логично предположение, что наш великий земляк мог встречаться на полях сражений в Голландии с не менее великим и известным мушкетером д'Артаньяном, который, как известно, и в самом деле существовал, а не был придуман писательским гением Александра Дюма.

Что же, даже документальное повествование Людмила Рублевская способна сделать таинственным и увлекательным.

К примеру, эссе о Франтишке Сапеге (глава «Князь и Везувий») она разбила на шесть частей, а точнее, — мифов. Что из этих мифов отвергнуть, а что принять на веру... все это Людмила Рублевская оставляет на усмотрение каждого из читателей.

А авантюрная и почти невероятная история «судьи-разбойника» Юзефа Юдицкого или брестского кастеляна Мартина Матушевича, который (тут Людмила Рублевская цитирует Адама Мальдиса) и «сам тварыў беззаконне і сам жа стаў яго ахвярай».

Впрочем, авантюристы и искатели приключений не вызывают особого сочувствия у читателей. Хоть и читаешь об их похождениях с интересом, но как-то ловишь себя на мысли, что хочешь, чтобы того же, скажем, Юзефа Юдицкого поскорее схватили и примерно наказали. Потому что заслужил! А вот Ивану Черскому, «литвину с колымской заимки», сочувствуешь уже по-настоящему. И еще больше — его жене Мавре, которая потеряла сначала мужа, а потом и сына...

Впрочем, сочувствие к Черскому — это и не сочувствие даже, а скорее, сожаление. Сожаление о том, что безвременно ушел из жизни большой ученый, который так много сделал для науки и еще больше мог бы сделать...

Судьбы других белорусских ученых, о которых рассказывает Людмила Рублевская, Алексея Сапунова и Эдуарда Пекарского, не столь трагичны, хотя трудностей и непростых жизненных поворотов и тут было предостаточно. И так приятно, что в далекой Якутии до сих пор помнят и чтут белоруса Эдуарда Пекарского...

Что-то я (из мужской солидарности, наверное?) повествую лишь о «рыцарях» книги «Рыцари и дамы Беларуси»! А ведь о «прекрасных дамах» рассказано в книге не менее ярко и колоритно. Взять хотя бы рассказ о Евфросинии Полоцкой, с которого, собственно, и начинается книга.

Впрочем, о святой Евфросинии рассказано и написано уже немало, и Людмила Рублевская, не желая повторяться, рассказывает не столько о самой Евфросинии, сколько о ее сестрах — родной сестре Гордиславе и двоюродной Звениславе (их

монашеские имена Евдокия и Евпраксия), ставших верными помощницами великой христианской подвижницы.

О Евфросинии Полоцкой знают все, а вот о Ядвиге Хрептович я, к примеру, впервые прочитал именно в книге Людмилы Рублевской. Довольно своенравной дамой, судя по всему, была эта пани Ядвига... и хотя особо не сочувствуешь ее бесконечным тяжбам с собственными зятьями, читается история сия с большим интересом. Правда, главная заслуга этого интереса все же не столько в суматошных и совершенно непредсказуемых действиях самой Ядвиги Хрептович, сколько в литературном таланте Людмилы Рублевской, сумевшей мастерски создать из жизненных коллизий одной вполне заурядной шляхтянки самый настоящий приключенческий «микророман».

Но если над всеми ухищрениями неугомонной пани Ядвиги можно и поиронизировать слегка, то следующей героине книги «Рыцари и дамы Беларуси», Анне Кобринской, остается лишь посочувствовать. Поистине трагична судьба этой женщины, ставшей невольной заложницей политических интриг сильных мира сего. Всего один день счастья с любимым мужем и потом 21 год ожидания. Напрасного ожидания...

В книге Людмилы Рублевской «Рыцари и дамы Беларуси» без малого тридцать глав. И в каждой из них автор рассказывает об одном «рыцаре» или об одной «даме», оставивших более или менее заметный след в отечественной истории.

Закончить эту небольшую статью хочу словами самой Людмилы Рублевской, сказанными ей на самых первых страницах книги:

«*В белорусской истории хватает сюжетов не менее драматичных и увлекательных, чем те, которые использовал для написания своих пьес Шекспир. Нешуточных страстей человеческих бушевало здесь не меньше, чем в средневековой Италии или Дании. Только вот мало мы знаем этих удивительных историй, а герои, достойные появиться на сценах, экранах и страницах, исчезают в тумане времени... Давайте же знакомиться с рыцарями и дамами нашей истории...*»

Что же, автор свое слово сдержал, знакомство сие состоялось. Дело за тобой, читатель.

Геннадий АВЛАСЕНКО

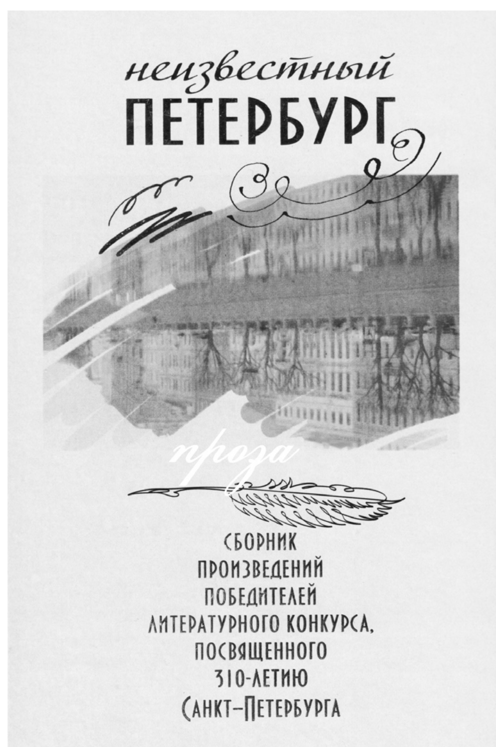


Неизвестный Петербург

В минувшем году газета «Петербургский дневник» устроила литературный конкурс (по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко) под названием «Неизвестный Петербург», посвященный 310-летию северной столицы России. Конкурс широко рекламировался и в газете, и на телевидении, по радиовещанию в метро, на огромных стендах по всему городу. В результате жюри, в состав которого входили члены Союза писателей Петербурга, получило более двух тысяч рассказов, очерков, стихотворений, литературных эссе — достаточно высокого уровня. Для финала было отобрано 50 лучших работ, затем изданных отдельными книгами.

Об этих книгах и пойдет речь.

Светлая палитра Петербурга



Первая премия в номинации «Историческая литература» присуждена Константину Ерофееву за очерк «Тайны Александро-Невской лавры».

Место сие — то есть монастырь — одно из загадочных в северной столице, утверждает автор. И неразгаданная эта загадка начинается с решения Петра Великого основать его за изгибом Невы, на ее левом берегу. Скажем несколько слов об этом произведении.

...Совсем непросто шло строительство. Главный — Троицкий — собор строили и перестраивали, и лишь в 1790 году храм был освящен. Непросто складывались судьбы и служителей храма, непросты были их характеры. К примеру, первый его архимандрит Феодосий Яновский был хитер и льстив, без устали славил деяния Петра Великого, благодаря ему сделал карьеру,но как только Петр ушел из жизни, обрушил брань на его начинания. Впрочем, императрица Екатерина не оценила рвение архиепископа, и вскоре он, лишенный всех наград и даже прежнего имени, оказался в заточении в Корельском монастыре, где и закончил свой жизненный путь.

На престижном Никольском кладбище Александро-Невской лавры похоронены известные духовные деятели Санкт-Петербурга и России: Матвей Та-томир, митрополит Вениамин, причисленный как священномученик к лику святых, иеросхимонах Алексий, молчальник Патермуфий. Старец Алексий был известен тем, что у него в келье в 1825 году перед отъездом в Таганрог и незадолго до кончины побывал император Александр I. Народная молва приписывала старцу будто бы данный царю совет покинуть светский мир, дабы молитвой и покаянием смыть с себя грех отцеубийства. Так родилась легенда о преображении Александра Благословенного в старца Федора Кузьмича. И будто до сих

пор верующие видят призрак императора, молящегося перед мощами Александра Невского...

Интересна фигура схимонаха Патермуфия, который, приняв обет молчания, тридцать лет вел жизнь юродствующую и даже долгое время провел сидя на дороге между Петербургом и Новгородом во всякую погоду, без крова и почти без пищи... На Лазаревском кладбище покоится прах монаха Никодима (Адама Селия), написавшего на латыни «Историю Российской иерархии», на Тихвинском — убитый красногвардейцами настоятель Скорбященской церкви о. Петр Скипетров... Много и иных замечательных имен в очерке Константина Ерофеева, все не назвать в кратких заметках.

Немало строк в очерке посвящено событиям первой половины прошлого века, разграблению в 20—30 годах усыпальниц мародерами, а позже — разгром кладбищ советскими чиновниками, которые намеревались превратить их в некрополь-парк мастеров искусств. Немало печальных событий произошло и в нынешние времена...

Небезынтересен очерк Евгения Скатова «Таинственная башня». Речь в нем об известной петербургской аптеке Василия Пеля, в которой производились сложные фармацевтические и химические товары. Ну а интрига очерка в том, что во дворе аптеки находилась странная башня, которая вызвала к жизни различные легенды. Например, одна из них утверждала, что аптекарь, увлекавшийся алхимией, выводил в башне грифонов. Грифоны эти, известное дело, боятся солнечного света, и днем прячутся в башне, но по ночам летают над городом, насылая ужас на свидетелей их полетов. Еще легенда: на стенах башни то появляются, то исчезают некие числа, и в определенный момент могут выстроиться в код счастья, и тогда желания любого человека, оказавшегося здесь, непременно осуществятся. Примеры? Пожалуйста: в 1853 году неподалеку поселился Карл Федорович Сименс, вскоре ставший основателем российской электротехнической промышленности. А в 1893 году в одном из здешних домов на собрании петербургских марксистов выступал Владимир Ильич Ленин. Как известно, его мечта тоже осуществилась.

В общем, легенды, связанные с аптекой Василия Пеля и башней, стали неотъемлемой частью истории города, полного загадок и тайн.

Историческая повесть «Невский, 3» Игоря Смирнова-Охтина — охватывает период от середины XVI века, то есть, еще с допетербургских времен, и едва ли не до наших дней. Но что же это за строение на Невском проспекте? «Обычный четырехэтажник. Плоский фасад. Почти без лепнины. На этаже — двенадцать окон в пропорциях далеких от «золотого сечения»... Однако немало событий случилось в этом доме и рядом с ним. Лица перед глазами читателя проходят известные: и царственных фамилий, и деятелей искусств, и простых людей, чьи жизни оказались так или иначе вовлечены в историю великого города. Повесть построена сложно: с обстоятельными отступлениями в нынешние времена, с размышлениями автора о прошлом и настоящем. Много неожиданного в повести, познавательного и просто интересного в рассказах о судьбах людей. К примеру, что мы знаем о генерале Милорадовиче? Только, собственно, что его застрелил декабрист Каховский. Но автор рассказывает о судьбе и личности необычной. «Генерал был из тех, кто при отступлении войска всегда отступает последним, прикрывая отходящих товарищей, а в наступлении, в штурмах, атаках — всегда первый. Вспомним, что он был участник Итальянского и Швейцарского походов Суворова, участник Бородинской битвы, и при отходе русской армии к Москве командовал арьергардом, а в начале контрнаступления — авангардом главной армии Кутузова. И семь лет был генерал-губернатором Петербурга...» 14 декабря ему довелось завтракать у Аполлона Майкова, и, умирая, он показал пулю, убившую его, со словами: «Вот что после твоего сытного завтрака не могу переварить».

Много и иных портретов в повести Смирнова-Охтина.

Конечно, петербуржцы не могли обойти тему блокады. Ей посвящено несколько воспоминаний авторов разного возраста в разных жанрах.

Детские воспоминания Лидии Загорской... Известно, у каждого солдата была своя война, это же можно сказать о блокаде. Много написано о тех страшных днях, но каждый автор добавляет что-то свое. «С каждым днем есть хотелось все сильнее. В организме накапливался голод. Вот и сегодня я пишу эти строки, а мне так хочется есть, как будто я давно не ела. Это ощущение голода всегда преследует меня». «Я опухла и мне это было забавно, я хлопала себя по щекам, выпуская воздух, хвастаясь, какая я толстая». Или воспоминания о том, как умирающая девочка сосала, словно конфету, свою пайку хлеба...

Есть в этих воспоминаниях происшествия уже знакомые по литературе, но и они волнуют душу. «Аде было дано поручение сходить в магазин. Она долго не возвращалась и, наконец, вернулась без продуктов. Рыдая, рассказала, что на нее напал мужчина и отобрал карточки, затем оттолкнул ее в канаву. Ада лежала в канаве, плакала и хотела умереть...»

Как исключение, есть в воспоминаниях Анны Карелиной и радостный случай: в тот день, когда, казалось, спасения нет, в любимой детской игрушке, в мишке, оказалась гречневая крупа, которую когда-то запасла покойная мама...

«Мне восемьдесят три года, и я до сих пор не научилась жить, потому что всегда только и знала, что выживать. Еще в детстве мне пришлось зубами вцепиться в эту самую жизнь, так и держу, никак отпустить не могу», — так начинается это горькое повествование. От имени старой женщины, вспоминающей блокадное детство, написан рассказ Ольги Дорофеевой «Элька Ураган», премированный жюри. Казалось бы, так много мы знаем — особенно после «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина — об этих трагических днях, но, видим, боль не закончится никогда.

...Сосед, оледеневшими пальцами коряво играющий на пианино перед тем, как пустить его на дрова.

...Мертвая старуха с зажатым куском хлеба в руке. «Пальцы у нее уже окоченели, и я стала их разжимать, изо всех сил оставшихся выцарапывала я тот кусок, будто жизнь свою выцарапывала».

Сожженная мебель, сожженные книги — и почему-то сохранившийся томик Пушкина с иллюстрациями, который девочка читала-перечитывала, так что поэма «Руслан и Людмила» осталась в памяти на всю жизнь.

Поочередная гибель всей семьи...

Однако жизнь продолжилась, закончилась блокада, закончилась и война. Другие испытания обрушились на женщину. Диссидентство мужа, арест и смерть. Собственное предательство ради сына. А сын, пережив все это, получив хорошее образование, заявил однажды, что уезжает в Штаты...

«...Я коренная ленинградка, в этом городе родилась, в этом городе меня и похоронят, когда закончатся силы выживать».

Литературоведческое эссе — жанр не часто встречающийся и уже поэтому вызывающий интерес. Обстоятельное эссе М. Д. Андрианова и Г. Г. Мартынова «Петербургская Коломна» посвящено повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи». Шаг за шагом рассматривают авторы сюжетные перипетии повести, постепенно выясняя пути героя и его возлюбленной Настеньки. Заметим, что кроме чисто литературной задачи, у авторов была и прагматическая цель: «Возможно, определение точного места действия послужит на пользу не только литературоведам и краеведам, но и широкому кругу почитателей Достоевского, которые будут совершать паломничества к дому мечтателя так же, как сейчас совершают их к дому Раскольникова».

Есть в книге вспоминательные истории (Андрей Басов, «Голоса из прошлого», Галина Врублевская, «“Книга перемен”: мои петербургские адреса»), есть семейные истории (Григорий Салтуп, «Конфеты от Барклая»). Наталья Лодеева в эссе «Светлая палитра Петербурга» предлагает совершить путешествие по сегодняшнему Петербургу.

Портретам ушедших посвящено эссе Елены Оносовской «Здесь чтится память». Владислав Квач напоминает о подвиге тринадцати сотрудников Российского института растениеводства, умерших от голода, но сохранивших семена коллекции Николая Вавилова.

Замечательно, что среди авторов-дипломантов много школьников, ребят 11—13 лет. Пишут они о разном: о любви к своему городу, о родителях, о Великой Отечественной войне и блокаде — о чем узнали от дедушек и бабушек, то есть из первых рук. Замечательное эссе Алексея Кожуркина «Блокадная муза Ленинграда» — о военной поэзии Ольги Берггольц. Запоминаются семейные истории, описанные Николаем Орешкиным и Аркадием Радченко, журналистские работы Татьяны Гусинской, Валерии Жизневской, Алины Васильевой, Валерия Ручкина, Елизаветы Макуровой...

Думается, учитывая многочисленных самодеятельных — правильнее, свободных! — авторов, возможна подобная книга и в Беларуси.

Олег ПУШКИН

Открываем «неизвестный Петербург»

Едва ли о каком-либо другом городе можно говорить с придыханием, не скрывая своего волнения, если ты в нем бывал, и откровенно восхищаться, если ты только читал о нем или знаком с ним по фотографиям и фильмам.

Каких только оценок и эпитетов не дано ему историками, художниками, писателями, поэтами! Сколько великой музыки создано в этом городе и о нем!

И сами даже не из памяти, а из подсознания возникают эти чеканные строки:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак,
блеск безлунный...

Или другие:

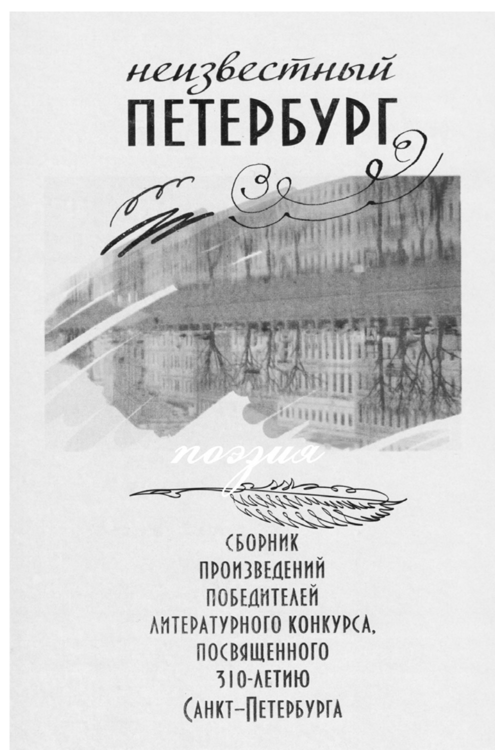
О город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник!

Или третьи:

Петербург, я еще не хочу умирать.
У меня телефонов твоих номера...

Город Пушкина и Блока, Ахматовой и Гумилева, Андрея Белого и Мандельштама, Бродского и Кушнера, — это если только вспоминать о Петербурге через призму поэтического видения. А сколько художников, музыкантов и вообще гениальных и талантливых людей воспели любимый город на Неве средствами своего дарования!

Город, задуманный Петром Первым на чухонских болотах и островах Финского залива, расчерченный им под линейку и поставленный на сваях и крестьянских



костях, город туманов и белых ночей, Исаакиевского собора и Медного всадника, Петропавловской крепости и Зимнего дворца — у каждого, кто живет в нем и кто посещал его в лучшие дни своей жизни, есть свои любимые места и укромные уголки. Другого такого города просто нет ни в России, ни во всем мире. Северная Венеция, Северная Пальмира, Русский Амстердам, культурная столица России, — да как только его ни называли и ни называют, стараясь выразить в этих словах всю свою любовь и очарованность этим необыкновенным городом.

В этом городе у меня жили друзья, с которыми я в пору молодости исходил пешком почти все его главные площади

и улицы, вдоволь налюбовался всеми архитектурными шедеврами. Невский проспект был мне знаком ничуть не меньше, чем Тверской бульвар в Москве, на котором стоит Литературный институт, где я в те годы учился. Мы знали все кафешки и забегаловки, где можно было задешево подкрепить силы и, как говорится, «пропустить по махонькой» для вдохновения, — и на Невском, и на Фонтанке, и на Миллионной, и в Гостином Дворе. Мы писали свои объяснения в любви к этому городу, и они были, разумеется, в рифму.

Теперь моих дорогих петербуржцев уже нет в живых, остались только их дети, которых я видел маленькими. Повидать бы их, постоять над холмиками, где лежат их родители, да все как-то не складывается...

И не потому ли эту небольшую двухсотстраничную книжку с интригующим названием «Неизвестный Петербург» я воспринял как неожиданный, но все же долгожданный привет из города моей взбалмошной и грешной молодости. Тем более, что вслед за этим названием на кремового цвета обложке дается его расшифровка — «Поэзия. Сборник произведений победителей литературного конкурса, посвященного 310-летию Санкт-Петербурга»: 38 авторов, о которых действительно читателю ничего не известно, кроме того, что все они живут в этом великом городе и воспевают его в меру своего призвания.

Составители сборника намеренно оставили за пределами читательского внимания все сколько-нибудь интересные данные об авторах: возраст, профессию, стаж сочинительства, изданные книги. Сначала это вызывает недоумение, а потом оно сменяется догадкой: только так, состязанием в конкурсе на равных, когда за автора говорят только его стихи, а не послужные списки, если они у кого и есть, — только так можно было обеспечить объективность суждений и справедливость оценок.

Именно торжеству справедливости отвечает и еще одна немаловажная деталь этой книги: страницы ее предоставлены произведениям не только победителей и финалистов конкурса, но и вообще его участникам, не буду утверждать, что всем, но явно большинству. А это ни много ни мало двадцать семь человек, тогда как победителей и финалистов только одиннадцать.

И открываешь эту небольшую книжицу с золотым тиснением на обложке с явным ожиданием, что найдешь в ней облеченными в чеканные строки те же чувства и мысли, которые когда-то волновали Пушкина и Блока, Тютчева и Анненского, Гумилева и Сашу Черного, воспевших Петербург — Петроград — Ленинград и снова и навек Петербург, святой Петербург, Санкт-Петербург...

Я люблю тебя, город,
хоть в гневе ты проклят царицей,
Хоть стоишь на народных костях,
на крови и беде.
Но в квартирке своей, где живу я,
отнюдь не патриций,
Так уютно, тепло, как не будет, мне,
верно, нигде.

А фасады дворцов и величие строгое
храмов
Не волнуют меня — к ним привык,
словно к хлебу в обед.
Я свободен, как мысль, —
ни начальников нету, ни замов.
И пока что Всевышний хранит
от обилия бед.

Такими словами признается в любви к своему городу финалист конкурса Игорь Константинов. И заканчивает он свое признание так: «*Не могу без тебя, перемокший, заветренный город, ты — мой мир, моя жизнь, потому что осознанно — мой*».

Но вот что характерно для Игоря и многих других участников конкурса — это намеренное снижение лирического пафоса стихов, посвященных родному городу, по сравнению с поэзией их именитых предшественников, которые умели остановиться на этом восторге очарования строгим классическим обликом Петербурга, на выражении предельной любви к его причудливой трехвековой ауре и геометрически правильным формам дворцов и колоннад, к его шпилям, портикам и статуям. Остановиться вот на этом:

Санкт-Петербург — гранитный город,
Взнесенный Словом над Невой,
Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!

Как явь, вплелись в твои туманы
Виденья двухсотлетних снов,
О, самый призрачный и странный
Из всех российских городов!

Недаром Пушкин и Растрелли,
Сверкнувши молнией в веках,
Так титанически воспели
Тебя — в граните и в стихах!

И майской ночью в белом дыме,
И в завываньи зимних пург
Ты всех прекрасней — несравнимый
Блистательный Санкт-Петербург!

Так немногим менее ста лет назад писал о родном городе один из немногих подлинно влюбленных в него поэтов — Николай Агнивцев (1888 —1932). Здесь не место глубоко вдаваться в его биографию, но и обойтись без того, чтобы дать несколько ее штрихов, тоже неправомерно, ведь он наименее известен из всех, кто когда-либо воспевал Петербург. И по этому признаку вполне может быть поставлен в число участников конкурса.

Молодым человеком до революции он писал преимущественно на темы легкие, светские, не обязывающие читателя к глубоким размышлениям. Его стихи с удовольствием использовали композиторы в качестве песенных текстов. Песенки эти исполнялись в кабаре и на подмостках сатирических театров, в частности, пел их и знаменитый шансонье Вертинский.

После революции 1917 года Николай Агнивцев эмигрировал в Париж, хотя и встретил октябрьские события с восторгом и даже с эйфорией. И вот тогда-то, в Париже он и написал свои лучшие стихи, посвященные городу Петра, выпустив уникальный по всем меркам сборник — «Блистательный Санкт-Петербург».

Вышел он в 1923 году и содержал 38 стихотворений, все до одного — о любимом, покинутом поэтом городе. В молодости Агнивцев грезил Парижем, но попав туда, начал тосковать об утраченном Петербурге, символе родины и юности. Вся сила этой тоски отразилась в пронзительных и лаконичных стихах, равным которым по глубине и мощи больше не довелось написать поэту.

Тоска по родине и по любимому городу победила — и в 1923 году Николай Агнивцев вернулся в Социалистическую Россию, где продолжал писать сначала для советских сатирических журналов, а после — исключительно для детей. Это были увлекательные рассказы на производственно-технические и общественно-политические темы. Ни словом больше Агнивцев не обмолвился ни о Париже, ни о Петербурге, словно поставив крест на своем прошлом.

Одно несомненно, что если бы Николай Агнивцев был участником нынешнего конкурса, он мог бы претендовать если не на победу, то на не менее почетное место среди финалистов, среди тех, кто уже привык к величию храмов и дворцов — «словно к хлебу в обед». Само по себе это сравнение не плохо, но обытовляет чувство восхищения городом до простой насущной потребности. Зададимся вопросом: может быть, это и есть единственно верный взгляд изнутри на город не только исторической славы, но и нашего противоречивого постперестроечного времени?

Таким же лишенным туристического восторга взглядом смотрит на свой город и финалист конкурса Антон Погребняк:

Хочется стать переводчиком с финского
На петроградский, крестовский,
васильевский.
Город химерный,
грифоново-сфинксовый.
Черная речка, Невы собутыльница.

Солнечный день, но темно и колодезно
В старых дворах,
вымирающе-царственных.
Знать бы, с чего начинается Родина —
Может быть,
с этих подъездов обшарпанных,

Может, со спуска на Грибоедова.
Где выпивали, любили, рыбачили
Дети блокадные, призраки бледные —
Линии жизни едва обозначены?

Может быть, Родина —
это абстракция,
Тень на воде, силуэт Петропавловки,
Крейсер «Аврора», подземные станции,
Волны, круги, многоточия, смайлики?..

Все вместе взятое, плюс что-то общее
В стиле модерн,
классицизм и эклектика.
Все эти Богом забытые площади.
Белые ночи, шаги эпилептика...

«Может быть, Родина — это абстракция?» — задается этим отнюдь не риторическим вопросом поэт. Но самим подбором и перечислением деталей и ситуаций он подталкивает читателя к выводу, что никоим образом не могут быть абстракцией те места, где «выпивали, любили, рыбачили» и что, если площади и обшарпанные дворы забыты Богом, то человеком, чье детство прошло в их каменном присутствии и обрамлении, они не забудутся никогда. Здесь автор приводит доказательство как бы от противного, снижая внешние признаки своей потаенной любви почти до отвержения, но умного читателя обмануть трудно.

Вскользь хочется заметить образную находку поэта, сравнившего названия островов, на которых покоится Петербург, с языком соседнего народа. Правда, несколько неряшливы рифмы, кроме двух пар: финского — сфинксовый, эклектика — эпилептика. Но молодые поэты ныне все так рифмуют, особенно не отличаясь изысканным слухом к созвучиям.

На снижении пафоса, на приземлении восприятия возвышенного облика города сходятся почти все авторы этой своеобразной антологии: Галина Илюхина, Вера Степанова, Олег Ильин, Ирина Яркова, Егор Фетисов и др. Просто они, не сговариваясь, отказываются смотреть на город, в котором живут, через солнечные очки туристов, через призму возвышенно-идеализирующего восприятия.

Пускай из арки тянет сыростью
И пахнет плесенью и пылью,
Завидую, кому здесь вырасти,
Дыша туманами и гнилью.
Имперским воздухом, отравленным
Вселенской горечью и тленьем;
С умом, химерами задавленным,
Бок о бок с грозным привиденьем,
В соседстве с вековыми липами
И плеском волн на самых сходнях,
Средь нищеты и блеска — выпало
В одной из местных преисподних...

Лариса Шушунова

К чести автора, эти двенадцать строк городского пейзажа в непогоду она совместила всего лишь с одним развернутым предложением, проявив недюжинное мастерство. Конечно, слишком контрастны понятия «завидую» и «местная преисподняя», но из этого контраста высекаются искры подлинного переживания. Вспоминаются заголовки газетных статей о Петербурге-Ленинграде советского времени — «Великий город с областной судьбой», «Столица провинциального значения» и др., в которых радетели и патриоты Петербурга били в колокол, что город без внимания властей и без средств на реставрацию нищает и рушится. Сколько по этому поводу выступал и в печати, и по телевидению наш апостол культуры Дмитрий Сергеевич Лихачев, обращая внимание властей на бедственное состояние родного города на Неве. Похоже, что есть еще за что переживать петербуржцам, в чем нас убеждает лаконичное стихотворение Веры Степановой:

Дни любовью и болью пестрели.
Петербург не ушел от судьбы.
Время рушит творенья Растрелли,
У атлантов обуглены лбы.

Биографии царственных зданий
О минувшем с Невой говорят,
И столетий кровавые грани
На причудливых шпилях горят.

Разрушение, обветшание, обнищание любимого города воспринимается некоторыми авторами альманаха с болью и недоумением, что создает питательную почву не только для элегических вздохов, но и для переноса этого недоумения на свою человеческую и творческую судьбу. Ведь не может она быть прекрасной или просто удачной на фоне всеобщего оскудения памяти...

Не отвечая ни на чьи вопросы
(что им за дело до людской юдоли?),
Стоят Кутузов и Барклай-де-Толли —
Их орденам и славе нет износа.

Там, у колонн Казанского собора,
Столпились попрошайки полукругом,
Толкаясь и ругаясь друг на друга,
К прохожим лезут с кружками
для сбора.

Оборванные, нищенские дети
Бегут к одной-единственной монете,
Как голуби на брошенное просо.

Один малыш упал. Сидит — ревет,
Кривые ножки, вспученный живот,
Ведет нас жизнь недобро и непросто.

Вера Чигарина

Да, и этот прекрасный город пережил вместе со всей страной далеко не лучшие времена, и петербургские поэты пишут об этом исповедально и честно. Из славной трехвековой летописи города невозможно вырвать ни одной страницы, с тем, чтобы не исказить облика и жизни города перед грядущими потомками, его еще не рожденными обитателями. А в наши дни в его площади, улицы, дворцы, купола и мосты вписываются все новые и «новые гунны» из российской глубинки (да разве только российской?), чтобы состояться как граждане и творцы именно в этом притягательном городе.

Мы, понаехавшие из провинции
Сходить здесь с ума, учиться,
работать —

И раз уж в Империи вышло родиться,
Так где ж еще жить,
как не в этих болотах?

...В социальной структуре этого мира
Наш статус самим до конца не ясен —
Мы, снимающие ваши квартиры,
Спящие по трое на ваших матрасах...

...Мы, выживающие,
как вам это не снилось —
На убой, до конца, из последних сил,
Мы кровь этого города, мы его жилы.
Мы делаем этот город таким!

Музыканты, художники,
прочая шушера —
Без нас этот город мертв,
как Русский музей.
Посмотри на Москву ожиревшую,
душную,
Питер, ты хочешь уподобиться ей?

И от лица всех понаехавших
из провинции
Я хочу обратиться ко всем вам,
коренным:
Хватит упиваться ролью патрициев,
Ведь без нас этот город
станет пустым.

Егор Енотов, финалист

Это противопоставление Петербурга Москве, очевидно, возникло с самого начала бытия новой столицы. И, наверно, не исчезнет и не разрешится никогда. Просторная, пронизанная ветрами Балтики европейская Пальмира — и скученная, многолюдная, вся в храмах и рынках, азиатская Москва. Даже поэзия советского времени была негласно разграничена на две школы: ленинградскую, более классически чеканную и с преобладанием разума над чувством — и московскую, разбитную, удалую, чувственную, с распахнутым воротом. И стоит отметить, что участники нынешнего петербургского конкурса в большинстве своем принадлежат к «питерской» школе не только по прописке, но и по ремеслу и духу, как наследники традиций Александра Пушкина, Александра Блока, Иннокентия Анненского, Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Бориса Корнилова, Ольги Берггольц...

Пусть в этой рецензии прозвучит и ее негромкий, с хрипотцой бессонных ночей голос:

Тяжелый свет артиллерийских
вспышек
то озаряет контуры колонн,
то статуи, стоящие на крышах,
то барельеф из каменных знамен
и стены —
сплошь в пробоинах снарядов...
А на проспекте — кучка горожан:
трамвая ждут у ржавой баррикады,
ботву и доски бережно держа.
Вот женщина стоит
с доской в объятьях;
угрюмо сомкнуты ее уста,
доска в гвоздях —
как будто часть распятья,
большой обломок русского креста.
Трамвая нет. Опять не дали тока,
а может быть,
разрушил путь снаряд...
Опять пешком до центра —
как далеко!

Пошли... Идут — и тихо говорят.
...О, чем утешить хмурых, незнакомых,
но кровно близких и родных людей?
Им только б доски дотащить до дома
и ненадолго руки снять с гвоздей.
...Но странно: дни придут,
и чьи-то руки пепел соберут
из наших нищих, бедственных времянок.
И с трепетом,
почти смешным для нас,
снесут в музей, пронизанный огнями,
и под стекло положат, как алмаз,
невзрачный пепел,
смешанный с гвоздями!
Седой хранитель будет объяснять
потомкам, приходящим изумляться:
— Вот это — след Великого Огня,
которым согревались ленинградцы.
...И вот теперь, когда земля светла,
очищена от ржавчины и смрада, —
мы чтим тебя, священная зола
из бедственных времянок Ленинграда...

октябрь 1942

Бесхитростные, лишенные блесток ложно понимаемого мастерства строки, как строки из письма потомку, одному из тех, чьими стихами наполнен нынешний сборник. Но слышат ли поэты настоящего времени этот горестный и проникновенный голос? Слышат, может, и все, да не все могут или считают нужным откликнуться так же незатейливо, но убедительно и не мудрствуя лукаво, как это сумела Ирина Яркова:

НЕ СЕТУЙ

Не сетуй, мой милый, не сетуй...
Мы злее не знали беды.
Слова, что острее стилета,
Студенее Невской воды,
Не слышали мы из тарелки,
Из пасти разверстой ее,
На стылой Васильевской стрелке
Фугас не гасили. Гнилье
В обед не считали удачей,
И двести оплаканных грамм
Ночами не снятся, а, значит,
Нет права посетовать нам...

Кстати говоря, великий город затягивал туже ремень не однажды. И также во время, последовавшее вслед за октябрьским переворотом, в 17—19 годах прошлого столетия, о чем поэтически свидетельствует не всуе вспоминаемый сегодня Николай Агнивцев:

КОГДА ГОЛОДАЕТ ГРАНИТ...

Был день и час, когда уныло
Вмешавшись в шумную толпу,
Краюшка хлеба погрозила
Александрийскому столпу!..

Как хохотали переулки,
Проспекты, улицы!.. И вдруг
Пред трехкопеечною булкой
Склонился ниц Санкт-Петербург!..

И в звоне утреннего часа
Скрежещет лязг голодных плит!..
И вот от голода затрясся
Елизаветинский гранит!..

Вздохнули старые палаццо...
И, потоптавшись у колонн,
Пошел на Невский продаваться
Весь блеск прадедовских времен!..

И сразу сгорбились фасады...
И, стиснув зубы, над Невой
Восьмиэтажные громады
Стоят с протянутой рукой!..

Ах, Петербург,
как страшно-просто
Подходят дни твои к концу!..
— Подайте Троицкому мосту,
— Подайте Зимнему Дворцу!..

Какой пронзительный образ униженного голодного города — просящие подаяния дворцы и мосты! Но вряд ли возможно принять этот образ, вспоминая или изображая блокадный Ленинград 1941—1943 годов минувшего века. Город не молил врага о пощаде, не просил у него хлеба, город стоял как солдат и боролся со смертью, как с самым беспощадным врагом. И об этом помнят не только те, кто выжил в блокаду, но и дети, и внуки, и правнуки коренных ленинградцев, которые, конечно же, есть и среди участников конкурса. Эта память не вычитана из книг, не высмотрена в кинофильмах, она живая — из уст в уста, и даже больше того — от родителей детям и внукам, чуть ли не на генном уровне.

У финалиста конкурса Владимира Репина этой памятью напитаны два стихотворения, «Семейный архив» и «Письмо с ленинградского фронта», оба замечательны, но я выберу самое короткое:

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Нам сейчас говорят —
устоял Ленинград
В той тяжелой блокадной беде
Лишь арестами всех
слабовольных подряд,
Только страхом пред НКВД.
И продажным писакам
за давностью лет
Не умеют ответить порой;
Но держу я в руках
комсомольский билет:
Год вступления — сорок второй.

Для тех, кто стоял насмерть на «невском пятачке» или работал на победу в цехах полуразрушенного завода, многое значили эти маленькие книжечки с силуэтом Ленина на обложке — комсомольские и партийные билеты. Наш народ свято верил в то, что эти книжечки собой обозначали — принадлежность к авангарду советского общества, к бесстрашным людям, которые выполнят свою задачу даже ценой собственной жизни. А задача была одна — не пустить врага в Ленинград.

Поэт Игорь Константинов представил на конкурс текст замечательной песни о Ладожском озере, о «дороге жизни», благодаря которой страна помогала блокадному городу выжить. Процитирую из нее только один куплет:

А как зимушка грянет с морозами,
Навевая на город беду,
Так потянутся сани обозами
И машины по тонкому льду.
Под огнем не одна опрокинется
И под лед навсегда угодят...

Ах ты, Ладога, наша кормилица,
Без тебя бы погиб Ленинград!

Заслуживает внимания читателей сборника и его стихотворение, посвященное народной святой — блаженной Ксении Петербуржской. И вообще, лично мне его подборка, состоящая всего лишь из трех стихотворений, показалась наиболее цельной и значительной в сборнике. Напомню, что именно его стихотворением под характерным названием «Объяснение в любви» я и начал статью, которую вы сейчас читаете. Больше в этой книге никто открыто и смело в любви к родному городу так и не объяснился.

Вот мы и подошли к авторам крупных и сюжетных лирических произведений, тяготеющих уже к поэмам. Это финалисты конкурса Александр Бутягин и Евгений Капустин, и победительница конкурса Лариса Махоткина, чьи творения по праву открывают книгу. И выбранные ими сюжеты отсылают читателя именно в те суровые времена, когда война жестоко проверяла каждого ленинградца на совесть, достоинство и доброту. Рассказ своей бабушки Анны Пиковской переложил на язык поэзии Александр Бутягин, назвав большое двухчастное стихотворение «Балладой о голубом пузырьке». Суть ее в том, что женщина несет своему мужу в больницу пузырек технического спирта. Идет ночью по безлюдному городу, боясь бандитов, пересекает по льду Неву. Какой-то старик помогает ей выбраться на берег, и вот больничная палата и...

В тот же вечер сошли нарывы,
Встал больной, попросил чаек,
Под ночного налета взрывы
Стал больничный жевать паек.
Через день, чтоб не ныли ранки,
Он замажет зеленкой рот
И пойдет на завод, где танки
Из ремонта ползут на фронт.

...Это после, а из больницы
Снова тот же знакомый путь.
Холод склеивает ресницы,
И не встать, и не отдохнуть.
Добредет она, хоть не верит,
Но не скоро еще финал.
Этот город как кинозал,
Где идут девять сотен серий —

Беспощаднейший сериал.

Такова концовка этой баллады. Я думаю, всем жителям современного Петербурга, а не только блокадникам, понятно без всякой сноски, почему этот фильм имеет девять сотен серий, а точнее 871 — по числу дней, прожитых ленинградцами в кольце вражеских войск.

Прекрасное знание истории отечественного воздухоплавания проявил в стихотворении «Комендантский аэродром» первый финалист конкурса Евгений Капустин: в тексте стиха упомянуты фамилии почти всех известных летчиков и авиаконструкторов, бравших когда-либо старт на этом летном поле или вообще в Питере, и все типы самолетов, которыми они управляли от «райта» до «Русского витязя». Так толково писать об авиации в стихах может только человек, бесконечно влюбленный в небо. Заслуживает внимания и похвалы и выбранная Евгением строфа, чередующая четырехстопный ямб с двухстопным, отчего в стихотворении возникает подъемная энергия, работающая на столь увлекательную, но довольно трудную тему.

Невозможно пропустить тридцать восьмую страницу книги, где начинается другое стихотворение Евгения «Блокадные художники». И здесь автор нашел единственно верные слова, рассказывающие о подвижнической жизни мастеров кисти в блокадном Ленинграде:

Блокада. Сорок первый. Холода,
Художники творили, выживая,
И видели победу сквозь года,
Последним вздохом краски согревая.

Дневной паек на порции дробя,
Удары сердца вкладывать в картины,
Людьми все время чувствовать себя!
Прекрасное и грозное едино.

Обратите, читатель, внимание на строчку, поначалу кажущуюся проходной: «Людьми все время чувствовать себя!» Это просто для всех в условиях мирного времени. Но чувствовать себя человеком и не преступать неписаных законов нравственности в условиях, когда озверение и эгоизм выгоднее для биологического выживания, на это нужны совесть и недюжинные духовные силы. Ведь некоторые вконец оголодавшие ленинградцы не выдерживали искушения сатаны и мало того, что применяли в пищу все, что было живого в городе, но и опускались до каннибализма. Так что совсем не просто было в тех бесчеловечных условиях сохранить в себе человека.

И, наконец, мы подходим к стихам победительницы конкурса Ларисы Махоткиной, о которой мы можем составить впечатление не только по ее творчеству, но и по фотографии, на которой кроме Ларисы изображены победители еще в двух номинациях — очерк и проза. И, судя по снимку, победительница находится в том благословенном возрасте, когда к имени полагается присовокуплять отчество. И это обстоятельство своеобразно отражается на стиле творчества Ларисы Махоткиной, на самом художественном методе подачи жизненных впечатлений, которые были характерны для рассчитанной на широкую аудиторию поэзии 60-х годов прошлого века.

Та поэзия была почти сплошь слуховой, ее надо было слушать, и ее слушали и в аудиториях Политехнического музея в Москве, и на эстраде, и на стадионах. Для чтения глазами она не предназначалась. Пальма первенства тогда среди молодых поэтов принадлежала энергичному и напористому Евгению Евтушенко, главному глашатаю хрущевской оттепели в поэзии. Его обаяние и талант быстро откликаться на злобу дня не имели себе равных. Стоит ли удивляться, что в короткое время по Советскому Союзу расплодилось племя и талантливых, и бездарных его подражателей. В каждом городе был свой доморощенный Евтушенко.

Да простят меня судьи конкурса, которые «жюрили» его участников, но, читая стихи Ларисы Махоткиной, я не могу отделаться от ощущения, что читаю самого Евгения Александровича. Возьму навскидку пару строф из любого ее стихотворения. Ну вот хоть из этого, называемого «Сирень»:

Как увлеченно, как неистово
Себя мы вписывали в век! —
Мы шли на штурм!
Мы шли на приступ! —
Идя к дверям библиотек.
Мы рвались, как на дело ратное,
То в спор, то в чтение без сна...
Тогда мы верили, что рада нам
Шестидесятых лет страна.

О вера-верушка! Которая
Была — ни дать, ни взять — вином
В полуподвале на Майорова,
Под чердаком на Озерном!
В руках у времени младенцами
Мы пили веру в то, что ей,
Стране, нужна интеллигенция,
Рожденная от наших дней...

Конечно, все стихи Ларисы Махоткиной имеют отправной точкой события пятидесятилетнего, а то и более глубокого прошлого. Это полуголодное и не слишком одетое послевоенное детство, которое подается в стихах как своего рода нравственный эталон для последующих поколений, как непререкаемая идейная позиция несомненной правоты в решении любых жизненных проблем, как манифест явного духовного превосходства над теми, кто родился позже, и не ел крапивных щей, и не смотрел допотопный телевизор через линзу, и не спал ночей над Гюго или Джеком Лондоном. Да, то, что мы, дети войны, пожилые уже люди (автор этой статьи также себя к ним относит), выжили в тех ужасных условиях, что мы выучились и послужили стране каждый в своем призвании, — этим можно и нужно гордиться. О том, что многие из нас со всеми своими знаниями и талантами и уникальным опытом жизни не востребованы сейчас, об этом можно только сожалеть.

Однако нынешний стиль у поэзии несколько другой. Не дотошное перечисление, а мгновенная вспышка мысли, открывающая сущности предметов и явлений. Через многие ненужные для темы вещи можно просто перескочить. Найти лишь самые необходимые слова. Вот это тоже объяснение в любви к Петербургу, хотя само слово «любовь» и не названо:

МОЙ ГОРОД

Я умру, и этот город
с невеселыми глазами
будет щуриться на солнца
анемичное пятно.
Через Невский и Литейный лягут тени
полосами,
воробьи слетятся к храму
на старушкино пшено.

Завихрится пыльный столбик
по булыжной Колокольной,
вспыхнут солнечные блики
на облупленной стене,
И заплачет детский голос —
по-хозяйски, своевольно, —
потому что просто есть он,
а совсем не обо мне.

...там, вверху, свежо и ясно,
и не виден пыльный город
с невеселыми глазами,
что слезятся на ветру...
Он мне так невыразимо,
так невыносимо дорог,
что умру я ненадолго.
Или вовсе не умру.

Галина Илюхина

«Город с невеселыми глазами» — это запоминается. И последнее двустишие на грани гениальности. «Невыносимо дорог» — так сказать может только поэт. «Умру я ненадолго» — это на уровне мышления детей. А детство в настоящем поэте никогда не умирает.

Хотелось мне еще в этой статье поцитировать и Александра Блока, и Анну Ахматову, и даже Иннокентия Анненского и уж, конечно, Осипа Мандельштама с Борисом Пастернаком, создавая из их звонких строк как бы музыкальный фон для разговора о молодой санкт-петербуржской поэзии, наполняющей книгу «Неизвестный Петербург». Статья тогда была бы, наверно, более аргументированной, но, не дай бог, более скучной и нравоучительной.

Дело в том, что молодые в сравнении с корифеями нисколько не проигрывают. Они не хуже и не лучше. Они просто другие, живущие в другое время и в другом Петербурге, несмотря на неизменную идентичность архитектурного облика старого города, о чем неустанно заботятся все новые и новые поколения петербуржцев.

Однако пора заканчивать эту статью. Не какой-нибудь излишне поучительной сентенцией. Не тривиальной мыслью. Не трюизмом и не хлестким афоризмом. Статья о молодой поэтической поросли города на Неве просто требует, в перекличку с пушкинским «*Люблю тебя, Петра творенье!*», — своего рода поэтической презентации сегодняшнего Петербурга. И такой образец отыскался среди 187 стихотворений сборника.

Его автор все тот же первый финалист конкурса Евгений Капустин. Кто из читателей в шляпе, можете ее снять перед поэтом, нашедшим самые проникновенные слова о родном городе:

Светозарная воля рассветов
Будит изредка эти места...
Это город царей и поэтов,
Здесь не может не жить красота!

Он мятежной рукой демиурга
Из трясины подъят к небесам.
Дух бессмертного Санкт-Петербурга
В каждом сердце творит чудеса!

Даже в бурю деревьев поклоны
Для кого-то замолят грехи.
Сочиняют здесь музыку волны,
И дожди здесь диктуют стихи;

И сгущается сумрак в чернила
Гениальных пророческих книг.
Если Небо душа не забыла,
То вернет себя к святости вмиг!

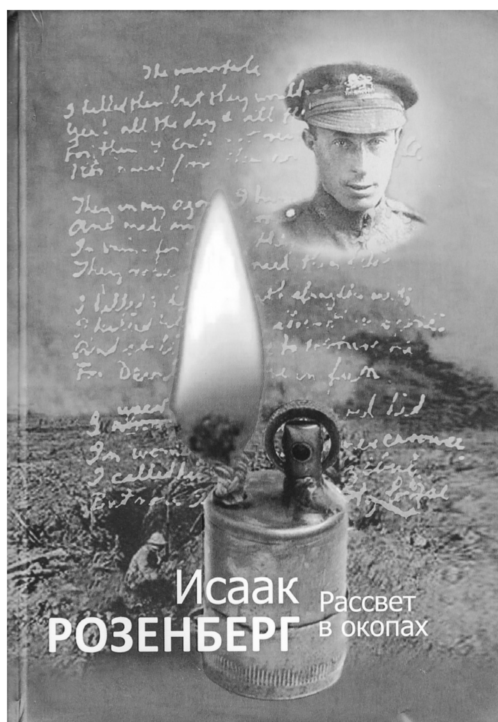
В каждом жителе — новая тема;
Для него — миллионы идей!
Город-сказка и город-поэма,
Петербург сочиняет людей!

Пусть же этот молодой и прекрасный русский город и дальше сочиняет среди и приезжих, и своих коренных жителей — людей красивых, талантливых, добрых, способных удивлять мир творениями рук своих и озарениями поэтов, поющих славу родному городу!

Георгий КИСЕЛЕВ



«Я тоже видел Бога через грязь»



«Ах, война, что ты сделала, подлая...», самозабвенно распевали когда-то мы, участницы студенческого хора, известную и сверхпопулярную песню шестидесятых годов, написанную Булатом Окуджавой. Впрочем, никто из тех девочек-первокурсниц тогдашнего иняза, в тот далекий 1965 год, когда отмечалось всего лишь двадцатилетие великой Победы в Великой Отечественной войне, не мог рассказать ничего определенного, с отсылкой уже на собственный опыт, о том, что же именно сделала эта подлая и проклятая война с судьбами миллионов и миллионов людей, по чьей жизни она прокатилась мощным асфальтным катком.

Да, конечно, книги о войне, многочисленные кинофильмы, воспоминания участников, многие из которых в те далекие годы еще были в добром здравии и никто еще даже не величал их «ветеранами», все это было, и всем этим активно интересовались. И все же, никакого личного опыта у хористок не было, ибо все мы принадлежали уже к послевоенному поколению. Крохотный, по меркам истории, отрезок длиной в два или три года, прошедший между окончанием Второй мировой войны и нашим появлением на свет, автоматически превращал всех послевоенных детей уже в сторонних наблюдателей совсем еще недавней истории.

Что уж тогда говорить о событиях Первой мировой, столетие начала которой отмечается в 2014 году? И в шестидесятые годы прошлого века, и сегодня эта война для большинства из нас так и остается неким неопознанным историческим фантомом, этакой *terra incognita* в новейшей истории.

О, то была «странная» война. Она какое-то время даже названия определенного не имела. Так, англичане довольно долго довольствовались скромным: theWar, то есть просто *Война.* Заглавная буква, видно, должна была напоминать читателю, что война была совсем даже не такой, как все предыдущие войны. В России эту войну вначале именовали «германской», потом — «империалистической». А ведь случилась самая настоящая «большая война» (the Great War), как и подобало быть войнам в просвещенном XX веке. Но, наконец, в прессе, в дипломатических документах, в речах политиков замелькало еще одно определение: the World war, *мировая война.* А с приходом Гитлера к власти и последовавшими за этим военными катаклизмами все стало на свои места, и первая война нового столетия так и стала именоваться во всех учебниках истории: Первая мировая война.

То ли потому, что Первая мировая война действительно была первой в че-

реде глобальных военных конфликтов, то ли потому, что так сложились сопутствующие обстоятельства (революции, прокатившиеся по ряду европейских стран, крах сразу нескольких империй и прочее), то ли в силу еще каких-то иных причин, но та война оставила поистине неизгладимый след в истории современной цивилизации, и, прежде всего, в истории мировой культуры, а если еще у́же, то в истории мировой литературы.

Наверное, с точки зрения психологии объяснение лежит на поверхности. Ведь в ходе Первой мировой войны все ее участники с обеих сторон на собственном опыте (так и хочется сказать, на собственной шкуре) прочувствовали, что это за зверь такой — оружие массового поражения (достаточно вспомнить атаку с использованием хлора в битве при Ипре, когда Германия впервые применила на поле боя химическое оружие), когда одновременно гибнут уже не сотни и не тысячи, а десятки и сотни тысяч солдат. Прочувствовали и ужаснулись!

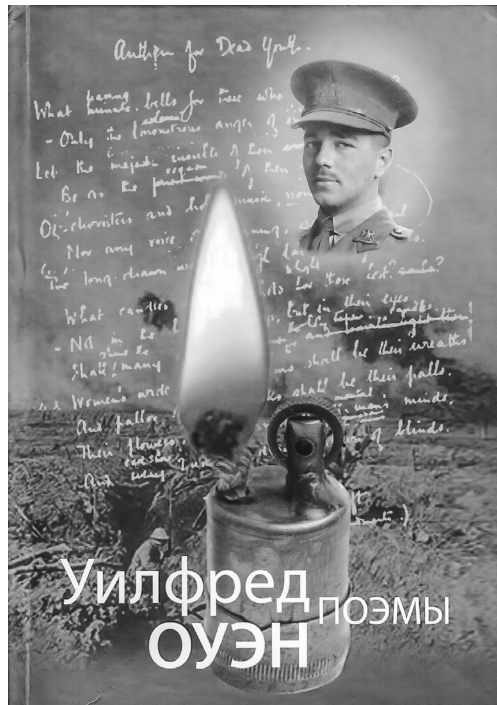
«Газ! Газ! Скорей, ребята!
К черту каски!
Напяливай резиновые маски!»
И кто-то, чуть замешкав в стороне,
Уже кричал и бился, как в огне.
Я видел сквозь зеленое стекло,
Как в мареве тонул он тяжело.
И до сих пор в моих кошмарных снах
Он в едких задыхается волнах.
О, если бы шагал ты за фургоном,
Где он лежал —
притихшим, изнуренным,
И видел бы в мерцании зарниц,
Как вылезают бельма из глазниц,
И слышал бы через колесный скрип,
Как рвется из гортани смертный хрип,
Смердящий дух, горчащий, как бурьян,
От мерзких язв, кровоточащих ран, —
Мой друг, ты не сказал бы никогда
Тем, кто охоч до ратного труда,
Мыслишку тривиальную одну:
Как смерть прекрасна за свою страну!

Уилфред Оуэн

А вернувшись домой, многие из тех, кто горел под Верденом, дышал ядовитыми газами на Марне и на Сомме, в меру собственных сил и талантов запечатлели в своих произведениях трагические события, свидетелями которых им пришлось стать. Так сказать, в назидание потомкам.

Увы! Потомки назиданиям не вняли, и Вторая мировая война стала еще более кровавой и еще более ужасной. Но вот что любопытно: вторично такого массового эстетического потрясения в мировой культуре уже не случилось. И никакого второго «потерянного поколения» (гениальный термин, запущенный в обращение Гертрудой Стайн) после мая 1945 года не появилось. А все потому, что человек, по справедливому замечанию Федора Михайловича Достоевского, «есть существо, ко всему привыкающее». И за каких-то двадцать лет, прошедших между двумя войнами, люди привыкли и к оружию массового поражения, и к бессмысленной жестокости, и к невиданным доселе потерям, выражаясь языком тех лет, «в живой силе».

То, что приводило в неистовство Эрнеста Хемингуэя, Ричарда Олдингтона, Эриха Мария Ремарка, то, что будоражило воображение Дэвида Герберта Лоуренса и Олдоса Хаксли, уже не казалось более таким зловещим и апокалипсическим. Наверное, кишка была у них тонка, у этих молодых ребят, сформировавших «потерянное поколение», скажут иные скептики. Дескать, хлипкими оказались бойцы Первой мировой. Вот потому-то, увидев воочию войну в мировом масштабе со всей ее жестокостью и бессмысленностью, когда человек, созданный по образу и подобию Божиему, превращается в обычное пушечное мясо, они не только ужаснулись, но и растерялись, разочаровались и разуверились во всем и вся. Им посчастливилось выжить,



а они, вместо того, чтобы просто радоваться жизни, вернулись домой из зловещего горнила передовой сломленными и опустошенными. Это те, кому посчастливилось! Что же говорить тогда о тех, от кого счастье уцелеть на войне отвернулось?

И вот я держу в руках две прекрасно изданные книги стихов двух известных английских поэтов, не вернувшихся с войны, Уилфреда Оуэна и Исаака Розенберга (петербургские издательства СЕЗАМ-ПРИНТ и «Скифия»). Все в этих изящных томиках радует глаз: и безукоризненное художественное оформление, и развернутый справочно-информационный аппарат (большая редкость по нынешним временам!), и обстоятельно изложенные биографии самих поэтов в предисловиях, написанных, кстати, переводчиком Евгением Лукиным, и краткая, но очень емкая информация уже о самом переводчике, открывшем этих поэтов русскоязычному читателю (ибо перевод осуществлен впервые, за что Евгению Валентиновичу низкий поклон и огромная благодарность), и бумага, и шрифт, и все-все-все....

А потом глаз твой падает на даты, годы жизни поэтов, и желание радоваться сразу пропадает.

Уилфред Оуэн, замечательный английский поэт, оказавший колоссальное влияние на творчество большинства английских поэтов XX века. Наконец-то с его творчеством смогут познакомиться читатели, которые не знают английского языка.

Скажи, а сколько лет Господь мне отпустил? — восклицает поэт в коротенькой поэме под названием «Почва».

Только двадцать пять: 1893—1918. Поневоле вспомнишь известное античное высказывание о том, что любимцы богов умирают молодыми. Только легче ли от этого?

Не менее трагично в этой трагической, по сути своей, биографии — и то, что похоронку на сына мать Оуэна получила в день окончания войны — 11 ноября 1918 года. Евгений Лукин так сказал в своем предисловии к сборнику: *«Уилфред Оуэн взошел на Голгофу под победный звон колоколов, пройдя свой крестный путь до конца».*

Исаак Розенберг, автор второго сборника «Рассвет в окопах», прожил на целых три года дольше: 1890 — 1918. К тому же, годы, которые поэт провел на Западном фронте (на котором, по известному выражению Ремарка, почти всегда было «без перемен), так вот, время, проведенное на войне, где год идет за два, а то и за три, все же несколько удлинило эту столь короткую жизнь.

Думается мне, что главным поэтическим лейтмотивом обоих сборников могут стать строки из стихотворения Оуэна «Оправдание моей поэзии» в блистательном переводе Евгения Валентиновича:

Я тоже видел Бога через грязь,
Что на щеках потрескалась
от горестных улыбок.
Война дала беднягам больше куража,
чем дикий пляс,
И больше ликованья,
чем укачивание зыбок.

Почему-то сразу приходят на ум строки из известного псалма царя Давида: *Из бездны взываю к Тебе, Господи....*

Не откажу себе в желании процитировать еще несколько строф из этого удивительно мудрого и на редкость актуального и поныне стихотворения. Всем начинающим поэтам, всем, кто вступает на стезю поэтического творчества, мечтая писать о соловьиных трелях и муках неразделенной любви, я бы настоятельно порекомендовала познакомиться с тем, что Оуэн считал подходящим оправданием для своей поэзии. И уже только после этого размышлять о собственных сюжетах, достойных настоящей поэзии.

Любовь как кровь, отверстая штыком,
Любовь как колотая рана
в стычке беспокойной,
И прочно перевязана сверкающим
бинтом,
И прочно скреплена ремнем винтовки
дальнобойной.

И так постиг я красоту войны
В охрипших клятвах волонтеров
штурмовых отрядов,
Я музыку услышал караульной тишины,
Увидел этот мир под проливным
дождем снарядов.

И если, позабыв свои дела,
Вы с ними не разделите печаль
и муки ада,
Когда весь свет —
лишь вспышка орудийного жерла,
А небо —
лишь просторная дорога для снаряда,

Вы не поймете никогда всерьез
Их горестные взгляды
и отчаянные сшибки.
О, как достойны эти люди ваших слез,
Как не достойны вы обычной их улыбки.

Не удержусь, чтобы снова не повторить: блистательный перевод!

Что, между прочим, в данном конкретном случае есть труд поистине титанический. Спасибо издателям, поместившим параллельно с переводом стихи авторов в их оригинальном варианте. Спасибо переводчику за это, прямо скажем, мужественное решение. Ведь всегда найдется какой-нибудь въедливый читатель, хорошо знающий английский язык, или просто коллега по переводческому цеху, которые будут внимательно и даже придирчиво читать чужие переводы, выискивая в них огрехи.

А просчеты, к сожалению, есть, скажу я на правах коллеги. Но, как известно, кто без греха... И так далее, по тексту. Непростое это дело — переводить поэзию на русский язык (равно, как и русскую поэзию на другие языки). Тем более, такую интеллектуально мощную, насыщенную такими пронзительными образами, наполненную таким трагическим пафосом и почти заоблачным смирением перед неизбежным. Как сказал Исаак Розенберг в стихотворении «Мертвые герои»:

Небеса, восторжествуйте,
Храбрых воинов встречая...

И недаром сборнику стихов самого Розенберга Лукин предпослал эпиграф, взятый из этого же сборника:

Ты духом был велик, а плотью мал:
Кто знал тебя, тот это понимал.

Хорошо, что обе книги вышли в свет почти одновременно, с интервалом всего лишь в один год. «Поэмы» Уилфреда Оуэна появились в 2012 году, «Рассвет в окопах» Исаака Розенберга — в 2013 году. Заинтересованный читатель получил возможность почти на одном дыхании прочитать оба сборника и приобщиться к поэзии двух, пожалуй, самых лучших англоязычных представителей так называемых «окопных поэтов» Первой мировой войны. Разумеется, восприятие стихов Розенберга и Оуэна будет рознится, так как разными были и сами поэты, и по своей жизненной биографии, и по воспитанию, происхождению, словом, по всему тому, что сами англичане именуют очень емким словом *background.*

Но подлая война сделала то, что сделала: навсегда объединила эти две короткие биографии. И отныне и навсегда поэзия Оуэна и Розенберга — это поэзия тех молодых гениев, которым не суждено было «потеряться» в послевоенной действительности. Как известно, верующие люди говорят: у Бога все живы. Вот и эти двое остались навечно жить там, куда призвал их долг — на полях Первой мировой войны.

А читатель пусть уже решает сам. Кого-то больше впечатлит чеканный слог Уилфреда Оуэна. Достаточно вспомнить его стихотворение «Весеннее наступление». Кстати, именно в нем Уилфред Оуэн с поразительной прозорливостью гения-провидца рассуждает о будущем «потерянном поколении», о тех, кто выживет, уцелеет, а потом «растеряется» в послевоенной действительности, или попросту потеряется, забудется, сопьется, уйдет в никуда.

О тех, кто рухнул на отвесный склон,
Невидимыми пулями сражен,
Кто в адскую сорвался темноту,
Твердили: Бог ловил их на лету,
Они не успевали в бездну пасть.

Но тот, кто отлетел за край земли,
Кого святые силы не спасли,
Кто угодил в пылающую пасть
И, одолев всех демонов в аду
Жестокостью своей бесчеловечной,
К триумфу своему или стыду
Приполз обратно по земле увечной,
Дивясь, что вот — не ранен, не убит, —
Что ж о погибших он не говорит?

Других читателей зацепит за живое, как зацепила лично меня, мечтательная задумчивость Исаака Розенберга, умевшего даже в кромешном аду передовой замечать и запоминать красоту окружающего мира. Как справедливо напишет он в стихотворении «Получив известие о войне»:

Пора первоначальное цветенье
Разгромленной вселенной возвратить.

Лично для меня знакомство с этим поэтом стало настоящим потрясением. Как потрясением стал и его маленький поэтический шедевр под названием «Возвращаясь, мы слышим жаворонков»:

Но послушай! Вот радость,
вот странная радость —
Зазвенела небесная высь
от невидимых птиц,
Заструилась музыка на нас,
обратившихся к небу.

И если Уилфред Оуэн, которого до сей поры мне доводилось читать лишь по-английски, навеки слился в моем созна-

нии с образом главного героя из романа Олдингтона «Смерть героя», то Исаак Розенберг, которого я с большим наслаждением прочитала сразу в двух вариантах, и на русском, и на английском, отныне будет ассоциироваться с образом некого мечтательного страдальца, сумевшего, тем не менее, подняться над чернотой войны. И тут я полностью согласна с Евгением Лукиным, особо отметившим «высокую божественную ноту» в поэзии Розенберга. Пожалуй, я бы только добавила еще одно определение: щемящую ноту. Ибо поэзия Розенберга оставляет в душе непреходящую грусть и какую-то непонятную горечь утраты, как это бывает, когда теряешь очень близкого и дорогого тебе человека.

Почти как описал он это сам в своем стихотворении «Умирающий солдат»:

Он все время стонал: «Вот дома,
Я до них бы добрался ползком,
Но кружится моя голова».
Все тряслось и гремело кругом.

Он дышал, задыхаясь, с трудом:
«Наши люди... Разрывы от мин...
Умоляю вас: дайте воды —
Здесь кончается Англии сын».

Ну, разве можно оставаться безучастным, читая такие строки?

И еще одно сугубо субъективное замечание. Помнится, когда несколько лет тому назад мне довелось переводить рассказ Джозефа Макларена-Росса «Второй лейтенант Льюис» и, зная о том, каким мистификатором был при жизни сам Макларен-Росс, умевший реальные факты превращать в выдумку, а своим фантазиям придавать видимость стопроцентной достоверности, я все прикидывала, кто же стал прототипом главного героя рассказа, скромного, невзрачного на вид офицера, который на самом деле был поэтом. А сейчас я почти уверена, что Макларен-Росс, создавая свой тоже шедевр, обошелся безо всяких мистификаций и честно списал биографию героя с биографии Розенберга. Конечно, это всего лишь моя личная догадка! Но и в этом тоже есть непреходящая притягательность искусства, когда один высокий и чистый звук обязательно рождает такой же чистый отзвук, который со временем превращается еще в один звук, потом еще в один... И так до бесконечности.

И напоследок несколько замечаний из категории *notabene*, то есть самые заурядные пометки на полях. Все они продиктованы лишь одним: стремлением довести до совершенства все то, что и так представляется почти совершенным.

Я имею в виду некоторые переводческие разногласия, которые и доношу до Евгения Валентиновича в надежде на то, что он поймет меня правильно, как коллега коллегу, и, быть может, даже учтет некоторые из замечаний при последующих переизданиях сборников, которые, уверена, не заставят себя долго ждать.

Мне показался слишком буквальным перевод названия стихотворения Оуэна ‘Strange Meeting’ как «Странная встреча». Почему же именно «странная»? У английского прилагательного strange, как известно, тьма значений и оттенков. Кстати, сам Лукин прекрасно это знает. Достаточно вспомнить превосходный перевод стихотворения Розенберга «Получив известие о войне». Уже в первой же строчке этого стихотворения мы снова встречаем слово *strange*:

Snow is a <u>strange</u> white word;

И перевод:

Снег — белое <u>таинственное</u> слово.

Замечательно!

Вот и у Оуэна встреча (исходя из содержания стихотворения) могла быть *случайной, мистической, непредвиденной, судьбоносной* и Бог знает, какой еще. Буквальный перевод в данном случае, как мне кажется, далеко не лучший вариант.

В стихотворении Розенберга «Через эти пасмурные дни» категорически не согласна с переводом названия, которое одновременно является и первой строчкой стихотворения.

Through those pale cold days...

Но почему «через», спрошу я с удивлением. Ведь с помощью этого предлога мы чаще всего преодолеваем расстояния и пространства. Гораздо уместнее и правильнее в данном случае использовать предлог *сквозь.* По-русски мы говорим: *сквозь толщу веков, сквозь года.*

Тем более, с учетом широкого контекста. Судите сами!

Через пасмурные дни
Лики потемневшие горят
Из тысячелетней глубины,
Огненный отбрасывают взгляд.

Все же лики проступают *сквозь* толщу тысячелетней глубины.

В стихотворении Исаака Розенберга «На войне» не могу согласиться с опущением превосходной авторской метафоры.

Читаем в оригинале:

How death had kissed their eyes
Three dread noons since...

Буквальный перевод: «Как целовала смерть им очи три страшных (наводящих ужас) дня тому назад»

Перевод Евгения Лукина:

Что смерть их полюбила
Три дня тому назад...

Нет! Не согласна с таким обеднением смысла оригинала. Смерть не просто любила, она закрыла глаза этим несчастным, то есть, по сути, исполнила христианский долг тех, кто обычно присутствует при кончине человека. Впрочем, не стану никому навязывать собственные ассоциации. Они у всех разные, а вот сохранить первозданность образа все же хотелось бы попросить.

К сожалению, в этом же стихотворении обнаружился и еще один досадный ляп.

Вот строфа в ее английском варианте.

In the old days when death
Stalked the world
<u>For the flower of men,</u>
<u>And the rose of beauty faded</u>
And pined in the great gloom...

А вот ее перевод:

Давным-давно когда-то
Шагала смерть по миру,
<u>Искала цвет людей,</u>
<u>И увядала роза</u>
От смертной темноты.

Скажу так: буквализм, совершенно не передающий смысла оригинала и сути поэтической метафоры. Начнем с того, что в русском языке бытует выражение «цвет нации» как некое собирательное определение для лучших представителей того или иного народа. Но что может сказать читателю выражение «цвет людей»? Ничего! Потому что у нас так не говорят. Лучше уж совсем опустить метафору и сказать, к примеру, так: «Искала лучших из людей».

Ну, и «увядшая роза красоты», как буквально переводится вторая подчеркнутая строчка, это тоже отнюдь не попадание в яблочко. В русском языке имеется почти такая же метонимия, кстати, совпадающая, и по образному строю, и по смыслу. Например, «увяли розы на ее щеках», то есть девица стала чахнуть, скажем, от неразделенной любви. Но развернутая метафора Розенберга гораздо шире, и здесь буквальным переводом уже никак не обойтись. Потому что обе строки в их неразрывном единстве означают именно то, что означают: смерть забрала лучших из лучших, собрала свою скорбную дань среди тех, кто составляет цвет нации. И розы здесь совсем даже ни при чем.

Впрочем, хватит о профессиональных тонкостях перевода. И о его сложностях. Они были, есть и будут. И от ошибок и погрешностей, кстати, никто не застрахован. Даже у Корнея Чуковского и Самуила Маршака таковые встречаются. Уверена, что теперь, когда имена двух замечательных английских поэтов Уилфреда Оуэна и Исаака Розенберга запущены в обращение уже в русскоязычной культуре, появятся (обязательно появятся!) и новые переводы: вторые, третьи, четвертые...

Но все же первопроходцем на этом тернистом переводческом пути был Евгений Валентинович Лукин. И за это еще раз ему низкий поклон и огромная благодарность.

Смотрю на обложки с портерами двух красивых (именно красивых!) молодых людей, чьи лики и в самом деле проступают *сквозь* минувшее столетие, и почему-то сами собой всплывают в памяти слова другого поэта, современника Оуэна и Розенберга. Иван Бунин в самый разгар Первой мировой, в 1915 году, написал такие строки:

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

Вот и я от души желаю долгого, непрекращающегося звучания Письменам двух мужественных солдат Первой мировой войны, англичан Уилфреда Оуэна и Исаака Розенберга, уже на волнах русской культуры.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ

Литературное содружество

Мост дружбы и единства

Книжная серия «Созвучие сердец», в которой представлены литературные произведения народов России и стран СНГ за последние два десятилетия, стала значимым событием на постсоветском пространстве. Причина тому, на мой взгляд, одна — писатели, живущие в своих национальных «квартирах», соскучились по связям, контактам, переводческой деятельности... Наверное, этот проект, жизнь которому дал Издательский дом «Звязда», получит продолжение. И в Беларуси, и в других странах Содружества...

Художник слова — трибун, отражающий веяния времени, гражданин, который живет тревогами и заботами Отечества. Так было и в прежние времена, когда писатели, представители разных народов, были наполнены чувством сопричастности в пространстве Советского Союза. Сегодня у каждого из нас — своя страна. Но, наверное, человеку здравомыслящему, помнящему все хорошее, доброе, светлое, всегда хочется жить в дружбе и согласии. Не случайно писатели разных стран Содружества Независимых Государств интересуются друг другом, стремятся постигнуть процессы, которые происходят и в своей стране, и в целом в СНГ. Не случайным нам кажется название творческого проекта, представляющего национальные литературы, — «Созвучие сердец». Первая книга «С думой о Родине» была посвящена белорусской и русской литературам.

...Недавно в «Литературной газете», которая, к счастью, продолжает объединять литераторов разных стран СНГ, Максим Чертанов (автор романов-биографий Герберта Уэллса, Эрнеста Хемингуэя, Марка Твена, Конан Дойла и Чарлза Дарвина в «молодо-гвардейской» серии «Жизнь замечательных людей») на один из вопросов Игоря Панина ответила (именно: ответила. За именем Максим Чертанов скрывается — вот парадоксы времени! — талантливая писательница Мария Кузнецова) твердо: «В то, что читатели совсем переведутся и литература исчезнет, я не верю. Исчезнуть могут читатели бумажных книг, но это вопрос технический...» Так и мы будем пребывать с верой, что художественное слово останется и будет исцеляющим родником духовности на все времена.

В первую книгу, открывающую серию, которая представляет литературу Содружества Независимых Государств (а по сути — постсоветскую литературу) последних двух десятилетий, как мы уже сказали, вошли произведения белорусских и российских поэтов и прозаиков. Свой путь они начинали в разные годы.

Поэт Константин Ваншенкин прошел дорогами Великой Отечественной, окончил Литинститут в 1953-м, первые стихотворения посвятил друзьям-солдатам. Первый сборник фронтовика — «Песня о часовых»... А песня «Я люблю тебя, жизнь», музыку к которой написал композитор Эдуард Колмановский (родился, кстати, в белорусском Могилеве) в 1956 году на стихи Константина Ваншенкина, и сегодня на слуху у миллионов людей. «Я люблю тебя, жизнь, // Что само по себе и не ново. // Я люблю тебя, жизнь, // Я люблю тебя снова и снова!» Умер Константин Ваншенкин в декабре 2012 года.

Юрий Бондарев начал печататься в 1949-м... С войны офицер-артиллерист, 1924-го года рождения, вернулся с двумя медалями «За отвагу». Его повесть «Батальоны просят огня» пришла к читателю в 1957-м, роман «Последние залпы» — в 1959-м, «Горячий снег» — в 1969-м... Он и сегодня работает в литературе.

«Мир проснулся, как ребенок. // Солнце плещет в берега. // Мчится резвый жере-

бенок // На зеленые луга... // Здравствуй, мир! Здравствуй, друг! // Здравствуй, песен щедрый круг...» А эти простые и ясные, солнечные, светлые слова, которые открывали всему миру Советскую страну на Играх доброй воли в 1980 году, принадлежат автору из поколения «детей войны» — Владимиру Кострову (родился в 1935 году). И он, первые уроки мастерства получивший от поэта-фронтовика Николая Старшинова, — сегодня с читателем.

Владимир Крупин (родился в 1941 году), начал свою трудовую биографию учителем словесности, свои первые книги назвал «Зерна» и «Живая вода»... Кстати, в последние годы Владимир Николаевич — частый гость в Беларуси. Он — один из активных участников Международного православного движения «Семья — Единство — Отечество». Ему, неравнодушному писателю и публицисту, есть дело до всего славянского мира, его тревог и волнений.

Виктор Лихоносов (родился в 1936 году) — из поколения, пришедшего в литературу в конце 1960-х — начале 1970-х... И тогда, сорок-пятьдесят лет назад, и сейчас главной целью его художественного «вмешательства» в жизнь является желание вернуть правдивый взгляд на разные времена и события. Понятно, что это нелегко. И все же писатель прорывает множество преград, и утверждает духовные, нравственные постулаты, верховенство справедливости и правды.

Немало стихотворений российский поэт Глеб Горбовский написал на Витебщине, в тихих озерных, лесных уголках северной части Беларуси. Сегодня его, лауреата Премии Союзного Государства Беларуси и России, хорошо знают и дома, и в Беларуси.

А Николай Добронравов... «Заповедный напев, заповедная даль, // свет хрустальной зари, // свет, над миром встающий. // Мне понятна твоя вековая печаль, // Беловежская пуща, Беловежская пуща...» Слова сотен (!) песен, написанных Николаем Добронравовым, — это открытое на рассвете окно, это счастье встречи с утренним ветром, это жизнь, дающая силы... Рядом с поэтами Николаем Добронравовым и Глебом Горбовским, прозаиком Евгением Шишкиным своими произведениями-открытиями делится еще один друг Беларуси — поэт, публицист, главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев. Он — еще и переводчик поэмы Николая Гусовского «Песня о зубре» на русский язык, поэмы, открывающей частицу белорусской истории, белорусского средневекового мира...

Валентин Распутин — знаковое имя не только в русской прозе второй половины двадцатого века, но и знаковое имя во всей постсоветской литературе или, выражаясь языком прежних десятилетий, в многонациональной советской литературе... Он — еще и соратник не одного поколения белорусских прозаиков, их молчаливый учитель и помощник в художественном поиске, в осмысливании жизни...

Под одной обложкой с произведениями российских писателей разных поколений свой диалог ведут белорусские поэты и прозаики: Алесь Савицкий, Николай Чергинец, Валентин Лукша, Виктор Гордей, Раиса Боровикова, Виктор Супрунчук, Геннадий Пашков, Валерий Гапеев, Микола Метлицкий, Андрей Федаренко, Олег Салтук, Виктор Шнип... И их имена известны читателям разных поколений. Читают их произведения не только на родном белорусском, но и в переводе на другие языки. Прежде всего — на русский...

Нельзя не сказать, что сегодня современная белорусская литература неплохо известна в России и соответственно в СНГ, других странах, благодаря, прежде всего, двум творческим проектам: на страницах журнала «Наш современник» и «Литературной газеты». Эти две инициативы (а поддерживает их огонь, в первую очередь, доброе отношение к Беларуси, белорусской литературе главных редакторов авторитетных изданий — Станислава Куняева и Юрия Полякова, редактора «белорусского» приложения» к «Литгазете» Алеся Кожедуба) дорогого стоят. Они и следующее убеждение подтверждают: русский язык, а следом и русская культура в целом для народов постсоветских государств — мост в широкий мир, во все Европы и Америки. Не понимать этого, не осознавать, значит, не видеть очевидное.

Заметим, что идея проекта «Созвучие сердец» родилась в год, когда Беларусь председательствовала в Содружестве Независимых Государств. Традиции книгопечатания, созидательной роли художественного слова на родине Янки Купалы и Якуба Коласа — широкая река, своей свежестью и красотой объединяющая разные художественные миры... Надеемся, что книги не только заметят во всех странах СНГ, но они получат постоянную прописку в библиотеках стран Содружества. Сборники станут

хорошей основой для работы переводчиков из других государств. А самое главное, что читатели разных стран снова прикоснутся к знакомому со времен их прежних открытий миру. Ведь не могли мы представить раньше свой читательский мир без страстной армянки Сильвы Капутикян, мудрого туркмена Керима Курбаннепесова, чуткого к миру детства молдаванина Спиридона Вангели, без философской прозы Чингиза Айтматова, широкого взгляда на окружающую действительность казаха Мухтара Ауэзова, поэтического мира украинца Максима Рыльского и узбечки Зульфии, таджика Мумина Каноата, азербайджанца Расула Рзы... Давайте, как и раньше, жить в содружестве. К этому, по своему, призывают и другие тома серии «Созвучие сердец».

«Люблю тебя, Отчизна» — название книги, представляющей произведения армянских и белорусских писателей. Стихотворения и рассказы Ованеса Григоряна и Олега Ждана, Гукаса Сируняна и Юрия Сапожкова, Генриха Одояна и Елены Поповой, Рубена Овсепяна и Миколы Малявки, Артема Арутюняна и Ганада Чарказяна, Эдварда Милитоняна и Казимира Камейши, Давида Ованеса и Владимира Липского, Рачья Тамразяна и Миколы Чернявского, Размика Давояна и Владимира Федосеенко, Аревшата Авакяна и Евгена Хвалея, Левона Хечояна, Ваагна Мугнецяна, Ваагна Григоряна, Норайра Адаляна, Врежа Исраеляна.

У белорусской и армянской литератур, несомненно, много общего. Не случайно так заинтересовались армянские переводчики белорусской поэзией. На языке великих Саят-Новы, Ширванзаде, Аветика Исаакяна, Сильвы Капутикян, Геворга Эммина звучат стихи многих белорусских поэтов. Еще в 1936 году в Армении были опубликованы произведения Янки Купалы и Якуба Коласа. В Ереване в разные годы отмечались юбилеи классиков белорусской литературы. А в грозном 1941-м, когда слово значило особенно много, в Ереване вышли книги-листовки Янки Купалы «Не будет белорус рабом немецких баронов!» и «Поднялась Беларусь»... Факты многоговорящие. В сентябре 1939 года Янка Купала выступил на Пленуме ССП СССР, посвященном 1000-летнему юбилею армянского героического эпоса «Давид Сасунский». Янка Купала поставил легендарную поэму в один ряд с такими произведениями, как «Илиада», «Песнь о Нибелунгах», «Слово о полку Игореве», «Витязь в тигровой шкуре», отметив, что армянский эпос наполнен присущими, близкими всем народам идеями братства, мечтой о счастливой жизни. Говорил тогда, в сентябре 1939 года, и о схожести судеб народов Беларуси и Армении. Что примечательно, текст выступления Янки Купалы (сам пленум проходил 16 сентября) был опубликован в ереванской газете 17 сентября 1939 года, в день, когда с Советской Белоруссией воссоединилась Западная Белоруссия, находившаяся под гнетом Польши...

И не случайным кажется продолжение того ереванского визита Янки Купалы — в белорусской литературно-художественной периодике стали появляться переводы из армянской поэзии и прозы. Отдельная страница литературного побратимства — дружба Янки Купалы и армянского поэта Наири Зарьяна. В декабре 1935 года ереванский гость выступал в Минске на торжественном вечере, посвященном 30-летию литературной деятельности Купалы. Зимой 1935 — 1936 гг. Зарьян принял участие вместе с Купалой и другими белорусскими писателями в творческих вечерах в Копыле, Пуховичах, Бобруйске. Армянский поэт перевел стихотворение «Алеся», поэму «Борисов». И не случайным является приветствие, которое 31 января 1936-го вместе с белорусскими писателями Купала адресует таджику Лахути, азербайджанцу Самеду Вургуну и армянскому поэту, уже своему другу Наири Зарьяну: «Правление Союза советских писателей вместе с писателями БССР переживает глубокую радость по причине огромного счастья, которое выпало на вашу долю, — награждение орденом Ленина вас, великих певцов трех мощных, но раньше угнетенных народов...»

Листаем и другие страницы истории белорусско-армянской литературной дружбы. У двух литератур есть проводник — прочный мост дружбы, который соединяет художественные миры, разные культуры, помогает понять национальные особенности, внимательно рассмотреть различия, — речь о русском языке, русской культуре, русской литературе.

Наверное, без этого моста не было бы движения вперед, безвестными остались бы многие идеи, символы и образы. Да, достаточно сложно было бы услышать друг друга. Из книги «Люблю тебя, Отчизна» особенно притягивают вот эти строки:

И тебя изводит мысль твоя:
«Что есть жизнь, творящее начало?
В чем она, загадка бытия, —

в жути, в грусти, в ужасе, в печали?»
Неспроста ты различаешь вдруг
и отнюдь не спьяну или сдуру
в звере — человеческий испуг,
в человеке — зверскую натуру.
Эту связь вовеки не порвешь,
и вполне возможно, что в итоге
перед Богом мы одно и то ж,
оттого-то и едины в Боге.
И загадка разлетелась в прах,
и разгадка не сокрыта в тайнах,
и в людских глазах — животный страх,
а в глазах зверей, таких кристальных,
ты читаешь боль сто раз на дню
и безмолвную тоску-кручину,
и опять попал ты в западню
и охвачен страхом беспричинно,
зароненным космосом в тебя,
и постичь мы неспособны, где же,
рубежи слиянья затопя
и плодами будущими брезжа,
воды жизни, воды смерти льют,
их не разделить, их путь урочен,
и твой ужас неизбывно лют;
это так, но для себя ты, впрочем,
отыскал родимое, свое —
новую загадку, новый морок:
— Надобно всегда жалеть зверье,
ибо жизни тот и этот дорог,
человек и зверь, и в том твой дар,
что в мирской юдоли ты сызвека,
в человеке зверя увидал,
ну а в диком звере — человека.

Это — стихотворение Рачья Тамразяна «Вопрошение»... От литературы и ждут созидания, гуманистической ноты.

Разговор о личных переживаниях, личном осмыслении событий, происходящих в нашем мироздании, всегда возвышает художника слова, делает его ближе и понятнее читателям разных народов... Читая армянских поэтов, невольно думаешь о наших белорусских классиках, о том, что и их стихотворения, их поэтические открытия были распространены в широком мире. Как и у Максима Танка, Аркадия Кулешова, Пимена Панченко, Петруся Бровки... Родные белорусские величины художественного мироздания, как показало время, интересны многим народам... Верлибры Танка, квантемы Рязанова, лирико-публицистические монологи Пимена Панченко — можно провести параллели с традициями армянского художественного слова. Тем и интересна книга «Люблю тебя, Отчизна», тем и интересна серия «Созвучие сердец», что они позволяют быть ближе к другим народам и культурам.

...«Жизнь — позади, мы пришли, в никуда вырастая: // от озаренья души — к пустоте мирозданья. // И повторяем, хрипя под могильной плитою, // что отворяем себя пред небесной чертою», — пишет в стихотворении «Дорога» народный поэт Кыргызстана Вячеслав Шаповалов... Хотел бы специально остановиться на примере судьбы этого замечательного литератора. Русский по национальности, он родился во Фрунзе в 1947 году. И состоялся не только как литературовед, переводчик, литературный критик, этнополитолог, но и как оригинальный русский поэт. Вячеслава Шаповалова можно по праву назвать поэтом-планетой, поэтом-страной, ставшим в Кыргызстане основой для утверждения вселенского и национального. Гуманистические идеалы неразделимы по национальному признаку. Это понимал и понимает и сам Вячеслав Шаповалов, сказавший однажды о Чингизе Айтматове: «... Железного века ветра пролетают, пронизывая! — // Он, сын Ала-Тоо, прошел по планете и вечности, // За космосом чуждым он молча провидел Киргизию, // В реченьях далеких он близкое слышал отечество. // В снегах и бурьянах застыли родимые прерии, // Родимые пятна горят, словно знаки отличия, // Все ставят в вину ему — // смерть большевистской империи, // Крушенье культур и надежд, маскарад безъязычия...» Это понимали и те, кто высоко оценил вклад Вячеслава Шаповалова в национальную кыргызскую культуру, в дело представления культуры Кыргызстана в мире. Не случайно он отмечен не только званием народного поэта Кыргызстана, но еще стал заслуженным деятелем культуры Кыргызской Республики, лауреатом Государственной премии Кыргызстана. Но ведь и сам Шаповалов поработал на славу. Издав своих 12 оригинальных поэтических книг, он выпустил в свет более 30 книг переводов. «Рождение манасчи» — так называется поэма Шаповалова об эпосе «Манас». Еще десятилетия назад о Шаповалове писали: «...Поэзия Шаповалова — жертвенная попытка сохранить общее культурное пространство. Для многоликого и несколько растерянного киргизского ренессанса он сегодня то же, что для европейца Октавио Пас: он как бы сам себе создал образ эпохи, закапсулировался в ней. Естественно, главными темами его стихов и поэм стали: время, история, душа, народ». Отрадно, что и

сегодня Шаповалов — в боевом творческом строю, что и сегодня его почитают в стране, республике, претерпевшей немало разных событий в последнее десятилетие... Значит, диалог народов и культур возможен, важен и необходим... Недавно мне посчастливилось вступить в разговор с поэтом, когда он вел одно из заседаний очередного форума Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества в Бишкеке. Оказалось, что кыргызский поэт и литературовед хорошо знает и белорусскую литературу. И во второй книге его двухтомного собрания сочинений нашлось место перевоплощению и белорусского слова на русский язык. Там опубликованы переводы стихотворений народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина. Согласитесь, интересный факт: в Кыргызстане поэт, пишущий на русском языке, переводит с белорусского стихи нашего Бородулина...

С интересом читаются произведения писателей Кыргызстана, пишущих на родном языке, — Туленды Курманалиева (рассказ «Едриналин»), Нурлана Калыбекова (стихи в переводе Александра Никитенко), Кадыркула Омуркулова (рассказ «Стон ледника»), Тазагуль Закировой (стихи в переводе Станислава Золотцева), Турусбека Мадылбая (фрагмент из романа «Феникс»), Рахима Каримова (отрывок из романа «Камила»), Мара Байджиева («Сказание о Манасе»)... «Сказанья древней старины», прочитанные по-новому, в условиях новых тревог и новых общественных и личностных откровений, переплетаются с глубокими, волнительными разговорами о современности, о человеке, кыргызе двадцать первого века, о его соседстве с другими народами Азии, о его путешествии в Европу и другие миры. Открытия, встречи с произведениями, созданными в последние два десятилетия, настраивают на продолжение знакомства с литературой далекого и близкого Кыргызстана. Сердце находит ту тревожную линию связи, созвучия, которая обязывает быть сопричастным с новым миром художественного слова. Миром, в котором, оказывается, тепла, доброты ничуть не меньше, чем в откровениях известных белорусских писателей. Как и в стихотворении Тазагуль Закировой «Возвращение»:

Тебя вспоминаю, родная моя сторона,
Куда бы дорога моя ни метнулась.
Вот вновь я вернулась — и снова видна
мне в рощах давно убежавшая юность.
И детские давние песни мои
мне снова поют родники и ручьи.
О, юность далекая, время степное,
тюльпанов и маков огни на холмах.
Тропа, где я бегала только босою,
росою лицо умывая в лугах.
Святая земля, ты близка, словно мать,
и сердцу тебя не дано забывать.
Твой ветер мне волосы треплет и нежит,
как крылья, они разметались — лечу!
Я — дочь земли этой, росток ее свежий,
и я о любви к ней в стихах не молчу.
И радость познав, и большую беду,
я к дому родному иду.

(Перевод Станислава Золотцева).

«Святая любовь» — книга, которая несомненно придет и в Кыргызстан, она знакомит читателя и с современными писателями Беларуси. Под одной обложкой с поэтами и прозаиками азиатской страны — белорусские литераторы Вячеслав Адамчик, Борис Бележенко, Алексей Дударев, Марьян Дукса, Владимир Дуктов, Татьяна Лейко, Владимир Наумович, Павел Воробьев, Александр Брит. Интересно сравнивать, сопоставлять характер творческих исканий, интересно ощущать время через призму белорусского и кыргызского взглядов... В этом, наверное, и выражается развитие, движение вперед, красота самой жизни — в том, что многообразие возможно лишь только в сопоставлении и взаимопроникновении. Для этого и задумывалась эта белорусско-кыргызская книга художественных откровений, для этого и задумывалась серия «Созвучие сердец» — творческий проект, у которого должно быть большое будущее. Возможно, у национальных литератур с развитием серии прибавится читателей в Минске и Бишкеке, в больших и малых городах и селениях Беларуси и Кыргызстана. А писатели станут более внимательными к творчеству своих коллег в других странах...

История белорусско-молдавских литературных связей насчитывает более семидесяти лет. Немалый, согласитесь, отрезок времени. Но если оглянуться назад, на последние два десятилетия, то скорости в развитии контактов между литературами Беларуси и Молдовы стали совсем иными. А ведь память хранит достаточно много ярких, примечательных фактов литературного и вообще культурного побратимства. Можно вспомнить поистине звездную судьбу настоящего художника, искреннего педагога многих живописцев Молдовы Вла-

димира Фульгентьевича Окушко (родился в 1862 году на Гродненщине, в Ошмянах). Пройдя школу профессионального мастерства в Санкт-Петербургской академии художеств, в 1897 году наш соотечественник приехал в Кишинев. Работал преподавателем и директором рисовальной школы. И если в 1897 году там обучалось 17 детей, то спустя десять лет — уже 235. Из стен школы вышли профессионалы: П. Шиллинговский — график и живописец, А. Бразер — заслуженный деятель искусств Беларуси, директор Минского художественного училища, В. Нестеров — многолетний председатель Союза художников Одессы, П. Ваксман — скульптор, продолживший затем учебу и работу в Париже. Одна из наиболее известных работ Владимир Окушко — картина «Пахота»...

В 1936 году группа молдавских писателей привезла приветствие Якубу Коласу в связи с 30-летием его литературной деятельности. Если заглянуть в библиографию публикаций народного песняра Беларуси на молдавском языке, то окажется, что переводить классика белорусской литературы начали только в 1956 году. Именно тогда в сборнике «Белорусская поэзия», изданном в Кишиневе, появилась большая подборка стихотворений Якуба Коласа на молдавском языке в переводе П. Боцу, П. Крученюка, П. Михня. Затем в разные годы к работе над перевоплощением произведений классика на молдавский язык работали Г. Чокай, Ю. Баржанский, Ю. Кыркелян, М. Лутик, П. Заднипру, Д. Волтурин, Г. Богач, Е. Мустяну... Целый отряд талантливых мастеров художественного слова!.. Отдельными изданиями увидели свет в Кишиневе и четыре книги Якуба Коласа! Это, согласитесь, дорогого стоит. А Купала начал свою дорогу к молдавскому читателю с публикации стихотворения «Солнцу» в журнале «Октомбрые» («Октябрь») в июльском, за 1939, год номере. Отдельные книги стихотворений и поэм Янки Купалы изданы в Кишиневе в 1955 и 1982 годах. Переводчики стихотворений другого нашего классика — знаменитые молдавские литераторы А. Лупан, Е. Буков, А. Бусуйок, А. Чиботару, И. Георгицэ, П. Дарие, П. Старостин, М. Лутик... Кстати, и уже упомянутый антологический сборник «Белорусская поэзия» в 1956 году открывался стихотворением Янки Купалы «А кто там идет?» в переводе А. Лупана — правда, молдавский перевод носил название «Белорусы». Кстати, к перевоплощению этого классического стихотворения обратился еще и П. Старостин. Что примечательно, в молдавской периодике не единожды публиковались статьи о жизни и творчестве Янки Купалы. Наряду с молдавскими писателями, литературоведами их авторами выступали и белорусские исследователи: А. Есаков, А. Кучер, А. Макаревич, В. Гниломедов, В. Юревич, М. Лыньков...

Свет классики наложил своеобразную печать на развитие белорусско-молдавского литературного побратимства. Возможно, поэтому на молдавском языке в Кишиневе увидели свет еще и книги Ивана Шамякина, Янки Мавра, Янки Брыля, Алеся Рылько, Петруся Бровки, Василя Быкова, Ивана Мележа. Отдельно можно говорить и о белорусской теме в молдавской литературе. Вспомним хотя бы яркую, пронзительную поэму П. Дудника «Хатынь».

И белорусы старались во все времена литературной дружбы щедро платить молдавской литературе таким же сердечным вниманием, такой же теплой искренней заботой. Как результат — книги на белорусском языке «Молдавские рассказы» (1958), «Молдавские народные сказки» (1966), «Поэты солнечной Молдовы» (1960), «Бочонок винодела. Молдавский юмор» (1967). К коллективным сборникам добавим повесть С. Шляху «Товарищ Ваня», роман Г. Лупана «Третьи петухи», сборник рассказов «Что мои глаза видели» А. Рошки. А на книге «Приключения Гугуцэ» Спиридона Вангели, изданной на белорусском в 1971 году огромным тиражом, воспитывалось несколько поколений белорусской детворы.

И вот — новая встреча... Проложен очередной мост. Несомненно, как и в случае с другими национальными литературами, сам факт издания книги «Созвучие сердец: Беларусь — Молдова» поспособствует расширению знакомства с современной молдавской литературой во многих уголках постсоветского пространства. Везде, где русский язык является своеобразным духовным скрепом народов и литератур. По крайней мере, будем на это надеяться. Произведения, составившие «молдавский» том серии «Созвучие сердец», являются хорошим основанием для таких надежд. Молдову представляют Александра Юнко, Михаил Поторак, Денис Башкиров, Яна Казаченко, Константин Кеяну, Олег Краснов, Оксана Мамчуева, Наталья Новохатняя, Сергей Пагын, Вика Чембарцева... Александра Юнко — профессиональный

журналист. Свой путь в литературу начала еще в 1970-е годы. В 1987 была принята в Союз писателей СССР. Автор нескольких поэтических и прозаических книг. Михаил Поторак родился в 1969 году. Публикуется не только в Молдове, но и в России, Германии. Лауреат независимой литературной премии «Белый Арап» за 2011 год. В литературу Денис Башкиров пришел из природоохранной сферы. Работал долгое время специалистом по опасным хищным животным. Денис — учредитель творческого интернет-портала «Подлинник». Яна Казаченко — поэт и прозаик. Работает и в жанре научной фантастики. Константин Кеяну — драматург, прозаик, журналист. Автор автобиографических книг «Все обо мне!», «Секс и перестройка». Отмечен премиями Союза писателей Молдовы за лучшую пьесу года (1998) и за лучшую прозу (1999). Пишет на румынском языке. Олег Краснов — прозаик, переводчик, журналист. По образованию математик. Работал лаборантом, дворником, санитаром, тренером. Дипломант международного конкурса «Музыка перевода» за 2012 год. В 2013 году в Дюссельдорфе в издательстве «Za-Za» вышла книга рассказов «Репетитор». Перевел с румынского роман Саватия Баштового «Дьявол политкорректен». Оксана Мамчуева — шеф-редактор электронного портала. Много печатается в «Литературной газете», журнале «Русское поле», других бумажных изданиях. Наталья Новохатняя — автор поэтических сборников «И вечный блюз», «Об авторах и героях». Сергей Пагын — поэт, автор сборников стихотворений «Обретения», «Прогулка в ноябре», «Сверчок в радиоприемнике», «Перед снегом». Вика Чембарцева — поэт, прозаик, переводчик. Участник V и VI форума переводчиков и издателей СНГ, Международного поэтического фестиваля в Генуе (Италия, 2013). Что примечательно, этих литераторов широко знают в мире, они не замыкаются в узконациональном пространстве, раздвигают свои художественные границы и границы молдавской литературы вообще.

...Приблизительно лет шесть назад в Минске появился деятельный, энергичный таджик — директор душанбинского книжного издательства «Адиб» Ато Хамдам. Побывал в Союзе писателей, посетил белорусские издательства. И предложил белорусским писателям собрать антологию современной литературы. Так родилась книга «Вечерний костер», буквально через полгода уже увидевшая в свет в переводе на таджикский язык... Потом появились новые идеи, были реализованы новые творческие проекты, представляющие белорусскую литературу в Таджикистане, таджикскую — в Беларуси. Казалось бы, новые границы закрыли нас друг от друга, отрезали наши национальные миры от проникновения малейших лучиков дружбы, братства... Но так только казалось...

Не заглядывая в историю ушедших десятилетий, сегодня можно смело писать новые страницы дружбы, взаимопроникновения белорусской и таджикской литератур. В Душанбе только за последние несколько лет увидели свет книги Миколы Метлицкого, Георгия Марчука, Юрия Сапожкова... Опубликованы в периодике, коллективных сборниках произведения Сергея Трахименка, Натальи Пархимович, Николая Чергинца, Алеся Бадака, Валентина Лукши, Алеся Савицкого, Ивана Каренды, Виктора Шнипа, Людмилы Рублевской, Андрея Федаренко, Владимира Федосеенко... Не отстают и белорусские переводчики. Увидела свет книга поэзии современных таджикских авторов «Под звездою Рудаки» — в переводе на белорусский зазвучали произведения Мумина Каноата, Гульназар Келди, Аскара Хакима, Зиё Абдулло, Низома Косима, Рахмата Назри, Саидали Мамура и других наших современников... Издана в Минске еще одна книга — «Таджикистан: мгновения вечности»... Рядом с замечательной поэтической сагой Саидали Мамура, посвященной Хатыни (а перевел ее на белорусский язык Микола Аврамчик) — публицистический рассказ о Таджикистане сегодняшнем... Наверное, в этом и выразилось главное желание, что является двигателем в укреплении литературных связей, — выяснить, как сегодня живут наши вчерашние сограждане по Союзу. И кто лучше писателей об этом может рассказать?..

Вот и в таджикско-белорусском сборнике серии «Созвучие сердец» Абдулхамид Самадов, Мумин Каноат, Лоик Шерали, Кароматулло Мирзо, Гулрухсор Сафи, Гулназар Келди, Аскар Хаким, Мавджуда Хакимова, Ато Хамдам, Камол Насрулло, Фарзона, Джонибек Акобир, Зулфия Атои, Низом Косим, Мансур Суруш, Сергей Сухоян, Рано Мубориз, Леонид Чигрин рассказывают о Таджикистане и таджиках, об их сегодняшней жизни. Но что характерно, об этом подумалось именно при чтении новых произведений таджикских авторов, — инте-

рес вызывают те стихи, рассказы, где писатели далекой от Беларуси страны ищут нравственные, духовные ориентиры существования человека в мире. Современными кажутся поэтические откровения о любви и дружбе, о совести и чести... Читаем у Мумина Каноата: «Придет любовь, огнем спалит, // Но жажду сердца утолит // И настигает на пути // Того, кто пробует уйти. // Сказал бежавший от огня: // «Спокоен я!» // друзья, он лжет! // Огонь любви страшней вдали, // Вдали стократ сильней он жжет». А Гулрухсор Сафи высказывает свои, цепляющие и сердце, и ум, воззрения: «В чем заключается сила мужчины? // — В мудрости его, в постижении нежности и красоты женской силы» («Сила»). Или вот еще убеждение от Гулрухсор Сафи: «Мужчина, потерявший голову, забывший себя, куда может дойти? // — До порога любимой». («Влюбленный»).

Читая сегодняшнего Мумина Каноата, Гулрухсор Сафи, читая Лоика Шерали, других поэтов современности, я заглядываю в историю таджикской литературы. Вспоминаю философско-лирическое направление в поэзии Востока, в поэзии Таджикистана. Имена Джалаладдина Руми, Кемала Худжанди, Амира Хосрова Дехлеви являются светочами, которые сильно повлияли на развитие таджикской поэзии XXI века. Особенно это ощущаешь, читая стихи Гулрухсор Сафи, Лоика Шерали, Мумина Каноата... Разные как творцы мышления, они похожи в отстаивании национальных приоритетов, вместе с тем интернациональны. На мой субъективный взгляд, людям всех национальностей, литературам понятным и близким покажется, например, вот это стихотворение Мумина Каноата:

Ты ищешь разум или радость? И то и это
в нем найдешь.
Ты ищешь горечь или сладость? И то и это
в нем найдешь.
Фарси, дари или таджикский —
его как хочешь
назови:
Он для меня — язык искусства,
неумирающей
любви.
Не только материнской речью, с которой
с первых дней знаком,
Стал для меня он материнским,
благословенным
молоком,
Не назову его иначе, ища сравненья
вновь и вновь:
Он материнская забота
и материнская любовь.
Вот почему язык таджикский,
с его певучей простотой,
Люблю, как смех подруги юной, как ласку
матери седой.

Время диктует новые скорости, но в главном — сохранении своего «я», в утверждении проявлений национального характера, — скорости остаются прежними: не потерять!.. Не потерять язык, национальное своеобразие, народный взгляд на различные события, в том числе мировые... Этим интересна и таджикская литература, к знакомству с которой мы приглашаем всех русскоязычных читателей.

А первый помощник в этом деле — Ато Хамдам, публицист, переводчик, драматург, автор исторических романов, над которыми работает, кстати, в соавторстве с нашим земляком, прозаиком Леонидом Чигрином, который живет в Таджикистане с юных лет. Благодаря Ато Хамдаму и вся современная литература Таджикистана становится нам ближе и понятней...

На самом видном месте моей библиотеки стоит книга Агаджана Бабаева «Пустыня как она есть». Из знаменитой «молодогвардейской» серии «Эврика». Замечательная книга!.. Издана в 1980-м... А мне в руки попала, когда жил в Ашхабаде, — в 1985 или в 1986 году, может, в 1987... И прочитал эту исповедь ученого вовсе не как научно-популярный очерк, не как беллетризованную биографию пустыни, а скорее — как Сагу о Древней Ее Величестве Пустыне... Можно, и это в какой-то мере будет оправдано, из окна белорусской лесной глубинки, с озерного берега, даже вслух сказать: «Что же там такого в этой бескрайней пустыне... Один разве что песок...» Можно все сказать... Ну, а если родился в этом пустынном краю, если понимаешь с самого детства, что песок может быть не только желтым, серым, не только бесцветным... Если понимаешь, что у песка есть краски, душа и даже сердце... А если ты вырос и услышал то, что стоит за строками современника Пушкина, великого туркменского поэта Сеитназара Сеиди:

Выйду без цели вешней бродить порой.
Манят вдаль твои дороги, пустыня.
Брошу дом, распрощусь с постылой горой,
Земли все пред тобой убоги, пустыня.

Из книги академика, географа Агаджана Бабаева «Пустыня как она есть» я открывал все истины, которые могла бы подарить туркменская пустыня, следом шел проверить их. Воспринимая Туркменистан (и оазисы, и немногие горы) как единое целое, я все же читал историю этого бескрайнего и многоликого, отнюдь не только пустынного края в невидимых следах видимого, осязаемого величия человека и природы.

Вот и сейчас, открывая новые произведения давно знакомых мне Агагельды Алланазарова (его романы, написанные в 1990-е, в начале 2000-х гг., Атамурада Атабаева (поэта, которого читаю на русском в переводах Юрия Кузнецова, на белорусском — в переводах Алеся Бадака), Османа Оде, Оразгулы Аннаева, Гурбанназара Оразгулыева, Гурбаняза Дашгынова (эмоционального переводчика Александра Блока на туркменский язык), яркого прозаика, рассказчика Комека Кулиева, тонкого лирика Биби Ораздурдыевой, фантаста Худайберды Диванкулиева, великого детского писателя Касыма Нурбадова, я вспоминаю следы в пустыне... Мне кажется, что их оставили и белорусы, уроженцы Беларуси... Ведь в разные годы сопричастность моих земляков к древней туркменской земле была самая что ни есть тесная...

Наверное, первые следы, связанные в Туркменистане с Беларусью, принадлежат Александру Ходзько. Родился поэт, фольклорист, славист, востоковед в деревне Кривичи Вилейского уезда Минской губернии 30 августа 1804 года. Окончил Виленский университет со степенью кандидата философии в 1823 году. А также — восточное отделение живых языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел в Петербурге (1829). С 1831 — на дипломатической службе в Персии. Первым описал эпос о Кёр-Оглы, стихи Махтумкули и Кемине, фольклор туркменского народа. Издал сборник преданий и песен народов севера Персии, книгу «Персидская грамматика». Переводил со славянских языков на восточные. С 1842 года жил в Париже. Преподавал в Коллеж де Франс в Париже в 1857—1883 гг. Об Александре Ходзько в газете «Вечерний Ашхабад» 19 апреля 1972 года была опубликована статья белорусского исследователя Валентина Грицкевича — «Переводчик туркменской поэзии». В Беларуси о Ходзько, легендарном востоковеде, писал литературовед Владимир Мархель.

Пока что малоисследованным является следующий факт. В 1914 году в царскую армию был мобилизован Алесь Лежневич. Известно, что до этого времени он работал в Туркестане в передвижных любительских театрах артистом драмы. Драматург Алесь Лежневич родился в 1890-м году в деревне Сентянеты Ошмянского уезда Гродненской губернии (теперь — Сморгонский район Гродненской области). Автор книг «Новые всходы», «Тамила», «С дымом-пожаром», «Крестьянский театр», вышедших в 1927—1928 гг. в Минске. В 1927 году выступал в печати и со стихотворениями. В 1930 году был первый раз репрессирован. В 1937 — повторно репрессирован и приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован 15 ноября 1957 года.

Александр Поцелуевский... К сожалению, его имени нет в белорусских энциклопедиях. Но, к счастью, его хорошо знают и помнят в Туркменистане. Есть и книга о нем, издана она в Ашхабаде... Родился, правда, Александр Петрович в селе Букмуйжа Режицкого уезда Витебской губернии (нынешняя территория Латвии). Но везде и всегда сам писал о том, что он — белорус. И еще — учился в Витебской гимназии и работал в Витебске после окончания Лазаревского института востоковедения. В 1920-е гг. переехал в Ашхабад. С 1933 — профессор Ашхабадского педагогического института. Создатель советской школы туркменоведения. Первым дал научное описание туркменского языка. Автор многих работ по туркменскому фольклору и литературе. Написал книги «Фонетика туркменского языка», «Диалекты туркменского языка», «Основы туркменского литературного языка». Погиб во время землетрясения в Ашхабаде 6 октября 1948 года.

Гостила в Ашхабаде и белорусская поэтесса Евдокия Лось (1929—1977). Вероятно, это было в 1970-е гг., в самом начале 1970-х... У нее есть стихотворение, посвященное Тоушан Эсеновой, Ата Атаджанову, Каюму Тангрыкулиеву. Гостем Туркменистана был и известный белорусский поэт, прозаик, литературовед Олег Лойко (1931—2009). Об этой поездке рассказывают несколько его стихотворений. Олег Лойко — и переводчик Махтумкули... В Туркменистане был и Максим Танк, писал стихи об удивительном, прекрасном крае. Максим Танк переписывался с Керимом Курбаннепесовым. По Каракумскому каналу путешествовал Алесь Адамович —

известный белорусский литературовед, автор романов о Великой Отечественной войне. В путешествии его сопровождал Какалы Бердыев. Очерки свои о Каракумском канале белорусский и туркменский публицисты написали в соавторстве и опубликовали в журналах: туркменском — «Совет эдебияты» , белорусском — «Полымя», всесоюзном — «Дружба народов» в 1960 году.

В начале 1980-х побывал в Туркменистане и замечательный белорусский писатель Янка Сипаков, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Тоже написал эмоциональный, яркий очерк о своем путешествии. Уже после смерти писателя журнал «Полымя» опубликовал его книговедческий дневник «Мои книги». И вот что пишет Сипаков о Туркменистане: «Книгу П. Караева «Туркменские кони» подарил мне Аманназар Аширов, с которым сидели рядом на съезде писателей Туркмении и который согласился показать мне и Репетекский барханный заповедник, и древнюю Нисею-Ниссу, и верблюдоводческий молочный совхоз «Сакар-Чага» в ауле Кеши, где разводятся красивейшие и самые ловкие в мире лошади. Ими любовались Геродот и Ксеркс, люди Мидии и Урарту, Ассирии и Двуречья.

Эти кони — настоящие красавцы: стройные, с длинной и гибкой шеей, большими глазами, точеной головой, мощными ногами...» Мне довелось несколько раз беседовать с Янкой Сипаковым о Туркменистане. Он всегда восхищался туркменским народом, его гостеприимством, мужеством, восхищался особой красотой туркменского края как настоящий поэт и спустя годы живо описывал яркие краски пустыни...

Приезжал в Ашхабад и белорусский прозаик Алесь Жук. В газете «Эдебият ве сунгат» на туркменском языке был опубликован и его рассказ. Встречался с туркменскими писателями. На книге Керима Курбаннепесова «Избранное» (Москва, 1979), которая хранится у Алеся Жука, есть автограф: «Моему талантливому другу Алесю — Саше с наилучшими пожеланиями и с симпатией к его личности — твой Керим. 24. 12. 1980. Ашхабад». Есть и письмо народного поэта Керима Курбаннепесова, адресованное белорусскому прозаику: «Дорогой Алесь! Сердечно поздравляю с наступающим новым годом! Большое спасибо за книгу «Снег под солнцем». Почитаю и напишу. Спасибо за книжки Панченко. Прочитал 5—6 стихотворений, очень понравились. Должно быть на белорусском еще лучше.

Посылаю свою книжку на память. Приезжайте еще раз. Просто так. В Туркмению, ко мне в гости. Поклон домочадцам.

Еще раз с Новым годом!
Твой Керим...»

Вероятно, Алесь Жук был в Ашхабаде в 1980 году.

С 1979 по 1984 годы в Ашхабаде жил белорусский писатель, краевед, публицист, историк Николай Калинкович (1949—1990). Родился он в Лунинецком районе, на Брестчине. Первая книга — «Лунинец» (написана в соавторстве) — увидела свет в Минске в 1980 году. В Ашхабаде Николай издал три книги: «Не обрывается земная связь» (1982), «Имя мое — Свобода» (1984), «Возвращение рассветной рани» (1987). Николай много печатался в туркменских газетах и журналах. Очерки, документальные повести были посвящены истории Туркменистана первой четверти — первой половины 20 века. В рукописи остался документальный роман Николая Калинковича «Керкинский бастион». Белорусский исследователь дружил с туркменскими писателями Керимом Курбаннепесовым, Агагельды Алланазаровым, Курбаном Чолиевым, Амандурды Джанмурадовым, Нарклычем Ходжагельдыевым, Какали Бердыевым, Курбандурды Курбансахатовым и многими другими.

Аркадий Мартинович — известный белорусский прозаик и поэт. Активно работал в белорусской литературе в 1950—1990-е гг. После последнего ранения во время Великой Отечественной войны был отправлен в тыл, в Среднюю Азию. Служил в тыловых частях до середины 1946-го в Ашхабаде и его окрестностях. О Туркменистане — многие страницы его романа «Не покидай следов своих». В 1970-е гг. в Ашхабад приезжал и его сын — поэт Павел Мартинович. Посвятил Туркменистану несколько своих стихотворений. В начале 1970-х гостил в Туркменистане и русский поэт из Беларуси Бронислав Спринчан. Свидетельством тому — его замечательная «туркменская» подборка стихов.

После освобождения из ГУЛАГа в 1946-м в Ашхабад к родной сестре Екатерине, которая работала в оперном театре, была женой кинорежиссера Сабурова, приехал

писатель Борис Микулич. Еще до войны (первый раз его посадили в 1936) Борис Михайлович издал в Минске 7 книг замечательной лирической прозы. Уже тогда, в 1930-е, известный русский писатель Владимир Лидин переводил на русский язык книгу рассказов Бориса Микулича. Официально жить Микуличу в столице запрещалось. Писатель ездил отмечаться в Байрам-Али. В Ашхабаде Борис Михайлович написал первую часть романа «Вечность» (напечатана была в 1972 году в журнале «Полымя» — через 18 лет после смерти автора). Роман — из задуманной автором эпопеи о сражениях белорусов с французами в Отечественной войне 1812 года. В столице Туркменистана писатель работал над «Повестью для себя», а это произведение увидит свет только в 1987 году — в журнале «Нёман». В июне 1947 года Борис Микулич уехал из Ашхабада на родину, в Беларусь. Сестра Екатерина погибла во время землетрясения. В 1949 году Бориса Михайловича снова арестовали и выслали в Сибирь, где он в 1954 году умер, не дожив трех месяцев до реабилитации.

В июле 1942 года в Ашхабаде родилась поэтесса и литературовед Любовь Турбина. Ее отец — известный белорусский ученый в области генетики и селекции растений, академик Академии наук Беларуси Николай Турбин. Любовь Турбина — автор книг стихотворений «Улица детства», «Город любви», «Наша надежда», вышедших в Минске. Сейчас писательница живет в Москве. Стихотворения Л. Турбиной были опубликованы в переводе на туркменский в газете «Эдебият ве сунгат» в 1982 году.

Есть и такая тема в привязанности судеб белорусских литераторов к Туркменистану — служба в Туркестанском военном округе в послевоенные годы. В Ашхабаде работал военным газетчиком прозаик Василь Ткачев (родился в 1948 году на Гомельщине). Жил в столице Туркменистана в 1973—1980 гг. Много печатался в туркменских газетах и журналах. Дружил с писателями Азатом Рахмановым, Атамурадом Атабаевым, Пирнепесом Овезлиевым, Аширом Назаровым. Об Ашхабаде — его рассказы в книге «День в городе» (Минск, 1985). Книга и написана была в Ашхабаде. В Кушке служили поэты, родные братья Анатоль и Василь Дебиши. Было это в 1980—1982 гг. Сейчас они живут в Бресте. С Кушкой связана и судьба белорусского поэта, прозаика, пишущего на русском языке, — Олега Буркина. Родился в 1963 году. Автор повести о службе и войне в Афганистане — «В поход на чужую страну собирался король», нескольких киносценариев. Сейчас живет и работает в Минске. В те годы, когда служил в Туркменистане, участвовал в республиканском семинаре молодых писателей. Был знаком с поэтом Вадимом Зубаревым, прозаиком Альбертом Поляковским, которых хорошо знают и помнят в Туркменистане. В Туркменистане служил и поэт Александр Соловьев, чья творческая судьба самым тесным образом связана и с Беларусью. Служили в Туркменистане прозаики Николай Лавринович, Николай Еленевский. Все они хорошо помнят свои «туркменские годы». Леонид Чигрин — уроженец Беларуси (родился на Витебщине в 1942 году), живет и работает в Таджикистане. В Душанбе издано более 20 его исторических повестей, романов. В Туркменистане Леонид проходил срочную солдатскую службу. А в романе Леонида Чигрина «Великий шелковый путь» есть страницы и о Туркменистане, древнем Мерве.

В 1980-е гг. в Ашхабаде главным редактором газеты «Туркменская искра» работал уроженец Беларуси публицист и поэт-песенник Василий Слушник. А в Ташаузе в 1970—1990-е гг. редактировал «Ташаузскую правду» уроженец Беларуси, член Союза писателей СССР Михась Карпенко, автор многих поэтических сборников, вышедших в Ашхабаде на русском языке. До Ташауза, кстати, работал он журналистом и в Красноводске. В 1980-е годы в Ашхабаде жила белорусский литературный критик, киновед, кандидат филологических наук Людмила Саенкова. Сейчас она возглавляет кафедру литературно-художественной критики Института журналистики Белорусского государственного университета. В 1970-1980-е гг. частым гостем Туркменистана была поэтесса, переводчица Любовь Филимонова. Выпускница Литературного института, она изучала туркменский язык, переводила на белорусский стихотворения туркменских поэтов. В частности, Курбана Чолиева, Амандурды Джанмурадова и многих других.

Виктор Шимук родился в 1933 году в деревне Змеевка Дятловского района Гродненской области. Поэт, публицист, прозаик, он долгие годы работал в газетах, на телевидении. Первую книгу — поэму

«Возле Бронной горы» — издал в 1960-м году. Туркменистану, который он открыл для себя в начале 1980-х гг., посвящены его очерки: «Каракумские арыки», «Полюбил тебя, Туркмения!..»

Отдельный этап в белорусско-туркменских литературных, культурных отношениях — участие белорусских писателей и книгоиздателей в традиционной ашхабадской выставке «Золотая книга». В 2009 году Республика Беларусь была почетным гостем этой выставки. Делегацию возглавлял заместитель министра информации Игорь Лаптенок. Он — член Союза писателей Беларуси, известный переводчик художественной литературы. Прошли презентации книг белорусских издательств «Литература и Искусство», «Мастацкая літаратура». Гостями выставки были в 2009 г. издатели и писатели Беларуси: Алесь Бадак, Дмитрий Макаров, Елена Масло, Геннадий Пашков, Алла Корбут, Екатерина Черепок, Константин Хотяновский, Александр Аксененко. Следовало бы, вероятно, напомнить, что в минских издательствах, начиная с послевоенных лет, увидело свет на белорусском языке более 20 книг туркменских поэтов и прозаиков. Будем надеяться, что такая работа по представлению туркменской национальной литературы в Минске продолжится, обретет «второе дыхание». Сегодняшний томик из серии «Созвучие сердец» — доброе тому подтверждение...

В 1987 году в Ашхабад приезжал Алесь Емельянов. Белорусский поэт (родился в 1952 году в Чаусском районе Могилевской области) — автор поэтических сборников «Утро полнится жизнью», «Неубранное поле», «На подкове дорог». Алесь Емельянов привез в Ашхабад, в Союз писателей Туркменистана рукопись антологии белорусской детской литературы. Позже она увидит свет на туркменском языке в 1989-м году в издательстве «Магарыф» под названием «Ясное солнышко». В Ашхабаде Алесь встречался с Керимом Курбаннепесовым, Курбаном Чолиевым, Донгатаром Бердыевым, вероятно, с кем-то еще из туркменских поэтов, прозаиков.

...«Туркмения — страна очень большая, и значительную ее часть занимает пустыня, а пустыня не сохраняет следов. Песком засыпает все: пути караванов, кости павших верблюдов и могилы караванщиков. Погребены под песками некогда богатые города, могущественные крепости и русла рек. Стерлись с лица земли, исчезли из памяти людей великие царства, казавшиеся некогда незыблемыми. Однако есть нечто не подвластное ни времени, ни стихии. Вечным оказалось как раз то, что, наверное, в свое время считалось самым тленным, потому что было самым невещественным.

Осталось слово! Песня, пропетая караванщиком в бесконечной дороге, жалоба чабана на свою жизнь, плач женщины, выданной замуж за нелюбимого. Песни горя, песни любви, шутка безвестного мудреца — вот единственный след, сохранившийся в пустыне», — прочитал я предисловие Наума Гребнева к книге туркменских народных песен и пословиц в его переводе «След в пустыне». Старенькая тоненькая книжечка, изданная в московской «Детской литературе» в 1968 году, часто лежит у меня перед глазами. Одну за другой открываю я ее страницы, вспоминая древний туркменский край... «Вкусна ль еда, жующий знает. Трудна ль тропа, идущий знает». «Добром добро оплатишь — молодец. На зло добром ответишь — ты мудрец». «Не поищешь — не найдешь. Не посеешь — не пожнешь». ...Перелистываю страницы — перелистываю великую память великого народа... Но я бы все же немного добавил к сказанному замечательным другом туркменской литературы Наумом Гребневым. Пустыня настолько содержательная и великая, способная многопланово влиять на человеческое сознание, что остается еще память... Память в свою очередь генерирует новые идеи, новые художественные образы, символы, архетипы. И эта память и есть следы... Самые надежные и верные!..

И снова обращаюсь все к тому же Науму Гребневу, к его предисловию в книге «След в пустыне»... «Удачная песня или мудрое слово передавались от отца к сыну, от сына к внуку, и здесь уж были не властны ни века, ни пески...» След белорусской литературы, белорусских литераторов в Туркменистане тоже останется на века. Но важно и сегодня увидеть его, пристально рассмотреть.

А произведения, представляющие в этой книге современную литературу Туркменистана, — тоже следы... Они — отражение тех событий и явлений, которые происходят в этой красивой и солнечной, совсем не пустынной стране сегодня... Отрадно, что у Беларуси и Туркменистана и сегодня так много общего, единого, так много следов, которые будут напоминать о нашем

историческом, духовном побратимстве и завтра, и в другие столетия...

...У народного поэта Узбекистана Амана Матчана есть стихотворение «Микеланджело». Признаюсь, впервые я прочитал его, обратив внимание на переводчика — Александра Файнберга, о котором очень много слышал, странствуя по тогдашним республикам Средней Азии. Надо сказать, что не только в Ташкенте, но и в Алматы, Ашхабаде, Фрунзе, Душанбе, других близких к ним городах, в 1960-1980-е жил и работал большой отряд замечательных русских поэтов, прозаиков. Назову имена только некоторых... Сергей Бородин, Морис Симашко, Марина Фофанова, Юрий Рябинин, Вадим Зубарев, Александр Аборский, Юрий Белов, Николай Золотарев, Владимир Пу, Валентин Рыбин, Альберт Поляковский, Александр Говберг, Сергей Татур, Валерий Михайлов, Леонид Чигрин... Кто-то родился в этих краях, кто-то приехал во время Великой Отечественной войны с родителями, да так и остался в новой стороне. А кого-то распределили после окончания института. И, как правило, почти все они, занимаясь оригинальным творчеством, не жалели сил, стараний на переводческую работу. Именно благодаря им, русским поэтам, прозаикам Средней Азии, Казахстана, мы открывали и продолжаем открывать яркие художественные мироздания казахов, таджиков, киргизов, туркменов, да и узбеков — тоже... А ведь еще там и другие литературы развивались и продолжают развиваться: уйгурская, каракалпакская, корейская...

А я открыл по-новому мир Микеланджело, мир Художника в его сопричастности с действительностью — через стихотворение Амана Матчана в переводе Александра Файнберга.

Под сенью мимолетных облаков,
чаруя Рим, собор Петра венчая,
блистая красотою пять веков,
плывет сквозь время купол величавый.

Бессмертна Микеланджело душа.
Творец, с рожденья споривший с богами,
он сердцем оживил бездушный камень.
И я гляжу на чудо, не дыша.

Не умирает в мраморе душа
того, кто был с бессмертными на равных.
Здесь, где Христа оплакивает мрамор,
сердца нам омывает чистота.

Встает, проснувшись, Совесть в полный рост.
И мечется, и не находит места,
И снова, снова мучает вопрос
так совместимы ль гений и злодейство?

...В книге серии «Созвучие сердец» мы открываем многие имена узбекских писателей. Сирожиддин Сайид, Мухаммад Али, Халима Худайбердыева, Акилджан Хусанов, Эркин Агзам, Абдулла Арипов, Аман Матчан, Барот Байкабулов, Надир Норматов, Маматкул Хазраткулов, Нормурад Нарзуллаев, Рамз Бабаджан, Нурали Кабул, Саломат Вафо... Правда, возвращаясь в недавние 1970—1980-е, вспоминаешь, что кого-то уже и читал, открывал прежде... Помню по московскому журналу «Юность» повести Нурали Кабула «Небо твоего детства» и «Здравствуйте, горы!» Тогда они были для меня в одном ряду с произведениями белорусов Алеся Жука, Анатоля Кудравца, Виктора Казько... Признаюсь, что очень ждал и других его произведений. Но время разделило, к сожалению, и литературы. Но, к счастью, не надолго... Сегодня, открывая «Литературную газету», «Дружбу народов», «Литературную учебу», даже «Сибирские огни», выходящие далеко от «центра» — в Новосибирске, другие российские журналы, понимаешь, что у всех есть потребность в познании друг друга, в познании чужих, казалось бы, культур и литератур. А на самом деле — достаточно близких, богатых точками соприкосновения художественных литератур, художественных миров. Тем более, что встречи приносят и открытия. Рассказ уже знакомого Нурали Кабула «О, люди, люди!» — новое слово, новое пространство, новые боль и переживания художника. А вот творчество талантливого прозаика, журналистки узбекского телевидения Саломат Вафо — первая и поэтому, может быть, особенно восхитительная, яркая встреча. Уже после прочтения рассказа в сборнике «Созвучие сердец» узнал и о других произведениях Саломат Вафо — романе «Воспоминание о заблуждающейся женщине», сборнике рассказов «Женщина ищет себя»... Мне кажется, что узбекская писательница в своих исканиях во многом похожа на нашего белорусского прозаика Елену Браво. И белоруска с романом «Менада и ее сатиры» сражается словом за мир женщины... Размышления о написанном узбечкой Саломат Вафо и белоруской Еленой Браво напомнили о том, что у них были и остаются добрые учителя со всего широкого пост-

советского пространства — из всех национальных литератур Советского Союза... Чингиз Айтматов, Нодар Думбадзе, Тимур Зульфикаров, Валентин Распутин, Виктор Астафьев...

И снова обращаюсь к стихотворению народного поэта Узбекистана Амана Матчана «Микеланджело»:

Когда художник восхищает мир,
То, в зависти испытывая муку,
найдется тот, кто, злобою томим.
на красоту подымет свою руку.

Но застонав под молотом его,
искусство не утратит вдохновенья.
И в трещинах бессмертное творенье
бессмертья не лишится своего.

И потому не устрашись, поэт,
ни клеветы, ни зависти, ни злобы.
Дитя минувших и грядущих лет,
со временем ты сводишь счет особый.

Не требуй же от нечисти ума.
Она, на правду нападая яро,
жгла Гейне неподкупные тома,
она могилы предков оскверняла.

Недавно прочитал в дневнике Льва Николаевича Толстого: «Одно искусство не знает условий времени, ни пространства, ни движения — одно искусство. Всегда враждебное симметрии — кругу, дает сущность». Вот и в «Созвучии сердец», на страницах, вобравших лучшее из разных литератур... Белорусскую часть книги составили произведения Ивана Науменко, Максима Танка, Александра Волковича, Дмитрия Морозова, Натальи Голубевой, Анатолия Зэкова, Анатолия Бутевича, Марии Кобец... Произведения авторов разных поколений, разного жизненного опыта. Но все они, как и их узбекские коллеги, видят свою главную творческую задачу — в открытии существа жизни, в стремлении расширить мировосприятие человека, сделать читателя добрее, попытаться рассмотреть правду жизни и вместе заглянуть в завтра. Сделать это нелегко, ведь надо через многие испытания пройти достойно... Ведь мир соткан не только из красивых и ярких красок, хватает черноты и зла...

У нечисти законы есть свои.
Она громила зодчество Востока,
она хулила золотые строки
великого навеки Навои.

Но не убить искусство и любовь.
Они бессмертны. В этом их величье.
И все же даром стынет в жилах кровь,
коль вижу нечисть в ангельском обличье

И тень злодейства, как Дамоклов меч,
за гением блуждает не напрасно.
Как гениальность от нее сберечь?
И кто разрушит это постоянство?

Думаю, что и сам Аман Матчан живет со знанием и пониманием, что гениальность творцов, как и красоту мироздания, человеческую добродетель, высокую нравственность как важный ориентир существования, способен уберечь художник слова. Иначе к чему все многотрудные искания...

Диалог с читателем в «украинском» томе серии «Созвучие сердец» ведут украинские писатели Борис Олийник, Алексей Кононенко, Виктор Баранов, Олеся Сандома, Галина Тарасюк, Надия Степуха, Теодозия Заривна, Михайло Слабошпицкий, Павло Мовчан, Владимир Даниленко, Валентина Давиденко, Сергей Грабар, Михаил Шевченко, Любовь Голота, Анна Багряна и их белорусские коллеги Василь Быков, Алесь Письменков, Алесь Жук, Зинаида Дудюк, Виктор Чаропка, Вадим Спринчан, Алесь Бадак, Татьяна Сивец. У каждого из них — свои литературные стежки-дорожки, свои приоритеты, свои наставники. И даже, вероятно, — свои читатели... Читателю сегодня, согласитесь, в разы сложнее, чем писателю... Ведь писатель, руководствуясь принципами и убеждениями в выборе ориентиров художественного, эстетического плана, достаточно свободен — он может даже придумывать свои ориентиры, представляя их главными в утверждении жизненных идеалов. Читателю сложнее — ему надо выбрать тот ограниченный минимум для возможного освоения, прочтения и еще для размышлений над прочитанным. А у одной человеческой жизни не так и много ресурсов для открытий... И важно не ошибиться в выборе. В выборе чтения — тем более.

Борис Олийник ведет разговор, вступает в единоборство с чужими, воззрениями как поэт-трибун, поэт, зорко всматривающийся в преобразования вселенского масштаба:

Словно огненный штык,
позабыв милосердье,
Солнце круто врубилось в боснийский гранит.

Причащаются сербы. Прощаются сербы —
От ребенка до старца... А небо гремит.
В черных ризах отцов. В белом инее боли...
Память тяжко идет сквозь огни и мечи,
Через столько столетий на Косово Поле,
Где над сербской печалью рыдают сычи.
Брат мой серб...
Ты опять в одиночестве брошен,
Средь двадцатого века на смертной меже,
И ордынское племя сегодня все то же —
Лишь «фантомы»
взамен искривленных ножей.
Эй, очнемся, все братья по вере державной!
Что за важность, каких мы родов и племен:
Сатана замахнулся на мир православный,
На чертоги и храмы великих времен!
Так ударим же в колокол — мощно, усердно,
Созывая славянскую нашу семью:
Если мы не спасем от погибели сербов —
Мы погубим и совесть, и память свою!

Мир богат и красив добротой, состраданием. И эти доброта, сострадание — в стихотворении «Славянам» Бориса Олийника, во всей его мужественной поэзии. Академик, общественный деятель, переводчик, перевоплотивший на украинский язык произведения самых ярких русских, белорусских поэтов, художник слова, сумевший остаться верным себе, правдивым при любых политических и других испытаниях, потому и слова его имеют такие вес и цену. И это в то время, когда мир находится на грани, когда нет «красных флажков», останавливающих не только бездушие и бессердечность, нет «флажков», ограничителей, останавливающих насилие и беззаконие, зверства и варварство... Нет, ограничители есть, они написаны и высечены искателями правды и истины. Но вот только общество всегда их видит, а иногда и молчаливо соглашается с темными злыми силами. Искусство, литература подают знаки, пытаются восстановить правду, утвердить справедливость и добро. Вот и в книге украинских и белорусских писателей налицо такие попытки... И даже там, в тех произведениях, которые обращены к истории. Как и в стихотворении Бориса Олийника «Беларуси»...

О, прости!

Ты прости мою память,
хотя не прощай ее лучше...
Будут весны любимым зеленые письма нести,
но один адресат никогда уже их не получит.
Стал я сед; словно лось.
Стал я бел, будто ядерный дым.
На обугленный мир мои очи дождями упали.
Ты простила б, как мать,
эту страшную память, Хатынь,
Но — коль ты сожжена —
кто же будет прощать эту память?
Ты прости. Я не смею
касаться болезненных ран.
Но когда меня вечер
окутает вечным туманом,
О, позволь, Беларусь,
перейду я печальный курган
И у тихих березок задумчивым явором стану.
...Хотя б вдалеке.

Нет, Борис Олийник близок к Беларуси, он — рядом... Как и вся украинская литература. В украинской книге серии «Созвучие сердец» представлены произведения, поэзия и проза сегодняшних наследников Тараса Шевченко и Ивана Франко, Леси Украинки и Михайлы Коцюбинского. Сергей Грабар пишет на украинском и русском языках. Вот названия только некоторых из его поэтических книг: «Вдохновение», «Лепестки надежды», «Твое имя»... Перу Сергея Грабара принадлежат и прозаические сборники: «От первого лица», «Состояние души», «Сецессии», «Кофе Меланж», «Притчи», «Выбор», «Метаморфозы», «Реминисценции»... Книги его изданы в Германии, России, Азербайджане, Иране, Грузии, Хорватии. Сергей Грабар — лауреат премии имени Ивана Огиенко (2010). За книгу «Сецессии» в 2010 стал лауреатом премии имени Юрия Долгорукого.

Виктор Баранов — поэт, прозаик, критик, публицист. С 2004 года является главным редактором журнала «Київ». Председатель Национального союза писателей Украины. Лауреат многих литературных премий. Автор более двух десятков книг поэзии, повестей и рассказов, романов «Притула», «Смерть по-белому», «Не верь, не бойся, не проси», «Заплава», сатирического романа «Презент», книги эссе «Здесь и сегодня». Произведения Виктора Баранова переведены на английский, болгарский, грузинский, латышский, македонский, польский, румынский, русский, словацкий, таджикский, французский и другие языки.

Владимир Даниленко — ученый-литературовед. Автор книг повестей и рассказов «Город Наоборот», «Сон из клюва стрижа», «Тени в поместье Тарновских», книги эссеистики и критики «Лесоруб в пустыне», романов «Газели бедного Ремзи», «Любовь

в стиле барокко», «Шляпа Сикорского», которые неоднократно входили в списки украинских бестселлеров. Лауреат многих национальных премий. Произведения переведены на немецкий, японский, итальянский, польский, словацкий, белорусский языки.

В «белорусской» части книги, среди прочих произведений, есть подборка рано ушедшего из жизни замечательного поэта Алеся Письменкова. Есть у него стихотворение «Очи летописца»:

Чело взбороздили тревоги,
Глубоко запавшие очи
На скорбном лице — как ожоги
Иль угли костра средь ночи.
Очи такие —
С любовью и грустью —
Чутки,
Правдивы,
Честны испокон,
Не их ли во храмах
Моей Беларуси
Я видел на ликах икон?
Их напоила боль вековая:
Сколько насилия,
Мук и смертей!..
Очи такие —
Рана живая,
Совесть Отчизны моей.

Мне кажется, что Письменков сумел заглянуть в глаза всем нам, всему нашему времени...

Хотелось бы видеть продолжение серии «Созвучие сердец». Возможно, Издательский дом «Звязда» не оставит эту работу. Тем более, что все-таки одиннадцатью книгами серии «Созвучие сердец» представлена лишь маленькая толика того многогранного процесса, который происходит в национальных литературах стан Содружества.

Кирилл ЛАДУТЬКО



ПОЗДНЯКОВ Михаил Павлович. Родился в 1951 г. в д. Забродье Быховского района Могилевской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, прозаик, языковед. Автор многих книг для юных и взрослых читателей. Председатель Минского городского отделения СПБ. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Минске.

ЕВСЕЕНКО Иван Иванович. Родился в 1943 г. в с. Займище Щорского района Черниговской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор многих книг прозы. Лауреат литературных премий им. И. А. Бунина, им. А. П. Платонова, им. И. С. Тургенева «Бежин луг», им. В. М. Шукшина. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

СЕМИЧЕВ Евгений Николаевич. Родился в 1952 г. в г. Новокуйбышевск Самарской области. Окончил Куйбышевский государственный институт культуры и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Автор многих поэтических сборников. Лауреат премий им. М. Ю. Лермонтова, им. Александра Невского, премии «Новая русская книга — 2002», Большой литературной премии России, Всероссийской премии им. Расула Гамзатова. Живет в городе Новокуйбышевск Самарской области.

АНТИПИН Андрей Александрович. Родился в 1984 г. в с. Подымахино Усть-Кутского-района Иркутской области. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публиковался в журналах «Сибирь», «Наш современник», «Москва», «Юность». Автор книг прозы «Капли марта», «Житейная история». Лауреат премии Леонида Леонова журнала «Наш современник». Живет в Иркутской области.

МАТВЕЕВА Новелла Николаевна. Родилась в 1934 г. в г. Пушкин (Царское Село) Ленинградской области. Окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Поэт, прозаик, бард, драматург, литературовед. Автор книг «Кораблик», «Ласточкина школа», «Река», «Страна прибоя», «Избранное», «Хвала работе»,«Кассета снов», «Жасмин» и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Живет в Москве.

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна. Родилась в Москве. Окончила Московский институт аналитической психологии и психоанализа, Институт психотерапии и клинической психологии и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Прозаик. Публиковалась в журналах «Парус», «Наш современник» и др. Живет в Москве.

ШУГЛЯ Владимир Федорович. Родился в 1947 г. в г. Кыштым Челябинской области. Окончил Свердловский институт народного хозяйства, Уральский социально-политический институт. Член-корреспондент Международной академии информационных технологий. Автор нескольких сборников поэзии. Президент холдинговой компании Торговый дом «Мангазея» (г. Тюмень), почетный консул Республики Беларусь в Тюменской области. Живет в Тюмени.

ЗВЯГИНЦЕВ Александр Григорьевич. Родился в 1948 г. в Украине. Окончил Харьковский юридический институт. Юрист, историк, политик, писатель. Автор романов «Естественный отбор», «Кофе на крови», «Любовник войны», «Смерть поправший», «Прокурор идет ва-банк» и др. Многие книги Александра Звягинцева экранизированы, переведены на другие языки и изданы за рубежом. Живет в Москве.

ПЕРЕВЕРЗИН Иван Иванович. Родился в 1953 г. в поселке Жатай (Якутская АССР). Окончил Хабаровский лесотехнический техникум, Российскую Экономическую академию им. Плеханова, Высшие Литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Автор многих книг поэзии. Лауреат Всероссийских литературных премий «Традиция» и «Полярная Звезда». Председатель Исполкома Международного Сообщества Писательских Союзов. Живет в Москве.

БОГАТЫРЕВ Александр Владимирович. Родился в 1948 г. Окончил филологический факультет Петербургского университета. Прозаик, публицист, переводчик, киносценарист, режиссер. Автор 8 сборников рассказов и статей, 25-и сценариев, в 15-и фильмах выступил как режиссер. Лауреат премии «Золотое перо православной журналистики». Живет в Санкт-Петербурге.

МАХЛИНА Светлана Тевельевна. Родилась в 1941 г. в Кишиневе. Российский культуролог, семиотик, художественный критик, доктор философских наук, профессор, член Международной Академии информатизации. С 1975 года преподает на факультете культурологии и социологии в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств (профессор кафедры теории и истории культуры).